В. ВЕРЕСАЕВ

СПУТНИКИ ПУШКИНА

Помни, книга должна
быть возвращена
в библиотеку
не позднее:

Дата	Дата	Дата	Дата
21/II	541	14/IX	2190
5/IV	157		
15/I	173		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	146

В. ВЕРЕСАЕВ

СПУТНИКИ ПУШКИНА

С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ
НА ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТАХ

МОСКВА
1937

891
В-31

В. ВЕРЕСАЕВ

СПУТНИКИ ПУШКИНА

2

Омской области

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Ханты-Мансийская государственная окружная библиотека
РФ

83.3Р1
В31

Переплет и титул по рисункам художника
А. И. Усачева

Подбор иллюстраций выполнен
Н. Г. Машковцевым и М. Д. Беляевым

Александръ Сергѣевичъ

ПУШКИНЪ.

I

В МОСКВЕ

СОФЬЯ ФЕДОРОВНА ПУШКИНА
(1806—1862)

Очень отдаленная родственница поэта: отцы их были четвероюродные братья. Рано лишилась родителей и вместе с сестрой Анной (в 1823 г. вышедшей замуж за В. П. Зубкова) воспитывалась у богатой и знатной дамы Ек. Вл. Апраксиной, сестры московского генерал-губернатора кн. Д. В. Голицына. Считалась в половине двадцатых годов одною из первых красавиц среди выезжавших в свет московских барышень. Была стройна и высока ростом, с прекрасным греческим профилем, с черными, как смоль, глазами, была, по отзыву одной старухи-современницы, «очень милая и умная девушка». Пушкин познакомился с нею осенью 1826 г., когда приехал из псковской ссылки в Москву. Видел ее всего два раза, — один раз в театральной ложе, другой раз на балу, — и сразу без ума в нее влюбился. В стихотворении «Ответ Ф. Т.» он восторженно писал про нее:

Нет, не черкешенка она:
Но в долы Грузии от века
Такая дева не сошла
С высот угрюмого Казбека.
Нет, не агат в глазах у ней:
Но все сокровища Востока
Не стоят сладостных лучей
Ее полуденного ока.

Пушкин, как бывало с ним, когда его охватывало серьезное чувство, был с Софьей Федоровной застенчив и неловок. К тому же он знал, что в нее уже два года влюблен один молодой человек, Валериан Александрович Панин. Софья Федоровна, видимо, больших надежд Пушкину не подавала, но когда он в начале ноября должен был на время уехать по делам к себе в деревню, она ласково сказала:

— Возвращайтесь к первому декабря.

Перед отъездом, 1 ноября, Пушкин написал (или отделал) стихи, относимые исследователями к С. Ф. Пушкиной:

Зачем безвременную скуку
Зловещей думою питать
И неизбежную разлуку
В унынии робком ожидать?
И так уж близок день страданья.
Один, в тиши пустых полей,
Ты будешь звать воспоминанья
Потерянных тобою дней.
Тогда изгнаньем и могилой,
Несчастный, будешь ты готов
Купить хоть слово девы милой,
Хоть легкий шум ее шагов.

Пушкин уехал «со смертью в душе». К первому декабря он вследствие дурных дорог не успел попасть в Москву. Ямщик опрокинул его экипаж, и Пушкин, с помятым боком, с затрудненным дыханием, отсиживался в псковской гостинице, рвался в Москву, «взбешенный, играл и проигрывал». Он решился одним ударом рассечь гордиев узел, написал письмо В. П. Зубкову, зятю Софьи Федоровны, и просил сосватать ее за него.

«Мне двадцать семь лет, дорогой друг, — писал он. — Пора жить, т. е. познать счастье. Не мое личное счастье меня тревожит, — могу ли я не быть самым счастливым человеком с нею, — я трепещу перед невозможностью сделать ее столь же счастливою, как это мне желательно... Боже мой, до чего она хороша! И как смешно было мое поведение с нею! Дорогой друг, постарайся изгладить дурное впечатление, которое оно могло произвести на нее. Скажи ей, что я благоразумнее, чем кажусь, и приведи доказательства, какие придут в голову. Мерзкий этот Панин: два года влюблен, а свататься собирается на фоминой неделе,— а я вижу раз ее в ложе, в другой на бале, а в третий сватаюсь. Если она находит, что Панин прав, она должна думать, что я сумасшедший, не правда ли? Объясни же ей, что прав я, что, хоть раз увидев ее, нельзя колебаться, что я не претендую увлечь ее собой, что я,

следовательно, прекрасно сделал, пойдя прямо к развязке... Ангел мой, уговори ее, упроси ее, настращай ее Паниным скверным и жени меня!»

Но Пушкин опоздал, и навряд ли его предложение было даже передано Зубковым. Когда Пушкин 19 декабря вернулся в Москву, Софья Федоровна была уже помолвлена с Паниным, а через месяц вышла за него замуж. Этот Панин в сороковых годах занимал скромную должность смотрителя московского Вдовьего дома, а затем — казначея О-ва любителей садоводства.

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ ЗУБКОВ
(1799—1862)

Обучался в муравьевской школе для колонновожатых, поступил на военную службу, но в 1819 г., вследствие тяжелого нездоровья, вышел в отставку. Два года провел за границей, с увлечением изучал там Сэя, Сисмонди и других политических писателей, воротился в Россию настроенным оппозиционно, большим поклонником французского судопроизводства и суда присяжных. В Москве сошелся с Кашкиным, Колошиным, Б. К. Данзасом, Ив. Ив. Пущиным. В то время хорошая молодежь стремилась занимать должности, обычно презираемые дворянами, чтобы именно в этих должностях проводить в жизнь начала законности и справедливости. Зубков, как и И. И. Пущин, занял судебную должность: суд того времени славился колоссальным взяточничеством и крючкотворством. В начале января 1826 г. Зубков был арестован по подозрению в прикосновенности к декабрьскому движению, просидел около шести недель в Петропавловской крепости и был выпущен на свободу, как никем не оговоренный. Был он богатый человек, владел 1 500 душ крестьян. Женат был на Анне Федоровне Пушкиной, сестре Софьи Федоровны, которою увлекался Пушкин.

С Пушкиным Зубков познакомился в Москве в сентябре-октябре 1826 г. Зубков жил в собственном доме, деревянном, одноэтажном, очень длинном, в Большом Толстовском переулке, между Смоленским рынком и Спасопесковской площадью. Пушкин часто бывал у Зубкова (в его доме, между прочим, им написаны стансы «В надежде славы и добра»), у него познакомился с его свояченицей С. Ф. Пушкиной. Пушкин был с Зубковым на «ты» и очень его любил. Некий Щербаков рассказывает, что в марте 1827 г. видел на Тверском бульваре Пушкина. Он сидел с несколькими знакомыми на скамейке. Мимо проходили советники гражданской палаты Зубков и Данзас. Пушкин подбежал к Зубкову и сказал:

— Что ты на меня не глядишь? Жить без тебя не могу!

Зубков его поцеловал.

Зубков был человек энергичный и деятельный. В 1830 г. он принимал участие в борьбе с холерою в Москве, выдвинулся разумностью принятых мер и распорядительностью; издал брошюру, где доказывал, что холера не передается по воздуху и что самый верный способ борьбы с нею — чистота и гигиеническая жизнь, — положения, вполне подтвержденные позднейшею наукою. Впоследствии Зубков был обер-прокурором одного из департаментов сената и сенатором. С любовью занимался энтомологией, напечатал ряд работ в Трудах московского Общества испытателей природы; один из открытых им жуков назван его именем.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ТИМАШЕВА
(1798—1881)

Рожденная Загряжская, жена наказного атамана оренбургского казачьего войска. Принадлежала к московскому большому свету, была, во-первых, повидимому, красивой женщиной и, во-вторых, писала стихи. За то и за другое ее восхваляли самые прославленные поэты того времени — Пушкин, Боратынский, Языков, Вяземский. Стихов своих Тимашева почти не печатала, и русская поэзия ничего от этого не потеряла: напечатанные два-три ее стихотворения стоят ниже уровня самой скромной посредственности. Вероятно, тем красивее и очаровательнее была она сама, если ее так восторженно превозносили поэты.

Пушкин 20 октября 1826 г. написал в альбом Тимашевой следующие стихи:

Я видел вас, я их читал,
Сии прелестные созданья,
Где ваши томные мечтанья
Боготворят свой идеал.
Я пил отраду в вашем взоре,
В душой исполненных чертах,
И в вашем милом разговоре,
И в ваших пламенных стихах.
Соперницы Запретной Розы
Блажен бессмертный идеал...
Стократ блажен, кто вам внушал
И много рифм, и много прозы.

«Запретная Роза», — так в одном своем стихотворении Вяземский назвал племянницу Тимашевой, Елизавету Петровну Киндякову, два года назад вышедшую за немощного обер-прокурора, кн. И. А. Лобанова-Ростовского. Передавали даже анекдот, что, получив орден Влади-

мира, князь сказал своей теще: «Поздравьте меня, я кавалер», а она ему ответила: «Слава богу, стало, и дочь моя будет дама».

Уехав в начале ноября в деревню, Пушкин запрашивал Вяземского: «Что Запретная Роза? Что Тимашева? Как жаль, что я не успел с нею завести благородную интригу. Но и это не ушло».

АННА ГРИГОРЬЕВНА ХОМУТОВА
(1784—1856)

Дочь генерал-лейтенанта и сенатора, богатого помещика. Получила отличное воспитание, по-французски говорила в совершенстве, рукоделиями занималась мало, а с любовью и увлечением следила за литературой. Отец ее был большой хлебосол, на балы и обеды его съезжались московская знать, литераторы, поэты и все известные посетители столицы. Хомутова была знакома с Ермоловым, Раевским, Нелединским-Мелецким, Жуковским, Вяземским. Замуж она не вышла и осталась девицей.

Утром 26 октября 1826 г. Хомутова получила записку от М. И. Корсаковой: «Приезжайте непременно, нынче вечером у меня будет Пушкин». Он недавно только приехал в Москву из деревенской ссылки. Вечером у Корсаковых собралось множество гостей. Дамы разоделись; когда вошел Пушкин, все они устремились к нему и окружили его. Каждой хотелось, чтоб он ей сказал хоть слово. Хомутова была некрасива и немолода, ей было уже за сорок лет, притом она была очень застенчива. Она держалась в отдалении и молча наблюдала Пушкина. За ужином кто-то назвал Хомутову. Пушкин встрепенулся, вскочил, быстро подошел к Хомутовой и сказал:

— Вы сестра Михаила Григорьевича? Я уважаю, люблю его и прошу вашей благосклонности.

И стал говорить о лейб-гусарском полке, в котором служил ее брат, вспоминал лицейское время, когда, по его словам, этот полк был его колыбелью, а брат ее — нередко его ментором.

После этого, рассказывает Хомутова, они весьма сблизились, она часто встречалась с Пушкиным, и он всегда оказывал ей много дружбы.

Поэт И. И. Козлов приходился Хомутовой двоюродным братом, в молодости они были дружны и увлекались друг другом. После долгой разлуки они встретились в тридцатых годах, когда Козлов давно уже лежал с парализованными ногами, лишенный зрения. Ласковая участливость и нежность Хомутовой доставили большое утешение Козлову. Он

посвятил ей стихотворение «Другу весны моей после долгой, долгой разлуки»:

О, удались! Полуживого
В томленьи горестном забудь;
Ты острым пламенем былого
Зажгла встревоженную грудь.
Оставь меня... О, нет! Побудь,
Побудь со мною, друг бесценный,
Пожми, как прежде, руку мне,
И сердца жизнью незабвенной
Лелей меня в печальном сне!
Уж речь твоя мой дух крушимый
Живит мечтами юных дней...
и т. д.

По поводу этого стихотворения и отношения Хомутовой к Козлову Лермонтов писал к ней:

Певец, страданьем вдохновенный,
Вам строки чудные писал...
...да сойдет благословенье
На вашу жизнь за то, что вы
Хоть на единое мгновенье
Умели снять венец мученья
С его преклонной головы.

Княгиня ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА ВОЛКОНСКАЯ
(1792—1862)

Рожденная княжна Белосельская-Белозерская. Поэтесса, композитор, певица. 18 лет вышла замуж за кн. Н. Г. Волконского (брата декабриста), но вскоре разъехалась с ним. Блистала на международных конгрессах, устраивавших судьбу Европы после низвержения Наполеона, пользовалась интимною благосклонностью императора Александра I. В середине двадцатых годов поселилась в Москве. В ее блестящем салоне в собственном доме на Тверской собирались сановники и аристократки, молодежь и пожилые люди, артисты, профессора, поэты, художники, журналисты. Все в ее доме носило отпечаток служения искусству и мысли. Бывали чтения, на которых выступали Мицкевич, Боратынский, Веневитинов, кн. Вяземский. Бывали концерты с участием лучших приезжих и местных артистов. Ставились целые оперы. Во главе исполнителей стояла сама хозяйка дома. Слышавшие ее с восторгом отзываются об ее замечательном, полном и звучном контральто и прекрасной игре в роли Танкреда в опере Россини. Когда Пушкин осенью

1826 г. приехал из псковской ссылки в Москву, он познакомился с княгиней Волконской. Вяземский вспоминает: «Княгиня, в присутствии Пушкина, в первый день знакомства с ним пропела элегию его «Погасло дневное светило». Пушкин был живо тронут этим обольщением тонкого и художественного кокетства. По обыкновению, краска вспыхивала на лице его. В нем этот детский и женский признак сильной впечатлительности был выражением внутреннего смущения, радости, досады, всякого потрясающего ощущения».

Когда Пушкин вскоре уехал на время к себе в деревню, Волконская писала ему: «Возвращайтесь к нам. Воздух Москвы легче. Великий русский поэт должен писать либо в степях, либо под сенью Кремля, и автор «Бориса Годунова» принадлежит городу царей. Какая мать зачала человека, гений которого — весь сила, весь — изящество, весь — непринужденность, который является то дикарем, то европейцем, то Шекспиром и Байроном, то Ариостом, Анакреоном, но всегда русским, переходит от лирики к драме, от песен нежных, влюбленных, простых, иногда грубых, романтических или едких, к важному и наивному тону строгой истории».

По возвращении в Москву Пушкин часто бывал у Волконской. На ее вечерах любимою забавою молодежи была игра в шарады. Однажды Пушкин придумал слово: для второй части его нужно было представить переход евреев через аравийскую пустыню. Пушкин взял себе красную шаль княгини и сказал, что он будет изображать «скалу в пустыне». Все были в недоумении от такого выбора: живой, остроумный Пушкин захотел вдруг изображать неподвижный, неодушевленный предмет. Пушкин взобрался на стол и покрылся шалью. Все зрители уселись, действие началось. Когда Моисей, по уговору, прикоснулся жезлом к скале, чтобы вызвать из нее воду, Пушкин вдруг высунул из-под шали горлышко бутылки, и струя воды с шумом полилась на пол. Раздался дружный хохот. Пушкин соскочил быстро со стола, очутился в минуту возле княгини, а она, улыбаясь, взяла его за ухо и сказала:

— И озорник же вы, Александр, — как вы изобразили скалу!

По понедельникам у княгини Волконской были собрания литературные. Поэты и беллетристы читали свои произведения, Мицкевич произносил вдохновенные свои импровизации. Однажды пристали к Пушкину, чтобы он прочел что-нибудь. Пушкин терпеть не мог читать в большом обществе. Но отговориться не удалось. В досаде он прочел «Чернь» и, кончив, с сердцем сказал:

— В другой раз не станут просить!

В 1827 г. Пушкин, посылая кн. Волконской свою поэму «Цыганы», приложил послание к ней:

Среди рассеянной Москвы
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы
Ты любишь игры Аполлона.
Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновений.
И над задумчивым челом,
Двойным увенчанным венком,
И вьется, и пылает гений.
Певца, плененного тобой,
Не отвергай смиренной дани,
Внемли с улыбкой голос мой,
Как мимоездом Каталани
Цыганке внемлет кочевой.

В 1829 г. кн. З. А. Волконская уехала в Италию, там перешла в католичество, жила в Риме в роскошной собственной вилле. Католичкой она была очень ярой. Умерла, по слухам, в нужде, обобранная патерами и монахами, но зато причисленная церковью к лику «блаженных».

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ МУРАВЬЕВ
(1806—1874)

Брат М. Н. Муравьева-Виленского (вешателя) и Н. Н. Мураевьева-Карского. Был учеником С. Е. Раича, участвовал в его литературном кружке. Писал стихи. Служил на военной службе в драгунах. Зимою 1826-1827 г. посещал салон княгини З. А. Волконской в Москве. Однажды, по неловкости (а некоторые уверяют, что намеренно), он в театральном ее зале сломал руку колоссальной гипсовой статуи Аполлона Бельведерского и на пьедестале статуи тотчас же написал такие стихи:

О, Аполлон! Поклонник твой
Хотел померяться с тобой,
Но оступился и упал.
Ты горделивца наказал:
Хотя пожертвовал рукой,
За то остался он с ногой.

Стихи эти вызвали эпиграмму Пушкина:

Лук звенит, стрела трепещет
И, клубясь, издох Пифон,
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон.
Кто ж вступился за Пифона,

Кто разбил твой истукан?
Ты, соперник Аполлона,
Бельведерский Митрофан.

Весною 1827 г. эпиграмма была напечатана в «Московском вестнике» Погодина. Встретясь после этого с Погодиным, Пушкин сказал ему:

— А как бы нам не поплатиться за эпиграмму.

— Почему?

— Я имею предсказание, что должен умереть от белого человека или от белой лошади. Мураевьев может вызвать меня на дуэль, а он не только белый человек, но и лошадь.

Муравьев на дуэль Пушкина не вызвал, а ответил эпиграммой:

Как не злиться Митрофану?
Аполлон обидел нас:
Посадил он обезьяну
В первом месте на Парнас.

В 1828—1829 гг. Муравьев участвовал в русско-турецкой войне на европейском фронте. В 1832 г. издал «Путешествие по святым местам». Поставил на сцене драму «Битва при Тивериаде», успеха не имевшую. Муравьев рассказывает: «Совершенно нечаянно я свиделся с Пушкиным в архиве министерства иностранных дел, где собирал он документы для истории Петра Великого. Пушкин устремился прямо ко мне, обнял крепко и сказал: «Простите ли вы меня? А я не могу доселе простить себе свою глупую эпиграмму, особенно, когда я узнал, что вы поехали в Иерусалим. Я даже написал для вас несколько стихов: что когда, при заключении мира (в 1829 г., после турецкой войны), все сильные земли забыли о св. граде и гробе христовом, один только безвестный юноша о них вспомнил и туда устремился. С чрезвычайным удовольствием читал я ваше путешествие». Я был тронут до слез и просил Пушкина доставить мне эти стихи, но он никак не мог их найти в хаосе своих бумаг. С тех пор и до самой кончины я оставался с ним в самых дружеских отношениях. Ему была неприятна моя драматическая неудача, и он предложил мне напечатать в «Современнике» объяснительное предисловие к «Битве при Тивериаде» и несколько лучших ее отрывков». Пушкин действительно с одобрением отнесся к «Путешествию по святым местам» и в предисловии к «Путешествию в Арзрум» упоминает об этой книге, «произведшей столь сильное впечатление», и действительно во второй книге «Современника» напечатал отрывки из драмы Муравьева.

Известность Муравьев получил как писатель по богословским вопросам, издал целый ряд книг: «Письма о богослужении восточной ка-

фолической церкви», выдержавшие одиннадцать изданий и переведенные на все европейские языки, «Историю русской церкви» и др. Большинство отзывов лиц, знавших А. Муравьева, рисуют его в очень непривлекательном свете. Внушал он мало уважения. Был святоша, по его доносу арестован был цензор Никитенко за то, что пропустил в «Библиотеке для чтения» стихотворение Деларю «Красавице» (см. Деларю). Никитенко характеризует Муравьева: «Фанатик, который, впрочем, себе на уме, т. е. на святости идей строит свое земное счастье». Муравьев занимал важный пост в синоде и прибегал ко всяческим интригам, чтобы стать синодским обер-прокурором, что ему, однако, не удалось. Н. С. Лесков про него пишет: «Так, кажется, и видишь эту дылдистую фигуру, с умными, но неприятными глазами и типическим русым коком. В великосветские гостиные Андрей Николаевич вступал обыкновенно со свойственной ему, исключительною, неуклюжею грацией, всегда в высоком черном жилете «под душу» и с миниатюрными беленькими чотками, обвитыми вокруг запястья левой руки; здесь он иногда вещал, но более всего собирал вести, куда колеблются весы». Муравьев очень любил подарки и даже часто их выпрашивал; любил почетные встречи, ради него устроенные; часто участвовал в крестных ходах, где, благодаря его огромному росту, он не мог не быть всеми замечен, тем более, что всегда шел непосредственно за митрополитом или архиереем; любил носить костюмы, схожие с военными; когда в «Северной пчеле» появился неблагоприятный отзыв об одной из его книг, он жаловался на редактора в Третье отделение. «Сочинения Муравьева, — говорит Лесков, — по нынешнему времени в большинстве так несостоятельны, что заниматься чтением их значит терять напрасно время, но тогда они читались, и даже из них кое-что обязательно заучивалось наизусть. Они приносили автору хороший доход, который к последним годам его жизни вдруг остановился. Муравьев приписывал это умалению веры, происшедшему, как все злое, от одного несчастного источника — «от тлетворного направления литературы»... Под конец жизни он проживал в Киеве и надоел киевскому духовенству своею докучною и мелочною инспекциею до нестерпимости».

АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВНА МУРАВЬЕВА
(18... — 1832)

Рожденная графиня Чернышева, жена декабриста Никиты Мих. Муравьева, сестра декабриста гр. З. Г. Чернышева. Поехала вслед за мужем в Сибирь, оставив у свекрови двух своих детей, которых ей не позво-

лено было взять с собою. В Москву она приехала вскоре после княгини М. Н. Волконской, в первых числах января 1827 г. Пушкин, вероятно, был знаком с Муравьевой в Петербурге еще до ее замужества. Он зашел к ней в Москве проститься и передать ей свое «Послание в Сибирь», которого не успела взять с собою Волконская. Вот это знаменитое послание:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут, — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч ваш отдадут.

кой области

Пушкин взволнованно говорил Муравьевой:

— Я очень понимаю, почему эти господа не хотели принять меня в свое общество: я не стоил этой чести.

Среди упоенного наслаждения свободой, славой, балами, улыбками красавиц перед Пушкиным в лице Волконской и Муравьевой прошла другая жизнь — строгая, серьезная, полная сурового самоотвержения. Пушкин был в восхищении от подвига этих женщин. Прощаясь, он так крепко сжал руку Муравьевой, что она не могла продолжать письма, которое писала, когда он к ней вошел.

Вяземский, тогда же видевший Волконскую и Муравьеву, писал А. Тургеневу: «Что за трогательное и возвышенное обречение! Спасибо женщинам: они дадут несколько прекрасных строк нашей истории. В них была видна не экзальтация фанатизма, а какая-то чистая, безмятежная покорность мученичества, которое не думает о славе, а поглощается одним чувством тихим, но всеодолевающим».

Все, знавшие Муравьеву в Сибири, отзываются о ней с единодушным восторгом. Декабрист А. Е. Розен вспоминает: «Александра Григорьевна, с добрейшим сердцем, юная, кроткая, гибкая станом, единственно белокурая из всех смуглых Чернышевых, разрывала жизнь свою сожигающими чувствами любви к мужу, заключенному в остроге, и к отсутствующим детям. Мужу своему показывала себя спокойною, довольною,

Ханты-Мансийская государственная окружная библиотека РФ

даже радостною, чтобы не опечалить его, а наедине предавалась чувствам матери самой нежной». Она болела душой и за брата, делала все, что могла, и для других товарищей, была всеобщим «ангелом-утешителем». В 1832 г. Муравьева простудилась и умерла. Перед смертью, не желая будить свою четырехлетнюю дочку Ноно, она попросила принести ее куклу и поцеловала куклу вместо дочери.

УРУСОВЫ

Во второй половине двадцатых годов в Москве славился радушием и гостеприимством дом Урусовых. Глава семьи, кн. Александр Михайлович Урусов (1766—1853), служил в качестве члена в мастерской Оружейной палаты в Москве, впоследствии был обер-гофмейстером, сенатором и членом государственного совета. Его жена — Екатерина Павловна, рожденная Татищева, сестра дипломата Д. П. Татищева. Три их дочери-княжны считались украшением московского общества. Старшая, Мария (1801—1853), с 1822 г. была замужем за графом И. А. Мусиным-Пушкиным; овдовев в 1836 г., она в 1838 г. вторично вышла замуж за кн. А. М. Горчакова, лицейского товарища Пушкина, будущего государственного канцлера. Вторая дочь, Софья (1806—1889), «царица московских красавиц». Однако насмешники называли ее еще «богиней глупости». Однажды во время танцев кавалер спросил ее, что она читает. Княжна ответила:

— Розовенькую книжку, а сестра моя голубенькую.

Другой раз влюбленный в нее молодой человек с увлечением говорил с нею о литературе. Она долго слушала и вдруг перебила его вопросом:

— Скажите, князь, какое вы употребляете мыло, когда бреетесь?

С 1826 г. она была фрейлиной. Император Николай вступил с нею в связь. «Обыкновенно порядок был такой,—пишет Н. А. Добролюбов,— брали девушку знатной фамилии во фрейлины, употребляли ее для услуг благочестивейшего, самодержавнейшего государя нашего, и затем императрица Александра начинала сватать обесчещенную девушку за кого-нибудь из придворных женихов». Урусову в 1833 г. выдали замуж за кн. Л. Л. Радзивила. Француз А. Галле-де-Кюльтюр, долго живший в России, сообщает, что, благодаря своей женитьбе и своим услугам, кн. Радзивил пользовался большим расположением двора. Услуги были такого рода: после подавления польского восстания Радзивил, сам поляк, ездил, по поручению царя, к турецкому султану, чтоб добиться выдачи своих побежденных соотечественников, бежавших в Турцию. —

Третья княжна Урусова, Наталья, впоследствии была замужем за графом Кутайсовым.

Почти каждый день у Урусовых собирался тесный кружок друзей и знакомых, преимущественно молодых людей. Весною 1827 г. часто появлялся и Пушкин. Почти каждый вечер он проводил у Урусовых, был весьма весел, остер и словоохотлив. В рассказах, импровизациях и шутках бывал в это время неистощимым. Между прочим, он увлекал присутствовавших прелестною передачею русских сказок. Все общество соберется вечером вокруг большого круглого стола, и Пушкин поразительно увлекательно переносит слушателей в фантастический мир, населенный ведьмами, домовыми, лешими и пр. Материал, добытый им в долговременное пребывание в деревне, разукрашивался вымыслами его неистощимой фантазии, причем Пушкин искусно подделывался под колорит народных сказаний. Он увлекался одною из княжен Урусовых. Дошло его четырехстишие, обращенное к Софье Урусовой:

Не веровал я троице допыне,
Мне бог тройной казался все мудрен;
Но вижу вас и, верой одарен,
Молюсь трем грациям в одной богине.

Князь Вяземский сомневался в принадлежности этих стихов Пушкину и утверждал, что, во всяком случае, обращены они не к Софье; по его словам, Пушкин был влюблен в сестру ее Марию. Однако Мария уже с 1822 г. была замужем за Мусиным-Пушкиным и навряд ли жила в доме родителей.

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ СОЛОМИРСКИЙ

Племянник княгини Ек. Павл. Урусовой, побочный сын российского посла в Вене Д. П. Татищева от связи его с красавицею Н. А. Колтовскою, богатою владелицею пермских железных заводов. Недолго служил в артиллерии, потом перешел на гражданскую службу. Владел 1 100 душ во Владимирской губернии. В 1827 г., артиллерийским офицером, часто бывал у Урусовых. Он был человек образованный, хорошо знал английский язык, был поклонником Байрона и подражал ему в стишках; держался угрюмо и разочарованно. Он был очень неравнодушен к одной из красавиц-кузин Урусовых. Пушкин сблизился с Соломирским, подарил ему сочинения Байрона, сделав на книге весьма дружественную надпись. Тем не менее ревнивый и крайне самолюбивый Соломирский. чем чаще сходился с Пушкиным у Урусовых, тем становился угрюмее

и холоднее к нему. Особенное внимание, которое встречал Пушкин в этом семействе, и в особенности внимание молодой княжны, возбуждало в нем сильнейшую ревность. Однажды Пушкин, шутя и балагуря, рассказал что-то смешное про графиню А. В. Бобринскую. Соломирский, мрачно слушавший, сказал Пушкину вызывающим тоном:

— Как вы смели отозваться неуважительно о графине Бобринской? Я хорошо ее знаю, это во всех отношениях почтенная особа, и я не могу допустить оскорбительных об ней отзывов.

— Зачем же вы не остановили меня, когда я начинал рассказ? — возразил Пушкин. — Почему вы мне не сказали раньше, что знакомы с графиней Бобринской? А то вы спокойно выслушали весь рассказ, и потом каким-то дон-кихотом становитесь в защитники этой дамы и берете ее под свою протекцию.

Разговор в тот вечер не имел никаких последствий, и все разъехались по домам, не обратив на него внимания. Но на другой день рано утром Пушкин явился к Павлу Александровичу Муханову, драгунскому офицеру, также бывшему вчера у Урусовых. С обычною своею живостью Пушкин сообщил, что в это утро получил от Соломирского вызов на дуэль и немедленно ответил согласием, что у него уже был секундант Соломирского А. В. Шереметев и что он послал его для переговоров об условиях дуэли к нему, Муханову, которого и просит быть секундантом. Только что уехал Пушкин, к Муханову явился Шереметев. Муханов повел переговоры о мире. Но Шереметев, войдя серьезно в роль секунданта, требовал, чтобы Пушкин, если не будет драться, извинился перед Соломирским. Муханову долго пришлось убеждать Шереметева. Шереметев понял наконец, что эта история падет всем позором на головы секундантов в случае, если будет убит или ранен Пушкин, и что надо предотвратить эту роковую случайность и не подставлять лоб гениального поэта под пистолет взбалмошного офицера... Шереметев поспешил уговориться с Мухановым о средствах к примирению противников. В то же утро Шереметев привел Соломирского к С. А. Соболевскому, на Собачью площадку, у которого жил в это время Пушкин. Сюда же пришел Муханов, и, при дружных усилиях обоих секундантов, примирение состоялось. Подан был роскошный завтрак, и, с бокалами шампанского, противники, без всяких извинений и объяснений, протянули друг другу руки.

Дружеские отношения восстановились. До нас дошло письмо Соломирского к Пушкину из Тобольска от 1835 г. с обращением на «ты», где Соломирский пишет о популярности, какою пользуется Пушкин в Сибири. «Это письмо, — пишет Соломирский, — как доказательство не токмо того, что и в глубине России есть просвещение, но и того, что

степень сего просвещения довольно значительна, чтобы люди могли и умели ценить таланты, — должно быть для тебя и для всякого русского занимательно».

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ МУХАНОВ
(1797—1871)

Секундант Пушкина в предполагавшейся дуэли с Соломирским. В 1827 г. штабс-капитан лейб-гвардии драгунского полка, адъютант гр. П. А. Толстого, тогда командира 5-го пехотного корпуса в Москве. В шестидесятых годах был попечителем варшавского учебного округа и фактически заведывал всем гражданским управлением Польши, в которое наместник, кн. М. Д. Горчаков, человек военный, почти совсем не входил. Своими бюрократическими методами управления Муханов возбудил к себе всеобщую ненависть; когда в 1868 г. он был уволен в отставку, ему пришлось тайно покинуть Варшаву, чтоб избежать готовившейся ему на вокзале кошачьей музыки; и во всех городах, через которые он проезжал, его встречали враждебными демонстрациями. Впоследствии был членом государственного совета и председателем археографической комиссии; издал много ценных исторических документов — древних грамот, писем, указов и мемуаров.

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ШЕРЕМЕТЕВ
(1800—1857)

Секундант Соломирского в несостоявшейся дуэли его с Пушкиным. Офицер лейб-гвардии конной артиллерии, адъютант гр. П. А. Толстого. Сын Н. Н. Шереметевой, друга Гоголя, двоюродный брат поэта Ф. И. Тютчева, зять декабриста И. Д. Якушкина. Прозвище его было «цыган», по оливковому цвету лица. «Мой брат по крови и по лени», — называет его Тютчев в своем послании к нему.

ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА УШАКОВА
(1809—1872)

В годы, последовавшие за освобождением Пушкина из деревенской ссылки, в нем замечается жадно-беспокойное искание женского общества, он усердно знакомится с домами, где есть молодые девушки, влюбляется направо и налево, — как будто все время ищет ту, к которой легкое увлечение перешло бы в крепкую, серьезную любовь. В Москве—

Софья Пушкина, сестры Урусовы, сестры Ушаковы, Александрина Римская-Корсакова, Наталья Гончарова, в Петербурге — А. О. Россет, Оленина, в деревне — Евпраксия и Нетти Вульф, Катенька Вельяшева. Всех их он почти одновременно вмещает в своем сердце.

Среди увлечений этих особенно как-то весело-беззаботными и светло-интимными являются его отношения с сестрами Ушаковыми. Вскоре после приезда в Москву из ссылки Пушкин был в театре. Мгновенно по зале пронеслась весть, что он здесь; имя его повторялось в общем гуле, все лица, все бинокли обращены были на прославленного поэта, стоявшего между рядами и окруженного густою толпою. Здесь Ушаковы увидели его в первый раз. Вскоре Пушкин познакомился с ними и через некоторое время сделался у них своим человеком. Родители сестер, Николай Васильевич и Софья Андреевна Ушаковы, занимали довольно видное положение в московском большом свете. Они жили в глухой тогда Пресне, в собственном большом двухэтажном доме. Семья была музыкальная и интеллигентная, обе сестры учились пению у известных учителей, хорошо пели. В доме Ушаковых собирались знаменитые музыканты и певцы, бывали также писатели — кн. Шаликов, кн. Вяземский. Пушкин любил беседовать со старухой Ушаковой и часто просил ее диктовать ему известные ей русские народные песни и повторять их напевы. Обе ее дочери очень нравились ему. Они были красавицы и восторженные почитательницы Пушкина. Младшая, шестнадцатилетняя Елизавета, крепко уже любила тридцатичетырехлетнего полковника С. Д. Киселева, за которого через несколько лет вышла замуж. Пушкин преимущественно увлекался старшею сестрою, семнадцатилетнею Екатериной. Она была блондинка с синими глазами, с пепельными волосами, густые косы спускались до колен; резвая, шаловливая, лукаво-насмешливая. «Ни женщина, ни мальчик», — назвал ее Пушкин в надписи на поднесенном ей экземпляре своих стихов. Уже в первую зиму их знакомства в Москве заговорили, что Пушкин к ней неравнодушен. Одна московская девица писала в дневнике: «Повидимому, наш поэт, наш знаменитый Пушкин, намерен вручить ей судьбу жизни своей, ибо уж положил оружие свое у ног ее, т. е., сказать просто, влюблен в нее. Это общая молва. Я слышала, что Пушкин во все пребывание свое в Москве только и занимался, что Ушаковой: на балах, на гуляньях он говорил только с нею, а когда случалось, что в собрании Ушаковой нет, то Пушкин сидит целый вечер в углу задумавшись, и ничто уже не в силах развлечь его... В доме Ушаковых все напоминает о Пушкине: на столе найдете его сочинения, между нотами — «Черную шаль» и «Цыганскую песню», на фортепиано — его «Талисман», в альбоме — его картины, стихи и карикатуры, а на языке беспрестанно вертится имя

Пушкина». Пушкин бывал у Ушаковых иногда по два, по три раза в день, чувствовал себя у них свободно и непринужденно. Своею непоседливостью и необычным образом жизни он вызывал недоумение у ушаковской прислуги, а может быть, и у самих Ушаковых. Старый выездной лакей Ушаковых, Иван Евсеев, говаривал, что сочинители все делают не по-людски.

— Ну, что, прости господи, вчера он к мертвецам-то ездил? Ведь до рассвета прогулял на Ваганькове!

Вечером Евсеев заметил, что Пушкин, уезжая от Ушаковых, велел кучеру повернуть из ворот направо, к окраине города, а на рассвете видел, как он возвращался в карете обратно по Пресне.

3 апреля 1827 г. Пушкин написал в альбоме Екатерины Николаевны:

Когда, бывало, в старину
Являлся дух иль привиденье,
То прогоняло сатану
Простое это изречение:
«Аминь, аминь, рассыпься!» В наши дни
Гораздо менее бесов и привидений:
Бог ведает, куда девалися они.
Но ты, мой злой иль добрый гений,
Когда я вижу пред собой
Твой профиль и глаза, и кудри золотые,
Когда я слышу голос твой
И речи резвые, живые, —
Я очарован, я горю
И содрогаюсь пред тобою,
И сердцу, полному мечтою,
«Аминь, аминь, рассыпься!» говорю.

В мае 1827 г. Пушкин уехал в Петербург. Перед отъездом он был мрачен и невесел. Возможно, что его мучило незаконченное еще дело о непропущенном цензурою отрывке из его поэмы «Андрей Шенье», распространившемся в публике под заглавием «На 14 декабря». За несколько дней до отъезда он писал в альбоме Ушаковой:

В отдалении от вас
С вами буду неразлучен,
Томных уст и томных глаз
Буду памятью размучен;
Изнывая в тишине,
Не хочу я быть утешен, —
Вы ж вздохнете ль обо мне,
Если буду я повешен?

В Петербурге Пушкин увлекался А. О. Россет, А. А. Олениной. Рассказывают, что он даже сватался к Олениной, но получил отказ.

Когда в марте 1829 г. Пушкин опять приехал в Москву, он узнал, что Ек. Н. Ушакова помолвлена за некоего кн. Долгорукова. Пушкин воскликнул:

— С чем же я-то остался?

Екатерина Николаевна насмешливо ответила, намекая на отказ Олениной:

— С оленьими рогами.

Пушкин собрал сведения о Долгорукове, оказавшиеся очень неблагоприятными для жениха, и сообщил их отцу Ушаковой. Доказательства были настолько явны, что свадьба расстроилась. Пушкин опять стал постоянным посетителем Ушаковых. И опять — смех, шутки, веселые задирания друг друга, играющая легким хмелем влюбленность. Сестры знали об отказе Олениной, о новом увлечении Пушкина Натальей Гончаровой и жестоко высмеивали его в карикатурах. В альбоме младшей из сестер, Елизаветы, находим целый ряд таких карикатур. В одной из них Оленина протягивает Пушкину кукиш, и под рисунком подпись, сделанная Екатериной Николаевной:

Прочь, прочь отойди!
Какой беспокойный!
Прочь! прочь! Отвяжись,
Руки недостойный!

В ряде рисунков фигурирует Наталья Гончарова, которую Пушкин за ее неприступность назвал Карсом (турецкая крепость, славившаяся своей неприступностью). Под одним из этих рисунков подпись, сделанная женским почерком: «О, горе мне! Карс, Карс! Прощай, бел свет! Умру!» Летом Пушкин совершил путешествие в Арзерум. На обратном пути осенью 1829 г. прожил около месяца в Москве, снова все дни проводил у Ушаковых, заполнял альбомы обеих сестер стихами, рисунками и карикатурами. Дошел рисунок восточного города с минаретами и плоскими крышами домов, под рисунком подпись рукою Пушкина: «Арзрум, взятый (вставлено рукою Екатерины Николаевны: «мною. А. П.») помощию божией и молитвами Екатерины Николаевны 27 июня 1829 г. от Р. Х.». В октябре Пушкин уехал из Москвы. Он переписывался с Екатериной Николаевной. В январе 1830 г. писал ей из Петербурга:

Я вас узнал, о мой оракул,
Не по узорной пестроте
Сих недописаных каракул,
Но по веселой остроте,
Но по приветствиям лукавым,

Но по насмешливости злой
И по упрекам... столь неправым
И этой прелести живой.
С тоской невольной, с восхищеньем
Я перечитываю вас
И восклицаю с нетерпеньем:
Пора! в Москву! в Москву сейчас!
Здесь город чопорный, унылой,
Здесь речи — лед, сердца — гранит;
Здесь нет ни ветрености милой,
Ни муз, ни Пресни, ни харит.

А Вяземского он запрашивал: «Правда ли, что моя Гончарова выходит замуж? Что делает Ушакова, моя же?» В марте Пушкин приехал в Москву. Опять часто бывал у Ушаковых. Знакомые с любопытством следили за его отношениями с Екатериной Николаевной. Погодин писал в дневнике: «Говорят, что Пушкин женится на Ушаковой старшей и заметно степенничает». В. А. Муханов сообщал брату: «Ушакова меньшая идет за Киселева. О старшей не слышно ничего, хотя Пушкин бывает у них всякий день почти». Но сердце Пушкина уже целиком было занято Гончаровой. В начале апреля он вторично сделал ей предложение, и оно было принято. Имя Ек. Ушаковой навсегда исчезает из дальнейшей биографии Пушкина.

Уже после смерти поэта Ушакова вышла замуж за вдовца, коллежского советника Д. М. Наумова. По его требованию она уничтожила свои девические альбомы с рисунками и записями Пушкина. Пушкин однажды подарил ей золотой браслет с зеленой яшмою с турецкой надписью, который она носила на левой руке между плечом и локтем. Ревнивый Наумов браслет сломал, из золота велел сделать лорнет, а камень отдал отцу Екатерины Николаевны. Когда Екатерина Николаевна умирала, то приказала дочери подать шкатулку с письмами Пушкина и сожгла их. Дочь просила не жечь. Она ответила:

— Мы любили друг друга горячо, это была наша сердечная тайна; пусть она и умрет с нами.

Утраченные альбомы и письма во многом уяснили бы и уточнили наши сведения об отношениях, бывших между Пушкиным и Ушаковой. Здесь утрата особенно горька, хочется как можно больше знать об этой девушке, не только любившей Пушкина, но и умевшей его ценить. Не перейди ей дорогу пустенькая красавица Гончарова, втянувшая Пушкина в придворный плен, исковеркавшая всю его жизнь и подведшая под пистолет Дантеса, — подругою жизни Пушкина, возможно, оказалась бы Ушакова, и она сберегла бы нам Пушкина еще на многие годы.

ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА УШАКОВА
(1810—1872)

Тоже была очень хороша собой; была тоньше и стройнее сестры, с вздернутым слегка носиком и с очень милыми ямочками на розовых щеках. Вяземский воспел ее, изобразив майской розой, на венчике которой бог любви выдавил поцелуем две ямки; придет счастливец, и бог любви ему скажет:

Ты своей именуй
Розу, прелесть младую,
И, что дал поцелуй,
То присвой поцелую!

Этим счастливцем оказался полковник в отставке С. Д. Киселев. Елизавета Николаевна так рассказывает о возникновении своей любви к нему: «День оперы я ожидала с большим нетерпением. Признаюсь, не одна музыка привлекала меня туда. В первом ряду кресел я заметила постоянного посетителя оперы: то был Серг. Дм. Киселев. Он был мужчина средних лет, не красавец, но физиономии очень приятной. Им-то сердце мое наполнилось, мысль о нем меня смущала: я полюбила его страстно, но, будучи скрытного характера, — конечно, долго никто не подозревал о моей к нему любви. Мне минуло шестнадцать лет. характер мой переменился, я стала серьезнее и обдуманнее в обращении. Сердце билось, и мысли наполнились одним. Гвардейцы лучших фамилий посещали наш дом, иные дерзнули свататься за меня, но отказ был всем по молодости моих лет. Сергей Дмитриевич к нам не ездил. Вокруг меня были разговоры, что он никуда не ездит, оттого что занимается примадонной Анти (после узнала, что она была его любовница), которая никуда его не пускает от себя». Вскоре Елизавета Николаевна познакомилась с Киселевым, а в 1829 г. он стал ее женихом.

У Пушкина были с Елизаветой Николаевной весело-шутливые и дружеские отношения. Он написал для ее альбома следующие стихи:

Вы избалованы природой;
Она пристрастна к вам была,
И наша вечная хвала
Вам кажется докучной одой.
Вы сами знаете давно,
Что вас любить немудрено,
Что нежным взором вы Армида,
Что легким станом вы Сильфида,
Что ваши алые уста,
Как гармоническая роза...

И наши рифмы, наша проза
Пред вами — шум и суета.
Но красоты воспоминанье
Нам сердце трогает тайком, —
И строк небрежных начертанье
Вношу смиренно в ваш альбом.
Авось на память поневолс
Придет вам тот, кто вас певал
В те дни, как Пресненское поле
Еще забор не заграждал.

Пушкин преподнес Елизавете Николаевне эти стихи без подписи. Она спросила, почему он не подписал своего имени. Пушкин, как будто оскорбленный, воскликнул:

— Так вы находите, что под стихами Пушкина нужна подпись? Проститесь с этим листком: он недостоин чести быть в вашем альбоме.

И хотел разорвать листок. Елизавета Николаевна кинулась к Пушкину и стала отнимать. Произошла борьба. В конце концов листок остался в руках Елизаветы Николаевны, совершенно измятый, с оторванным углом. Она заставила Пушкина подписаться под стихами, причем для верности держала листок обеими руками. До нас дошел этот измятый и порванный листок с подписью Пушкина, сделанною другими чернилами.

Один из альбомов Елизаветы Николаевны сохранился до настоящего времени. Первоначально это был чистенький альбом с золотым обрезом, украшенный русскими и французскими стихами неизвестных в литературе лиц; но потом он был предоставлен в распоряжение Пушкина, который весь альбом испестрил своими карикатурами, портретами и надписями. И не только сам Пушкин. Альбом представляет форменное поле сражения, на котором Пушкин, с одной стороны, и сестры Ушаковы, с другой, шутливо пикировались, задирали и высмеивали друг друга. О подтрунивании над Пушкиным по поводу отказа Олениной и ухаживаний его за Гончаровой см. главу об Ек. Ушаковой. Главным предметом подшучиваний Пушкина над Елизаветой Николаевной были любовь ее к Киселеву и будущая их семейная жизнь. Пушкин неизменно изображал Ушакову уже в чепчике замужней дамы, Киселева — в виде кота (от начальных букв его фамилии — кис-кис), а будущих детей их — в виде котят. На одном рисунке, например, Елизавета Николаевна, в дамском чепчике и в очках (она была близорука), стоит перед пюпитром, собираясь петь, кругом — котята, а на пюпитре сидит влюбленный кот и дирижирует лапкой. Однажды, когда жених и невеста мечтали в присутствии Пушкина о будущей своей жизни, Пушкин нарисовал в альбоме картину ждущей их семейной идиллии:

изба, отведенная под квартиру женатого офицера, хозяева, забравшись на полати, глядят оттуда на постояльцев, посреди комнаты люлька с ребенком, отец качает ее, мать стряпает на лавке; около матери сидят, поджав лапки, котята — предзнаменование будущего многочисленного потомства молодых супругов.

Приехав в марте 1830 г. в Москву, Пушкин писал Вяземскому: «Киселев женится на Л. Ушаковой, и Катерина говорит, что они счастливы до гадости». Вскоре Елизавета Николаевна и Киселев поженились.

В упомянутом ушаковском альбоме находится, между прочим, знаменитый «дон-жуанский список» Пушкина — сделанный им поименный перечень женщин, которых он любил. Об этом списке не раз уже упоминалось в этой книге. Приведем его здесь. Список состоит из двух частей: в первой — шестнадцать имен женщин, которых, повидимому, Пушкин любил всего сильнее; во второй, более длинной, — имена предметов не столь серьезных увлечений.

Первый список. Наталья I (графиня Нат. Кочубей? крепостная актриса Наталья?), Катерина I (Бакунина), Катерина II (актриса Ек. Сем. Семенова?), N. N. (Мария Раевская?), кн. Авдотья (Голицына-Ночная), Настасья (?), Катерина III (Раевская-Орлова?), Аглая (Давыдова), Калипсо (Полихрони), Пульхерия (Варфоломей), Амалия (Ризнич), Элиза (гр. Воронцова), Евпраксея (Вульф), Катерина IV (Ушакова), Анна (Оленина), Наталья (Гончарова).

Второй список. Мария, Анна, Софья, Александра, Варвара, Вера, Анна, Анна, Анна, Варвара, Елизавета, Надежда, Аграфена, Любовь, Ольга, Евгения, Александра, Елена. Некоторые из этих имен можно расшифровать с большею или меньшею уверенностью: Аграфена — Закревская, три Анны — Анна Ник. Вульф, Нетти Вульф и А. П. Керн. О других именах возможны только предположения, ряд имен совсем не поддается разгадке.

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ КИСЕЛЕВ
(1792—1851)

Брат генерала П. Д. Киселева, впоследствии министра государственных имуществ и графа. Служил в лейб-гвардии егерском полку, в 1821 г. вышел в отставку и жил в Москве. Пушкин находился с ним в приятельских отношениях, они были на «ты», вместе кутили. Дошла коллективная записка Вяземского, Бологовского, Пушкина и Киселева (1828—1829) к «Американцу»-Толстому такого содержания: «Сейчас узнаем, что ты здесь, сделай милость приезжай. Упитые винами, мы

жаждем одного: тебя». В 1830 г. Киселев женился на Елизавете Ушаковой. С 1837 г. был московским вице-губернатором, с 1838 — председателем московской казенной палаты.

МАРИЯ ИВАНОВНА РИМСКАЯ-КОРСАКОВА

(Род. в середине шестидесятых годов XVIII в. — ум. в 1832 г.)

Рожденная Наумова, вдова камергера. Кн. Вяземский пишет: «М. И. Римская-Корсакова должна иметь почетное место в преданиях хлебосольной и гостеприимной Москвы. Она жила открытым домом, давала часто обеды, вечера, разные увеселения; красавицы-дочери ее были душою и прелестью этих собраний. Сама Мария Ивановна была тип московской барыни в хорошем и лучшем значении этого слова. Старый век и новый век слились в ней в разнообразной стройности и придавали личности ее особенное и привлекательное значение». Если таковы были лучшие типы московских барынь, то можно себе представить, каковы были типы худшие. Корсакова была богата: в Рязанской, Тамбовской и Пензенской губерниях у нее были две с половиною тысячи душ крестьян. Жила она однако «уж очень размашисто» и вечно была в долгах. В городе про нее говорили: «Должна целому городу, никому не платит, а балы дает да дает». Для себя и для детей своих Корсакова стремилась превратить жизнь в один сплошной увеселительный праздник — в этом были цель и смысл всего ее существования. Одна из дочерей ее писала, перечисляя выезды за неделю: «В субботу танцовали до пяти часов утра у Оболенских, в понедельник до трех — у Голицына, в четверг предстоит костюмированный бал у Рябининой, в субботу— вечер у Оболенских, в воскресение званы к гр. Толстому на завтрак, после которого будут танцы, а вечером в тот же день придется плясать у Ф. Голицына. И так всю зиму без перерыва, и все эти балы так оживлены, что приходится вертеться до изнеможения, а потом полдня лежишь в кровати от усталости». Великие танцовальные труды эти не проходили для участниц даром. «В нынешнем году,—пишет она же, — многие поплатились за танцы. Бедная княжна Шаховская опасно больна. У нас умирает маленькая графиня Бобринская от простуды, схваченной на бале». Вот — устроенная самою Марьей Ивановной folle journée, о которой уже за неделю говорили по всей Москве: завтракали у Марьи Ивановны, затем катались по городу и предместьям, — было тридцать саней, до ста приглашенных, после катанья закусывали у Ф. Голицына, а кончили день балом в Собрании.

Марья Ивановна была женщина очень энергичная; она усиленно старалась пристроить своих дочерей, даже открыто наседала на наме-

ченного жениха с требованием сделать предложение, указывая, что он уже компрометировал ее дочь; напористо наседала и на важных особ, включая самого царя, устраивая карьеры своих сыновей. Была большая сплетница, с очень злым язычком, и умела мстить врагам: проиграв процесс с Меньшиковыми, она всюду рассказывала, что эти Меньшиковы «родились от матери, но не дети своего отца». Нравом была крута. Однажды собралась в театр, а спектакль отменили, потому что директор театра Ф. Ф. Кокошкин уехал за город со своею любовницей-актрисой. Корсакова вызвала к своей карете служащего из театральной конторы, узнала, что спектакль вправду не состоится, и сказала:

— Передайте Федору Федоровичу Кокошкину, что он дурак. Пошел домой!

И, отъезжая, величественно пояснила:

— Я — Марья Ивановна Римская-Корсакова.

Мораль ее ярко сказывается в письмах к любимому сыну Грише: «Надо к службе рвение, если и не в душе его иметь, но показывать: дойдет до ушей всевышнего (т. е. царя), — вот и довольно, на голове понесут». — «У кого дядюшки есть, тем лучше на свете жить: из мерзости вытащат и помогут». — «Не должно ничем пренебрегать; лучше доброе слово не в счет, нежели скажут: гордец. Приласкать человека не много стоит». Была богомольна. Когда возвращалась с бала, не снимая платья, отправлялась в церковь вся разряженная; в перьях и бриллиантах отстаивала утреню и тогда возвращалась домой отдыхать. Дом ее был большой, просторный, в два этажа и в два десятка комнат, с залой, умещавшей в себе маскарады и балы на сотни персон и благотворительные концерты. Фасад дома выходил на Страстную площадь. В недавнее время в доме этом помещалась 7-я мужская гимназия, а теперь — Коммунистический университет трудящихся Востока. По преданию, именно в этом доме разыгрывается действие «Горя от ума». Рассказывают, что однажды на балу у Корсаковой Грибоедов сильно нападал на пристрастие москвичей ко всему французскому. Это вызвало общее изумление и негодование. Все порешили, что Грибоедов сошел с ума. Весть быстро распространилась по городу, многие заезжали к Грибоедову справляться об его здоровье. Грибоедов сказал: «Я же им докажу, что я не сошел с ума». И написал «Горе от ума».

ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ РИМСКИЙ-КОРСАКОВ

Сын предыдущей, приятель Пушкина и Вяземского. Служил в военной службе, участвовал в наполеоновских войнах, сильно кутил и проказил, подвергался часто взысканиям; матери много приходилось за

него хлопотать. В 1821 г. он был полковником лейб-гвардии Московского полка в Петербурге. На каком-то балу он расстегнул за ужином мундир. Командир гвардейского корпуса Васильчиков послал сказать ему, что совершенно недопустимо расстегиваться в присутствии начальников, и что поэтому он просит его — оставить корпус. Корсаков подал в отставку — совсем. Александр I был в это время в Троппау. На представлении Васильчикова об увольнении Корсакова в отставку с мундиром царь положил резолюцию: «Мундира Корсакову не давать, ибо замечено, что оный его беспокоит». Впрочем, расстегнутый мундир был только предлогом; было перлюстрировано какое-то письмо Корсакова «весьма дурного тона», — повидимому, касающееся кары, постигшей Семеновский полк после известной семеновской истории.

Выйдя в отставку, Корсаков проживал преимущественно в Москве, жуировал, был усердным танцором. «Особенно памятна мне одна зима или две, — вспоминает Вяземский, — когда не было бала в Москве, на который бы не приглашали Григ. Ал. Корсакова и меня. После пристал к нам и Пушкин. Знакомые и незнакомые зазывали нас и в Немецкую слободу, и в Замоскворечье. Наш триумвират в отношении к балам отслуживал службу свою, наподобие бригадиров и кавалеров св. Анны, непременных почетных гостей, без коих обойтиться не могла ни одна купеческая свадьба, ни один именинный обед...» Многие годы Корсаков был на виду у московского общества. Все знали его, везде его встречали. Он был одним из первозванных московских львов. Видный собою мужчина, рослый, плечистый, с частым подергиванием плеча, он был на примете везде, куда ни являлся. Умственная физиономия его была также резко очерчена. Он был задорный, ярый спорщик, несколько властолюбивый в обращении и мнениях своих. В Английском клубе часто раздавался его сильный и повелительный голос. Корсаков непрочь был иногда пошалить — в таком, например, роде. Однажды, за обедом в Английском клубе, он заметил, что у его соседа очень крупные икры, не подходившие к его сухой фигуре; Корсакову захотелось проверить, не накладные ли у него икры, нагнулся, как будто что-то поднять, и воткнул в икру вилку. После обеда сосед встал и, ничего не замечая, стал прохаживаться с болтавшеюся на икре вилкою. Корсаков позволял себе кое-что и похуже. В своем пензенском имении он, рассердясь, так избил одного татарина, что тот чуть не умер, и соседу его А. А. Тучкову, пользовавшемуся среди татар большою популярностью, еле удалось успокоить сбежавшихся татар. Вяземский, однако, замечает, что Корсаков был замечательный человек по многим нравственным качествам и по благородству характера. Н. А. Тучкова-Огарева, жена поэта Огарева, с своей стороны, тоже считает Корсакова одним из самых вы-

дающихся людей по оригинальному складу ума, познаниям, необыкновенной энергии и редкой независимости характера. «Если бы он родился на Западе, — замечает она, — то ему выпала бы на долю одна из самых блестящих ролей в общественной жизни, а у нас в то время не было места таким личностям».

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА РИМСКАЯ-КОРСАКОВА
(1803—1860)

Дочь Мар. Ив. Корсаковой. Высокая и стройная, с бархатными глазами. Была, по отзыву матери, «с характером». Четырнадцати лет все шесть недель великого поста упрямо ела только пустые щи да кашу, хотя все в доме ели и рыбу. Шестнадцати лет, живя позднею осенью в деревне, на пари сходила в полночь, одна, на кладбище и положила на условленную могилу платок, — «даже камушек положила, чтобы ветром не унесло». Вообще, как говорила мать, если бы она что твердо предприняла, то верно сделала бы.

Пушкин познакомился с Корсаковыми вскоре после приезда в Москву из деревенской ссылки. Судя по некоторым данным, он в 1826—1827 гг. увлекался Александрой Александровной. Подробностей мы не знаем, но какие-то влюбленные отношения были. В мае 1827 г. Марья Ивановна с дочерью уезжала на Кавказ. Пушкин дал ей письмо к брату своему Льву, где с шутливою ревнивостью писал: «...прошу не влюбиться в дочь». Когда в декабре 1828 г. Пушкин приехал в Москву, Вяземский писал А. Тургеневу: «Пушкин ни в кого еще не влюбился, а старые любви его немного отшатнулись. Вчера должен он был быть у Корсаковой, не знаю еще, как была встреча». А через месяц писал ему же: «Пушкин что-то во все время был не совсем по себе. Не умею объяснить, ни угадать, что с ним было, но он не был в ударе. Постояннейшие его посещения были у Корсаковых и у цыганок; и в том, и в другом месте видел я его редко, но видал с теми и другими, и все не узнавал прежнего Пушкина». По дважды повторенному свидетельству Вяземского, Пушкин имел в виду А. А. Корсакову в следующей строфе седьмой главы «Онегина»:

У ночи много звезд прелестных,
Красавиц много на Москве,
Но ярче всех подруг небесных
Луна в воздушной синеве.
Но та, которую не смею
Тревожить лирою моею,
Как величавая луна,

Средь жен и дев блестит одна.
С какою гордостью небесной
Земли касается она!
Как негой грудь ее полна!
Как томен взор ее чудесный!
Но полно, полно, перестань,
Ты заплатил безумству дань!

Александра Александровна начала полнеть, страдала приливами крови к голове. В Париже один врач посоветовал ей пустить себе кровь. Она послала за кровопускателем и велела пускать себе кровь до обморока. От этого она так ослабела, что некоторое время боялись за ее жизнь. Умереть она не умерла, но так подорвала свое здоровье, что стала совсем хилою.

В 1832 г., двадцати девяти лет, Александра Александровна вышла замуж за пензенского помещика, отставного офицера кн. А. Н. Вяземского. Он когда-то состоял членом Северного тайного общества и после декабрьских событий был переведен из кавалергардского полка в армейский драгунский полк. Был он человек самонравный, страстный картежник, выигрывал и проигрывал десятки тысяч. Брак их не был счастлив. Александра Александровна своею расточительностью тоже порядком расстроила состояние мужа. Жизнь она вела совершенно бездеятельную. Живя в Москве, ложилась спать в три-четыре часа ночи, спала до второго часа дня, утренний чай пила в четвертом часу, обедала в семь. С прислугою обращалась высокомерно и грубо, изводила ее, домашних и мужа своими прихотями и брезгливостью. От постели к туалетному столу шла не иначе, как по белым простыням. Стул, на который садилась, тоже должен был быть покрыт чистой простыней. Девушка причесывала барыню в бумажных белых перчатках. Потом начиналось бесконечное умывание с бесконечными покрикиваниями на горничную:

— Ах, как ты глупа, да ты, кажется, с ума сошла! Ты ничего делать не умеешь! Что с тобой сегодня, ты совсем поглупела!

Одевалась она часа два-три. Потом подавали чай. Человек в белых перчатках должен был нести поднос в салфетке так, чтобы даже перчатками не коснуться подноса. И опять:

— Не трогай рукой! Ты хочешь, чтоб я ничего не ела? Я не стану после этого пить, это просто противно, как ты подаешь!

В особенности мучила она своих детей и горничных в дороге. К карете горничная должна была итти в калошах, при входе в карету человек должен был с нее калоши снять, — не дай бог коснуться пола кареты калошей. В карете горничная не смела ни прикоснуться ногой к ноге барыни, ни шевельнуться, ни кашлянуть.

Граф ФЕДОР ИВАНОВИЧ ТОЛСТОЙ (АМЕРИКАНЕЦ)
(1782—1846)

Бреттер, кутила, карточный игрок, — «необыкновенный, преступный и привлекательный человек», по отзыву Льва Толстого. Обучался в морском корпусе, оттуда поступил в лейб-гвардии Преображенский полк. В августе 1803 г. отправился в кругосветное плавание в экспедиции адмирала Крузенштерна. За буйное поведение, не поддававшееся никакому воздействию, Крузенштерн высадил Толстого на берег Камчатки или на один из Алеутских островов, где Толстой несколько месяцев прожил среди дикарей. В Россию он вернулся сухим путем через Сибирь в 1805 году. Немедленно по приезде в Петербург он был переведен из Преображенского полка в гарнизон Нейшлотской крепости (очевидно, в связи с полученными сведениями об его поведении в морской экспедиции), с воспрещением въезжать в столицу. В 1808—1809 гг. участвовал в русско-шведской войне, где выказал безумную храбрость. Между прочим, благодаря его смелой разведке, Барклай-де-Толли совершил свой знаменитый переход по льду Ботнического залива и неожиданно явился на берегах Швеции, что привело к окончанию войны. В 1811 г. Толстой на дуэли «прострелил» капитана генерального штаба Брунова и убил наповал офицера лейб-егерского полка Нарышкина. За последнюю дуэль он был разжалован в рядовые и заключен в Выборгскую крепость. В 1812 г. жил частным человеком в своей калужской деревне. При нашествии Наполеона поступил опять на военную службу в качестве ратника московского ополчения, на войне вернул себе чин и ордена, получил Георгия, при Бородине был тяжело ранен в ногу. Вышел в отставку полковником и поселился в Москве, в Староконюшенном переулке, изредка наезжая в Петербург и проводя лето в своей подмосковной деревне.

Жил на широкую ногу, вел большую карточную игру, не всегда чистую, имел ряд дуэлей, иногда самого фантастического свойства. С. Л. Толстой со слов отца своего Л. Н. Толстого рассказывает такой случай. На одном вечере приятель Толстого сообщил ему, что только что был вызван на дуэль, и просил его быть его секундантом. Толстой согласился, дуэль назначили на другой день, в 11 часов утра. Приятель должен был заехать к Толстому и вместе с ним отправиться на место дуэли. Назавтра приятель в условленное время приехал к Толстому, застал его спящим и разбудил. Толстой спросил спросонья:

— В чем дело?

Приятель робко сказал:

— Разве ты забыл, что ты обещал быть моим секундантом?

— Это уж не нужно. Я его убил.

Оказалось, что накануне Толстой, не говоря ни слова своему приятелю, вызвал его обидчика, условился стреляться в шесть часов утра, убил его, вернулся домой и лег спать. Герцен рассказывает про Толстого: «Он буйствовал, дрался, обыгрывал, уродовал людей, разорял семейства... Женатый на цыганке, известной своим голосом, он превратил свой дом в игорный, проводил все время в оргиях и все ночи за картами». Это про него писал Грибоедов в «Горе от ума»:

Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом
И крепко на руку нечист;
Да умный человек не может быть не плутом;
Когда ж об честности высокой говорит,
Каким-то демоном внушаем:
Глаза в крови, лицо горит,
Сам плачет, и мы все рыдаем.

Встретясь после этого с Грибоедовым, Толстой спросил его:

— Зачем ты обо мне написал, что я крепко на руку нечист? Подумают, что я взятки брал.

— Но ты же играешь нечисто.

— Только то? Ну, ты так бы и написал!

Один из друзей Толстого, в разговоре с молодой женщиной, вспоминал о нем так: «Таких людей уже нет. Если бы он вас полюбил, и вам бы захотелось вставить в браслет звезду с неба, он бы ее достал. Для него не было невозможного, и все ему покорялось. Клянусь вам, что в его присутствии вы не испугались бы появления льва. А теперь что за люди? Тряпье!»

С годами Толстой остепенился, крупную игру продолжал вести, но играл добросовестно. Стал очень богомолен и суеверен, его мучили угрызения совести, он каялся, молился и клал земные поклоны. Убитых им на дуэлях Толстой насчитывал одиннадцать человек. Он аккуратно записывал имена убитых в свой синодик. У него было двенадцать человек детей, которые все умерли в младенчестве, кроме двух дочерей. По мере того, как умирали дети, он вычеркивал из своего синодика по одному имени из убитых им людей и ставил сбоку слово «квит». Когда же у него умер одиннадцатый ребенок, прелестная, умная девочка, он вычеркнул последнее имя убитого и сказал: «Ну, слава богу, хоть мой курчавый цыганеночек будет жив». Этот «цыганеночек», Прасковья, действительно, осталась жива. Рассказывали, что умер он во время молитвы, простершись перед образами.

«Он был прекрасно образован, — рассказывает про Толстого Бул-

гарин, — говорил на нескольких языках, любил музыку и литературу, много читал и охотно сближался с артистами, литераторами и любителями словесности и искусств. Умен он был, как демон, и удивительно красноречив. Он любил софизмы и парадоксы, и с ним трудно было спорить. Впрочем, он был, как говорится, добрый малый, для друга готов был на все, охотно помогал приятелям, но и друзьям и приятелям не советовал играть с ним в карты, говоря откровенно, что в игре, как в сраженьи, он не знает ни друга, ни брата, и кто хочет перевести его деньги в свой карман, у того и он имеет право выиграть». Толстой был хорош с кн. Вяземским, Жуковским и другими писателями.

Пушкин познакомился с Толстым в Петербурге, до высылки своей, был с ним в приятельских отношениях. В письме к драматургу Шаховскому Толстой сообщил сплетню, будто Пушкина за его вольные стихи высекли в Тайной канцелярии. До Пушкина сплетня дошла уже на юге и привела его в бешенство. Он решил при первой возможности вызвать Толстого на дуэль. В течение всех шести лет своей ссылки Пушкин усердно упражнялся в стрельбе из пистолета, чтоб достойно встретить у барьера своего страшного противника. А пока осыпал его эпиграммами. В 1820 г. писал:

В жизни мрачной и презренной
Был он долго погружен,
Долго все концы вселенной
Осквернял развратом он, —
Но, исправясь понемногу,
Он загладил свой позор
И теперь он, — слава богу, —
Только что картежный вор.

В 1821 г. Пушкин поместил в «Сыне отечества» свое послание к Чаадаеву, где о Федоре Толстом говорилось так:

Что нужды было мне в торжественном суде
Глупца-философа, который в прежни лета
Развратом изумил четыре части света,
Но, просветив себя, загладил свой позор,
Отвыкнул от вина и стал картежный вор.

Толстой ответил Пушкину следующей эпиграммой:

Сатиры нравственной язвительное жало
С пасквильной клеветой не сходствует ни мало.
В восторге подлых чувств ты, Чушкин, то забыл.
Презренным чту тебя, ничтожным сколько чтил.
Примером ты рази, а не стихом пороки,
И вспомни, милый друг, что у тебя есть щеки.

Он послал свою эпиграмму для напечатания в «Сын отечества», но редакция отказалась ее напечатать. 1 сентября 1822 г. Пушкин писал Вяземскому по поводу своего выпада против Толстого: «Ты говоришь, что стихи мои никуда не годятся. Знаю, но мое намерение было не заводить остроумную литературную войну, но резкой обидой отплатить за тайные обиды человека, с которым расстался я приятелем и которого с жаром защищал всякий раз, как представлялся к тому случай. Ему показалось забавно сделать из меня неприятеля и смешить на мой счет письмами чердак князя Шаховского, я узнал обо всем, будучи уже сослан, и, почитая мщение одной из первых христианских добродетелей,— в бессилии своего бешенства закидал издали Толстова журнальною грязью. Ты упрекаешь меня в том, что из Кишинева, под эгидою ссылки, печатаю ругательства на человека, живущего в Москве. Но тогда я не сомневался в своем возвращении. Намерение мое было ехать в Москву, где только и могу совершенно очиститься. Столь явное нападение на графа Толстова не есть малодушие. Сказывают, что он написал на меня что-то ужасное. Журналисты должны были принять отзыв человека, обруганного в их журнале. Можно подумать, что я с ними за одно, и это меня бесит. Впрочем, я свое дело сделал, и на бумаге более связываться не хочу».

В 1826 г., по приезде из ссылки в Москву, Пушкин немедленно поручил Соболевскому на следующий же день съездить к Толстому и передать ему вызов на дуэль. К счастью, Толстого в то время в Москве не оказалось. А затем приятелям удалось помирить врагов. Пушкин сблизился с Толстым, нередко видался с ним в приезды свои в Москву, кутил с ним. Оригинальная и красочная фигура Американца-Толстого должна была привлекать Пушкина, любившего все яркое, что выделялось тем или другим из серой обывательской массы. В 1829 г. Пушкин через Толстого сватался за Гончарову. Это говорит об их тогдашней близости.

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ БУЛГАКОВ
(1781—1863)

Московский почт-директор, типическая фигура старой Москвы. Побочный сын известного дипломата Я. И. Булгакова, тогда чрезвычайного посланника в Турции, от гречанки или итальянки, родился в Константинополе. В молодости служил по дипломатическому ведомству, при русских миссиях в Неаполе и Вене. В 1832 г., в чине действительного статского советника и в звании камергера, назначен московским почт-

директором. Кн. Вяземский рассказывает: «Тут был он совершенно в своей стихии. Он получал письма, писал письма, отправлял письма, словом сказать, купался и плавал в письмах, как осетр в Оке. Московские барыни закидывали его любезными записочками с просьбою переслать прилагаемое письмо или выписать что-нибудь из Петербурга или Парижа... Казенные интересы могли немножко страдать от его любезности; но зато почт-директор был любимец прекрасного пола». «Ты рожден гусем, — писал Булгакову Жуковский, — т. е. все твое существо утыкано гусиными перьями, из которых каждое готово без устали писать с утра до вечера очень любезные письма». Булгаков кое-что пописывал и печатал, но собственно литература его, говорит Вяземский, была обширная его переписка. В этом отношении он, поистине, был писатель, и писатель плодовитый и замечательный. Особенно интересна его переписка с младшим братом К. Я. Булгаковым, петербургским почт-директором. Они, благодаря своему положению, могли переписываться откровенно, не опасаясь нескромной зоркости постороннего глаза. Весь быт, все движение государственное и общественное, события и слухи, дела и сплетни, учреждения и лица, — все это, с верностью и живостью, выразило себя в этих письмах. Это были образованные, стоящие в центре русской жизни Добчинский и Бобчинский, аккуратно, изо дня в день, осведомлявшие друг друга о всех «чрезвычайных происшествиях». Кроме того, А. Я. Булгаков был «славный перлюстратор»; распечатывал чужие письма не только по долгу службы, но и из простого любопытства; развязность его в этом отношении доходила до того, что в чужих письмах, адресованных его знакомым, он приписывал строки от себя. Одна из дочерей Булгакова, красавица Ольга Александровна, «Курноска», как ее называл отец, за три недели до свадьбы Пушкина вышла замуж за чиновника особых поручений при московском военном губернаторе, кн. А. С. Долгорукова, вскоре обратила на себя милостивое внимание Николая и, к искреннейшей радости отца, стала наложницей императора.

По характеру своему, общительному, но слишком суетливому и угодливому, Булгаков не пользовался тем уважением, которое подобало бы ему как сановнику, занимавшему видный пост почт-директора: несмотря на его дружеские связи с Жуковским, Вяземским и др., невзирая на широкую его популярность, отношение к Булгакову было несколько пренебрежительное. В 1856 г. Булгаков был уволен из почтового ведомства с назначением в сенат. Вяземский рассказывает: «Он был поражен этим, как громом. До того времени бодро нес он свою старость. Сложения худощавого, поджарый, всегда державшийся прямо, отличающийся стройной талией черкеса, необыкновенной живостью в

движениях и речи, — он вдруг осунулся телом и духом. Осталась только тень прежнего Булгакова, темное предание о живой старине».

К Пушкину Булгаков относился с глубочайшим недоброжелательством. Еще до личного знакомства с ним, по поводу высылки Пушкина из Одессы, Булгаков писал брату: «О Пушкине, несмотря на прекрасные его стихотворения, никто не пожалеет. Кажется, Воронцов и добр, и снисходителен, а и с ним не ужился этот повеса. Будет, живучи в деревне, вспоминать Одессу, да нельзя уж будет пособить». По приезде в Москву из деревенской ссылки Пушкин читал у Вяземского своего «Бориса Годунова», здесь с ним Булгаков познакомился и писал брату: «Я познакомился с поэтом Пушкиным. Рожа ничего не обещающая».

Пушкин, если верить Булгакову, усиленно добивался быть принятым в его семье, но Булгаков отговаривался болезнью. Наконец, по усиленным просьбам Пушкина, Вигель ввел его в дом Булгакова в марте 1829 г. Пушкин был очень любезен, ужинал и пробыл до двух часов ночи. Красавицы-дочери Булгакова ухаживали за ним, одна из них, Катя, пела ему его стихи, положенные на музыку Геништою и Титовым. Узнав, что Пушкин едет на театр военных действий в армию Паскевича, она воскликнула:

— Ах, не ездите! Там убили Грибоедова!

— Будьте покойны, сударыня, — ответил Пушкин. — Неужели в одном году убьют двух Александров Сергеевичей?

Другая дочь, «курноска-Лелька» (Ольга), сказала:

— Байрон поехал в Грецию и там умер; не ездите в Персию, довольно вам и одного сходства с Байроном.

Жена Булгакова уговаривала Пушкина избрать большой исторический отечественный сюжет и написать что-нибудь достойное его пера, но Пушкин уверял, что никогда не напишет эпической поэмы. Ему очень понравилось, что у Булгаковых говорили по-русски, а не по-французски.

Когда Пушкин стал женихом Гончаровой, Булгаков сообщал о нем брату такого рода сведения: «Кто-то, увидав Пушкина после долгого отсутствия, спрашивает его: «Что это, дорогой мой, мне говорят, что вы женитесь?» — «Конечно, — ответил тот. — И не думайте, что это будет последняя глупость, которую я совершу в своей жизни». Каков молодец! Приятно это должно быть для невесты. Охота итти за него!» За два дня до свадьбы Пушкина писал: «В городе опять начали поговаривать, что Пушкина свадьба расходится; это скоро должно открыться: середа последний день, в который можно венчать. Невеста, сказывают, нездорова. Он был на бале у наших (княгини О. А. Долгоруковой, дочери Булгакова), танцовал, после ужина скрылся. Где Пушкин?—я спро-

сил, а Гриша Корсаков серьезно отвечал: «Он ведь был здесь весь вечер, а теперь отправился навестить невесту». Хорош визит в пять часов утра и к больной! Нечего ждать хорошего, кажется; я думаю, что не для нее одной, но и для него лучше было бы, кабы свадьба разошлась». А через неделю после свадьбы Булгаков извещал брата, что Пушкину приписывают стишки на женитьбу, приблизительно такого содержания: хочешь быть в раю, — молись, хочешь быть в аду, — женись. «Полагаю, — прибавлял он, — что не мог он их написать неделю после венца».

В августе 1833 г. Пушкин, остановившись проездом в Москве по дороге в Оренбург, получил от Булгакова карточку с приглашением на именинный вечер его жены. Пушкин не поехал «за неимением бального платья и за небритие усов», а на следующий день ездил к Булгакову извиняться и благодарить, «а между прочим, — писал он жене, — и выпросить лист для (станционных) смотрителей, которые очень мало меня уважают, несмотря на то, что я пишу прекрасные стишки».

Лето 1834 г. Пушкин проводил в Петербурге и печатал «Историю пугачевского бунта», а жена его с детьми жила в Калужской губернии. В одном из писем к ней Пушкин с горечью писал о своем придворном пленении, о том, что царь упек его под старость лет в камер-пажи. «Не дай бог нашему Сашке (сыну) итти по моим следам, писать стихи и ссориться с царями». Булгаков перехватил в Москве это письмо и отправил в Третье отделение, а Бенкендорф доложил царю. Жуковскому с трудом удалось уладить дело. Взбешенный Пушкин написал жене письмо, где просил ее быть осторожною в письмах, потому что в Москве состоит почт-директором негодяй Булгаков, который не считает позорным ни распечатывать чужие письма, ни торговать собственными дочерьми. Это письмо до Наталии Николаевны не дошло, — но и в Третье отделение переслано Булгаковым не было.

Князь НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ ЮСУПОВ
(1751—1831)

Потомок владетельного ногайского князя Юсуф-Мурзы, сын кн. Б. Г. Юсупова, московского губернатора, потом президента коммерц-коллегии. Был близок к царскому двору. В молодости много путешествовал за границей, снабженный рекомендательными письмами Екатерины II к разным европейским государям и писателям. Радушно был принят при французском дворе Людовика XVI, не раз посещал Иосифа II в Вене и Фридриха Великого в Берлине; был в Фернее у Вольтера, встречался в Париже с Дидро, в Лондоне — с Бомарше. Бомарше писал ему:

Cher prince, qui voulez tout voir.
Et tout apprendre et tout savoir.

(Вы хотите все видеть, и всему научиться, и все знать).

Юсупов дружил с Кановой, был в сношениях с художниками Грезом, Давидом, Ангеликой Кауфман и др. — Прохождение государственной службы Юсупова было такое: в восьмидесятых годах несколько лет был посланником в Турине, потом управляющим театрами и Эрмитажем, президентом мануфактур-коллегии, при Александре I недолгое время министром уделов, состоял верховным маршалом в комиссиях о коронации трех императров — Павла I, Александра I и Николая I. Последние десятилетия жизни был начальником московской Кремлевской экспедиции. Все должности, как видим, не очень крупного размаха, да и в них Юсупов не проявил какой-нибудь очень уж исключительной деятельности. Однако он носил наивысший существующий в России чин действительного тайного советника первого ранга, имел все самые высокие русские ордена — Владимира I ст., Александра Невского, Андрея Первозванного, состоял командором большого креста ордена Иоанна Иерусалимского. Но и этого всего оказалось мало для награждения его заслуг: специально для него был придуман какой-то бриллиантовый или жемчужный эполет, которого больше никто никогда не имел. Можно бы подумать, что Юсупов был какой-нибудь огромнейший государственный деятель или полководец, вроде Бисмарка, Суворова, которого власть уже и не знает, как вознаградить. Разрешения тайны этих награждений напрасно было бы искать в изучении результатов государственной деятельности Юсупова. Все его заслуги заключались в умении быть приятным царедворцем.

Богат был Юсупов колоссально. Он владел с лишком сорока тысячами душ крестьян; почти нельзя было найти не только губернии, но и уезда, где бы у него не было поместий. В молодости был он красив, пользовался у женщин огромным успехом. Бомарше ему писал:

Servez noblement la beauté,
Declarez sourdement la guerre
A tous les maris de la terre.

В селе Архангельском у Юсупова была комната, — в ней, по слухам, находилось собрание трехсот портретов красавиц, благорасположением которых он пользовался. Была еще картина, где Юсупов и Екатерина II были изображены в виде Аполлона и Венеры. Павел по восшествии на престол велел отобрать эту картину. Можно думать, что Юсупов был одно время любовником Екатерины. До нас дошли ее пись-

ма к нему, очень дружеские. С дамами Юсупов был всегда отменно вежлив. Когда в знакомом доме встретится ему на лестнице дама, — знает ли он ее или нет, — всегда низко поклонится и посторонится, чтобы дать ей пройти. В Архангельском, где в саду разрешалось гулять всем желающим, он при встрече с дамами непременно раскланивался.

Юсупов обладал колоссальной библиотекой; в ней было до тридцати тысяч томов ценнейших книг, в том числе до пятисот эльзевировских изданий. Была редкая по богатству художественная галлерея, в ней находились в подлинниках «Амур и Психея» Кановы, десять картин Греза, шесть видов Клод-Лоррена, Рембрандт, Рубенс, Тенирс, новые французские художники — Давид, Легро и др. Знаменитое подмосковное село его Архангельское представляло из себя чудо красоты, где совместными силами природы и искусства создано было все, что могло бы тешить самый взыскательный вкус. Уверяют, что Юсупов питал большую любовь ко всему хорошему, ко всему умному, ко всему прекрасному. Казалось бы, при всех этих данных он мог явиться культурнейшим центром, собиравшим вокруг себя выдающихся деятелей искусства и науки, подобно некоторым другим богатым и знатным людям того времени, как гр. М. Ю. Виельгорский, кн. В. Ф. Одоевский, кн. З. А. Волконская. Но этого не было. Был он в свое время знаком с Фонвизиным, бывал у него и Пушкин. Но действительной потребности в зажигающем ум и чувство общении с крупными умами и талантами Юсупов не ощущал, он узко-эгоистически наслаждался в одиночку красотою, которою себя окружил. Да, может быть, для чего иного у него и не было никаких данных. Князь П. А. Вяземский рассказывает про Юсупова: «Он был благополучного сложения по плоти и по духу, в житейском и нравственном отношении. На улице его вечный праздник, в доме вечное торжество торжеств. На окнах стояли горшки с пышными, благоуханными цветами; на стенах висели клетки с разными птицами певчими; в комнатах раздавался бой стенных часов с звонкими курантиками. Все у него было светозарно, оглушительно, охмелительно. Сам, посреди этого сияния, этой роскошной растительности и певучести, выставлял он румяное, радостное лицо, расцветающее, как махровый красный пион. Мне всегда ужасно было завидно смотреть на праздничную обстановку. Впрочем, мне никогда не случалось завидовать умным людям; зависть забирает меня только при виде счастливой глупости». Граф Ф. В. Ростопчин сообщает, что Юсупов был любителем искусств, женщин и... шутов, только и делал, что бегал от скуки, имел множество слуг, ненужных любовниц, попугаев и обезьян.

Пушкин познакомился с Юсуповым, когда тому шел уже восьмой десяток. Юсупов продолжал держаться моды екатерининских времен,

носил напудренный парик с косичкой, оканчивавшейся черным бантом в виде кошелька; на балы и ко двору являлся в пудре, в чулках и в башмаках с красными каблуками: при версальском дворе, а в подражание ему и у нас, красные каблуки в свое время были свидетельством знатного происхождения, их носила только la haute noblesse. Обыкновенным костюмом Юсупова был синий фрак с бархатным воротником. Выезжал он из дому всегда в четырехместном ландо, запряженным четверкою лошадей, с двумя гайдуками на запятках и любимым калмыком на козлах возле кучера. На подушке против Юсупова лежала в карете левретка с золотым ошейником. Приезжал к какому-нибудь старому своему знакомому. Гайдуки почти выносили его на руках из кареты. Когда он входил в комнату, то шмыгал ногами по полу и кашлял так громко, что слышно было через две-три комнаты. И беседовал со старым приятелем о старом прошлом:

— Да, любезный друг, плохо старикам жить на свете: и климат-то изменился, и силы-то не те, да, признаться, и скучновато.

С. Д. Полторацкий представлялся в юности по какому-то случаю Юсупову. «Помню, — пишет он, — эти огромные залы, убранные во вкусе Людовика XV, множество картин и статуй, множество грубой челяди; наконец, кабинет сибарита, его пресыщенную, сонную фигуру, белый шлафор и церемонию пудренья головы».

Д. Н. Бантыш-Каменский в своем «Словаре достопамятных людей русской земли» (1836) дает такую общую характеристику Юсупова: «Он отличался просвещенным умом своим, утонченным вкусом ко всему изящному, остротою, обходительностью, веселостию нрава, памятью обширною, любил ученых и художников и даже в старости маститой приносил дань удивления прекрасному полу».

Вот в какой форме приносилась эта дань. Недалеко от Красных ворот, напротив дворца князя Юсупова, находился принадлежащий ему другой дом. Он был обнесен высокой каменной стеною. В доме помещался крепостной гарем Юсупова из пятнадцати-двадцати красивейших девушек. Гарем — и в то же время кордебалет. Танцам обучал девушек известнейший в Москве танцмейстер Йогель. Юсупов иногда приглашал приятелей на представления своего кордебалета. Когда Юсупов подавал знак, танцовщицы мгновенно сбрасывали с себя одежды и продолжали танцовать в совершенно нагом виде, что приводило в восторг старичков, любителей всего изящного. Кроме того, Юсупов до кончины своей содержал знаменитую танцовщицу Воронину-Иванову и подносил ей в бенефис редкие бриллианты. Юсупов был начальником Кремлевской экспедиции. В 1826 г. к нему обратилась с какою-то просьбою молодая девушка Вера Тюрина, сестра архитекторского помощника Кремлевской

экспедиции. Маститый поклонник прекрасного пола предложил ей пятьдесят тысяч рублей с тем, чтоб она отдалась ему. Девушка с негодованием ответила, что не надо ей и миллиона, и ушла. Через год двое ее братьев были арестованы за участие в студенческой тайной организации братьев Критских. Юсупов послал сказать Вере Тюриной, что если она согласится принадлежать ему, то он берется устроить освобождение ее братьев. Вера отказалась, одного брата заточили в Шлиссельбург, другого сослали.

Пушкин написал к Юсупову знаменитое послание «К вельможе» (1829), — тонкий и блестящий портрет изящного эпикурейца-скептика XVIII в. У многих послание вызвало недоумение. Библиограф С. Д. Полторацкий удивлялся, что оригиналом для своего портрета Пушкин выбрал именно кн. Юсупова. «Конечно, — писал он, — нельзя задавать поэтам тем для их сочинений; но неужели нельзя требовать, чтобы они оставались верными действительности, времени, лицу?.. Нам непременно хочется иметь представителей по всем отраслям человеческих знаний, и благодаря этому усилию мы производим в меценаты и покровители искусства людей тщеславных и самых незначительных. Пора бы нам опомниться и определить ясно, что такое были покровители свободных искусств во времена Екатерины, Александра I и наше». В оппозиционной печати послание вызвало обвинения Пушкина в низкопоклонстве. Полевой напечатал в «Московском телеграфе» едкую и грубую сцену: «Утро в кабинете знатного барина». Секретарь Подлецов подает князю листок со стихами. — «Стихи — мне? А! Это — того стихотворца! Что он врет там?.. Так он недаром у меня обедает. Как жаль, что по-русски. Недурно, но что-то много, скучно читать. Вели перевести это по-французски и переписать экземпляров пять: я пошлю кой-кому; а стихотворцу скажи, что по четвергам я приглашаю его всегда обедать у себя. Только не слишком вежливо обходись с ним: ведь эти люди забывчивы, их надобно держать в черном теле». Статейка эта сильно задела Пушкина. В черновой заметке он написал: «Возвратясь из-под Арзрума, написал я послание к князю Юсупову. В свете оно тотчас было замечено и... (пропуск в рукописи) были мною недовольны. Светские люди имеют в высокой степени этого рода чутье. Один журналист принял мое послание за лесть итальянского аббата и в статейке заставил вельможу звать меня по четвергам обедать. Так-то чувствуют они вещи и так-то описывают светские нравы». По сообщению Бартенева, Пушкин говорил М. А. Максимовичу, что князю Юсупову хотелось от него стихов, и затем только он угощал его в своем Архангельском.

— Но ведь вы его изобразили пустым человеком.

— Ничего! Не догадается!

И он смеялся над Полевым, который в его послании к Юсупову видел низкопоклонство.

Вскоре после женитьбы Пушкин в своей квартире на Арбате дал знакомым бал. Юсупов присутствовал на этом балу. «Пушкин славный вчера задал бал, — писал Булгаков брату. — И он, и она прекрасно угощали гостей своих. Она прелестна, и они, как два голубка. Дай бог, чтобы всегда так продолжалось. Много все танцовали, и так как общество было небольшое, то я также потанцовал по просьбе прекрасной хозяйки, которая сама меня ангажировала, и по приказанию старика Юсупова: «И я бы танцовал, если бы у меня были силы», — говорил он.

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА АЛЯБЬЕВА
(1812—1891)

Дочь помещика. Наряду с Н. Н. Гончаровой, будущей женой Пушкина, славилась в Москве как первейшая красавица. Пушкин в послании «К вельможе» (Н. Б. Юсупову, 1829) писал:

...влиянье красоты
Ты живо чувствуешь. С восторгом ценишь ты
И блеск Алябьевой, и прелесть Гончаровой.

Вяземский назвал Алябьеву «классической красавицей», а Гончарову «романтической». Языков восхвалял Алябьеву в ряде стихотворений как «чудо красоты», «украшение Москвы», соперницу Геры и Венеры. Более сдержанно отнесся к ней юноша-Лермонтов, — может быть, впрочем, по неудаче в ухаживании:

Вам красота, чтобы блеснуть
Дана;
В глазах душа, чтоб обмануть,
Видна;
Но звал ли вас хоть кто-нибудь:
О н а?

В 1832 г. Алябьева вышла замуж за помещика А. Н. Киреева. В московском их доме собирался цвет тогдашнего культурного общества, в особенности корифеи славянофильства (К. Аксаков, Хомяков). В 1836 г. Киреевы приезжали на масленицу в Петербург. Видимо, красота Киреевой, действительно, была исключительная. Вот как описывает Вяземский в письме к А. Тургеневу это, как он выражается, «событие»: «Когда она в первый раз показалась в собрании, сказывают, поднялась

такая возня, что не приведи боже: бегали за нею, толпились, окружали ее, смотрели в глаза, лазили на стулья, на окна. Пошли сравнения с Завадовскою, с Пушкиною; только и разговоров, что о ней... Я был у нее. Она в самом деле очень хороша, хотя, кажется, несколько и притучнела... Тяжел, кажется, муж ее; не дает ей слова выговорить и поминутно перебивает разговор с нею». Детьми этой четы Киреевых были известный славянофил-публицист А. А. Киреев, организатор добровольческих отрядов в сербо-турецкую войну Н. А. Киреев, убитый в бою с турками, и англо-русская писательница О. А. Киреева-Новикова.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ МУХАНОВ
(1800—1834)

Из старинного и богатого дворянского рода, сын сенатора. Служил в уланах, в 1823—1825 гг. состоял адъютантом при финляндском генерал-губернаторе Закревском; в это время, вместе с Н. В. Путятою, много способствовал облегчению участи поэта Боратынского. Поместил в «Сыне отечества» статейку, направленную против книги г-жи Сталь «Десять лет изгнания». Пушкин напечатал о статейке резкую заметку, где возмущался пренебрежительным тоном, каким автор говорил о г-же Сталь. Затем Муханов был адъютантом при главнокомандующем 2-й армией Витгенштейне. В 1827 г. он часто встречался с Пушкиным в Москве, был с ним на «ты». В марте он писал брату Николаю: «Я часто видаю Александра Пушкина: он бесподобен, когда не напускает на себя дури». Через два месяца с ехавшим в Петербург Пушкиным послал брату письмо, где писал: «Александр Пушкин, отправляющийся нынче в ночь, доставит тебе это письмо. Постарайся с ним сблизиться; нельзя довольно оценить наслаждение быть с ним часто вместе, размышляя о впечатлениях, которые возбуждаются в нас его необычайными дарованиями. Он стократ занимательнее в мужском обществе, нежели в женском, в котором, дробясь беспрестанно на мелочь, он только тогда делается для этих самок понятным».

Муханов участвовал в турецкой войне 1828—1829 гг., в 1830 г. оставил военную службу. В чине полковника и в звании камергера состоял при московском главном архиве министерства иностранных дел. Ясного представления о нем мы не имеем, но, по дошедшим отзывам, был он человек даровитый, дружил с Пушкиным, Вяземским, Боратынским, Хомяковым. Умер за несколько дней до свадьбы с красавицею Авророю Шернваль.

АВРОРА КАРЛОВНА ШЕРНВАЛЬ
(1813—1902)

Дочь выборгского губернатора, шведка. Смуглая брюнетка, отличалась исключительной красотой, строгой и пластичной. Пушкин не раз встречался с нею в свете. Боратынский писал к ней:

Выдь, дохни нам упоеньем
Соименница зари!
Всех румяным появленьем
Оживи и озари!
Пылкий юноша не сводит
Взоров с милой и порой
Мыслит с тихою тоской:
«Для кого она выводит
Солнце счастья за собой?»

В Финляндии у нее был жених, но он умер незадолго до свадьбы. В 1834 г. она стала невестой А. А. Муханова, с давних пор любившего ее. Он умер за несколько дней до свадьбы. В 1836 г. вышла за богача, егермейстера П. Н. Демидова. На балы являлась в одноцветном гладком платье без всяких украшений, с тоненькой цепочкой, украшавшей ее великолепную шею и грудь; на этой цепочке висел баснословный демидовский бриллиант-солитер, стоивший по слухам миллион рублей. В 1840 г. Демидов умер. Брат бывшего ее жениха, В. А. Муханов, писал по этому случаю в дневнике: «Она могла не любить своего мужа и, выходя за него, переносить свои думы в прошлое; но тяжело сознавать, что достаточно соединить свою судьбу с другим, чтобы увидать его похищенным. Эта женщина совершенство; она, кажется, обладает всем для счастия: умна, добра, чиста сердцем, красива, богата». В 1846 г. Аврора Карловна вышла замуж за Андрея Карамзина, сына историка, полковника конной артиллерии. В 1854 г. он был изрублен на куски в стычке с турками. Злая судьба людей, которых любила роковая и несчастная красавица, останавливала на себе внимание и современников, и потомков. Действительно, случайность неотступно шла по пятам Авроры и в суеверных людях могла бы утвердить убеждение в основательности их суеверия. В наше время молодой поэт Г. В. Маслов написал о ней поэму «Аврора». В поэме он воспел красавицу, которая скорбно шла через жизнь:

Себя орудием покорным
Судьбы таинственной сознав...
. . . . . .
И на смерть роком обречен
Поцеловавший эти губы.

Когда поэт писал свою поэму, он заболел сыпным тифом и умер в 1920 г. на больничной койке в Красноярске. Перед смертью он еще выправлял и отделывал поэму.

Графиня ЭМИЛИЯ КАРЛОВНА МУСИНА-ПУШКИНА
(1810—1846)

Сестра предыдущей. С 1828 г. жена богача гр. В. А. Мусина-Пушкина. Как и сестра, знаменитая красавица. В свете производили фурор ее белокурые волосы, синие глаза и черные брови. Влюбленный в нее Лермонтов писал:

Графиня Эмилия
Белее, чем лилия,
Стройней ее талии
На свете не встретится,
И небо Италии
В глазах ее светится,
Но сердце Эмилии
Подобно Бастилии.

По отзыву А. О. Смирновой, была очень умна и непритворно добра, как и сестра Аврора. В деревне она ухаживала за тифозными больными, сама заразилась и умерла.

Граф ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ МУСИН-ПУШКИН
(1798—1854)

Муж предыдущей, сын известного собирателя рукописей. Был капитаном лейб-гвардии Измайловского полка, за принадлежность к Северному тайному обществу подвергнут месячному заключению в крепости и переведен тем же чином в один из кавказских пехотных полков. Богач. В 1829 г. Пушкин, едучи на кавказский фронт, встретился в Новочеркасске с гр. Мусиным-Пушкиным. «Я сердечно ему обрадовался, и мы согласились ехать вместе. Он едет в огромной бричке. Это род укрепленного местечка; мы ее прозвали Отрадною. В северной ее части хранятся вина и съестные припасы, в южной — книги, мундиры, шляпы и т. д., с западной и восточной стороны она защищена ружьями, пистолетами, мушкетонами, саблями и пр. На каждой станции выгружается часть северных запасов, и таким образом мы проводим время как нельзя лучше». Так они доехали вместе до Тифлиса. В 1831 г. Мусин-Пушкин был уволен в отставку, до 1834 г. жил под надзором в Москве. Здесь

Пушкин встречался с ним, с его женою и жившею у них красавицей-свояченицей Авророй. В сентябре 1832 г. он писал жене, что видел их всех трех на вечере у Вяземских.

Князь ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ ГАГАРИН
(1786—1863)

Брат Веры Федоровны, жены кн. П. А. Вяземского. Кутила, игрок, дуэлист и повеса, типичная фигура тогдашнего гусарства. Был пикник московской золотой молодежи в Царицыне. Офицер С. С. Новосильцев хотел выстрелить из ружья в пролетавшую птицу. Гагарин сказал: «Охота стрелять в птицу! Выстрели лучше в человека». — «Ну, что ж? Хоть в тебя!» — «Изволь, я готов, стреляй». Новосильцев прицелился и спустил курок. Осечка. Один из присутствовавших вырвал у Новосильцева ружье, попробовал выстрелить в воздух. Выстрел. Все смутились, — думали, что ружье не заряжено. Гагарин сказал: «Ты в меня целил, — это хорошо. Но теперь будем целить друг в друга; увидим, кто в кого попадет». И вызвал его на дуэль. Приятелям удалось уладить ссору, все сели обедать; Гагарин и Новосильцев остались приятелями. Другой случай такой. На почтовой станции Гагарин заказал себе рябчика, а сам вышел прогуляться. Воротился, — видит, один известный московский повеса ест его рябчика, хотя ему сказали, что рябчик заказан для другого. Гагарин пожелал ему хорошего аппетита, направил в него заряженный пистолет и заставил съесть без отдыха еще одиннадцать рябчиков, за которые заплатил (этот случай послужил Загоскину материалом для известной сцены в «Юрии Милославском»). В 20-х годах Гагарин был командиром Клястицкого гусарского полка, потом командиром бригады, с которою принимал участие в польской кампании. Однажды гусарские и конно-артиллерийские офицеры его бригады поздно вечером метали банк в палатке на разостланном ковре. Вдруг поднимается пола палатки, и из-под нее вылезает, к общему изумлению, рука с картою, голос сказал: «Господа, атанде! Пятерка пик идет ва-банк!» — и вслед за рукою выглянула оскалившаяся, черепообразная и полулысая голова генерала Гагарина. В 1832 г. Гагарин был уволен со службы без прошения за появление на варшавских публичных гуляниях с женщинами низшего разбора. После этого жил в Москве. До конца жизни остался холостяком. Современник говорит: «Недостатки его заключались в слабости быть везде на первом плане, в эксцентричных выходках и в замашках казаться молодым, вопреки своих лет». Прозвание ему было «Адамова голова». Пушкин, бывая в Москве, видался с Гагариным и кутил с ним у цыганок.

Князь ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ГОЛИЦЫН
(1794—1861)

Сын генерал-аншефа, богач, человек богатырского сложения. Участвовал в наполеоновских войнах, несколько раз был ранен, получил за храбрость георгия. Был одним из действующих лиц тяжелой, до сих пор вполне еще не выясненной придворной любовной драмы. Княжна Туркестанова, грузинка, любимая фрейлина императрицы Елизаветы Алексеевны, была одновременно в связи с императором Александром и молодым кн. В. С. Голицыным, флигель-адъютантом. Забеременела от одного из них, до последних дней должна была скрывать беременность, родила очень тяжело, была обоими брошена, отравилась и через две недели умерла в сильных мучениях. С 1829 г. Голицын находился на гражданской службе, в сороковых годах опять поступил на военную, был командиром центра кавказской армии, поэтому получил прозвище «Центральный». Он прожил несколько солидных состояний, как свое родовое, так и из боковых наследственных. Однако как ни кутил, но никогда не докучивался до конца, и всегда судьба ему помогала поправляться. Был очень остер, краснобай, мастер играть словами и веселый рассказчик, неутомимый устроитель всяких увеселений и затей. Московский Английский клуб двадцатых и тридцатых годов не раз забавлялся его неожиданными и затейливыми выходками. Голицын был близок с писателями, артистами, сам занимался литературой и музыкой. Некоторые его стихотворения, водевили и музыкальные пьесы были напечатаны.

Летом 1830 г., когда Пушкин был женихом Н. Н. Гончаровой, кн. Голицын посетил его на московской его квартире, не застал дома и оставил следующую стихотворную записку:

Кн. Вл. Голицын.
Никитушка! Скажи, где Пушкин, царь-поэт?

Никита.
Давным-давно, сударь, его уж дома нет,
Не усидит никак приятель ваш на месте:
То к дяде на поклон, то полетит к невесте.

Кн. Вл. Голицын.
А скоро ль женится твой мудрый господин?

Никита.
Осталось месяц лишь гулять ему один.

«Вот мой разговор с вашим камердинером».

Это, видимо, была привычка у Голицына — оставлять стихотворные записочки у знакомых, которых он не заставал дома. Посылая

в 1835 г. Пушкину на просмотр свою переделку скрибовского либретто оперы Обера «Немая из Портичи», Голицын писал: «Вам не мудрено узнать меня по обработке стихов; вам случалось, при возвращении домой, находить подобные на столике вашем». Из этого же письма видно, что отношения его с Пушкиным были не особенно близкие. Письмо кончается так: «Прошу о сохранении дружбы вашей, которую ценю в полной мере, хотя подозреваю себя несколько забытым вами в пылу светской и литературной жизней ваших».

Графиня ВАРВАРА НИКОЛАЕВНА ЯГУЖИНСКАЯ
(1749—1843)

Рожденная Салтыкова, жена гр. С. П. Ягужинского. Отец его был известный граф Павел Иванович Ягужинский, дипломат, сотрудник Петра Великого, игравший крупную роль и в последующих царствованиях. Вдова Павла Ягужинского, Анна Гавриловна, вышла вторым браком за М. П. Бестужева-Рюмина, была в 1743 г. осуждена за участие в якобы заговоре Лопухиной против императрицы Елизаветы Петровны, наказана кнутом, ей вырезали язык и сослали в Сибирь.

Графиня Варвара Николаевна, овдовев, жила в своем имении Сафорине, между Москвою и Троице-Сергиевскою лаврою. Была она очень глупа. Ее винили в уничтожении крайне ценных для истории бумаг ее свекра. Когда Пушкин писал историю Петра I, он просил представить его графине В. Н. Ягужинской. Но она отказалась принять Пушкина и сказала, что она не делит общества с рифмачами и писаришками. Ей возражали, что Пушкин принадлежит к одной из древнейших фамилий русского дворянства; на это она ответила, что охотно приняла бы его, если бы он не был прикосновенен к писательству, и прибавила:

— Он напечатает то, что я могла бы ему рассказать или сообщить, и бог знает, что из этого может выйти. Моя бедная свекровь умерла в Сибири, с вырезанным языком, высеченная кнутом. А я хочу спокойно умереть в своей постели в Сафорине.

Умерла Ягужинская девяноста четырех лет.

Митрополит московский ФИЛАРЕТ
(1783—1867)

Рожденный Василий Михайлович Дроздов. Ученый богослов и проповедник. Окончил Троицкую семинарию. В 1808 г. принял монашество. Был профессором философских и богословских наук в петербургской

духовной академии, ее инспектором, впоследствии ректором. Обратил на себя внимание как выдающийся проповедник. В период силы министра кн. А. Н. Голицына стал ревностным членом основанного им мистического «Библейского общества», которое служило хорошим преддверием к достижению церковных должностей. В 1817 г. был назначен ревельским епископом, в 1819 — архиепископом тверским и членом синода. Когда Голицын пал, и начались гонения на Библейское общество, в карьере Филарета произошла заминка. 18 декабря 1825 г., в день приведения Москвы к присяге Николаю I, Филарет удачным словом успокоил народ; это и еще речь, сказанная им при коронации, привлекли к нему благоволение императора, и Филарет был назначен московским митрополитом.

Он был крупный оратор. Однако речи его были рассудочны и действовали больше на ум, чем на душу слушателей. В проповедях своих он призывал к пассивным добродетелям молчания, смирения, терпения и преданности воле божией. Сам же, однако, был смиренен и молчалив только с высшими; в синоде, например, всегда соглашался с мнением влиятельного петербургского митрополита Серафима. По отношению же к низшим был властен и горд. Один современник рассказывает: «Филарет был эгоист, властолюбец и честолюбец, при этом бессердечный, сухой аскет с беспредельною нетерпимостью. Внешность его была невзрачна: небольшого роста, очень худощавый, с реденькою бородою, с пронзительными глазами; когда он принимал у себя запросто, костюм его состоял из черного шерстяного подрясника, бархатной черной скуфейки и опорышей, надетых на босу ногу. Приезжие подчиненные ему священники доползали до него на четвереньках, не могли от страха произнести ни одного слова при «владыке», который грозно смотрел на них. Раскольников он не терпел, не терпел и арестантов, — а был председателем тюремного комитета. Однажды на заседании комитета он с раздражением сказал д-ру Ф. П. Гаазу (знаменитому человеколюбцу, «святому доктору», очень много сделавшему по улучшению обращения с арестантами): «Да что вы, Федор Петрович, ходатайствуете об этих негодяях! Если человек попал в темницу, то проку в нем быть не может». — «Ваше высокопреосвященство! — возразил д-р Гааз. — Вы изволили забыть о Христе: он тоже был в темнице». Филарет смутился, помолчал и сказал: «Не я забыл о Христе, но Христос забыл меня в эту минуту. Простите, Христа ради!» Закрыл собрание и вышел. Угнетая подчиненных, не имевших протекции, он сильно покровительствовал людям со связями, а также родственникам своим, которых определял на доходные места. Я не слышал, чтобы Филарет помогал бедным из своего кошелька, хотя получал огромные доходы и имел уже скоплен-

ный значительный капитал. С барынями-ханжами, которые являлись к нему, кувыркались перед ним и подстилали свои юбки под его ноги, Филарет не церемонился, часто давал им нагоняи и требовал от них денежных пожертвований на церкви. Купцы, невзирая на все это, уже заживо причислили Филарета к лику святых».

Кн. Вл. Мих. Голицын рассказывает в неизданных своих записках: «Поражали глаза Филарета — большие, словно пронизывающие и злые. Его мрачный, грубый деспотизм вселил к нему вражду, если даже не озлобление, в тех, кто по службе зависел от него или имел с ним дело. Филарет любил вмешиваться в то, что вовсе его не касалось, но что, по его мнению, было крамольным, кощунственным или безнравственным. Так, он пытался добиться запрещения поэмы Данта в переводе Мина или, по крайней мере, перемены ее заглавия, так как, по его мнению, сочетание слов «Божественная комедия» недопустимо с православной точки зрения». Боратынский говорил Вяземскому, что Филарет ему всегда напоминает что-то женское: ряса, как юбка, в обращении какое-то кокетство и игра затверженной роли. Филарет тайно был против командования светской власти в делах церкви, писал сочувственные письма иркутскому архиерею Иринею (см. главу VIII), заточенному в монастырь за фронду против правительства, но на деле самостоятельность свою осмеливался проявлять только в пустяках. Например, отказался участвовать в освящении театра на том основании, что на фронтоне его был изображен языческий бог Аполлон. Никитенко записал в своем дневнике: «Слышал забавный анекдот о том, как Филарет жаловался Бенкендорфу на один стих Пушкина в «Онегине», там, где он, описывая Москву, говорит: «и стая галок на крестах». Здесь Филарет нашел оскорбление святыни. Цензор, которого призывали к ответу по этому поводу, сказал, что, галки, сколько ему известно, садятся на крестах московских церквей, но что, по его мнению, виноват здесь более всего московский полицмейстер, допускающий это, а не поэт и цензор». Бенкендорф отвечал учтиво Филарету, что это дело не стоит того, чтобы в него вмешивалась такая почтенная духовная особа».

В дневнике Пушкина за 1834 г. два раза встречаем упоминания о Филарете. В одном месте Пушкин с осуждением рассказывает о доносе его на религиозную неблагонадежность ученого протоиерея Павского, в другом, по случаю празднования совершеннолетия наследника, пишет: «Всегда много смешного подвернется в случаи самые торжественные. Филарет сочинял службу на случай присяги. Он выбрал для паремии главу из «Книги царств», где, между прочим, сказано, что «царь собрал и тысячников, и сотников, и евнухов своих». Нарышкин сказал, что это — искусное применение к камергерам, а в городе стали говорить, что

во время службы будут молиться за евнухов. Принуждены были слово евнух заменить другим». Филарет, прочитав стихи Пушкина «26 мая 1826 г.» («Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Иль зачем судьбою тайной ты на казнь обречена?» и т. д.), написал на них поучающий ответ:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от бога мне дана,
Не без воли бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум, —
И созиждется тобою
Сердце чисто, светел ум.

Пушкина очень задело это стихотворение Филарета, но ответил он ему стихами «Стансы», где писал, что, слушая обличения Филарета, он лил потоки слез нежданных, что ранам его совести отраден был чистый елей благоуханных речей митрополита:

Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

Вяземский по этому поводу писал А. И. Тургеневу: «Ты удивишься стихам Пушкина к Филарету: он был задран стихами его преосвященства, который пародировал или, лучше сказать, палинодировал (исправил) стихи Пушкина о жизни, которые нашел он у общей их приятельницы, Елизы Хитровой, пылающей к одному христианской, а к другому — языческою любовью». Письмо это не рассеивает нашего удивления, как мог Пушкин обратиться с подобными стихами к весьма им мало уважаемому и не заслуживающему уважения Филарету. Объяснение своеобразного психологического процесса, приведшего Пушкина к написанию этих стихов, см. в моей книге статей о Пушкине «В двух планах», стр. 53.

ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ГАББЕ
(Род. в 1796 г.)

Был офицером лейб-гвардии Литовского полка, стоявшего в Польше. За ум, образованность и редкое благородство пользовался огромным ува-

жением среди офицерства. Держался с большим достоинством и независимостью по отношению к начальствующим лицам и к самому цесаревичу Константину Павловичу, командовавшему войсками в Польше. Открыто порицал господствовавшую тогда палочную систему воспитания солдат и всячески пытался их защищать. Был заподозрен в политической неблагонадежности, за ним был учрежден тайный полицейский надзор. В 1823 г., «за дерзкие суждения о высших себя в чине и даже о начальниках своих», был разжалован в солдаты. Все время, однако, он пользовался странным расположением со стороны вел. кн. Константина. Одного слова раскаяния, на которое вызывал его Константин, было бы довольно, чтобы Габбе получил помилование, но он отвечал, что никакой вины за собою не знает, поэтому и раскаиваться ему не в чем. Вскоре, однако, он получил прощение с возвращением чинов. Когда по этому случаю он представлялся цесаревичу, Константин сказал ему: «Я вас в детских годах ваших носил на своих руках, я привык вас называть Петрушей, вас на своих руках носила моя матушка-императрица, вы все это забыли и пошли против меня». Габбе ответил: «Я вполне чувствую потерю ваших милостей». Цесаревич в ответ кинулся обнимать и целовать его и радостно повторял: «Ну, если так, то все забыто, все забыто! Кто старое вспомянет, тому глаз вон!» В 1826 г. Габбе был по прошению уволен в отставку с запрещением въезда в Петербург, Москву и Варшаву. Он сделался главноуправляющим обширными имениями Л. А. Нарышкина. В конце двадцатых годов Габбе нелегально приезжал в Москву и у кн. Вяземского познакомился с Пушкиным. Друг Габбе Веригин так рассказывает про это знакомство: «При входе Габбе к князю Вяземскому в гостиную, Пушкин, — как рассказывал мне Габбе, — увивался около супруги князя и других тут бывших дам. Князь, обменявшись со своим гостем приветами, обратился к Пушкину с приглашением на пару слов. Знакомство началось без представления одного другому, и это, кажется, показывало, что один, как либеральный поэт, а другой, как либеральная высокого ума личность, не должны были входить в расчет представлений, чем обыкновенно представляемый всегда становился ниже того, кому его представляют. Пушкин сел на лежанку камина, свеся одну ногу на угол лежанки, и, несколько согнувшись, принял участие в разговоре стоявших подле него князя и Габбе. Речь пошла о недавно вышедшей какой-то поэме Языкова; князь находил в тех местах красоты, которыми Пушкин не сильно восхищался. Разговор продолжался с час, и Габбе убедился, что знаменитый наш народный поэт более гениальный, нежели ученый поэт».

В 1833 г., находясь в Крыму, Габбе сошел с ума. Веригин ставит это в связь с вопросом, который ему задала бывшая придворная дама

княгиня Голицына: «Да знаете ли вы, почему об вас так хотят знать, знаете ли вы, чей вы сын?» (по всему судя, можно думать, что он был сыном вел. кн. Константина). Габбе дано было разрешение уехать для лечения за границу, «с тем, чтобы впредь не въезжать в Россию, о чем предписать всем полициям». Дальнейшая судьба его неизвестна. Габбе немножко писал. Поместил в «Московском телеграфе» несколько статей и стихотворений. Его книга «Биографическое похвальное слово г-же Сталь-Гольштейн» (1822) вызвала очень одобрительную рецензию кн. Вяземского.

ИВАН ИВАНОВИЧ ДМИТРИЕВ
(1760—1837)

Известный поэт карамзинской школы, автор сантиментальных песенок (популярнейший в свое время романс «Стонет сизый голубочек»), басен и бытовых сатир («Чужой толк», «Модная жена»). В 1810—1814 гг. министр юстиции. Вышедши в отставку с чином действительного тайного советника, остальную жизнь почти безвыездно прожил в Москве. С 1805 г. ничего уже не писал. В заслугу ему ставится, что он придал стихотворному языку легкость и плавность, освободив его от тяжелых и устарелых форм, и явился таким же преобразователем русского стихотворного языка, как Карамзин — прозаической речи. В молодости Пушкин относился к его литературной деятельности с почтением, но очень уже скоро освободился от такого отношения и в 1824 г. писал Вяземскому по поводу его статьи о Дмитриеве: «Что такое Дмитриев? Все его басни не стоят одной хорошей басни Крылова, все его сатиры — одного из твоих посланий, а все прочее — первого стихотворения Жуковского». В бытность поэта Языкова в Тригорском Пушкин потешался над пустопорожнею моралью дмитриевских басен, сочиняя вместе с Языковым пародии на них в таком роде:

Над лебедем желая посмеяться,
Гусь тиною его однажды замарал;
Но лебедь вымылся и снова белым стал.
Что делать, если кто замаран?.. Умываться.

С самим Дмитриевым Пушкин всю жизнь поддерживал хорошие отношения и, бывая в Москве, посещал его. Дмитриев, в общем, с большим одобрением относился к поэзии Пушкина с самых ранних его поэтических начинаний, о чем сам Пушкин вспоминает в «Евгении Онегине»: «И Дмитрев не был наш хулитель» (повторение выражения самого Дмитриева в его «Послании английского стихотворца Попа к д-ру Арбутноту»: «Свифт не был мой хулитель»). Однако к «Русла-

ну и Людмиле», как сообщает сам Пушкин, Дмитриев отнесся с резким порицанием, не видел в поэме ни мысли, ни чувства, а только чувственность, и характеризовал ее так: «Мать дочери велит на эту сказку плюнуть». Как человека современники характеризуют Дмитриева так: «Доживая свой век в Москве, И. И. Дмитриев, по наружности своей, сохранял приличную важность. Высокий ростом, осанистый, величавый в походке, в тоне голоса и во всех приемах, он напоминал собою бывшего министра. Всегда в светлокоричневом или светлосинем фраке с светлыми металлическими пуговицами, в рыжем парике огромных размеров, с завитыми буклями в три яруса, в коротеньких панталонах в обтяжку, в черных шелковых чулках и башмаках с золотыми пряжками. Говорил он басом, очень плавно и протяжно, подчеркивая слова, на которые ему хотелось обратить внимание слушателей. Впечатление от него еще усиливалось славой известного в свое время писателя. Но он был заманчив только издалека. Кто узнавал его близко, тот много разочаровывался. Он был скуп и одевал людей своих дурно, кормил еще хуже. Поступал с ними, как степной помещик; при самом малейшем проступке или потому только, что сам вспылил, тотчас прибегал к расправе. С знакомыми обращался двулично. За глаза не щадил никого, а в глаза казался каждому чуть не другом. Раз, посреди гостей своих, он описывал Погодина самыми черными красками, называл его и подлецом, и пронырой, и говорил, что удивляется людям, которые принимают к себе такого человека. Вдруг, как нарочно, приезжает Погодин. Все в смущении и ожидали истории... Ничего не бывало. Дмитриев вскочил с места, протянул дружески руку к вошедшему гостю, упрекая его, что давно не навещал старого знакомого... Этим Дмитриев много терял в общем мнении: люди почтенные, имеющие право на уважение, отставали от него; мелкие стихоплеты, писатели, ничтожные по уму и образованию, всякий сброд наполняли его гостиную. За то он и тешился над ними, как хотел».

Князь ПЕТР ИВАНОВИЧ ШАЛИКОВ
(1768—1852)

Грузин по происхождению. Бездарный поэт, служивший всеобщим посмешищем, до конца жизни писавший слащаво-сантиментальные стишки в карамзинском стиле; издатель «Дамского журнала»; в течение двадцати пяти лет был также редактором «Московских ведомостей». Агент Третьего отделения М. Я. фон-Фок писал в 1826 г. Дибичу: «Князь Шаликов с давнего времени служит предметом насмешек для всех, занимающихся литературою. В пятьдесят лет он молодится, пи-

шет любовные стихи, влюбляется и принимает эпиграммы за похвалы. Место редактора «Московских ведомостей» получил он по протекции Ив. Ив. Дмитриева, которому он служит предметом насмешек под веселый час. Этот князь Шаликов не имеет никаких сведений для издавания политической газеты и даже лишен природной сметливости». Чрезвычайно чувствительный певец в стихах, Шаликов в жизни был человеком злым и раздражительным. «Буйный, необузданный, без правил и без нравственности», — отзывается о нем современник. Говорил он всегда плавно, с нежной интонацией голоса, любил эротические разговоры, прикрытые дразнящею завесою скромности. Уже незадолго до смерти он прогуливался по Тверскому бульвару, еле передвигая от дряхлости ноги, но все попрежнему рассматривал в лорнет встречавшихся дам и восклицал: «Ах, какая хорошенькая!» Всегда был одет, как куколка, подкрашен, накрашен, затянут и терпеть не мог напоминаний о старости.

Пушкин, конечно, относился к Шаликову с насмешкой и отрицанием. Но однажды ему вздумалось сделать Шаликову приятное. В 1825 г. вышла в свет первая глава «Онегина» с помещенным впереди «Разговором книгопродавца с поэтом». В «Разговоре» были также стихи:

Уста прелестные читали
Меня с улыбкою любви,
Уста волшебные шептали
Мне звуки сладкие мои.
Но полно; в жертву им свободы
Мечтатель уж не принесет:
Пускай их Шаликов поет,
Любезный баловень природы.

Вяземскому Пушкин писал: «Ты увидишь в «Разговоре» мадригал Шаликову. Он милый поэт, человек, достойный уважения, и надеюсь, что искренняя и полная похвала с моей стороны не будет ему неприятна. Он именно поэт прекрасного пола; у него много заслуг перед ним, и я очень доволен, что изъяснился о том всенародно». По поводу приведенных стихов Шаликов поместил в своем «Дамском журнале» стихотворение «К А. С. Пушкину на отречение петь женщин»:

... наш любезный сибарит
Талантом, чувством, песнопеньем,
Лишь только женщин отбранит,
Как вдруг невольно, с восхищеньем,
О ножках, лучшей красоте
Роскошно-томного Востока,
Своей прелестнейшей мечте,

Воспомянув, в мгновенье ока
У ножек с лирою златой...

Пушкин узнал о стихах Шаликова от Вяземского и с удивлением спрашивал: «Неужто он обижается моими стихами? Вот уж тут-то я невинен, как барашек! Спросите у братца Леона: он скажет вам, что, увидев у меня имя кн. Шаликова, он присоветовал мне заменить его Батюшковым, я было и послушался, да стало жаль, и я смело восстановил Шаликова». В последующих изданиях вместо «Шаликов» Пушкин поставил «юноша».

Весною 1827 г. Пушкин, Боратынский и др. завтракали у Погодина. Кто-то рассказал случай из домашней жизни Шаликова. Пушкин совместно с Боратынским изложили этот случай в таких стихах:

Князь Шаликов, газетчик наш печальный,
Елегию семье своей читал,
А козачок огарок свечки сальной
В руках со трепетом держал.
Вдруг мальчик наш заплакал, запищал.
«Вот, вот с кого пример берите, дуры! —
Он дочерям в восторге закричал. —
Откройся мне, о, милый сын натуры,
Ах! что слезой твой осребрило взор?»
А тот ему в ответ: «мне хочется на двор!»

Шаликов относился к Пушкину с неизменным восхищением и даже обожаньем. Еще в 1822 г. он приветствовал Пушкина в «Новостях литературы» двустишием «К портрету А. С. Пушкина»:

Талант и чувства в нем созрели прежде лет.
Овидий наш, он стал ко славе Муз поэт.

По возвращении из Арзерума Пушкин посетил в Москве дядюшку своего Василия Львовича. У него сидело несколько человек гостей, в их числе Шаликов. Пушкин стал рассказывать о своей поездке. Шаликов присел к столу, стал писать и потом сказал Пушкину:

— Недавно был день вашего рождения, Александр Сергеевич. Я подумал, что никто не воспел такого знаменитого дня, и написал вот что:

К А. С. ПУШКИНУ
В день рождения

Когда рождался ты, — хор в Олимпийском мире
Средь небожителей пророчески воспел:
Младенца славный ждет удел, —
Пленять сердца игрой на лире.

Пушкин прочитал, пожал Шаликову руку и, не знакомя присутствующих с творением своего поклонника, положил листок в карман.

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЕНЕВИТИНОВ
(1805—1827)

Поэт пушкинской поры. Из старинной и богатой дворянской семьи. Получил блестящее образование, знал новые языки, греческий и латинский. Девятнадцати лет окончил московский университет и поступил в московский архив коллегии иностранных дел — учреждение, в котором служила самая блестящая и интеллигентная молодежь Москвы. Он был человек исключительной одаренности: поэт, музыкант, композитор; это соединялось у него с серьезным философским умом, легко себя чувствовавшим среди отвлеченнейших систем, что так редко бывает у художников. Горячо увлекался Шеллингом, был членом и секретарем основанного кн. В. Ф. Одоевским «Общества любомудрия» и играл в нем первенствующую роль. С Пушкиным Веневитинов познакомился в 1826 г., через три дня по приезде Пушкина в Москву из ссылки, у Соболевского, где Пушкин читал своего «Бориса Годунова». Затем Пушкин читал «Годунова» у Веневетиновых, в их доме в Кривоколенном переулке близ Мясницкой. Они часто виделись, — между прочим, у княгини З. А. Волконской, в которую юноша Веневитинов был влюблен глубоко и безнадежно. Веневитинов с друзьями задумали издание журнала «Московский вестник». Основною задачею журнала было создание у нас научной эстетической критики на началах немецкой умозрительной философии и привитие общественному сознанию убеждения о необходимости применять философские начала к изучению всех наук и искусств. Пушкин согласился примкнуть к журналу, но без большого увлечения. Философские вкусы «любомудров» были ему глубоко чужды. Он писал Дельвигу в Петербург: «...бог видит, как я ненавижу и презираю немецкую метафизику; да что делать? Собрались ребята теплые, упрямые; поп свое, а чорт свое. Я говорю: господа, охота вам из пустого в порожнее переливать, все это хорошо для немцев, пресыщенных уже положительными познаниями, но мы... «Московский вестник» сидит в яме и спрашивает: веревка вещь какая? А время вещь такая, которую с никаким Вестником не стану я терять. Им же хуже, если они меня не слушают».

В конце октября 1826 г. Веневитинов переехал в Петербург, — может быть, спасаясь от безнадежной своей любви. Поступил на службу в Азиатский департамент министерства иностранных дел. Он был вообще слабого здоровья. При въезде в Петербург он по недоразумению был арестован и двое суток провел в сырой гауптвахте. Это еще больше подорвало его здоровье. Директор Азиатского департамента, когда ему представлялся Веневитинов, был поражен его болезненным видом и сказал:

— У него смерть в глазах, он скоро умрет.

Веневитинов вошел в колею светской петербургской жизни, делал визиты, ездил на вечера и балы; в то же время много писал; заботился о журнале, приглашал сотрудников, посылал в Москву ободряющие письма. В начале марта, на балу у Ланских, во флигеле дома которых жил Веневитинов, он, разгоряченный танцами, в одном фраке перебежал по двору к себе во флигель, простудился и 15 марта умер. Ему не было еще двадцати двух лет. Смерть его произвела на всех потрясающее впечатление. Дельвиг писал Пушкину: «...знаю, смерть его должна была поразить тебя. Какое соединение прекрасных дарований с прекрасною молодостью!» 66-летний И.И. Дмитриев писал в эпитафии:

Здесь юноша лежит под хладною доской,
Над нею роза дышит,
А старость дряхлою рукой
Ему надгробье пишет.

На могильной доске Веневитинова вырезан был стих из стихотворения его «Поэт и друг»: «Как знал он жизнь, как мало жил!»

МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ ПОГОДИН
(1800—1875)

Выдающийся историк, журналист и публицист. Отец его был калужский крепостной крестьянин графов Салтыковых, много лет был у своих господ доверенным домоправителем и в 1806 г. получил со всем семейством вольную. После этого служил в Москве канцеляристом. Был, повидимому, человек состоятельный: имел возможность отдать сына в гимназию. По окончании гимназии Мих. Петрович поступил в университет. Здесь он заинтересовался русской историей. Окончил курс в 1823 г., через год защитил магистерскую диссертацию «О происхождении Руси», имеющую крупные научные достоинства. С 1826 г. стал читать в университете всеобщую историю. В то же время писал повести, драмы. С 1827 по 1830 г. стоял во главе журнала «Московский вестник», бывшего органом московского кружка шеллингианцев. Отдел русской истории находился в руках Погодина, который вел обстоятельные обзоры исторических новостей. В журнале Пушкин поместил более 30 своих стихотворений. Вследствие своей серьезности журнал успеха в публике не имел. В 1835 г. Погодин получил в московском университете кафедру русской истории. Напечатал ряд работ по русской истории, из которых некоторые имели большие научные достоинства. В сороковых и пятидесятых годах издавал журнал «Москвитянин», бывший

представителем официальной казенной народности, провозглашавший «гниение Запада» и ведший ярую полемику с «западниками».

У Погодина было некрасивое лицо с очень большим, губастым ртом, тяжелые, медвежьи приемы, грубоватая манера обращения. Славился он феноменальною скупостью, журнальным своим сотрудникам за статьи ничего не платил, любил даровщинку, любил не дать или хотя бы не додать; выпустить деньгу из рук для него было очень тяжело, хотя бы он и знал, что впереди будут барыши. Однако доступен был и великодушным порывам. В 1830 г., перед женитьбой Пушкина, усердно добывал ему денег, не раз оказывал очень крупную материальную поддержку Гоголю. Но каждое свое одолжение он, как кулачок-мужичок, четко записывал в памяти и ждал благодарности в размерах, точно соответствующих одолжению. И в жизни, и в дневниках проявлялся с простодушною откровенностью, иногда переходившею почти в цинизм. С. М. Соловьев про него пишет: «Есть много людей, которые так же самолюбивы и корыстолюбивы, как Погодин, но не слывут такими потому, что у Погодина душа нараспашку: что другой только подумает, Погодин скажет; что другой скажет, Погодин сделает. Другие скрывают свое корыстолюбие, Погодин же сам признается, что он корыстолюбив, и жалуется: «Вот люди! Имей какой-нибудь недостаток, так уж они и привяжутся к нему, и никогда не будешь ты у них порядочным человеком, хотя бы при этом недостатке имел и большие достоинства». Но в том-то и дело, что у Погодина не было больших достоинств, хотя и было достоинство, довольно редкое в русском человеке, — смелость. Смелым бог владеет, — авось! — и идет напролом. Смел он на доброе дело, — например, написать правду о делах управления и подать ее в руки царю; смел и на то, чтобы сейчас же попросить денег у правительства, которое знает, что он богат, и тем обнаружить свое корыстолюбие, потерять уважение, приобретенное было смелым добрым делом; смел и на то, чтобы, будучи в Брюсселе, зайти к Лелевелю (знаменитый польский революционер), засвидетельствовать ему свое уважение; смел и на то, чтобы надуть человека, имеющего значение в обществе, человека, следовательно, опасного; смел на то, чтоб обругать своего противника печатно без соблюдения приличий; смел на то, чтоб вредить врагу всякими средствами. Поведение его оскорбляло своим цинизмом и нравственным неряшеством». Характер Погодина отражался и в стиле его писаний. Стиль этот Герцен метко характеризует так: «Шероховатый, неметеный слог, грубая манера бросать корноухие, обгрызанные опшметки и нежеваные мысли». Лекции его не были блестящи. Благодушный И. А. Гончаров вспоминает: «Читал он скучно, бесцветно, монотонно и невнятно, но был очень щекотлив, когда замечал в ком-ни-

будь невнимание к себе. Чуть кто-нибудь из слушателей шепнет соседу слово, спросит, который час, он, — бог его знает, как, — непременно поймает и обратится с вопросом: «Г-н такой-то! Позвольте спросить, какое последнее слово я сейчас сказал?» — «Вы изволили говорить о том, — начинает тот заискивающим голосом, — как Валленштейн двинулся с войском...» — «Нет, одно последнее слово скажите». Тот, конечно, молчал, и Погодин продолжал читать. Этого рода выговоры были среди скучной лекции маленьким развлечением для всех — посмотреть в лицо сконфуженного товарища. У Погодина было кое-что напускное — и в характере его, и во взгляде на науку. Мы чуяли, что у него внутри меньше пыла, нежели сколько он заявлял в своих исторических ученых и патриотических настроениях, что к пафосу он прибегал ради поддержания тех или других принципов, а не по импульсу искренних увлечений».

С Пушкиным Погодин познакомился осенью 1826 г., вскоре после приезда Пушкина в Москву из ссылки. Отношения между ними установились очень хорошие и оставались такими до самой смерти Пушкина. Пушкин поддерживал погодинский «Московский вестник» и привлекал к нему сотрудников; с большим, мало понятным одобрением относился к повестям и драматическим изделиям Погодина, находил, например, что его трагедия «Марфа-Посадница» имеет «европейское высокое достоинство» и многие сцены признавал достойными... Шекспира. Хлопотал за Погодина в цензуре, старался устроить ему денежное вспомоществование для поездки за границу и т. п. В 1831 г. писал Плетневу: «Погодин — очень, очень дельный и честный молодой человек, истинный немец по чистой любви своей к науке, трудолюбию и умеренности». Погодин, со своей стороны, с большим уважнием и любовью относился к Пушкину, добывал ему, как указано, денег. Ф. И. Буслаев вспоминает, как Погодин сообщил им, студентам, о смерти Пушкина: «Приходит Михаил Петрович, весь взволнованный, бледный, измученный, сам не свой, — едва можно узнать его, точно после тяжкой болезни. Садится на кафедру и в течение несколько минут не может промолвить ни слова; наконец, задушаемый рыданиями, передает нам о великом бедствии, постигшем Россию: Пушкина не стало; он помер!»

СТЕПАН ПЕТРОВИЧ ШЕВЫРЕВ
(1806—1864)

Из дворян Саратовской губернии. В 1822 г. окончил московский университетский Благородный пансион и поступил на службу в московский архив министерства иностранных дел, где служили умственные

сливки московской молодежи — Веневитинов, бр. Киреевские, Мельгунов и др. («архивные юноши»). Был членом кружка Раича. Сошелся с Погодиным и состоял с ним в самой тесной дружбе до смерти. Сотрудничал в органе московских шеллингианцев «Московском вестнике», был ближайшим помощником редактора Погодина, печатал свои стихи, статьи, переводы. В 1829 г. уехал в Италию в качестве воспитателя сына кн. З. А. Волконской и пробыл там до 1832 г. За границей много и усидчиво изучал иностранные литературы, особенно итальянскую. С 1834 г. стал профессором московского университета. Читал лекции по истории и теории поэзии, где проводил новые для того времени принципы сравнительно-исторического изучения поэзии. Впоследствии читал историю русской словесности, преимущественно древней. В сороковых годах оформился в ярого «славянофила» казенного пошиба. С. М. Соловьев вспоминает: «Шевырев богатое содержание умел превратить в ничто, изложение богатых материалов умел сделать нестерпимым для слушателей фразерством и бесталанным проведением известных воззрений. Тут-то услыхали мы бесконечные фразы о гниении Запада, о превосходстве Востока, русского православного мира. Однажды после подобной лекции Шевырева, окончившейся страшной трескотней в прославление России, один студент-поляк подошел ко мне и спросил. «Не знаете ли, сколько Шевырев получает лишнего жалования за такие лекции?» Так умел профессор сделать свои лекции казенными. По натуре, это был добрый человек, не ленивый сделать добро, оказать услугу, готовый и трудиться много; но эти добрые качества заглушались страшною мелочностью, завистливостью, непомерным самолюбием и честолюбием и вместе способностью к лакейству; самой грубой лести было достаточно, чтобы вскружить ему голову и сделать его полезным орудием для всего; но стоило только немного затронуть его самолюбие, и этот добрый, мягкий человек становился зверем, готов был вас растерзать и действительно растерзывал, если жертва была слаба; но если выставляла сильный отпор, то Шевырев долго не выдерживал и являлся с братским христианским поцелуем».

Пушкин познакомился с Шевыревым в конце 1826 г., когда приехал в Москву из псковской ссылки. С большим одобрением относился к поэтическим произведениям Шевырева, например, стихотворение его «Мысль» находил «одним из замечательнейших стихотворений текущей словесности»; по поводу статей Шевырева в «Московском вестнике» писал Погодину: «...пора уму и знаниям вытеснить Булгарина и Федорова»; некоторые «опыты» Шевырева признавал достойными стать наряду с лучшими статьями английских «Обозрений». В веселые минуты, однако, непрочь был над ним посмеяться. Шевырев был слаб на вино

и как немного охмелеет, то сейчас же растает и начинает говорить о любви, о согласии, братстве и о всякого рода сладостях; в молодости иногда у него это выходило хорошо. Однажды Пушкин, слушая пьяно-восторженные речи его о любви, воскликнул:

— Ах, Шевырев, зачем ты не всегда пьян!

«Шевырев, — рассказывает Н. С. Тихонравов, — с жадностью прислушивался к задушевным домашним импровизациям Пушкина о поэзии и искусстве; из них он хотел извлечь материалы для теории поэзии. «Беседы с Пушкиным о поэзии и русских песнях, — говорил Шевырев, — чтение Пушкиным этих песен принадлежит к числу тех плодотворных впечатлений, которые содействовали образованию моего вкуса и развитию во мне истинных понятий о поэзии».

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ КИРЕЕВСКИЙ
(1806—1856)

Один из основателей славянофильства. Сын Авдотьи Петровны (по второму мужу) Елагиной. Вместе с матерью и братом владел 1 500 душ. Служил в московском архиве иностранной коллегии («архивный юноша»), был последователем шеллинговой философии. В 1832 г. начал издавать журнал «Европеец», к которому привлек лучших тогдашних писателей. Пушкин, постоянно мечтавший о хорошем журнале в России, писал Языкову: «Поздравляю всю братью с рождением Европейца. Готов с моей стороны служить вам чем угодно, прозой и стихами, по совести и против совести». Но журнал был запрещен на втором номере за статью Киреевского «XIX век». В статье провозглашалось всемирно-историческое будущее России, но непременным условием этого признавалось усвоение современного европейского романтического религиозного настроения и указывалось на отрешенность русского прошлого от общего хода всемирно-исторического развития вследствие недостатка у нас духовной античной культуры. Бенкендорф по поводу этой статьи писал министру народного просвещения кн. Ливену: «Его величество изволил найти, что статья сия есть не что иное, как рассуждение о высшей политике, хотя в начале оной сочинитель и утверждает, что говорит не о политике, а о литературе. Но стоит обратить только некоторое внимание, чтобы видеть, что сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, разумеет совсем иное; что под словом «просвещение» он понимает свободу, что «деятельность разума» означает у него революцию, а «искусно отысканная середина» не что иное, как конституция» Пушкин писал И. И. Дмитриеву: «Журнал Европеец запрещен вслед-

ствие доноса. Киреевский, добрый и скромный Киреевский, представлен правительству сорванцом и якобинцем. Все здесь надеются, что он оправдается, и что клевета будет изобличена». Цензор, пропустивший статью, был подвергнут взысканию, и Киреевский признан «человеком неблагомыслящим и неблагонадежным».

Киреевский был человек исключительной душевной красоты, о нем с глубочайшим уважением отзывались даже идейные его враги, как Грановский и Герцен. Герцен рассказывает: «Киреевский, расстроивший свое состояние «Европейцем», уныло почил в пустыне московской жизни; ничего не представлялось вокруг, — он не вытерпел и уехал в деревню, затая в груди глубокую скорбь и тоску по деятельности. И этого человека, твердого и чистого, как сталь, разъела ржа страшного времени. Через десять лет он возвратился в Москву из своего отшельничества мистиком и православным».

ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ КИРЕЕВСКИЙ
(1808—1856)

Брат предыдущего, тоже славянофил. Выдающийся собиратель русских народных песен. Пушкин сам очень интересовался народными песнями, записывал их и собирался совместно с Соболевским издать сборник. Но, отвлеченный другими работами, отказался от издания, а записанные им песни в 1833 г. передал Киреевскому. В сороковых годах Киреевский показывал свое собрание песен Буслаеву и сказал:

— Вот эту пачку дал мне сам Пушкин и при этом сказал: «Когда-нибудь от нечего делать разберите-ка, которые поет народ и которые смастерил я сам». Сколько я ни старался разгадать эту загадку, никак не мог сладить. Когда это мое собрание будет напечатано, песни Пушкина пойдут за народные.

Летом 1835 г. Киреевский вместе с Жуковским был у Пушкина на его даче на Черной речке. Пушкин с великою радостью перебирал с Киреевским его собрание, много читал из собранных им песен и обнаруживал самое близкое знакомство с этим предметом.

С. М. Соловьев так характеризует П. Киреевского: «Доброе, кроткое, симпатичное существо; был очень трудолюбив, много читал, но не был даровит, не был умен, не имел никакого характера; нравственная слабость, неспособность двинуться, сделать что-нибудь доходили в нем до неимоверных размеров; вобрать в себя, начитаться, наслушаться, наглядеться — это было его дело; но самому что-нибудь написать, сделать — для этого нужны были усилия неимоверные».

СЕМЕН ЕГОРОВИЧ РАИЧ
(1792—1855)

Рожденный Амфитеатров, сын сельского священника, младший брат киевского митрополита Филарета. Учился в севской семинарии, где получил фамилию Раич. По окончании курса был домашним учителем в московских дворянских семьях, воспитанниками его были Ф. И. Тютчев (впоследствии известный поэт), Андрей Муравьев (поэт и богослов). В 1818 г. окончил московский университет, в 1822 г. получил степень магистра словесных наук, преподавал словесность в университетском Благородном пансионе и других московских учебных заведениях. Был человек образованный, хорошо знал древние и новые литературы, сам писал стихи. Пользовалась известностью его песня: «Не дивитесь, друзья, что не раз между вас на пиру веселом я призадумывался». В 1828 г. издал плод долголетнего труда, полный перевод «Освобожденного Иерусалима» Тассо. Однако славу приобрел один только стих перевода: «Готфрид Бульонский в гневе отправился в храм». Раич перевел это так:

Вскипел Бульон, течет во храм.

Тем не менее перевод тассовой поэмы был для своего времени большою культурною заслугою Раича. Перевел еще «Георгики» Вергилия и «Неистового Орланда» Ариосто. В 1823 г. основал в Москве литературный кружок, которого был председателем; в кружок входило много талантливой молодежи — Шевырев, Андрей Муравьев, Погодин, Титов, Андросов. Раич был маленького роста, тщедушный, с смуглым, почти черным лицом и черными глазами. Был человек чистый, целомудренный, почти монах по образу жизни, восторженный чудак, вечно пребывавший в мире поэтических своих фантазий, благоговейно почитавший поэзию, младенчески-незлобивый и бескорыстный. Когда основывался журнал «Библиотека для чтения», издатель пригласил в сотрудники Раича и сообщил, что гонорар ему будет такой-то. Раич гордо поднял голову и ответил:

— Я не торгаш и не продаю своих вдохновений!

Раич уверяет, будто бы однажды Пушкин в откровенном разговоре сказал ему:

— Я всякий раз чувствую жестокое угрызение совести, когда вспоминаю, что я, может быть, первый из русских начал торговать поэзией. Я, конечно, выгодно продал свой «Бахчисарайский фонтан» и «Евгения Онегина»; но к чему это поведет нашу поэзию, а может

быть, и всю нашу литературу? Уж, конечно, не к добру. Признаюсь, я завидую Державину, Дмитриеву, Карамзину: они бескорыстно и безукоризненно для словесности подвизались на благородном своем поприще, на поприще словесности. А я?

Тут, будто бы, Пушкин тяжело вздохнул и замолчал. Рассказ, конечно, характерен только для отношения самого Раича к вопросу о вознаграждении за литературный труд. Для Пушкина никаких тут сомнений не было. Литературный труд столь же законен, как и всякий другой, и получать за него вознаграждение вовсе не значит «торговать поэзией»:

Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.

АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ ХОМЯКОВ
(1804—1860)

В молодости поэт и драматург, впоследствии — один из основоположников славянофильства, разрабатывавший преимущественно религиозную сторону этого учения. Сын богатого помещика, учился дома. Сдал при московском университете экзамен на степень кандидата математических наук. В 1822 г. поступил в кирасирский полк, через три года вышел в отставку, путешествовал по Европе. В конце 1826 г. читал в Москве у Веневитинова, в присутствии Пушкина, свою трагедию «Ермак». В 1827—1828 гг. жил в Петербурге, посещал салоны Е. А. Карамзиной и кн. В. Ф. Одоевского, где встречался с Пушкиным. В турецкую войну 1828—1829 гг. снова поступил на военную службу в гусарский полк, участвовал в нескольких сражениях. После этого жил летом в своих рязанских и тульских поместьях, успешно хозяйничая, зимою — в Москве, в обширном собственном доме на Собачьей площадке. В 1836 г. женился на сестре поэта Языкова. С детства Хомяков был воспитан матерью в строго-православном и националистическом духе и всю жизнь оставался неизменно верен этому духу. Был человек исключительной начитанности и блестящего ума, замечательный спорщик, не брезгавший, однако, в спорах самой бесцеремонной софистикой. Поэт был слабый, драматург еще более слабый. Лирические стихи его Пушкин снисходительно называл «прекрасными», а о трагедии «Ермак» отозвался так: «Это лирическое произведение пылкого юношеского вдохновения не есть произведение драматическое. В нем все чуждо нашим нравам и духу, все, даже самая очаровательная прелесть поэзии».

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ СНЕГИРЕВ
(1792—1868)

Сын профессора московского университета. В 1815 г. получил степень магистра словесных наук. Первоначально работал в области латинской филологии и до 1836 г. был профессором римской словесности в московском университете. Но уже с начала двадцатых годов все интересы Снегирева направились на русскую этнографию. Он первый поставил на научную почву изучение русских пословиц, первый обратился к исследованию русских лубочных картин и собранию сведений о русских простонародных праздниках и суеверных обрядах и более всех своих предшественников потрудился над изучением памятников старинного русского зодчества, особенно московских и подмосковных. Оставив в 1836 г. кафедру, он еще ревностнее предался любимой науке. С 1828 г. служил еще цензором.

И. А. Гончаров студентом слушал лекции Снегирева по римской литературе. Он вспоминает: «Вкрадчивый, тонкий, но в то же время циничный, бесцеремонный, с нами добродушный, он разбирал римских писателей, — так себе, с чисто лингвистической стороны, мало знакомя нас с духом и историей древних. Кажется, ему до них мало было дела, а нам было мало дела до него. Он, как иногда казалось мне, будто притворялся знатоком римских древностей. Мы были друг к другу равнодушны и уживались с ним очень хорошо. Он же иногда умел сдабривать лекции остротами и анекдотами: балагурство было, кажется, господствующею чертою его характера. Он и в обществе имел репутацию буфона и наживал себе одним этим, кроме разных других проделок, много врагов. Он исподтишка мастер был посмеяться над всяким, кто попадется под руку. Забавно было видеть, как он однажды попался впросак. Один студент написал брошюру о царе Горохе; там изображались в карикатуре некоторые профессора университета и, между прочим, чопорный и важный Ив. Ив. Давыдов. Описывалась их наружность, манера читать. Снегирев был цензором и пропустил брошюру, заранее наслаждаясь про себя эффектом брошюры. Брошюра, действительно, произвела эффект и смех. Она ходила по рукам. Профессора вознегодовали, больше всех он, великолепный Иван Иванович: как могло его коснуться дерзкое перо! Потерпел не автор-шалун, а цензор. С ним не говорили, отворачивались от него; Иван Иванович положительно не глядел на него; а тот залезал в глаза, старался замести хвостом свою шутку, льстил, изгибался — и напрасно. Мы видели все это и наслаждались профессорскою комедиею».

С Пушкиным Снегирев познакомился как цензор вскоре после при-

езда Пушкина в Москву из псковской ссылки. 24 сентября 1826 г. Снегирев записал в дневнике: «Был у А. Пушкина, который привез мне, как цензору, свою пьесу Онегин глава II и согласился на сделанные мною замечания, выкинув и переменив несколько стихов; сказывал мне, что есть в некоторых местах обычай троицкими цветами обметать гробы родителей, чтобы прочистить им глаза. Талант его виден и в глазах его: умен и остр, благороден в изъяснении и скромнее прежнего. Опыт не шутка».

Снегирев был цензор очень трусливый и потому придирчивый. Возражал против ряда мест в «Графе Нулине», который был затем пропущен царем. В марте 1827 г. Погодин привозил к нему «Сцену из Фауста», предназначавшуюся для «Московского вестника». Снегирев нашел в ней «выражения, противные нравственности», «все основание оной» ему не понравилось, и он отказался пропустить пьесу. Царь и эту пьесу разрешил. Пушкин с торжеством писал Погодину: «Победа, победа! Фауста царь пропустил!.. Скажите это от меня господину, который вопрошал нас, как мы смели представить пред очи его высокородия такие стихи. Покажите ему это письмо и попросите его высокородие от моего имени впредь быть учтивее и снисходительнее. Если московская цензура все-таки будет упрямиться, то напишите мне, и я опять буду беспокоить государя императора всеподданнейшею просьбою и жалобами на неуважение высочайшей его воли».

Пушкин не раз встречался с Снегиревым у знакомых московских литераторов. В середине мая 1827 г. он с Соболевским заехал к Снегиреву, когда он уже спал, и увез его на вечеринку к Н. А. Полевому. Ксенофонт Полевой вспоминает: «Ужинали, пировали всю ночь и разъехались уже утром. Пушкин казался председателем этого сборища и, попивая шампанское с сельтерской водой, рассказывал смешные анекдоты, читал свои непозволенные стихи, хохотал от резких сарказмов И. М. Снегирева».

Пушкину и впоследствии приходилось терпеть от придирчивости Снегирева. В 1829 г. он написал ему: «Сделайте одолжение объяснить, на каком основании не пропускаете вы мною доставленное замечание в «Московский телеграф». Мне необходимо, чтобы оно было напечатано, и я принужден буду, в случае отказа, отнестись к высшему начальству вместе с жалобою на пристрастие, не ведаю, к кому».

Приступив к изданию «Современника», Пушкин пригласил Снегирева участвовать в журнале, собирался написать разбор его книги «Русские в своих пословицах», интересовался его замечаниями на «Слово о полку Игореве».

Цензорская осторожность и придирчивость Снегирева не спасли его

от беды. В 1855 г. он пропустил книжку, где мимоходом говорилось о деятельности Н. И. Новикова, и был уволен от службы. Последние годы жизни он сильно нуждался, поехал в Петербург хлопотать о пенсии и умер от удара в больнице.

ИВАН ИВАНОВИЧ ДАВЫДОВ
(1794—1863)

Был в московском университете профессором сперва латинской словесности и философии, в 1831 г., после смерти Мерзлякова, занял кафедру русской словесности. Историк С. М. Соловьев пишет о нем: «Это был человек бесспорно очень даровитый, могший принести большую пользу науке, если бы посвятил ей всего себя, но он посвятил всего себя для удовлетворения самого мелкого честолюбия; для достижения почестей он считал все средства позволительными: нипочем ему было очернить человека, загораживающего ему дорогу, унизиться до самой невообразимой лести пред человеком сильным и пред лакеями человека сильного... Получив первую звезду, Станислава, Давыдов не постыдился объявить, что высшие ордена производят удивительное влияние, что он чувствует себя нравственно лучше, выше, получивши звезду... Пресмыкаясь перед сильными, он требовал пресмыкания перед собою от всех, которые были ниже его, и горе человеку, в котором он заподозрит недостаток раболепства!» И. А. Гончаров, слушавший его студентом, вспоминает: «Мы чутко прозирали в нем что-то искусственное, декоративное. Высокого роста, несколько сутуловатый, с довольно благообразным лицом, умными серыми глазами, с мерными, округленными жестами, он держал себя с условным достоинством; речь его была плавная, исполненная приличия. Но от нее веяло холодом, напускною величавостью, которая быстро превращалась в позу покорности и смирения при появлении какой-нибудь важной персоны или начальства. Симпатии у нас к нему не было».

В конце сентября 1832 г. Пушкин писал жене из Москвы: «Сегодня еду слушать Давыдова профессора; но я ни до каких Давыдовых, кроме Дениса, не охотник, а в московском университете я оглашенный. Мое появление произведет шум и соблазн, а это приятно щекотит мое самолюбие». Ожидания Пушкина не оправдались. Он был принят университетом с большим почетом. Один из тогдашних студентов вспоминает: «Утром читал лекцию проф. И. И. Давыдов. Вдруг входит министр народного просвещения С. С. Уваров, ведя с собою молодого человека невысокого роста, с чрезвычайно оригинальной, выразительной фи-

зиономией, осененной густыми, курчавыми, каштанового цвета волосами, одушевленной живым, быстрым, орлиным взглядом. Указывая на вошедшего с ним молодого человека, министр сказал: «Здесь преподается теория искусства, а я привел вам само искусство». Не надо было объяснять нам, что это олицетворенное искусство — был Пушкин».

АМЕДЕЙ ДЕКАМП

Был во Франции директором провинциальной школы. В 1822 г. приехал в Россию. «Это был, — рассказывает И. А. Гончаров, — значительно потертый и поношенный француз старого пошиба, с задиранием головы и носа, с напускною важностью во взгляде и в тоне, с округленною, напыщенною фразою и прямой, как палка. Злые языки говорили, что он носит корсет. Он, как рога какие-нибудь, носил свое мнимое величие в позе головы, в неподвижности корпуса, говорил, — точно изрекал глаголы оракула, и смотрел на все свысока. Говорят, он имел большой успех в светских салонах, — разве потому только, что он француз, да за эту скульптурную величавость и за декламационный тон речи».

Бартенев со слов А. П. Елагиной рассказывает: «В начале 1827 г. в Москве читал лекции о французской поэзии некто Декамп, обожатель Виктора Гюго и новейшей школы и отвергавший авторитеты Буало, Расина и проч. Эти лекции читались в зале М. М. Сонцова, дяди Пушкина по Елизавете Львовне. А. П. Елагина по знакомству с Декампом взяла билет и ездила слушать. В самую первую лекцию она встретила там Пушкина, который подсел к ней и во все время чтения смеялся над бедным французом и притом почти вслух. Это совсем уронило лекции. Декамп принужден был не докончить курса, и после долго в этом упрекали Пушкина».

В 1829 г. Декамп был назначен лектором французского языка и литературы в московском университете. В 1837 г. вышел в отставку, уехал во Францию и вскоре умер.

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГУЛЬЯНОВ
(1789—1841)

Сын бывшего молдавского господаря Маврокордато, умершего в Москве. Египтолог, напечатал ряд работ по египетской археологии, член Российской академии, служил в иностранных миссиях. В 1830 г., узнав о предстоящей женитьбе Пушкина, анонимно прислал ему стихотворение. Музы горько оплакивают ожидаемую женитьбу поэта:

Не будет больше вдохновений,
Не будет умственных парений,—
Прошли свободные часы!

Автор же им возражает:

Уймите дух свой сокрушенный,
О музы! Друг ваш вожделенный
Небесным пламенем горит:
Источник новых откровений
Залогом будет вдохновений, —
И снова гений воспарит.

Тронутый Пушкин отозвался на стихи «Ответом Анониму»:

О, кто бы ни был ты, чье ласковое пенье
Приветствует мое к блаженству возрожденье,
Чья скрытая рука мне крепко руку жмет,
Указывает путь и посох подает, —
Благодарю тебя душою умиленной!
Вниманья слабого предмет уединенный,
К доброжелательству досель я не привык.
И странен мне его приветливый язык.
Смешон, участия кто требует у света.
Холодная толпа взирает на поэта,
Как на заезжего фигляра: если он
Глубоко выразит сердечный, тяжкий стон,
И выстраданный стих, пронзительно-унылый,
Ударит по сердцам с неведомою силой, —
Она в ладони бьет и хвалит, иль порой
Неблагосклонною кивает головой.
Постигнет ли певца внезапное волненье,
Утрата скорбная, изгнанье, заточенье, —
«Тем лучше, — говорят любители искусств: —
Тем лучше! Наберет он новых дум и чувств
И нам их передаст». Но счастие поэта
Меж ними не найдет сердечного привета,
Когда, боязненно безмолвствует оно...

Впоследствии Пушкин встречался с Гульяновым в Москве у Нащокина.

ЦЫГАНКА ТАНЯ

Татьяна Демьяновна (Дмитриевна), известная во времена Пушкина цыганская певица; «соловьиный голос» ее восторженно отмечался в тогдашних рецензиях о цыганских концертах. В 1832 г. П. В. Киреевский писал поэту Языкову: «Недели две тому назад я, наконец, в пер-

вый раз слышал у Свербеевых тот хор цыган, в котором примадонствует Татьяна Дмитриевна, и, признаюсь, что мало слыхал подобного. Едва ли есть русский, который бы мог их равнодушно слушать». В 1830 г. Таня с другими цыганами и цыганками жила на Садовой. Однажды в марте, в двенадцатом часу ночи, все они собирались ложиться спать, как вдруг в ворота постучались. Подруга Лукерья прибежала и закричала:

— Ступай, Таня, гости приехали, слушать хотят!

Таня только что расплела на ночь косу и повязала голову платком. В таком виде и вышла, — в красном ситцевом платье и с белым платком на голове в виде колпака. В зале она нашла четверых гостей — трех знакомых, в их числе П. В. Нащокина, четвертого Таня видела в первый раз — невысокого роста, с толстыми губами, кудлатого. Это был Пушкин. Увидел Таню и покатился со смеху, сверкая белыми зубами:

— Поваренок, поваренок!

Таня засмеялась. Новый гость показался ей очень некрасивым, и она сказала подругам по-цыгански:

— Гляди, гляди, как нехорош, точно обезьяна!

Подруги залились смехом, Пушкин пристал:

— Что ты сказала? Что ты сказала?

— Ничего. Сказала, что вы надо мною смеетесь, поваренком зовете.

Нащокин заметил:

— А вот, Пушкин, послушай, как этот поваренок поет!

В то время цыгане пели преимущественно русские народные песни. Замечательная память этого музыкального племени сберегла много чудесных русских песен, частью совершенно забытых в самом народе. Но уже начинали входить в моду и сочиненные романсы. Таня спела любимый свой романс: «Друг милый, друг милый, с далека поспеши!» Пушкин слушал, взобравшись на теплую лежанку. Соскочил и бросился к Тане:

— Радость ты моя, радость моя, извини, что я тебя поваренком назвал, ты бесценная прелесть, не поваренок!

После этого Пушкин стал часто ездить на Садовую к цыганам, часто приезжал один — вечером, а иногда и утром. И все занимался Таней: то петь заставит, то просто болтает, хохочет, учится по-цыгански. Все в хоре читали его «Цыган», Таня много мест поэмы помнила наизусть; однажды прочла ему оттуда и сказала:

— Как это вы хорошо про нашу сестру, цыганку, написали!

Пушкин засмеялся:

— Я на тебя новую поэму напишу!

Было это утром, на масленице, на дворе стоял лютый мороз, Пушкин опять взобрался на лежанку. Сказал:

— Хорошо тут, тепло. Только есть хочется.

— А тут поблизости харчевня одна есть, отличные блины там пекут, — хотите, пошлю за блинами?

Пушкин поморщился.

— Харчевня — грязь!

— Чисто, будьте благонадежны. Сама не стала бы есть.

— Ну, хорошо, посылай. — Вынул две десятирублевки. — Да вели кстати бутылку шампанского купить.

Принесли блинов, шампанского. Пушкин потчевал всех блинами, разливал по стаканам шампанское. Сидел на лежанке, с тарелкой на коленях, ел и восхищался:

— Нигде таких вкусных блинов не едал!

Зазвонили к вечерне. Пушкин вскочил с лежанки.

— Ахти мне, радость моя, из-за тебя забыл, что меня жид-кредитор ждет!

Схватил шапку и убежал.

В конце 1830 г., по возвращении из Болдина, Пушкин опять стал посещать хор на Садовой, но реже. Однако Таня часто виделась с ним у Нащокина, который в это время жил с подругою Тани, цыганкою Олей. Пушкин стал как-то скучнее, но иногда вдруг оскалит белые зубы и примется попрежнему хохотать. Новый 1831 год он встретил у цыган и писал Вяземскому: «Новый год встретил я с цыганами и с Татьяной, настоящей Татьяной-пьяной. Они пели песню, в таборе сложенную, на голос «Приехали сани»:

Давыдов с ноздрями,
Вяземский с очками,
Гагарин с усами
Девок испугали
И всех разогнали...

За два дня до свадьбы Пушкина Таня была у Нащокиных. К крыльцу подкатили сани, вошел Пушкин. Еще из сеней увидел Таню и закричал:

— Ах, радость моя, как я рад тебе, здорово, моя бесценная!

Поцеловал Таню в щеку и уселся на диван. Сел и тяжело задумался, оперши голову на руку. Поглядел на Таню.

— Спой мне, Таня, что-нибудь на счастье; слышала, может быть, я женюсь?

— Как не слыхать. Дай вам бог, Александр Сергеевич!

— Ну, спой мне, спой!

— Давай, Оля, гитару, споем барину.

Ольга принесла гитару. Таня стала перебирать струны, обдумывая, что ей спеть. На душе у нее в это время было очень грустно, любимого человека жена его увезла в деревню, Таня сильно по нем тосковала. И всю грусть, всю свою тоску она вложила в песню.

Ах, матушка, что так в поле пыльно?
Государыня, что так пыльно?
Кони разыгралися... А чьи-то кони, чьи-то кони?
Кони Александра Сергеевича...

Пела, исходя тоскою, и не поднимала глаз от гитары. Вдруг Пушкин громко зарыдал. Таня подняла глаза. Он схватился рукой за голову и плакал, как ребенок. Нащокин кинулся к нему.

— Что с тобой, что с тобой, Пушкин?

— Ах, эта ее песня все во мне перевернула, она мне не радость, а большую потерю предвещает!

Встал и уехал, ни с кем не простившись.

Еще раз Таня видела Пушкина через месяц-полтора после его свадьбы. Шла она по улице, навстречу богатая, новенькая карета четвернею. Слышит, кто-то из кареты кричит:

— Радость моя, Таня, здорово!

Это был Пушкин; он спустил окно кареты, высунулся и послал Тане рукою поцелуй. Рядом с ним Таня увидела его красавицу-жену в голубой бархатной шубе. Наталья Николаевна глядела на Таню и улыбалась.

II

В ПЕТЕРБУРГЕ

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ОЛЕНИН
(1763—1843)

Президент Академии художеств, директор Публичной библиотеки, археолог. Примыкал к литературной партии Шишкова, был деятельным участником «Беседы любителей российского слова». В хлебосольном доме его собирались, с одной стороны, представители высшей аристократии, с другой — писатели и художники. Постоянными посетителями были Державин, Капнист, Озеров, Крылов, Гнедич, Батюшков, позднее — Жуковский, Вяземский, Пушкин, М. Глинка, Брюллов, Кипренский. Граф С. С. Уваров вспоминает: «Предметы литературы и искусства оживляли разговор; совершенная свобода в обращении, непринужденная откровенность, добродушный прием хозяев давали этому кругу что-то патриархальное, семейное. Сюда обыкновенно привозились все литературные и художественные новости. Политика не составляла главного предмета разговора, — она всегда уступала место литературе». Летом ссбирались на даче Е. М. Олениной Приютине, недалеко от Петербурга, за Пороховыми заводами. Дача отличалась прекрасным местоположением; барский дом стоял над самою рекою и прудом, окаймленным дремучими лесами. Гостей всегда было множество; держалось семнадцать коров, а сливок никогда нехватало. Гостить у Олениных было очень привольно: каждому отводилась особая комната, давалось все необхо-

димое, и затем объявляли: в десять часов утра пьют чай, в двенадцать — завтрак, в четыре обед, в шесть часов полудничают, в девять — вечерний чай; к еде гости созывались ударом в колокол. В остальное время дня и ночи каждый мог заниматься, чем угодно: гулять, ездить верхом, стрелять в лесу из ружей, пистолетов и из лука, причем Оленин показывал, как нужно натягивать тетиву. В карты играли только в исключительных случаях. В большом ходу была игра в шарады, которая, при даровитости участников, являлась очень интересною; особенно уморителен был в этой игре Крылов, когда он изображал героев своих басен.

Оленин был очень маленького роста, горбатый, седой, как лунь, веселый, подвижной. Был, по выражению Вигеля, «искателен в сильных при дворе и чрезвычайно уступчив в сношениях с ними». Когда служивший под его начальством в Публичной библиотеке Дельвиг съездил в Михайловское на свидание с опальным Пушкиным, Оленин уволил Дельвига от должности. Свербеев рассказывает: «Оленин, человек по учености и человек по росту и характеру, имел солидное классическое образование, был знаток древностей, и археологические свои знания с умением и вкусом распространял на художества и поэзию. Им было написано множество статей о разных ученых предметах. Несмотря на свою серьезную ученость и художественный вкус, он был сановником уклончивым, искательным. В звании государственного секретаря он был послушным орудием Аракчеева». Однажды на конференции Академии художеств Оленин предложил избрать Аракчеева почетным членом. Тогда известный масон Лабзин спросил о причине такого странного предложения. Оленин смутился и ответил:

— Потому что граф Алексей Андреевич ближе всех к государю.

— В таком случае, — заявил Лабзин, — я имею честь предложить почтенному собранию избрать в наши члены Илью Ивановича Байкова, лейб-кучера его императорского величества, ибо никто, согласитесь со мной, не бывает так близко к его величеству, как он.

Лабзин был за это выслан на жительство в Симбирск. Оленин носил странный, смешной мундир ополченца 1812 г., в угодность государю, который жаловал более военных, чем статских. Видеть маленькую фигурку в течение двадцати лет в этой одежде, столь мало приличной государственному секретарю, а тем более президенту Академии художеств, было тем более странно и смешно, что Оленин в Отечественную войну и не имел случая, а может быть, и желания понюхать пороху.

СНИНЪ, АЛЕКСѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.
1843.
80

ЕЛИЗАВЕТА МАРКОВНА ОЛЕНИНА
(1768—1838)

Жена А. Н. Оленина, рожденная Полторацкая, тетка А. П. Керн. Вигель о ней: «Эта умная женщина исполнена доброжелательства ко всем; но в изъявлении его некоторая преувеличенность заставляла иных весьма несправедливо сомневаться в ее искренности. Любовь к общежитию побеждала в Елизавете Марковне самые телесные страдания, коим так часто была она подвержена. Часто, лежа на широком диване, окруженная посетителями, видимо мучаясь, умела она улыбаться гостям. Ей хотелось, чтобы все у нее были веселы и довольны. Ни в каких хозяевах нельзя было найти столько образованной приветливости. Искусно сочетались все приятности европейской жизни с простотой русской старины». «Добрая Элиза», — называл ее Батюшков.

АННА АЛЕКСЕЕВНА ОЛЕНИНА
(1808—1888)

Дочь предыдущих. Выросла в блестящем кругу писателей и артистов, собиравшихся в доме Олениных. Семнадцати лет назначена фрейлиной. При дворе считалась одною из выдающихся красавиц, выделялась, кроме того, блестящим, игривым умом и особенною любовью ко всему изящному. Была небольшого роста, с золотисто-русыми волосами. О глазах ее Пушкин писал:

Какой задумчивый в них гений,
И сколько детской простоты,
И сколько томных выражений,
И сколько неги и мечты!..
Потупит их с улыбкой Леля, —
В них скромных граций торжество;
Поднимет, — ангел Рафаэля
Так созерцает божество!

В 1828 г. Пушкин увлекался Олениной. Весною он почти ежедневно встречался с нею в Летнем саду, куда ходил гулять с Вяземским и Плетневым. Если ее не было, он искал ее по всему саду, кидался к Вяземскому или Плетневу и жалобным голосом повторял стих из трагедии Озерова:

Где Бренский? Я Бренского не вижу!

В мае месяце Пушкин с Вяземским и Мицкевичем гостили в Приютине. Комары всех изводили, Вяземский приходил в неистовство, Мицкевич говорил, что это кровавый день, а Пушкин, весь в прыщах, осаждаемый комарами, нежно восклицал:

— Сладко!

В пушкинских черновых тетрадях того времени беспрестанно встречается анаграмма имени и фамилии Олениной: Aninelo, Etenna. Раз даже встречается густо зачеркнутая запись: «Annette Pouchkine». Писал о ней много стихов. Однажды Оленина нечаянно сказала Пушкину «ты». В следующее свое посещение Пушкин привез ей стихи:

Пустое вы сердечным ты
Она, обмолвясь, заменила
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою;
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: «как вы милы!»
И мыслю: «как тебя люблю!»

Однако увлечение Пушкина Олениной не было особенно сильным и носило больше эстетический характер. Вяземский писал жене: «Пушкин думает и хочет дать думать девице Олениной и другим, что он в нее влюблен, и играет ревнивого». В другом письме к ней же, после посещения Приютина: «...там нашли мы и Пушкина с его любовными гримасами». Одновременно Пушкин ухаживал в Петербурге за А. О. Россет и А. Ф. Закревской. Уехав в деревню, он писал о Нетти Вульф, что летает за нею сердцем и для нее забывает и Оленину, и Россет.

Легкость увлечения Пушкина Олениной не помешала ему, однако, в начале 1829 г. посвататься за нее. Но, по настоянию ее матери, Елизаветы Марковны, Пушкину было отказано, — по словам Бартенева, в связи с недавно закончившимся делом о «Гаврилиаде». По другим сведениям, согласие Пушкину было дано. Старик Оленин созвал на обед родных и приятелей, чтобы за шампанским объявить о помолвке дочери. Гости собрались, но жених не явился. Оленин долго ждал Пушкина и, наконец, предложил гостям сесть за стол без него. Пушкин приехал после обеда, довольно поздно. Оленин взял его под руку и повел в кабинет для объяснений. Свадьба расстроилась.

В 1842 г., тридцати двух лет, Оленина вышла замуж за офицера, лейб-гусара Ф. А. Андро, побочного сына бывшего одесского генерал-губернатора графа Андро Ланжерона. Больше сорока лет прожила в Варшаве, где муж ее служил — сначала адъютантом Паскевича, потом варшавским президентом. Умерла в глубокой старости.

АЛЕКСАНДРА ОСИПОВНА РОССЕТ-СМИРНОВА
(1809—1882)

Отец ее, Осип Иванович Россет, был французский эмигрант, служил комендантом одесского порта. Мать, Надежда Ивановна Лорер, сестра декабриста Н. И. Лорера, была по отцу тоже француженка, по матери — грузинка из рода князей Цициановых. Отец умер, когда девочке было пять лет, мать вторично вышла замуж за генерала И. К. Арнольди, человека грубого и жестокого. Девочку поместили в Екатерининский институт в Петербурге, а четырех ее братьев, младше ее, — в Пажеский корпус. Мать умерла через год после поступления девочки в институт, она осталась круглой сиротой. Попечение о ней перешло к императрице Марии Федоровне. В институте русскую литературу преподавал П. А. Плетнев, он привил маленькой Россет любовь к ней. Семнадцати лет Александра Осиповна окончила институт с вензелем и была назначена фрейлиной к императрице Марии Федоровне, а в 1828 г., после ее смерти, — к императрице Александре Федоровне, жене Николая.

Россет была невысокого роста, красоты выдающейся и оригинальной. Правильные, строгие черты смугло-румяного лица, очень образованная и умная, с острым язычком, никому не дававшим пощады. Ей не было еще двадцати лет, а скромная ее фрейлинская квартирка в четвертом этаже Зимнего дворца сделалась местом постоянных сборищ самых выдающихся людей того времени. Россет любила поэзию и обладала тонким, верным поэтическим чутьем; читала много и разнообразно, вплоть до самых серьезных книг, интересовалась даже богословскими вопросами. Прямо от творений Иоанна Златоуста или Григория Назианзина она влетала в свой салон и говорила о делах парижских с старым дипломатом, о литературной новинке с писателем, сплетничала и злословила с приятельницами, флиртовала с поклонниками, обмениваясь с ними загадочными полусловами. И вся была из противоречий. То бойкая, неугомонная «егоза», как назвал ее Пушкин, то вся охваченная прелестною южною ленивостью и неподвижностью; глаза то искрятся весельем и радостью, то смотрят с глубокой тоской; то сердечная, отзывчивая на всякое горе, приходящая в восхищение от всего доброго, то колючая, язвительная, с скептической усмешкой глядящая на жизнь и людей; светски воспитанная, прекрасно знавшая по-французски, любила говорить по-русски в обществе, где разговорным языком был французский, и смело употребляла такие выражения, как «к черту», «втюрилась», «как бишь его» и т. п.; задыхалась в пустоте светской жизни и не могла жить без нее; хорошо умела держать поклонников в узде, — «придворных витязей гроза», писал о ней Пушкин; од-

нажды, например, когда влюбленный в нее В. А. Перовский, которого и она любила, попробовал ее обнять, она дала ему пощечину; но умела, когда хотелось, ослабить узду и доходить до самой опасной черты. С. Т. Аксаков рассказывает: «Недоступная атмосфера целомудрия, скромности, это благоухание, окружающее прекрасную женщину, никогда ее не окружало, даже в цветущей молодости». А сын его И. С. Аксаков, знавший Смирнову-Россет под ее старость, писал отцу: «Я не верю никаким клеветам на ее счет, но от нее иногда веет атмосферою разврата, посреди которого она жила. Она показывала мне свой портфель, где лежат письма, начиная от государя до всех почти известностей включительно. Есть такие письма, писанные к ней чуть ли не тогда, когда она была еще фрейлиной, которые она даже посовестилась читать мне вслух — столько мерзостей и непристойностей. Много рассказывала про всех своих знакомых, про Петербург, об их образе жизни, и толковала про их гнусный разврат и подлую жизнь равнодушным тоном привычки, не возмущаясь этим».

Поклонников у красавицы было несметное количество. Жуковский называл ее «небесным дьяволенком» и писал ей шутливые стихи в таком роде:

Я на все решиться готов. Прикажете ль, кожу
Дам содрать с моего благородного тела, чтоб сшить вам
Дюжину теплых калошей, дабы, гуляя по травке,
Ножек своих замочить не могли вы? Прикажете ль, уши
Дам отрезать себе, чтобы, в летнее время хлопушкой
Вам усердно служа, колотили они дерзновенных
Мух, досаждающих вам неотступной своею любовью?

Есть сведения, что он даже сватался за нее. Ее влюбленно воспевали Вяземский, В. Туманский, Хомяков, Лермонтов, Соболевский. Большим успехом пользовалась она и в придворном мире. Ходили слухи, что ею увлекались вел. князь Михаил Павлович и сам император Николай.

Зимою 1828 г. Россет часто ездила по вечерам пить чай к одной старой фрейлине. Там бывал нередко и член государственного совета князь Сергей Михайлович Голицын. Голицын этот был муж известной княгини А. И. Голицыной-Ночной (о ней рассказано в главе VI). Вскоре после женитьбы они разъехались. Голицын был колоссально богат, владел 25 тыс. душ крестьян, заводами и т. д. Был он стар и некрасив, чванлив с низшими и угодлив при дворе, характера и ума совершенно ничтожного: когда, например, он вскоре был назначен попечителем московского учебного округа, то долго не мог привыкнуть к такому

беспорядку, что заболел профессор — и лекций нет; он думал, что следующий по очереди должен был его заменять, так что, — острил Герцен, — «отцу протоиерею Терновскому пришлось бы иной раз читать в клинике о женских болезнях, а акушеру Рихтеру толковать бессеменное зачатие». Голицын стал усердно ухаживать за Россет. Однажды он снял с себя орденскую ленту, красавица, шаля, надела ее на себя. Голицын сказал:

— Если вы выйдете за меня замуж, у вас будет лента ордена св. Екатерины.

Она ответила:

— Я бы очень хотела иметь ее.

Дело сладилось. Россет стала невестой Голицына, принимала от него богатые подарки. Старая горничная ее Марья Савельевна очень одобряла выбор барышни и говорила:

— Иди, матушка, другой старик лучше голопятых щелкоперов-офицеров. Будут деньги, и братишкам твоим будет лучше; а то они, бедные, снуют по Невскому, понаделали должишек; а мы вот месяц должны мужикам и в лавки.

«Эти речи, — откровенно рассказывает А. О. Россет-Смирнова, — мирили меня с мыслью итти замуж за старика. Но свадьба не состоялась, потому что жена ему напомнила, что долг платежом красен: когда в молодости она просила разводной, муж ни за что не согласился, а теперь она не согласилась».

Около этого времени Россет познакомилась с Пушкиным. Был бал у Е. М. Хитрово. Пушкин стоял в уголке с другими кавалерами. Россет и ее подруга, княжна Радзивил, решили познакомиться с Пушкиным. В мазурке Радзивил подошла к нему. Он положил шляпу и протанцовал с нею. Потом к Пушкину подошла Россет и спросила:

— Quelle fleur (Какой цветок)?

Он ответил:

— Celle de votre couleur (Вашего цвета)!

Этот ответ привел всех в восторг. Вскоре после этого Пушкин сам пожелал, чтобы Карамзины пригласили Россет слушать «Полтаву». Россет все время нарочно молчала, и Пушкин не получил о ней хорошего понятия. Однажды она приехала с живых картин во дворце к Карамзиным. У них танцовали. Пушкин собирался уходить. Россет сказала:

— Пойдемте со мною танцовать, но так как я не особенно люблю танцы, то в промежутках мы поболтаем.

Пушкину понравилось, что Россет хорошо и выразительно говорила по-русски. Тут они больше познакомились, но отношения оставались далекими. «Ни я не ценила Пушкина, ни он меня, — вспоминала Смир-

нова-Россет. — Я смотрела на него слегка, он много говорил пустяков, мы жили в обществе ветреном. Я была глупа и не обращала на него особенного внимания». Пушкин в это время гораздо больше увлекался Олениной. В ответ на стихи Вяземского, где он воспевал черные глаза Россет, Пушкин писал:

Она мила, — скажу меж нами, —
Придворных витязей гроза,
И можно с южными звездами
Сравнить, особенно стихами,
Ее черкесские глаза.
Она владеет ими смело,
Они горят огня живей;
Но сам признайся, то ли дело
Глаза Олениной моей!..
и т. д.

Больше сблизились они летом 1831 г., когда Пушкин с молодою женою жил в Царском селе. Он часто виделся с Россет. По вечерам заходил к ней вместе с Жуковским, по утрам она нередко приходила к нему. Он утром писал, но, заслышав приход Россет, зазывал ее к себе, она приходила с его женой, Пушкин читал им написанное, с удовольствием выслушивал их замечания и говорил:

— Ваша критика, милые, лучше всех. Вы просто говорите: «Этот стих нехорош, мне не нравится».

Раз она похвалила его стихи «Подъезжая под Ижоры, я взглянул на небеса»:

— Мне это стихотворение нравится: оно выступает как бы подбоченившись [1].

Пушкин много смеялся этому сравнению. Под вечер Россет заезжала за Пушкиным в дрожках, Пушкин садился верхом на перекладину дрожек, болтал и был необыкновенно весел и забавен. Вяземскому он писал про Россет: «...она чрезвычайно мила и умна». Наталья Николаевна сильно ревновала к ней мужа. Россет отвечала:

— Что ты ревнуешь ко мне? Право, мне все равно: и Жуковский, и Пушкин, и Плетнев, — разве ты не видишь, что ни я не влюблена в него, ни он в меня?

— Я это хорошо вижу, да мне досадно, что ему с тобой весело, а со мною он зевает.

---

[1] Так рассказывает сама Смирнова в своей автобиографии. По записи Я. П. Полонского, Смирнова говорила Пушкину, что стихотворение ей не нравится потому, что выступает «подбоченившись».

Действительно, Россет в это время было не до Пушкина. Ей шел уже двадцать третий год, она была бедна, а придворная жизнь привлекала ее, пора было подумать об устройстве своей судьбы. Окружающие твердили, что пора ей выйти замуж, императрица сказала: «Лучше выйти замуж без любви, чем остаться старой девой, — сами соскучитесь, и всем наскучите». За нее раз уже сватался молодой дипломат, камер-юнкер Смирнов, человек недалекий, но очень богатый. В 1831 г. он через Е. А. Карамзину посватался вторично. Россет было тяжело решиться, она просила Карамзину передать Смирнову, чтобы он просто спросил: «да или нет?» Он спросил: «да»? Взволнованная и растерянная, она долго молчала, наконец ответила: «да», а в сердце было: «нет».

Пушкин сказал ей:

— Какую вы глупость делаете. Я его очень люблю, но он никогда не сумеет вам создать положения в свете. Он его не имеет и никогда не будет иметь.

Россет ответила:

— К чорту, Пушкин, положение в свете! Сердце хочет любить, а любить совершенно некого.

В начале 1832 г. Россет и Смирнов поженились. Зажили широко и богато. В салоне Смирновой попрежнему собирался цвет петербургского писательства, попрежнему она была окружена всеобщим поклонением. Пушкин бывал у нее почти каждый день, болтал с нею, с восхищением слушал ее рассказы. В марте месяце, в день рождения Смирновой, он, гуляя, зашел в магазин на Невском, купил альбом с большими листами, поднес его Смирновой и сказал:

— Вы так хорошо рассказываете, что должны писать свои записки.

На первом листе альбома Пушкин написал стихи:

В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Я сохранила взгляд холодный,
Простое сердце, ум свободный
И, как дитя, была добра;
Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло
И шутки злости самой черной
Писала прямо набело.

Насчет «свободного ума» Смирновой и ее «здравых, светлых суждений» возникает некоторое недоразумение. Бесспорно, Смирнова была умница. В сороковых годах она сумела пленить даже Белинского, который писал жене: «Свет не убил в ней ни ума, ни души, а того и другого природа отпустила ей не в обрез. Чудесная, превосходная жен-

щина! Я без ума от нее». Однако, повидимому, ума у Смирновой было как раз лишь настолько, чтобы блистать в своем салоне и привлекать в него интересных людей. В ее уме не было ни творчества, ни исканий, во взглядах своих она была послушным эхом взглядов, принятых при дворе. Поэт Я. П. Полонский, знавший Смирнову в пятидесятых годах, писал: «Я все недостатки готов был простить Смирновой за ее ум, правда, парадоксальный, но все-таки ум. Теперь, когда я пишу эти строки, я не прощаю ей даже этого ума, от этого ума никому ни тепло, ни холодно. Он хорош для гостиных, для разговоров с литераторами, но для жизни он лишняя, бесполезная роскошь». Во всяком случае мы имеем большие основания задать себе вопрос: что в Смирновой оживляло и грело Пушкина, — ум ли ее или умная болтовня хорошенькой женщины? В бесцеремонной беллетристике, выданной дочерью Смирновой Ольгой Николаевной за записки ее матери, Смирнова все время находится в самом живом и непрерывном умственном общении с Пушкиным. Но странно, что при таком якобы близком умственном общении они даже не переписывались. Мы имеем одну единственную записочку Пушкина, сопровождающую посланные им Смирновой его оды на взятие Варшавы, и одну единственную записочку Смирновой к Пушкину, где она уведомляет его, что на придворном вечере нужно быть во фраке. В подлинных воспоминаниях Смирновой мы также не можем найти следов их живого умственного общения. Смирнова откровенно рассказывает: «Ни я не ценила его, ни он меня. Я смотрела на него слегка, он много говорил пустяков; мы жили в обществе ветреном. Я была глупа и не обращала на него особенного внимания». Она вспоминает только, что Пушкин читал ей и давал читать пикантные «историетки» Тальмана-де-Рео, сочинения французских остроумцев Шамфора и Ривароля и сказки Вольтера.

Та же дочь Смирновой в сочиненных ею «Записках А. О. Смирновой» рассказывает, что мать ее была постоянной заступницей и ходатайницей за Пушкина перед царем, что царь то и дело говорил с нею о Пушкине, восхищался его творчеством, спрашивал, что он написал новенького, Смирнова передавала ему стихи Пушкина, император делал на них свои замечания и возвращал Смирновой для передачи Пушкину. Все это сплошная выдумка. Один только раз Николай прислал Смирновой (тогда еще Россет) рукопись седьмой главы «Онегина» и просил ее высказать свое мнение о сделанных им на полях замечаниях. «Конечно, я была того же мнения», сообщает Смирнова. «Нам представляется возможным утверждать, — говорит М. Я. Цявловский, — что этой посылкой и ограничилась роль Смирновой как «посредницы» между поэтом и Николаем I. Как видим, в сущности, никакого посредни-

чества и не было. Все, что пишет об этом Смирнова-дочь, — плод ее беззастенчивой выдумки».

Осенью 1832 г. Смирнова родила. Роды были очень тяжелые, она промучилась семьдесят два часа, пришлось произвести перфорацию головы ребенка и вытащить его мертвым. Все друзья были в волнении, Пушкин, Вяземский, Жуковский встречались, чтоб спросить друг друга:

— Что, родила ли? Только б не умерла, наше сокровище!

В тяжелом состоянии Смирнову увезли за границу, там она пробыла около года и вернулась в Петербург совершенно поправившеюся. Пушкин опять часто бывал у них, часто встречался со Смирновою в свете. В дневнике он писал: «Разговоры несносны. Слышишь везде одно и то же. Одна Смирнова попрежнему мила и холодна к окружающей суете». Вяземская сообщает, что в это время Пушкин открыто ухаживал за Смирновой и давал справедливый повод жене своей для ревности. Жена волновалась, ревниво запрашивала мужа из Калужской губернии, где жила летом 1834 г., об его встречах со Смирновой, Пушкин отвечал «... за Смирновой не ухаживаю, вот-те Христос! Она ужасно брюхата, а родит через месяц». В июне Смирнова благополучно родила двойню. Пушкин писал жене: «Смирнова родила благополучно, и вообрази: двоих. Какова бабенка, и каков красноглазый кролик Смирнов? Первого ребенка такого сделали, что не пролез, а теперь принуждены на-двое разделить». Летом 1835 г. Смирнова опять расхворалась, уехала за границу и прожила там три года. Воротилась, когда Пушкина уже не было на свете.

В 1835—1836 гг. Смирнова, живя в Бадене, горячо полюбила молодого дипломата Н. Д. Киселева, впоследствии российского посла в Париже. Это, кажется, был единственный человек, которого Смирнова любила настоящею, глубокою любовью. Муж ее дни и ночи играл на рулетке, и она все время проводила с Киселевым. Киселев относился к ней с обожанием, но не смел быть назойливым, она же не хотела изменять мужу. Бывало только так: «После своего завтрака он пришел ко мне. Я читала, лежа на диване. «Но, Киса, я должна приподняться, дайте мне руку... Нет, лучше пропустите руку. Так! Благодарю вас!» Он вспыхнул и строго посмотрел на меня. «Боже, как вы любите играть с огнем!» — «Глупости! Сколько раз Пушкин оказывал мне эту услугу, когда приходил сидеть со мной».

Смирнова происходила из невропатической семьи и была болезнена. Уже в девическое время она часто испытывала приступы черной тоски. Эта тоска за границею стала ею овладевать все сильнее. А годы уходили, ей пошел уже четвертый десяток. Воротилась в Петербург,

несколько лет пожила прежнею светскою жизнью, опять уехала за границу. Зиму 1843—1844 г. она проводила в Ницце и тут совершенно подпала под влияние все больше уходившего в мистицизм Гоголя. В это время она переживала тяжелый душевный кризис. Причины его правильно разгадала одна из приятельниц Смирновой, графиня С. М. Сологуб. «Александра Осиповна часто бывает в хандре, — писала она Гоголю. — К несчастью, никто не может пособить ей — один бог и религия. С ней должны быть чрезвычайно тяжелые минуты. Она находится на страшной меже наслаждений, осуществившихся в протекшей молодости, и неизвестных испытаний в преддверии старости. Разочарование всего труднее переносится». Тогдашние проповеди Гоголя об отказе от мирских радостей, о необходимости бесстрастия и жизни в боге давали Смирновой большое утешение. Она стала ревностной ученицей Гоголя и благоговейно отдалась его руководству. С другой стороны, и она оказала влияние на Гоголя в том смысле, что была одною из тех «идеальных читательниц», к которым он обращался в своей «Переписке с друзьями». Н. Ф. Павлов в нашумевших статьях об этой «Переписке» спрашивал Гоголя: «Ради бога, скажите серьезно, — неужели вы в самом деле думаете, что светские люди, начало и конец ваших поучительных посланий, не знают, как спасти свою душу? Знают, не меньше вашего знают, да не хотят. Им нужно, чтобы кто-нибудь сказал: живите, как вы живете; будьте тем, что вы есть, — и при этих условиях можно спасти душу. Уверьте женщину в свете, что она может быть и женщиной в свете, и святою; докажите помещику, что он и помещик, и учитель спасения. Вот тут, правда, полезен бывает человек с высоким дарованием».

Осенью 1844 г. Смирнова вернулась из-за границы в Петербург. В следующем году муж ее был назначен калужским губернатором, она переселилась с ним из Петербурга в Калугу. Гоголь не раз гостил у нее в Калуге и в смирновских поместьях Калужской и Московской губ., она попрежнему благоговейно внимала его поучениям. Но... «Смирнова, — писал около этого времени Плетнев Жуковскому, — только как видоизменение роскоши, приближает в свой угол образы нравственного и умственного совершенства, беззаботно отвращаясь от них ко всем земным утехам». В пятидесятых годах она жила в Петербурге, куда муж ее был назначен гражданским губернатором. По-всегдашнему она выражала отвращение к светской жизни и попрежнему жила этою жизнью усердно и широко. Умерла она в Париже в глубокой старости, за восемьдесят лет, в полном расстройстве умственных способностей.

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ СМИРНОВ
(1807—1870)

Муж А. О. Смирновой-Россет. Сын очень богатого помещика, славившегося в Москве собственным театром на Знаменке и оркестром роговой музыки. Мальчик рано осиротел. Шестнадцати лет был отправлен дядею-опекуном за границу, путешествовал с гувернером и с целым штатом крепостной прислуги. Причисленный к министерству иностранных дел, служил во Флоренции, держал на конюшне восемнадцать лошадей; производил впечатление богатого маменькина сынка, страшно избалованного. Был он белокур и некрасив, ума недалекого, но любил говорить много и самодовольно. В январе 1832 г. он женился на А. О. Россет.

В интимных своих записках Смирнова рассказывает: «Вначале я была к Смирнову расположена, но его отсутствие достоинства оскорбляло и огорчало меня, не говоря уже о более интимных отношениях, таких возмутительных, когда не любишь настоящей любовью». И откровенно сознается: «Я себя продала за шесть тысяч душ для братьев».

Умная и блестящая жена совершенно затмевала самодовольно-болтливого и неинтересного Смирнова. Пушкин говорил Смирновой, что муж ее своими манерами и спорами портит ее положение.

Смирнов служил в разных заграничных русских миссиях, затем в Азиатском департаменте, с 1829 г. состоял камер-юнкером, с 1845 — камергером.

В 1845—1851 гг. был калужским губернатором, затем губернатором петербургским и сенатором. Был человек честный и благородный, но взбалмошный, вспыльчивый до бешенства, на службе вечно волновался и ссорился, к подчиненным полякам и немцам относился с придирчивою, оскорбительною строгостью. Обладал большим состоянием, имел двадцать две тысячи десятин земли в Московской, Калужской, Тульской, Псковской и Смоленской губерниях, собственный дом в Петербурге, держал прекрасного повара.

Собрал интересную коллекцию картин старых итальянских мастеров.

Сильно играл в карты и рулетку, под конец жизни порядком расстроил свое состояние.

С Пушкиным Смирнов познакомился в 1828 г., был с ним в приятельских, но не особенно близких отношениях. Оставил краткие, но очень ценные воспоминания о Пушкине.

АГРАФЕНА ФЕДОРОВНА ЗАКРЕВСКАЯ
(1799—1879)

Это с нее написан знаменитый «Портрет» Пушкина:

С своей пылающей душой,
С своими пылкими страстями,
О, жены Севера, меж вами
Она является порой,
И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил,
Как беззаконная комета
В кругу расчисленных светил.

Рожденная графиня Толстая, дочь известного собирателя рукописей гр. Ф. А. Толстого, двоюродная сестра «Американца» Ф. И. Толстого, в своем роде не менее яркая и оригинальная, чем он. Высокая, смуглая красавица с огненными глазами. В 1818 г., девятнадцати лет, вышла замуж за тридцатипятилетнего Арсения Андреевича Закревского, тогда дежурного генерала главного штаба. Мы не знаем, что побудило молодую и богатую красавицу выйти за пожилого служаку, малообразованного, не умевшего даже говорить по-французски, не блиставшего ни красотою, ни умом, ни богатством, ни знатностью. Но уже через три-четыре года имя Закревской было на язычках всех «баб обоего пола»: писали об ее «диспозиции к кокетству», жалели Закревского, которому она готовит много горьких дней. В 1823 г. она, отдельно от мужа, путешествовала за границей, и передавались определенные слухи, что она там была в связи с принцем Кобургским, впоследствии королем бельгийским Леопольдом. В том же 1823 г. Закревский был назначен финляндским генерал-губернатором, и многих интересовало, поедет ли с ним в Финляндию и жена. Она поехала. В Гельсингфорсе и по красоте, и по положению, и по эксцентрическому своему характеру Закревская заняла первенствующее положение и победным путем шла по мужским сердцам. В нее в то время, между прочим, был влюблен и поэт Боратынский, служивший в Финляндии солдатом и стараниями друзей прикомандированный к штабу Закревского. Ее он воспел в ряде стихотворений и вывел под именем «княгини Нины» в поэме «Бал». Произведения эти дают богатый материал для характеристики Закревской. В поэме Боратынский рассказывает:

...меж умниц и меж дур
Моей княгине чересчур
Слыть Пенелопой трудно было.
Презренья к мнению полна,

Над добродетелию женской
Не насмехается ль она,
Как над ужимкой деревенской?
Кого в свой дом она манит:
Не записных ли волокит,
Не новичков ли миловидных?
Не утомлен ли слух людей
Молвой побед ее бесстыдных
И соблазнительных связей?
Но как влекла к себе всесильно
Ее живая красота!..

...Какая бы Людмила ей
Своих лазоревых очей
И свежести ланит стыдливых
Не отдала бы сей же час
За яркий глянец черных глаз,
Облитых влагой сладострастной,
За пламя жаркое ланит?..
Как в близких сердца разговорах
Была пленительна она!
Как угодительно — нежна!
Какая ласковость во взорах
У ней сияла! Но порой,
Ревнивым гневом пламенея,
Как зла в словах, страшна собой,
Являлась новая Медея!..
Страшись прелестницы опасной,
Не подходи: обведена
Волшебным очерком она;
Кругом ее заразы страстной
Исполнен воздух! Жалок тот,
Кто в сладкий чад его вступает.
Беги ее: нет сердца в ней!
Страшися вкрадчивых речей
Одуревающей приманки;
Влюбленных взглядов не лови:
В ней жар упившейся вакханки,
Горячки жар, — не жар любви.

В жизни Закревская часто проявляла какую-то «судорожную веселость» и держалась, как озорной мальчишка сорви-голова. Например, возвращается она в Гельсингфорс с молодым адъютантом ее мужа князем А. Львовым из какой-то поездки. И вот в Фридрихсгаме эта первейшая финляндская сановница расписывается в почтовой книге (по-французски) так: «Князь Душка-Дорогушка (Chou-Cheri), наследный принц лунного царства, с частью своего двора и половиною своего гарема».

Однако Закревская вовсе не была просто веселою прожигательницею жизни. В душе ее жила черная тоска. Тот же Боратынский писал о ней:

Как много ты в немного дней
Прожить, прочувствовать успела!
В мятежном пламени страстей
Как страшно ты перегорела!
Раба томительной мечты!
В тоске душевной пустоты
Чего еще душою хочешь?
Как Магдалина, плачешь ты
И, как русалка, ты хохочешь!

И про нее же Боратынский писал в письме: «Она сама нещастна; это роза, это царица цветов. — но поврежденная бурею; листья ее чуть держатся и беспрестанно опадают... Ужасно! Я видел ее вблизи, и никогда она не выйдет из моей памяти. Я с нею шутил и смеялся; но глубокое унылое чувство было тогда в моем сердце. Вообрази себе пышную мраморную гробницу, окруженную миртами и сиренью, — но гробница все гробница, и вместе с негою печаль вливается в душу». По общим отзывам, Закревская была большая умница и очень доброго сердца. Однажды, например, — это было уже позже, в Петербурге, — выходит она с племянницею М. Ф. Каменскою с бала, — в прихожей ни выездных гайдуков ее, ни теплого платья, у подъезда нет ее кареты. Пришлось посылать домой на извозчике за шубами. Оказалось, гайдуки рассудили, что господа выйдут не скоро, забрали их теплое платье, сели в барскую карету и уехали домой, чтоб воротиться к концу бала. Но дома напились пьяны и заснули. Узнав при это, Закревская не рассердилась, а страшно испугалась за гайдуков: муж за такую провинность непременно отдал бы их в солдаты. И она ничего ему не сказала и велела всем молчать.

Мы не знаем, когда Пушкин познакомился с Закревскою. Жила она в Финляндии, но иногда наезжала в Петербург. «О, жены Севера, меж вами она является порой...» В сентябре 1828 г. Пушкин писал Вяземскому: «...я пустился в свет... Если бы не твоя медная Венера (Закревская), то я бы с тоски умер, но она утешительно смешна и мила. Я ей пишу стихи, а она произвела меня в свои сводники». В прозаическом отрывке Пушкина «Гости съезжались на дачу» (1828) герой повести Минский почти такими же словами отзывается о выведенной в отрывке эксцентрической красавице Зинаиде Вольской: «Я просто ее наперсник или что угодно. Но я люблю ее от души: она уморительно смешна». Минскому Пушкин вкладывает в уста любимейшие свои мысли, Воль-

ская прямо как будто списана с Закревской. Нужно, конечно, с величайшею осторожностью пользоваться художественными произведениями писателя как автобиографическим материалом, делать из них прямые выводы биографического характера недопустимо. Но в них нередко можно найти намек, вдруг вкладывающий нам в руки конец путеводной нити к разрешению того или другого биографического вопроса. Такой конец нити, кажется мне, находим мы и в упомянутом отрывке. Минский получает записку от Зинаиды Вольской. «Самолюбие его было тронуто; не полагая, чтоб легкомыслие могло быть соединено с сильными страстями, он предвидел связь безо всяких важных последствий, лишнюю женщину в списке ветреных своих любовниц, и хладнокровно обдумывал свою победу. Вероятно, если бы он мог вообразить бури, его ожидающие, то отказался бы от своего торжества, ибо светский человек легко жертвует своими наслаждениями и даже тщеславием лени и благоприличию». В письме к Е. М. Хитрово Пушкин пишет: «Я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Я пресытился интригами, чувствами, перепиской и т. п. Я имею несчастие быть в связи с особой умной, болезненной и страстной, которая доводит меня до бешенства, хотя я ее и люблю всем сердцем». На основании вышеизложенного, я думаю, можно с полной уверенностью заключить, что речь тут идет о Закревской. За «болезненность» Закревской говорят все имеющиеся данные, — она, повидимому, была форменной истеричкой. В связи со всем этим некоторую долю вероятия получает и рассказ племянницы Закревской М. Ф. Каменской о беспамятной влюбленности Пушкина в Закревскую, о бешеной его ревности. «Еще недавно в гостях у Соловых он, ревнуя ее за то, что она занимается с кем-то больше, чем с ним, разозлился на нее и впустил ей в руку свои длинные ногти так глубоко, что показалась кровь». Только это никак не могло относиться к последним месяцам жизни Пушкина, как рассказывает Каменская. Увлечение его Закревскою следует относить к лету и осени 1828 г. Любовь была мучительная и бурная. Даже Пушкин, не новичок и не мальчик в любви, в смущении отступал перед сатанинскою страстностью своей возлюбленной. Он писал:

Твоих признаний, жалоб нежных
Ловлю я жадно каждый крик:
Страстей безумных и мятежных
Как упоителен язык!
Но прекрати свои рассказы,
Таи, таи свои мечты:
Боюсь их пламенной заразы,
Боюсь узнать, что знала ты!

Живьем вставала перед Пушкиным Клеопатра, образ которой еще четыре года назад он так ярко обрисовал в первоначальном наброске «Египетских ночей». Теперь Пушкин возвращается к этому стихотворению, обрабатывает его, читает друзьям, как будто новое. И Клеопатра входит в петербургский великосветский бальный зал. Пушкин рассказывает про Татьяну:

Беспечной прелестью мила,
Она сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою,
Сей Клеопатрою Невы:
И верно б согласились вы,
Что Нина мраморной красою
Затмить соседку не могла,
Хоть ослепительна была.

Все, характерное для Клеопатры, было в Закревской. И не лишено значения, что «Клеопатра Невы» зовется у Пушкина Ниной: под этим именем выведена Закревская в «Бале» у Боратынского, этим условным именем называет Закревскую Вяземский в письме к Пушкину. В черновиках к «Онегину» находим изображение ослепительного выхода Нины в бальную залу в соблазнительном костюме, вполне подходящем к Клеопатре и — к Закревской:

Смотрите, — в залу Нина входит,
Остановилась у дверей
И взгляд рассеянный обводит
Кругом внимательных гостей.
В волненьи перси, плечи блещут,
Горит в алмазах голова,
Вкруг стана вьются и трепещут
Прозрачной сетью кружева.
И шелк узорной паутиной
Сквозит на розовых ногах...

К Закревской новые пушкинисты (Лернер, Цявловский) относят и стихотворение Пушкина «Когда твои младые лета позорит шумная молва». Единственный серьезный довод в пользу такой аттрибуции, — что к Закревской относили стихотворение два столь близко стоявших к Пушкину человека, как Плетнев и Нащокин. Но тот же Плетнев относил к какой-то рано умершей графине Ростопчиной стихотворение Пушкина «Увы, зачем она блистает», имеющее в виду Ел. Н. Раевскую, а Нащокин в стихотворении «19 октября 1825 г.» несомненнейшее упоминание о Пущине относил к Гревеницу. Так что довод этот вовсе не

такой уже бесспорный. А главное: все содержание стихотворения настолько неприменимо к Закревской, что можно только удивляться, как могла притти кому-нибудь в голову мысль о подобной аттрибуции. В стихотворении поэт горько жалеет молодую женщину, которая опозорена шумною молвою и по приговору света утратила права на честь. делит с нею ее страдания и бесплодно молит за нее бесчувственный свет. Если бы Пушкин пришел с таким стихотворением к Закревской, она просто расхохоталась бы ему в лицо: она бравировала своим отношением к свету, дерзко шла ему наперекор. «Презренья к мнению полна», — говорит Боратынский. «Мимо всех условий света стремится до утраты сил», — говорит Пушкин. Какие же тут возможны утешения и жаления? Это вовсе не была бедная, несправедливо обиженная овечка, это была тигрица, рвавшая когтями путы лицемерно-добродетельного «света». К тому же Закревская «по приговору света» вовсе не утратила прав на честь: никто не считал непристойным с ней знаться, ее принимали в самом высшем свете — жену финляндского генерал-губернатора и будущего министра внутренних дел.

В 1848 г. Закревский был назначен военным генерал-губернатором Москвы и пробыл в этой должности до 1859 г. Аграфена Федоровна стала за эти годы форменною притчею во языцех по всей Москве. С. Т. Аксаков писал сыну Ивану: «Про супругу Закревского рассказывают чудеса, цинизм ее невозможен к описанию». Графиня Л. А. Ростопчина была летом в гостях у Закревских в их подмосковном имении. День выдался очень жаркий. Закревская принимала гостей в белом кисейном капоте, надетом только на батистовую рубашку, так что все тело до мельчайших изгибов сквозило на солнце сквозь прозрачные ткани. Ростопчина прибавляет: «Я была удивлена равнодушием графа, не обращавшего на это никакого внимания». А чиновник Третьего отделения М. М. Попов рассказывает вот что. Однажды Закревский получил анонимное письмо об обширном заговоре, имеющем целью истребление всей царской фамилии и совершение государственного переворота. Приводился адрес, где собираются заговорщики, и давался совет в такой-то день, ночью, направить туда надежный наряд полиции, хорошо вооруженный, потому что заговорщики вооружены и могут оказать отчаянное сопротивление. Наряд был послан. Все оказалось совсем так, как описывалось в доносе. Полицейские незаметно проникли в квартиру, зажали рот дежурившей старухе и, выставив вперед пистолеты и штыки, ворвались в комнату. И вдруг растерянно остановились. И обратились в бегство. Один обер-полицмейстер расшаркивался, отвешивал низкие поклоны и повторял:

— Извините, извините, мы не за тем...

Вскочившая с постели полураздетая женщина в яром гневе кричала:

— Как вы смели войти сюда? Вон!!

Граф Закревский с нетерпением ждал полицмейстера. Наконец он явился. Заикается, мнется и не может выговорить ни слова. Закревский нетерпеливо воскликнул:

— Да что вы мнетесь? Открыли или ничего не открыли?

— Открыли, ваше сиятельство... Только не то, чего искали...

И обер-полицмейстер принужден был, отыскивая выражения, сколько можно было приличнее, рассказать, кого они застигли и на каком деле. Граф махнул рукою и сказал с досадою:

— Э, да об этом я давно знаю!

Быстро повернулся и ушел во внутренние комнаты.

АРСЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ ЗАКРЕВСКИЙ
(1783—1865)

Муж предыдущей. Сын бедного тверского дворянина. Малообразованный, по-французски не говорил, слаб был даже в русской грамоте, но человек был смышленый. Выдвинулся, будучи адъютантом гр. Н. М. Каменского, участвовал с ним в финляндской (1808) и турецкой (1810) войнах. В 1812 г. состоял при главнокомандующем, а во время походов 1813—1814 гг. неотлучно находился при имп. Александре I как один из ближайших к нему генерал-адъютантов. С 1816 г. исполнял обязанность дежурного генерала главного штаба. Был служака аракчеевско-клейнмихелевского типа. В 1823 г. назначен финляндским генерал-губернатором, в 1828 г. — министром внутренних дел, с сохранением прежнего поста. В 1830 г. возведен в графское достоинство. Когда разразилась холера, Закревский для борьбы с нею принял очень энергические, но совершенно нелепые меры, всю Россию избороздил карантинами, — они совершенно парализовали хозяйственную жизнь страны, а эпидемии не остановили. В связи с этими неудачными мерами он в 1831 г. был уволен в отставку и находился не у дел до 1848 г., когда был назначен военным генерал-губернатором Москвы. Здесь он приобрел самую черную славу легендарным своим всевластием, самодурством, мелочною мстительностью и бесконтрольным вмешательством даже в частную жизнь жителей. Впоследствии, оправдывая свои действия, он говорил: «Никто не знает инструкции, которую мне дал император Николай, видевший во всем признаки революции; он снабдил меня пустыми бланками с собственноручною подписью, и я все их возвратил не-

использованными». Однако выяснилось, что никаких бланков у него не было и что он не имел власти более той, какая предоставлена всякому генерал-губернатору. В первые годы царствования Александра II Закревский ставил всяческие препятствия собраниям дворян, которых правительство вызывало на инициативу в деле освобождения крестьян. Закревский заявлял: «В Петербурге одумаются, и все останется по-старому». В 1859 г. он, ко всеобщей радости москвичей, был уволен в отставку.

Современники рассказывают: Закревский был человек с характером, и если где его не доставало, так это только в отношении к его семейству. Слабость его в подобных случаях была удивительна, пожалуй, даже непостижима, в человеке его характера. Жена вполне властвовала над ним.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПУТЯТА
(1802 — 1877)

Воспитанник муравьевской школы колонновожатых, служил в гвардии, потом адъютантом генерал-губернатора Закревского в Финляндии. Там ему удалось значительно облегчить участь служившего солдатом поэта Боратынского: благодаря заступничеству Путяты его перевели в Гельсингфорс и прикомандировали к штабу. С тех пор крепкая дружба связывала Боратынского и Путяту всю их жизнь; впоследствии они и породнились — женились на двух родных сестрах. Боратынский познакомил Путяту с Пушкиным осенью 1826 г., вскоре после приезда Пушкина в Москву из деревенской ссылки. Пушкин обошелся с Путятой очень приветливо. В последующие годы они нередко виделись в Москве и Петербурге. Путята вспоминает: «Пушкин легко знакомился, сближался, особенно с молодыми людьми, вел, повидимому, самую рассеянную жизнь, танцовал на балах, волочился за женщинами, играл в карты, участвовал в пирах тогдашней молодежи, посещал разные слои общества. Среди всех светских развлечений он порой бывал мрачен; в нем было заметно какое-то грустное беспокойство, какое-то неравенство духа; казалось, он чем-то томился, куда-то порывался. По многим признакам я мог убедиться, что покровительство и опека императора Николая Павловича тяготили его и душили».

Летом и осенью 1828 г. Пушкин сильно увлекался А. Ф. Закревской, по всей видимости, был с нею в связи, жестоко ревновал ее. Путята рассказывает, что однажды он заехал к Пушкину в гостиницу Демута, и Пушкин тотчас начал читать ему стихи о Клеопатре из «Египет-

ских ночей»; у Путяты на квартире он написал ему на память стихи: «Твоих признаний, жалоб нежных...» И те и другие стихи связаны с Закревскою, из этого можно заключить, как сильно владела она в это время душою Пушкина. Повидимому, именно по поводу Закревской у ревнивого Пушкина произошел инцидент с секретарем французского посольства Лагрене. Однажды утром Пушкин прислал Путяте французскую записку со своим кучером и дрожками. Содержание записки смутило Путяту. Пушкин писал: «Когда я вчера подошел к одной даме, которая разговаривала с г. де-Лагрене, он сказал настолько громко, что я мог услышать: «Прогоните его!» Вынужденный потребовать удовлетворения за эти слова, я прошу вас, милостивый государь, не отказаться отправиться к г. де-Лагрене и переговорить с ним. Пушкин». Путята тотчас же сел на дрожки Пушкина и поехал к нему. Пушкин с жаром и негодованием рассказал случившееся, утверждал, что точно слышал обидные для него слова, объяснил, что записка написана им так церемонно именно для того, чтобы Путята мог показать ее Лагрене, и настаивал, чтоб он требовал от него удовлетворения. Путята отправился к Лагрене, с которым был хорошо знаком, и показал ему записку. Лагрене очень удивился и сказал, что никогда не произносил приписываемых ему слов, что, вероятно, Пушкину дурно послышалось, что он не позволил бы себе ничего подобного, особенно в отношении к Пушкину, которого глубоко уважает как знаменитого поэта России. Лагрене согласился повторить все это и Пушкину, и оба тотчас же отправились к нему. Объяснение произошло в присутствии Путяты, противники подали друг другу руки, и дело тем кончилось. На следующий день Пушкин, Путята и несколько их приятелей завтракали у Лагрене.

После женитьбы Пушкин виделся с Путятою реже. В начале 1835 г. в «Сыне отечества» появилась очень неблагоприятная рецензия на только что вышедшую «Историю пугачевского бунта». Путята встретился с Пушкиным на Невском и шутя повторил ему упреки журнального рецензента:

— Александр Сергеевич, зачем не описали вы нам пером Байрона всех ужасов пугачевщины?

Пушкин засмеялся и сказал:

— Каких им нужно еще ужасов? У меня целый том наполнен списками дворян, которых Пугачев перевешал. Кажется, этого достаточно!

Путята участвовал в русско-турецкой войне 1828—1829 гг., потом находился на гражданской службе. Был некоторое время председателем московского Общества любителей российской словесности. Поместил ряд воспоминаний и заметок в «Русском архиве».

ТЕОДОР-МАРИ-МЕЛЬШИОР-ЖОЗЕФ де-ЛАГРЕНЕ
(1800—1862)

В 1823—1825 и в 1826—1830 гг. состоял при французском посольстве в Петербурге. В 1828 г. Пушкин вызвал его на дуэль за показавшееся ему неуважительным обхождение с ним Лагрене. В 1834 г. Лагрене женился на русской — красавице-фрейлине В. И. Дубенской. Впоследствии занимал пост французского министра-резидента сначала в Дармштадте, потом в Греции. Жуковский, видавшийся с ним в Дармштадте в сороковых годах, писал о нем: «Лагрене умен и любезен, но мне не понутру этот французский, все персифлирующий бессовестный ум, проникнутый каким-то общим всякому французу остроумием, как халат немецкого профессора — табачным дымом; при нем как-то сам тупеешь и холодеешь, и сердечное убеждение не участвует в том, что уста глаголют».

ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА ХИТРОВО
(1783—1839)

Рожденная Голенищева-Кутузова, дочь армейского бригадира Мих. Илл. Голенищева-Кутузова, впоследствии светлейшего князя и знаменитого фельдмаршала. Была его любимою дочерью. В 1802 г., девятнадцати лет, вышла за флигель-адъютанта графа Ф. И. Тизенгаузена. От него у нее было две дочери, Екатерина и Дарья (Долли). В 1805 г. он был убит в Аустерлицкой битве. В 1811 г. она вторично вышла замуж за генерала Н. Ф. Хитрово. С 1815 г. он состоял русским поверенным в делах во Флоренции и там умер в 1819 г. Елизавета Михайловна еще несколько лет жила за границей. В 1821 г. выдала дочь Долли за австрийского дипломата графа Фикельмона. Около 1827 г. переселилась с незамужнею дочерью Екатериной в Петербург. В 1829 г. Фикельмон был назначен австрийским послом в Петербург. Елизавета Михайловна с Екатериной поселилась у зятя в здании австрийского посольства на Английской набережной. Кн. Вяземский вспоминает: «В летописях петербургского общества имя Елизаветы Михайловны осталось незаменимо, как было оно привлекательно в течение многих лет. Утра ее (впрочем, продолжавшиеся от часу до четырех пополудни) и вечера дочери ее, графини Фикельмон, неизгладимо врезаны в памяти тех, которые имели счастие в них участвовать. Вся животрепещущая жизнь, европейская и русская, политическая, литературная и общественная, имела верные отголоски в этих двух родственных салонах. Не нужно было чи-

тать газеты; в салонах этих можно было запастись сведениями о всех вопросах дня. А какая была непринужденность, терпимость, вежливая, и себя, и других уважающая свобода в этих разнообразных и разноречивых разговорах! Даже при выражении спорных мнений не было слишком кипучих прений: это был мирный обмен мыслей, воззрений, оценок».

Елизавете Михайловне шел в то время уже пятый десяток лет. Была она очень полная, некрасивая, лицом походила на своего отца-фельдмаршала. Но глубоко была уверена в неотразимой красоте своих плеч и спины, поэтому обнажала их до последних пределов, допускавшихся приличием. А все смеялись и прозвали ее «Лиза голенькая». В. А. Перовский, глядя на нее, сказал однажды: «Давно бы уж пора набросить покрывало на прошедшее!» Ядовитый Соболевский написал эпиграмму, как обычно, приписанную Пушкину:

Лиза в городе жила
С дочкой Долинькой;
Лиза в городе слыла
Лизой голенькой.
У австрийского посла
Нынче Лиза в grand gala;
Не попрежнему мила,
Но попрежнему гола.

Она давала повод ко множеству рассказов, шуток и анекдотов, неизменно носивших очень двусмысленный характер. Кн. Вяземский, познакомившись с ней, писал А. Тургеневу: «Третьего дня Хитрово говорила о себе: «Как печальна моя судьба! Так еще молода, и уже два раза вдова!» — и так спустила шаль — не с плеч, а со спины, что видно было, как стало бы ее еще на три или четыре вдовства». Рассказывали, что близко знакомых мужчин она принимала, сидя в ванне. Гр. В. А. Сологуб сообщает такой анекдот: «Елизавета Михайловна поздно просыпалась, долго лежала в кровати и принимала избранных посетителей у себя в спальне; когда гость допускался к ней, то, поздоровавшись с хозяйкой, он, разумеется, намеревался сесть; г-жа Хитрово останавливала его: «Нет, не садитесь на это кресло, это Пушкина; не на этот диван — это место Жуковского; садитесь ко мне на постель, это место всех». Пушкин в 1832 г. писал кн. Вяземской по поводу сумасшедшего Батюшкова, которому врачи для излечения рекомендовали физическое общение с женщиной: «Сейчас от Хитровой. Она как нельзя более тронута состоянием Батюшкова и предлагает саму себя, чтобы испробовать последнее средство, с самоотверженностью истинно удивительной». Однако г-жа Хитрово была вполне добродетельна, и имя ее никогда серь-

езно не упоминалось в богатой скандальной хронике великосветской жизни. Самооголение ее истекало не из развращенности, а просто из суетной, до смешного наивной склонности к самолюбованию. А суетностью она отличалась большою. На руке носила на георгиевской ленте часы, бывшие на ее отце во время Бородинского боя, в письмах подписывалась: «Elise Hitroff, née princesse Koutousoff-Smolensky, — Элиза Хитрово, рожденная княжна Кутузова-Смоленская», хотя не только не родилась, но никогда и не была княжной Смоленской: отец ее был возведен в княжеское достоинство и получил титул «Смоленского» тогда, когда Елизавета Михайловна успела уже побывать графинею Тизенгаузен и была г-жей Хитрово. Ума она была довольно ограниченного, но доброты неисчерпаемой. «Она была неизменный, твердый, безусловный друг друзей своих, — рассказывает Вяземский. — Друзей своих любить немудрено; но в ней дружба возвышалась до степени доблести. Где и когда нужно было, она за них ратовала, отстаивала их, не жалея себя, не опасаясь за себя неблагоприятных последствий, личных пожертвований от этой битвы не за себя, а за другого». И вообще, по отношению не только к друзьям, была человеком чрезвычайно добрым и отзывчивым. Ее хлопотами, например, получил пенсию цензор С. Н. Глинка, уволенный со службы за пропуск в «Московском телеграфе» статейки «Утро в кабинете знатного барина», высмеивавшей Юсупова и Пушкина (см. Юсупов).

Пушкин познакомился с Е. М. Хитрово, вероятно, в 1827 г., когда, впервые после ссылки, приехал в Петербург. И очень скоро Ел. Мих-на полюбила Пушкина. Полюбила восторженно, страстно, самоотверженно, горестной любовью стареющей женщины, не ждущей и не смеющей ждать ответного чувства. Н. М. Смирнов вспоминает: «Некоторая беспечность нрава Пушкина позволяла часто им овладеть; так, например, Е. М. Хитрово, женщина умная, но странная, ибо на пятидесятом году не переставала оголять свои плечи и любоваться их белизною и полнотою, возымела страсть к гению Пушкина и преследовала его несколько лет своею страстью. Она надоедала ему несказанно, но он никогда не мог решиться огорчить ее, оттолкнув от себя, хотя, смеясь, бросал в огонь, не читая, ее ежедневные записки; но, чтоб не обидеть ее самолюбия, он не переставал часто посещать ее в приемные дни ее перед обедом». Видимо, письма ее действительно нередко выводили Пушкина из терпения; дошла одна его записочка, по грубости совершенно невероятная под пером воспитанного Пушкина: «Откуда, чорт возьми, вы взяли, что я рассердился? Но у меня хлопот выше головы. Простите мой лаконизм и мой якобинский слог». Особенно раздражала его ее необидчивость, готовность все переносить, во всем смиренно ему полчи-

няться. Он говорил про нее г-же Керн: «Знаете, нет ничего нелепее терпения и самоотвержения!» И сама Хитрово писала Пушкину: «...в вас вызывает антипатию моя кротость, безобидность и самоотречение». Сама ли она слишком явно обнаруживала свою страсть, не считал ли нужным молчать про нее мало в таких случаях щепетильный Пушкин, но все окружающие знали об их отношениях и посмеивались. Елизавету Михайловну прозвали Эрминией (героиня тассова «Освобождение Иерусалима», безнадежно и самоотверженно влюбленная в Танкреда). Мать Пушкина в 1834 г. писала дочери Ольге Сергеевне: «Александр очень занят по утрам, потом идет в Летний сад, где прогуливается со своею Эрминией. Такое постоянство молодой особы выдержит все испытания, и твой брат очень смешон». Сам Пушкин чувствовал, как все это смешно, а смешного он очень боялся, — и с шутливым ужасом изображал себя целомудренным Иосифом Прекрасным, не знающим, как спастись от преследований страстной жены Пентефрия. В 1830 г., собираясь сделать предложение Н. Н. Гончаровой, он писал Вяземскому: «Если ты можешь влюбить в себя Элизу, то сделай мне эту божескую милость. Я сохранил свою целомудренность, оставя в руках ее не плащ, а рубашку, и она преследует меня и здесь письмами и посылками. Избавь меня от Пентефреихи!» Каковы были в действительности их отношения, мы не знаем. Но возможно, — ее готовность, пышные плечи, африканская страстность Пушкина, — «скука, случай... Безумным притворился я...» И сам потом об этом пожалел... Это дало ей какие-то надежды и права на Пушкина. Когда она узнала, что Пушкин женится на Гончаровой, то, казалось бы, что это меняло в их, все равно безнадежных для нее, отношениях? Для нее же это явилось катастрофой, резко обрывавшей что-то, между ними существовавшее. Она писала Пушкину: «...итак, напишите мне правду, как бы она ни была для меня горестна». И потом, узнав уже правду: «...у меня нет в сердце ни капли эгоизма. Я размышляла, боролась, страдала и вот достигла того, что желаю скорейшей вашей женитьбы... Забудьте прошедшее, и пусть ваше будущее принадлежит только вашей жене и вашим детям. В сущности, ничего не изменилось между нами, — утешает она себя, — я буду вас видеть чаще. Отныне мое сердце, мои интимные мысли станут для вас непроницаемой тайной и мои письма — такими, какими они должны быть, океан будет между вами и мною... Когда я утоплю в слезах мою любовь к вам, я тем не менее останусь все тою же — страстною, кроткою и необидчивой, готовою пойти за вас в огонь и в воду».

Около этого же времени она писала Пушкину: «...запрещайте мне говорить с вами обо мне, но не лишайте меня счастья быть вашим комиссионером. Я буду говорить вам о большом свете, иностранной лите-

ратуре, о вероятности смены французского министерства, — увы! я у источника всех сведений, у меня нет только счастья». По положению своему в великосветских и дипломатических кругах Хитрово могла быть и была очень полезна Пушкину. Она сообщала ему заграничные политические новости, не пропускавшиеся в русскую печать, знакомила его с иностранными литературными новинками, доставляла иностранные газеты и книги, — например, запрещенные в России труды Тьера и Минье о французской революции. Из писем Пушкина к Елизавете Михайловне мы видим, что он очень оживленно обсуждал с нею текущие политические вопросы — о польском восстании, об июльской революции во Франции, о выборах в ней, обменивался мнениями о Гюго, Сент-Беве, Ламенэ, Стендале и др. Видимо, их связывали и некоторые общие умственные интересы. Взглядов, — и политических и жизненных, — она держалась таких, какие царили в близкой ей придворной сфере. Когда в 1834 г. Пушкин, пытаясь вырваться из все больше опутывавших его сетей, подал в отставку, Елизавета Михайловна вместе с Жуковским старалась убедить его взять отставку обратно, приезжала к нему с письмами Жуковского. В религиозной области она была строго православная, благоговела перед московским митрополитом Филаретом. Хитрово умерла в 1839 г. Перед смертью она пригласила к себе митрополита Филарета, собрала вокруг себя родных и прислугу и громко, при всех, исповедалась.

Графиня ДАРЬЯ ФЕДОРОВНА ФИКЕЛЬМОН
(1804—1863)

Рожденная графиня Тизенгаузен, дочь Ел. Мих. Хитрово, жена австрийского посла при русском дворе. Муж был на 27 лет старше ее, на основании этого думают, что вышла она за него по рассудку, ввиду расстроенных денежных обстоятельств семьи. Была умна, образована и красоты блистательной. Когда в 1823 г. приехала с матерью в Москву, она, как писал Вяземский Тургеневу, «вскружила старушку (Москву)»; все бегали за нею, в саду дамы и мужчины толпились вокруг нее. Салон Фикельмонов в Петербурге был один из самых блестящих и интеллигентных, его охотно посещали Пушкин, Вяземский, А. Тургенев. И жена и муж относились к Пушкину с большою любовью и вниманием, высоко ценили его как поэта, ссужали из своей библиотеки книгами. Весною 1831 г., когда Пушкин с молодою женой приехал из Москвы в Петербург, графиня Фикельмон писала кн. Вяземскому: «Жена

Пушкина прекрасное создание, но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие несчастия. Физиономия мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем: у Пушкина видны все порывы страстей; у жены вся меланхолия отречения от себя». А через полгода писала ему же: «Жена Пушкина хороша, хороша, хороша! Но страдальческое выражение ее лба заставляет меня трепетать за ее будущность». Бартенев, со слов Нащокина, сообщал, что «графиня не в силах была устоять против чарующего влияния Пушкина». Анненков в черновых своих записях, со слов одного из друзей Пушкина, тоже отмечает «жаркую историю с женой австрийского посланника». Если можно верить Нащокину, история заключалась в следующем. Пушкин разговаривал с Нащокиным о силе воли и утверждал, что в случае нужды можно силою воли удержаться от обморока. В доказательство он рассказал случай, бывший у него с одной знатной петербургской дамой, которую в конце концов и назвал, — с графинею Долли Фикельмон. Она была безукоризненна в общем мнении света, и ни одна сплетня не могла коснуться ее имени. Она и Пушкин полюбили друг друга. Встретиться наедине было трудно. Они условились, что в назначенный вечер Пушкин в ее отсутствие проберется к ней в дом и спрячется в гостиной под диваном. Пушкину удалось сделать это, никем не замеченным. Он долго лежал, начал уже терять терпение. Наконец, к крыльцу подъехала карета, в доме засуетились, два лакея внесли канделябры и осветили гостиную; вошла хозяйка с какою-то фрейлиной, — они возвращались из театра или из дворца. Фрейлина поговорила несколько минут и уехала. Графиня осталась одна. Она окликнула Пушкина:

— Êtes vous là?

Перешли в спальню. Заперли дверь, задернули густые гардины и бросились друг другу в объятия. Время проходило незаметно. Пушкин случайно подошел к окну, отдернул штору и замер от ужаса: уже рассвело, был белый день. Они поспешно оделись, графиня повела Пушкина к стеклянным дверям выхода. Но люди уже встали. Сквозь стекла графиня увидела итальянца-дворецкого. Она зашаталась и готова была упасть в обморок. Пушкин крепко стиснул ей руку и шепнул, что падать в обморок не время, нужно спасать положение. Графиня овладела собою, позвала верную свою горничную, старую, чопорную француженку, и поручила ей вывести Пушкина из дома. Француженка свела Пушкина вниз, прямо в комнату мужа графини. Тот еще спал, шорох шагов его разбудил. Он спросил из-за ширм:

— Кто тут?

Француженка ответила:

— Это я.

И провела Пушкина в сени, откуда он свободно вышел. Графиня долго еще не могла без дурноты вспоминать об этом происшествии. «На другой же день, — рассказывал Нащокин Бартеневу, — Пушкин предложил итальянцу-дворецкому золотом тысячу рублей, чтобы он молчал, и, хотя он отказывался от платы, Пушкин заставил его взять. Таким образом все дело осталось тайною». Итальянец никому ничего не сказал. Но сам Пушкин не только рассказал друзьям свое приключение, но даже назвал по имени героиню приключения. Всего вероятнее, эпизод относится к 1832—1833 гг.

Граф КАРЛ-ЛЮДВИГ ФИКЕЛЬМОН
(1777—1857)

Сын французского эмигранта, служил в Австрии сперва на военной службе, с отличием участвовал в кампаниях против Наполеона, потом перешел на дипломатическую службу. В 1821 г. женился во Флоренции на графине Д. Ф. Тизенгаузен. В 1829 г. был назначен австрийским послом в Петербург с специальным поручением способствовать сближению между австрийским и русским правительством. Ему это вполне удалось, он завоевал к себе доверие и расположение императора Николая и очень искусно проводил политику Меттерниха, находя поддержку в русском министре иностранных дел Нессельроде, страстном приверженце Меттерниха. Фикельмон оставался послом в Петербурге десять лет, в 1839 г. был отозван и занимал в Вене посты министра военного, иностранных дел. В 1848 г. был премьер-министром, мартовская революция свергла его вместе с Меттернихом.

Фикельмон был человек умный и образованный, очень тепло относился к Пушкину, в 1835 г. прислал ему запрещенные к ввозу в Россию два тома сочинений Гейне — французский перевод его «Путевых картин». На похоронах Пушкина граф Фикельмон присутствовал вместе с женою, в парадной одежде и звездах.

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА КАРАМЗИНА
(1780—1851)

Рожденная Колыванова, в действительности — побочная дочь кн. А. И. Вяземского, единокровная (по отцу) сестра поэта кн. П. А. Вяземского. Вторая жена историка Карамзина. В молодости была необыкновенно красива. Вигель рассказывает: «Она была бела, холодна,

прекрасна, как статуя древности. Если бы в голове язычника Фидиаса могла блеснуть христианская мысль, и он захотел бы изваять мадонну, то, конечно, дал бы ей черты Карамзиной в молодости... Душевный жар, скрытый под этой мраморной оболочкой, мог узнать я только позже». На вид надменная и недоступная, Карамзина умела, однако, располагать к себе людей и внушать крепкую к себе привязанность. В ней чувствовалась моральная серьезность и строгость, с которою невольно все считались. Была умна, образована, за что говорит одно уже то, что литературный салон Карамзиных после смерти самого Карамзина в 1826 г. не только не захирел, но расцвел, и в течение 30—40-х годов был одним из культурнейших центров Петербурга. Карамзины ежедневно принимали по вечерам, попросту, семейно, за чайным столом. Убранство комнат было самое незатейливое: мебели по стенкам с неизбежным овальным столом, окна с шторами, но без занавесок. У Карамзиных бывали Пушкин, Лермонтов, Жуковский, Вяземский, Дмитриев, Тютчев, Сологуб, Самарин, Кошелев. Современники замечают, что, собственно говоря, карамзинский дом был единственный в Петербурге, в гостиной которого собиралось общество не для светских пересудов и сплетен, а исключительно для беседы и обмена мыслей. Жили Карамзины на Михайловской площади, рядом с только что отстроенным Михайловским театром, в третьем этаже; первый и второй занимали братья Мих. и Матвей Юрьевичи Виельгорские.

Мальчишкой-лицеистом Пушкин вдруг влюбился в Екатерину Андреевну и послал ей любовное письмо. Она показала письмо мужу, они призвали Пушкина и жестоко намылили ему голову. Впоследствии Пушкин сильно привязался к Карамзиной и вспоминал о ней во все серьезные минуты жизни. Весною 1830 г., собираясь жениться, он писал кн. Вяземскому: «Сказывал ли ты Екатерине Андреевне о моей помолвке? Я уверен в ее участии, но передай мне ее слова; они нужны моему сердцу, и теперь не совсем счастливому». Через год, вскоре после свадьбы, Пушкин известил Карамзину о своей женитьбе. В ответ она писала ему по-французски: «Я очень признательна, что вы подумали обо мне в первые же минуты вашего счастья, это — подлинное доказательство вашей дружбы. Я шлю вам мои пожелания, — или, скорее, надежды, — чтобы ваша жизнь сделалась столь же сладостной и спокойной, сколько до этой поры была бурной и темной, и чтобы избранная вами нежная и прекрасная подруга стала вашим ангелом-хранителем, чтобы сердце ваше, всегда такое хорошее, очистилось возле вашей молодой супруги. Уверьте ее, что, несмотря на мою холодную и строгую внешность, она всегда найдет во мне сердце, готовое любить ее, особенно, если она обеспечит счастье своего мужа».

Накануне смерти Пушкин, прощаясь с друзьями, сказал А. И. Тургеневу:

— А что же Карамзиной здесь нет?

Тотчас же послали за нею, она приехала через несколько минут. Пушкин сказал слабым, но явственным голосом:

— Благословите меня.

Она благословила его издали. Но Пушкин сделал знак подойти, сам положил ее руку себе на лоб и, после того, как она его благословила, взял ее руку и поцеловал. Карамзина зарыдала и вышла.

СОФЬЯ НИКОЛАЕВНА КАРАМЗИНА
(1802—1856)

Старшая дочь историографа от первого его брака, падчерица Екатерины Андреевны. Миловидная, разговорчивая, смешливая, но не особенно далекая. Боратынский о ней писал: «В ней истинное оживление и непритворное баловство, грациозно умеренное некоторым уважением приличий». Вместе с мачехой она принимала гостей, собиравшихся в гостиной Карамзиных. Ее в шутку называли «Самовар-паша», так как она разливала гостям чай. Курила. По рассказу А. О. Смирновой, летом и зимою рыскала по городу в изорванных башмаках, вечером рассказывала свои сны, ездила верхом и так серьезно принимала участие в героинях английских романов, что иногда останавливала лошадь и кричала:

— Вон, смотрите, — совсем тот вид, каким восхищалась Камилла в замке!

Отношения с мачехой у нее были самые хорошие. У Софьи Николаевны было имение — пятьсот душ в Орловской губернии, которое досталось ей от матери. В альбом ей писали стихи Лермонтов, Боратынский, Хомяков, Ростопчина. Лермонтов так:

Люблю я разговоры ваши,
И «ха-ха-ха», и «хи-хи-хи»...

Пушкин относился к Софье Николаевне очень тепло и несколько раз говорит в письмах о своей дружбе с нею.

Княгиня ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА МЕЩЕРСКАЯ
(1805—1867)

Рожденная Карамзина, дочь историка и Екатерины Андреевны Карамзиных. В. П. Титов сообщает, что в 1828 г., перед замужеством Ека-

терины Николаевны, Пушкин принадлежал к числу ее «обожателей». Тютчев называл разговор княгини Мещерской «la musique d'une belle âme». Эта «музыка» бесспорно слышится и в замечательном ее письме, описывающем смерть Пушкина. В начале царствования Александра II, в эпоху либеральных преобразований, салон княгини Мещерской считался одним из центров консервативной оппозиции. Сыном этих Мещерских был известный кн. В. П. Мещерский, издатель «Гражданина», один из самых ярых, однако далеко не бескорыстных поборников монархизма и реакции.

Князь ПЕТР ИВАНОВИЧ МЕЩЕРСКИЙ
(1802—1876)

Муж предыдущей (с 1828 г.). Подполковник гвардии в отставке, помещик. Человек добродушный, но совершенно заурядный, по уму и силе характера значительно уступал жене. В доме главенствовала Екатерина Николаевна. Пушкин бывал у Мещерских.

Графиня НАДЕЖДА ЛЬВОВНА СОЛОГУБ
(Ум. в 1903 г.)

Двоюродная сестра писателя В. А. Сологуба, племянница по матери будущего канцлера кн. А. М. Горчакова. Фрейлина вел. княгини Елены Павловны. С 1863 г. замужем за А. Н. Свистуновым. По словам В. Сологуба, была замечательно хороша собою. Пушкин усердно за нею ухаживал, и в письмах к жене ему не раз приходилось стараться успокоить ее ревнивые подозрения насчет графини Сологуб. К ней относят стихи Пушкина «Нет, нет, не должен я...» (1832):

Нет, полно мне любить! Но почему ж порой
Не погружуся я в минутное мечтанье,
Когда нечаянно пройдет передо мной
Младое, чистое, небесное созданье,
Пройдет и скроется?.. Ужель не можно мне,
Любуясь девою в печальном сладострастье,
Глазами следовать за ней и в тишине
Благословлять ее на радость и на счастье,
И сердцем ей желать все блага жизни сей,
Веселья, мир души, беспечные досуги,
Все, — даже счастие того, кто избран ей,
Кто милой деве даст название супруги.

В октябре 1833 г. Пушкин писал жене из Болдина: «Охота тебе, женка, соперничать с графиней Сологуб. Ты красавица, ты бой-баба, а она шкурка. Что тебе перебивать у ней поклонников?»

Графиня СОФЬЯ ИВАНОВНА СОЛОГУБ
(1791—1854)

Рожденная Архарова, мать писателя В. А. Сологуб, тетка Н. Л. Сологуб, в письмах Пушкина — «Сологуб-тетка». Была очень умна, остроумна, выражалась метко, но мало была общительна, выражение лица было пренебрежительное, что не очень к ней располагало. Женских приторностей, увлекающих нежничаний, мгновенных энтузиазмов она не знала. Однако племянницу свою очень любила и постоянно выезжала с нею.

Граф АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ СОЛОГУБ
(1787—1843)

Отец писателя, обрусевший поляк. Церемониймейстер. С молодых лет славился как первый столичный щеголь, выдумывал разные костюмы. Между прочим, он изобрел необыкновенный в то время синий плащ с длинными, широкими рукавами; и плащ, и рукава были подбиты малиновым бархатом. Пел приятно в салонах и так превосходно танцовал мазурку, что зрители сбегались им любоваться. Был очень богат, но все свое состояние промотал и сыну почти ничего не оставил. Со всеми обращался просто и ласково. По манерам самой утонченной вежливости был настоящий маркиз, и когда его писатель-сын выкидывал при нем какую-нибудь невежливость, восклицал: «Вольдемар! Это верх неприличия!» Но сын не обращал внимания на замечания отца. — Был знаком с Пушкиным.

Граф ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ СОЛОГУБ
(1814—1882)

Впоследствии — известный белетрист, автор «Истории двух калош» и «Тарантаса», при Пушкине — светский молодой человек, начинавший пописывать. Учился в дерптском университете, где окончил курс в 1834 г. Гостя, еще студентом, в Петербурге, он познакомился в театре с Пушкиным. Сологуб-отец представил юношу Пушкину. А утром он познакомил сына с каким-то модным писателем Х., который благосклонно пригласил молодого человека сегодня к себе на вечер. Прощаясь с Пушкиным, юный Сологуб, желая показать, с какими знаменитыми людьми он знаком, почтительно сказал Пушкину:

— Александр Сергеевич, я еще, вероятно, буду иметь счастливый случай с вами повстречаться сегодня у Х.

Пушкин с добродушно-язвительной усмешкой ответил:

— Нет, с тех пор, как я женат, я в такие дома не езжу.

Сологуб сконфузился и к Х. не поехал, хотя отец его, смеясь, очень на этом настаивал.

По окончании университета Сологуб упоенно зажил в Петербурге светскою жизнью, танцовал на балах, ухаживал за дамами. В январе 1836 г. он определился на службу и был прикомандирован к тверскому губернатору. Накануне отъезда в Тверь Сологуб был на вечере, где у него произошло столкновение с женою Пушкина. Наталья Николаевна подтрунивала над романическою страстью Сологуба к даме, по которой он вздыхал. Сологуб рассердился, спросил Наталью Николаевну, давно ли она замужем, сказал, что она не девочка, и что-то намекнул насчет красавца-поляка Ленского, прекрасно танцовавшего мазурку на петербургских балах. На следующий день Сологуб уехал в Тверь, а через некоторое время получил от своего университетского товарища Андрея Карамзина, сына историка, письмо, где тот выражал удивление, что Сологуб уклоняется от поединка, на который его вызвал Пушкин. Письма Пушкина Сологуб не получал и тотчас же написал ему, что совершенно готов к его услугам, хотя не чувствует за собой никакой вины, объяснял, что в упоминании о Ленском не заключалось никакого намека и т. п. В ответ он получил от Пушкина письмо на французском языке:

«Милостивый Государь! Вы приняли на себя напрасный труд, сообщив мне объяснения, которых я не спрашивал. Вы позволили себе невежливость относительно моей жены. Имя, вами носимое, и общество, вами посещаемое, вынуждает меня требовать от вас удовлетворения за непристойность вашего поведения. Извините меня, что я не могу приехать в Тверь раньше конца настоящего месяца».

Делать было нечего, Сологуб стал готовиться к поединку, купил пистолеты, выбрал секунданта, привел в порядок бумаги и стал ждать Пушкина. Он твердо решил не стрелять в Пушкина и выдерживать его огонь, сколько ему будет угодно. Прошло три месяца, Пушкин все не приезжал. Сологубу пришлось на два дня уехать в деревню, и как раз в это время Пушкин, по дороге в Москву, заехал в Тверь. Воротившись, Сологуб узнал, что Пушкин был в Твери, пришел в ужас от мысли, что Пушкин подумает, будто он от него убежал, и тотчас же помчался в Москву. Приехал рано утром и немедленно явился к Нащокину, у которого остановился Пушкин. В доме все еще спали. Пушкин вышел в халате, заспанный, и начал чистить свои длинные ногти. Держался он

очень холодно. Условились о секундантах. Своим секундантом Пушкин назвал Нащокина. Между прочим, он сказал:

— Неужели вы думаете, что мне весело стреляться? Да что делать? Я имею несчастие быть публичным человеком, а вы знаете, что это хуже, чем быть публичной женщиной.

Затем разговор несколько оживился, заговорили о начатом Пушкиным издании «Современника». Пушкин сказал:

— Первый том был очень хорош. Второй я постараюсь выпустить поскучнее: публику баловать нечего.

И он засмеялся. Беседа пошла почти дружеская. Вошел Нащокин, тоже заспанный, с взъерошенными волосами, и сейчас же приступил к роли примирителя. Было ясно, что никто не ищет кровавой развязки, а все дело в том, как бы всем выпутаться из глупой истории, не уронив своего достоинства. Пушкин непременно хотел, чтобы Сологуб перед ним извинился. Обиженным себя он, впрочем, не считал, но ссылался на светское значение Сологуба и как будто боялся компрометировать себя в обществе, если оставит без удовлетворения дело, получившее уже некоторую огласку: разговор Сологуба с Натальей Николаевной слышали барышни Вяземские и растрезвонили о нем. Сологуб объявил, что извиняться перед Пушкиным ни под каким видом не станет, так как не виноват решительно ни в чем: слова его были перетолкованы превратно. Спор тянулся долго. Наконец, Пушкин предложил Сологубу написать письмо Наталье Николаевне. На это Сологуб согласился и написал такое письмо:

«Милостивая государыня! Я, конечно, не ожидал, что буду иметь честь писать вам. Дело в несчастной фразе, которую я произнес в припадке дурного расположения духа. Вопрос, с которым я к вам обратился, обозначал, что шалости молодой девушки не соответствуют достоинству царицы общества. Я был в отчаянии, что этим словам придали значение, недостойное порядочного человека».

Пушкин требовал, чтобы Сологуб в конце попросил у Натальи Николаевны извинения. Он желал письма как доказательства на случай, если его будут упрекать, что его жену можно безнаказанно оскорблять. Извиниться Сологуб отказался. Пушкин сказал:

— Можно всегда просить извинения у женщины.

Нащокин тоже уговаривал. Наконец, Сологуб приписал: «и прошу принять мои извинения». Пушкин протянул Сологубу руку и сделался чрезвычайно весел и дружелюбен.

Сологуб возвратился в Петербург в октябре месяце. Пушкин встретился с ним у Вяземских, отвел в сторону и сказал:

— Не говорите моей жене о письме.

Наталья Николаевна своим волшебным голосом попросила у Сологуба извинения. Все было забыто. По уверению Сологуба, он коротко сблизился с Пушкиным, Пушкин проявлял к нему большую симпатию, поощрял его первые литературные опыты, давал советы, читал свои стихи. Следует, однако, оговориться, что Сологуб был большой хвастун и враль и в воспоминаниях своих считал не особенно нужным считаться с истиной. Когда ему однажды указала на это Смирнова, Сологуб ответил: «Нужно немножко оживлять повествование». Он рассказывает. что каждый день ходил с Пушкиным гулять; на Толкучем рынке они покупали сайки и, возвращаясь по Невскому, предлагали эти сайки разряженным светским щеголям, которые бегали от них с ужасом. Вечером они встречались у Карамзиных, у Вяземских, у князя Одоевского и на светских балах.

Сологуб жил на Большой Морской, у тетки своей А. И. Васильчиковой. Утром 4 ноября того же 1836 г. она позвала племянника и с удивлением показала полученный ею по почте пакет, в котором оказалось запечатанное письмо на имя Пушкина. Сологуб отвез письмо Пушкину. Пушкин сидел в своем кабинете. Он распечатал письмо и спокойно сказал:

— Я уже знаю, что такое; я такое письмо получил сегодня же от Елиз. Мих. Хитрово; это мерзость против жены моей. Впрочем, вы понимаете, что безыменным письмом я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя — ангел, никакое подозрение коснуться ее не может.

Пушкин говорил с большим достоинством, и Сологуб вынес впечатление, что он хочет оставить все дело без внимания. Они попрежнему продолжали вместе гулять, Сологуб не замечал в нем особенной перемены. 16 ноября у Карамзиных праздновался день рождения хозяйки. Сологуб сидел за обедом рядом с Пушкиным. Во время общего веселого разговора Пушкин вдруг наклонился к Сологубу и сказал скороговоркой:

— Ступайте завтра к д'Аршиаку. Условьтесь с ним только насчет материальной стороны дуэли с Дантесом. Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не соглашайтесь.

Потом он продолжал шутить и разговаривать как ни в чем не бывало. Сологуб остолбенел, но возражать не осмелился: в тоне Пушкина была решительность, не допускавшая возражений.

На следующий день Сологуб поехал к д'Аршиаку и с изумлением узнал, что Пушкин немедленно по получении анонимного пасквиля вызвал Дантеса на дуэль, что по просьбе старика-Геккерена отложили по-

единок на две недели, что Дантес женится на свояченице Пушкина, но требует, чтобы Пушкин безусловно отказался от вызова, так как не может допустить, чтобы о нем говорили, будто он женился по принуждению, из боязни поединка. Д'Аршиак с Сологубом поехали к Дантесу. Так как Пушкин обязал Сологуба условиться только о материальной стороне дуэли и не вступать ни в какие переговоры, то назначили дуэль на 21 ноября. Сологуб послал к Пушкину своего кучера с запиской, где извещал о дне и условиях дуэли, и прибавил, что Дантес готов жениться на Екатерине Гончаровой лишь в том случае, если Пушкин признает, что он вел себя в этом деле как честный человек. Сологуб умолял Пушкина согласиться на это предложение. Кучер привез ответное письмо, где Пушкин брал свой вызов обратно и заявлял, что не имеет оснований приписывать женитьбу Дантеса неблагородным соображениям. Пушкин остался, однако, очень недоволен тем, что Сологуб, несмотря на его требование, вступил в переговоры. Свадьбе он не верил.

— У него, кажется, грудь болит, — говорил он, — того и гляди, уедет за границу. Хотите биться об заклад, что свадьбы не будет? Вот у вас тросточка. У меня бабья страсть к этим игрушкам. Проиграйте мне ее.

Он был в это время как-то желчно-весел.

— Хорошо! А вы проиграете мне все ваши сочинения?

Вскоре Сологуб уехал в служебную командировку и больше с Пушкиным уже не виделся.

Головачева-Панаева, знавшая Сологуба несколько позднее, рассказывает: «Если бы он не ломался, то был бы приятным собеседником. Но часто он был невыносим, вечно корча из себя то дерптского студента, то аристократа. В светском обществе он кичился званием литератора, а в литературном — своим графством. Если его знакомили с простым смертным, он подавал ему два пальца и на другой день при встрече делал вид, что не узнает его. Тогда только что появилась мода носить стеклышко, и Сологуб носил его, закинув голову назад и смотря на всех величаво-презрительно. Странно, Сологуб вовсе не был так глуп, чтобы не понимать, как смешно кичиться своим аристократизмом. Он, в сущности, был добрый человек; если его просили похлопотать о ком-нибудь, то он охотно брался за хлопоты и радовался в случае успеха. В характере Сологуба была хорошая черта — он никогда не передавал никаких сплетен. После женитьбы он ударился в другую крайность: сделался студентом-буршем, не стыдился уже говорить о своих плохих средствах к жизни, которые прежде скрывал, и часто повторял фразу, когда касались денежных трат: «Ну, куда нам с генералами чай пить!»

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА АРХАРОВА
(1755—1836)

Рожденная Римская-Корсакова. Кавалерственная дама, вдова московского военного губернатора, генерала от инфантерии И. П. Архарова (по его имени солдат московского гарнизона прозвали «архаровцами»), бабушка писателя В. А. Сологуба. По отзыву внука, женщина «необразованная, ускользнувшая от влияния екатерининского двора, но чрезвычайно замечательная по своему добросердечию, твердости характера и коренной русской типичности». Была величественна, умела держаться и не терялась в затруднительных случаях. Летом жила в Павловске, император Александр I к ней очень благоволил и приходил иногда запросто к ней обедать. Однажды он, как всегда, повел ее под руку к столу. Вдруг она чувствует, что с нее спускается одна из юбок; она приостановилась, дала ей время упасть, перешагнула и, как будто не замечая, что с нею случилось, продолжала итти к обеду и во все время обеда была так же весела и спокойна, как обыкновенно.

Была в дружественных отношениях с Н. О. Пушкиною, матерью поэта. По черновым записям Анненкова, Пушкина «подличала перед Архаровою»; ее дочери, А. И. Васильчиковой, подарила письмо поэта-сына, извещавшее об его помолвке. Летом 1831 г., когда Пушкин с молодою женою жил в Царском селе, он приезжал к сестре своей О. С. Павлищевой и уморительно передразнивал перед нею старуху Архарову.

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА ВАСИЛЬЧИКОВА
(1795—1855)

Рожденная Архарова. В молодости была любимой фрейлиной императрицы Марии Федоровны, находилась в дружественных отношениях с императорской фамилией. Была красива, но держалась очень неприступно, никто не дерзал за нею ухаживать. Когда при императоре Александре рассуждали, за кого она выйдет замуж, царь сказал, что не знает никого, кто был бы ее достоин. А между тем она вышла за человека весьма обыкновенного, но доброго, богатого, знатного рода и имевшего большие аристократические связи, А. В. Васильчикова. Разумовские, Репнины, Н. К. Загряжская, кн. В. П. Кочубей были с ним в родстве или свойстве.

Васильчикова приходилась теткой писателю В. А. Сологубу. В 1831 г. в Павловске у нее домашним учителем был молодой Гоголь, приглашенный для занятий с слабоумным ее сыном.

Графиня УЛЬЯНА МИХАЙЛОВНА ЛАМБЕРТ
(Род. в 1791 г.)

Рожденная Деева. Жена французского эмигранта, кавалерийского генерала русской службы К. О. Ламберта. В 1831 г. она жила в Царском селе на Колпинской ул. против дома Китаева, где жил Пушкин. Графиня оставляла занавески на своих окнах опущенными, говоря: «Я боюсь: он на меня критику сочинит». Однако, узнав о взятии Варшавы, уведомила об этом Пушкина. Пушкин в благодарность послал ей первый экземпляр своего стихотворения «Клеветникам России» и сделал ей визит с женою. После этого она открыла свои занавески. Пушкин называл графиню за ее увесистость «madame Tolpège», от русского слова «толпега» (толстуха).

Граф МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ВИЕЛЬГОРСКИЙ
(1788—1856)

Поляк, сын польского посланника при дворе Екатерины, женившегося на богатой русской и перешедшего на русскую службу. Где-то граф Михаил Юрьевич числился служащим, в придворных званиях дошел до гофмейстера и обер-шенка, был близок ко двору и очень там любим. К службе он относился равнодушно, все его интересы сосредоточивались на искусстве, особенно на музыке. Он сам был хороший музыкант и композитор, романсы его пользовались популярностью. Роберт Шуман назвал его гениальнейшим из дилетантов. Дом его в Петербурге на Михайловской площади был средоточием столичной артистической жизни, местные и приезжие артисты находили здесь самый радушный прием.

Виельгорский был близок и со многими писателями — Карамзиным, Жуковским, Пушкиным, Вяземским, Гоголем. «Ревизор» попал на сцену главным образом благодаря Виельгорскому. Он хлопотал также о разрешении к печати «Мертвых душ». Женат он был на герцогине Луизе Михайловне Бирон, гордой и высокомерной. Сам же Виельгорский был прост и со всеми приветлив. У мужа и жены были отдельные приемы. На половине графини собирался цвет придворной и служилой знати, вечера ее отличались самою изысканною светскостью. У графа собиралась публика нечиновная: музыканты, писатели, живописцы, актеры, начинающие журналисты. Часто Виельгорский на короткое время покидал своих гостей, уезжал во дворец, но скоро возвращался, снимал

мундир, звезды и с особенным удовольствием облекался в бархатный, довольно поношенный сюртук. У него редко танцовали, но почти каждую неделю устраивались концерты, в которых принимали участие все находившиеся в Петербурге знаменитости.

Он и вообще был человек широко образованный. Зять его, писатель Сологуб, характеризует Виельгорского так: «Философ, критик, лингвист, медик, теолог, герметик, почетный член всех масонских лож, он был живой энциклопедией самых глубоких познаний». Находясь всегда при дворе, Виельгорский был далек от всяких придворных интриг и ненавидел городские сплетни. Уже в пожилых летах он был очень моложав на вид. «С лицом белым и румяным, — говорит Вигель, — он только что был недурен собою; но необычайный блеск его взоров, как бы разливаясь по чертам его, делал его почти красавцем». Виельгорский был большой гастроном. Стол его славился в Петербурге, и сам он считался одним из лучших знатоков кушаний и вин. В этой области он был строг и безжалостно-взыскателен. На одном большом обеде у Бутурлиных хозяин ему сказал:

— Обратите внимание на это вино, — оно 1827 года!

Виельгорский раздраженно ответил:

— Не знаю, двадцать ли седьмого года вино, но масло ваше — наверно двадцать седьмого года.

Пушкин был хорош с Виельгорским, в 1834 г. провожал его на пароходе при отъезде его за границу к больной жене; в декабре 1836 г., на дружеском вечере у А. Всеволожского после представления «Жизни за царя» Глинки, Пушкин, Вяземский, Жуковский и Виельгорский сочинили общими силами литературно-музыкальную шутку «Канон в честь М. И. Глинки». Виельгорский в числе ближайших друзей безвыходно находился в квартире умиравшего Пушкина. Им положены на музыку «Песнь Земфиры» Пушкина, его «Черная шаль» и «Шотландская песня», начата опера на сюжет пушкинских «Цыган». Бартенев со слов Соболевского сообщает, что отправной сюжет «Медного всадника» дал Пушкину Виельгорский. Он рассказал ему про некоего майора Батурина, который в 1812 г. много раз под ряд видел один и тот же сон: он видит себя на Сенатской площади; лицо Петра медленно поворачивается; всадник спускается со скалы и скачет по петербургским улицам, слышен топот меди по мостовой; въезжает на Каменном острове в царский дворец, ему навстречу выходит Александр, и всадник предсказывает ему, что, пока памятник его на месте, Петербургу нечего опасаться за свою судьбу.

Князь ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ ОДОЕВСКИЙ
(1803—1869)

Тесная комната, уставленная необыкновенными столами с таинственными ящичками и углублениями; на столах, на диванах, на окнах, на полу — фолианты в старинных пергаментных переплетах; человеческий скелет с надписью: sapere aude (дерзай познавать); химические реторты, колбы, ступки, банки. И в этой средневековой обстановке — странный, узкоплечий, жидкий человек в остром черном шелковом колпаке и в черном сюртуке до пят. Поникшая голова с очень высоким лбом, умные серо-голубые глаза смотрят рассеянно, беспокойно, ни на чем пристально не останавливаясь; речь торопливая, мягкая, но какая-то нерешительная, без всяких оттенков; ее утомительно слушать. И обо всем он говорит таинственным, проникновенным тоном — одинаково о Шеллинге, о Бетховене и о приготовлении соусов. Он всем интересуется и все знает. Удивляет врачей медицинскими познаниями и увлекается средневековой мистикой; возится в своей лаборатории с ретортами и сочиняет фантастические повести и прелестные детские сказки; изучает френологию и вникает в квартеты Бетховена; изобретает неслыханные музыкальные инструменты и выдумывает непостижимые блюда и невероятные соусы. Пулярки у него начиняются бузиной или ромашкой, соусы перегоняются научным образом в химических ретортах; соусы эти были до того отвратительны, что гости его через много лет вспоминали о них с ужасом. Наивно, как малый ребенок, он невиннейшим образом рассказывал при дамах самые неприличные вещи. Таков был князь Одоевский — беллетрист, философ, музыкант, химик, черепослов, чернокнижник, повар, человек добрейшей души и примерной честности.

Одоевский воспитывался в московском университетском Благородном пансионе и вышел из него восторженным последователем философии Шеллинга и Окена. В 1822 г. примкнул к литературному кружку Раича, а вскоре после этого основал вместе с Веневетиновым кружок московских «любомудров», где был председателем и одним из наиболее деятельных членов. Кружок разрабатывал философские вопросы в духе Шеллинга. В 1824—1825 гг. вместе с В. К. Кюхельбекером издавал альманах «Мнемозина». Осенью 1826 г. Одоевский переселился в Петербург, поступил на службу в министерство внутренних дел и женился на Ольге Степановне Ланской, старше его на шесть лет. Была она женщина гордая и надменная, но по отношению к мужу выказывала полное подчинение, холила его и лелеяла, как малое дитя. Ее называли «прекрасной креолкой», потому что она цветом лица похожа была на креолку

и в молодости была красива. По субботам у Одоевского собирались. Он жил в Машковском переулке, на углу Б. Миллионной. В салоне перед большим серебряным самоваром величественно восседала княгиня и сама разливала чай. Посещавшее Одоевских общество резко делилось на две части: великосветские люди оставались в салоне около княгини; нечиновные писатели, неловко кланяясь княгине, торопливо проходили в кабинет к хозяину под направленными на них пренебрежительными лорнетами гостей. Одоевский принимал каждого писателя и ученого с искренним уважением и дружески протягивал руку всем выступавшим на литературное поприще, без различия сословий и званий. Один из всех писателей-аристократов он не стыдился звания литератора, не боялся открыто смешиваться с литературною толпою и за свою страсть к литературе терпеливо сносил насмешки светских приятелей. На субботах Одоевского бывали Крылов, кн. Шаховской, Жуковский, Пушкин, Вяземский, М. И. Глинка, Гоголь, Кольцов, Блудов.

В 1846 г. Одоевский был назначен помощником директора имп. Публичной библиотеки и заведующим Румянцевским музеем. Состоял председателем основанного по его мысли филантропического общества посещения бедных. В 1861 г. был назначен сенатором московского присутствия сената и переехал в Москву, где и умер.

С Пушкиным Одоевский находился в хороших отношениях, но близости между ними не было. Туманный философский идеализм Одоевского был глубоко чужд реалистическому складу ума Пушкина, а к фантастической беллетристике Одоевского Пушкин относился равнодушно. Восхищаясь в разговоре с одним знакомым Гофманом, Пушкин заметил саркастически:

— Одоевский тоже пишет фантастические пьесы.

Собеседник возразил:

— К несчастью, мысль его не имеет пола.

Пушкин весело рассмеялся. В 1833 г. Одоевский проектировал издать «Альманах в три этажа», где Рудый Панек (Гоголь) описал бы чердак, Белкин (Пушкин) — погреб, а Гомозейко (сам Одоевский) — гостиную. Пушкин вежливо уклонился от участия в альманахе. Одоевский принимал деятельное участие в «Современнике» Пушкина, поместил в нем несколько очень хороших критических статей.

ИВАН ПЕТРОВИЧ МЯТЛЕВ
(1796—1844)

Родился в богатой аристократической семье, где-то числился служащим, был камергер, имел очень большое состояние, прекрасный дом

близ Исакиевского собора, нередко принимал у себя царскую фамилию. Неистощимый остряк, каламбурист и юмористический стихотворец. Когда в какой-нибудь светской гостиной раздавался дружный, громкий хохот, то безошибочно можно было угадать присутствие Мятлева. Он мастерски читал свои стихи и читал их всегда охотно. Барыни не давали ему проходу, и званый вечер был не в вечер, если не заканчивался чтением Мятлева. Известностью пользовалась его юмористическая поэма: «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею, *дан л'Этранже*». Рассказ ведется от лица русской провинциальной барыни, передающей свои заграничные впечатления на обычном в то время «французско-нижегородском» языке, — в таком, например, роде:

Патриот иной у нас
Закричит: «*дю* квас, *дю* квас,
Дю рассольник огуречный!»
Пьет и морщится, сердечный:
Кисло, солоно, *мове,*
Ме се рюс,—э ву саве
Надобно любить родное,
Дескать, даже и такое,
Что не стоит и гроша.
Же не ди па,—ла каша
Манная *авек де* пенки,
Ла морошка, *лез* опенки,
Поросенок *су ле* хрен,
Ле кисель *э ле* студен
Очень вкусны; но не в этом
Ле патриотизм...

и т. д.

Поэма и для своего времени была растянута и однообразна, теперь же просто скучна. Однако в то время она нравилась даже Лермонтову, который писал:

Вот дама Курдюкова!
Ее рассказ так мил,
Я от слова до слова
Его бы затвердил.
Мой ум скакал за нею,
И часто был готов
Я броситься на шею
К мадам де-Курдюков.

А в несравненном исполнении самого Мятлева поэма вызывала неудержимый хохот. Пушкин был с Мятлевым в дружественных отношениях.

КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ БУЛГАКОВ
(1782—1835)

Брат московского почт-директора А. Я. Булгакова, родился в Константинополе от тех же родителей. Сначала служил по министерству иностранных дел, с 1816 г. — московский почт-директор, в 1819 г. переведен на ту же должность в Петербург. Вяземский о нем сообщает: «Он был вообще характера более степенного, чем его брат, положение его в обществе было тверже и определеннее. Умственные и служебные способности его, нрав общежительный, скромность, к тому же прекрасная наружность снискали ему общее благорасположение. Биллиард (оба брата были большие охотники и мастера в этой игре) был два раза в неделю, по вечерам, нейтральным средоточием, куда стекались министры, дипломаты русские и иностранные, артисты, военные. Разумеется, тут была и биржа всех животрепещущих новостей как заграничных, так и доморощенных. В другие дни, менее многолюдные, дом также был открыт для приятелей и коротких знакомых. Тогда еще более было непринуждения во взаимных отношениях и разговорах». Всегда в темносинем фраке с металлическими пуговицами и с золотой звездой Белого орла на груди. Когда вальсировал с красавицей гр. Е. Е. Завадовской, это была чудесная пара, которою все любовались. Должность Булгакова доставляла ему ежегодного дохода 100 000 р. асс. от подписки на иностранные газеты и журналы. До самой смерти Булгакова этот доход принадлежал директорам почт, а потом перешел к правительству.

Графиня ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА ЗАВАДОВСКАЯ
(1807—1874)

Рожденная Влодек, дочь генерала от кавалерии, полька по отцу, русская по матери. С 1824 г. жена графа Вас. Петр. Завадовского, в молодости лейб-гусара, в тридцатых годах — обер-прокурора одного из департаментов сената. Исключительная красавица. Современник пишет: «Нет возможности передать неуловимую прелесть ее лица, гибкость стана, грацию и симпатичность, которыми была проникнута вся ее особа». Персидский принц Хозрев-Мирза сказал про нее: «Каждая ресница красавицы ударяет в сердце, как стрела». Граф М. Ю. Виельгорский говорил: «Артистическая душа не может спокойно созерцать такую прекрасную женщину: я испытал это на себе». К графине Завадовской, как недавно выяснилось, обращено знаменитое стихотворение Пушкина «Кра

савица». Завадовскую воспевали также И. И. Козлов и кн. П. А. Вяземский.

Вяземский и некто Богуславский утверждают, что Пушкин изобразил в «Евгении Онегине» Завадовскую под именем Нины Воронской, «сей Клеопатры Невы». Мы считаем это совершенно невероятным. Для обозначения красавиц поэты употребляют целый ряд исторических, мифологических и литературных женских имен: Диана, Венера, Юнона, Пенелопа, Фрина, Мессалина, Клеопатра, Мадонна, Беатриче, Лаура. Но далеко не безразлично, какое из этих имен прилагать к данной красавице: Диане сопутствует представление о девственной чистоте, Пенелопе — о супружеской верности, Мессалине — о половой разнузданности, Мадонне — о божественной святости и т. д. Если подводить под художественные образы соответственные прототипы, то под Ниной Воронской можно разуметь одну только Закревскую, — она целиком подходит под то представление, какое Пушкин имел о Клеопатре. В том же, что мы знаем о Завадовской, нет решительно никаких черт Клеопатры с ее безудержным, садическим сладострастием и «неслыханным служением матери наслаждений». Напротив, во всех воспевающих ее стихах как раз подчеркивается целомудренная чистота ее красоты. Козлов:

...чистой, ангельской душою
Оживлена твоя краса.

Вяземский в посвященном Завадовской стихотворении говорит о человеке Севера:

Красавиц северных он любит безмятежность,
Чело их, чуждое язвительных страстей,
И свежесть их лица, и плеч их белоснежность
И пламень голубой их девственных очей...
. . . . . .
Красавиц Севера царица молодая!
Чистейший красоты высокий идеал!

И наконец сам Пушкин:

Все в ней гармония, все диво,
Все выше мира и страстей;
Она покоится стыдливо
В красе торжественной своей...
Куда бы ты ни поспешал,
Хоть на любовное свиданье,
Какое б в сердце не питал
Ты сокровенное мечтанье,
Но встретясь с ней, смущенный, ты
Вдруг остановишься невольно,
Благоговея богомольно
Перед святыней красоты.

Баронесса АМАЛИЯ МАКСИМИЛИАНОВНА КРЮДНЕР
(Ум. в 1881 г.)

Рожденная графиня фон-Лерхенфельд, в действительности побочная дочь прусского короля Фридриха-Вильгельма III от княгини Турн-и-Таксис, единокровная сестра русской императрицы Александры Федоровны. Жена барона А. С. Крюднера, первого секретаря русского посольства в Мюнхене. В молодости в нее был влюблен поэт Ф. И. Тютчев, посвятивший ей стихи: «Я помню время золотое». В 1833 г. кн. Вяземский писал А. И. Тургеневу из Петербурга: «У нас здесь мюнхенская красавица Крюднерша. Она очень мила, жива и красива, но что-то слишком белокура лицом, духом, разговором и кокетством; все это молочного цвета и вкуса». За нею в это время ухаживал Пушкин. Летом 1833 г. был вечер у Фикельмонов. Пушкин, краснея и волнуясь, увивался около баронессы Крюднер. Жена его рассердилась и уехала домой. Пушкин хватился жены и поспешил домой. Наталья Николаевна раздевалась перед зеркалом. Пушкин спросил:

— Что с тобой? Отчего ты уехала?

Вместо ответа Наталья Николаевна дала ему пощечину. Пушкин, как стоял, так и покатился со смеху. Он забавлялся и радовался тому, что жена ревнует его.

В 1838 г. А. О. Смирнова наблюдала г-жу Крюднер на интимном балу в Аничковом дворце: «Она была в белом платье, зеленые листья обвивали ее белокурые локоны; она была блистательно хороша». Царь открыто ухаживал за нею и за ужином всегда сидел с нею рядом. «После, — рассказывает Смирнова, — Бенкендорф заступил место гр. В. Ф. Адлерберга, а потом — и место государя при Крюднерше. Государь нынешнюю зиму мне сказал: «Я уступил после свое место другому» и говорил о ней с неудовольствием, жаловался на ее неблагодарность и ненавистное чувство к России. Она точно скверная немка, у ней жадность к деньгам непомерная». Во втором браке баронесса Крюднер была за финляндским генерал-губернатором гр. Н. В. Адлербергом, сыном вышеупомянутого В. Ф. Адлерберга.

Князь СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ГОЛИЦЫН
(1806—1868)

По прозванию Фирс. Дети генерала Чернышева прозвали его Thyrsis, по-русски Фирс. 14 декабря празднуется православною церковью память мученика Фирса, поэтому возникло подозрение, не имело ли это

прозвание какого-либо отношения к событиям 14 декабря. Недоразумение разъяснилось, а прозвище «Фирс» так и осталось за Голицыным.

Он числился с 1825 г. в коллегии иностранных дел, был камер-юнкером, потом служил в военной службе. Обладая прекрасным басом, очень приятно пел, любил музыку, дружил с М. И. Глинкой, писал стихи. Очень любил и карты. «Ночи певец и картежник», — называет его Вяземский.

Был огромнейшего роста. Однажды в театре ему стали кричать:

— Сядьте, сядьте!

Он встал и сказал своим зычным голосом:

— Вот это я стою.

Потом сел и сказал:

— А вот это я сижу.

По отзыву современников, Голицын был один из остроумнейших, приятнейших собеседников своего времени, редкий рассказчик, русский образованный барин в полном смысле слова, но шалун и шутник легендарный. В. А. Сологуб рассказывает такой случай. В середине тридцатых годов Сологуб ехал в Москву. Наскучил долгой дорогою и морозом, оставил камердинера тащиться с экипажем и поклажей, а сам в легких санках прикатил в Москву. Был он в валенках, а предстоял интересный вечер. У приятеля, у которого остановился Сологуб, нашлись его белье и платье, но ступни Сологуба были такие огромные, что сапоги ему всегда приходилось делать на заказ. Он вспомнил, что у Фирса (его двоюродного брата) такие же большие ноги, и послал к нему слугу своего приятеля. Голицын с серьезнейшим видом ответил слуге, что он, правда, Голицын, но не тот, к которому его послали, а тот живет там-то. И дал ему адрес московского генерал-губернатора кн. Д. В. Голицына. Парень отправился к генерал-губернатору, добился немедленного личного приема (так ему было приказано Сологубом) и заявил, что граф Сологуб просит одолжить ему на сегодняшний вечер его сапоги. Голицын, бывший в хороших отношениях с отцом Сологуба, весьма изумился, но приказал камердинеру провести парня в гардеробную. Парень осмотрел шеренгу сапогов, похвалил товар, но с сожалением заметил:

— Нет, эти сапоги на н а с не полезут.

Камердинер обругал его и прогнал. Сологуб ездил извиняться к генерал-губернатору, Фирса чуть не прибил, а тот весело хохотал.

Летом 1830 г., когда Пушкин, уже женихом, приехал в Петербург, он много «веселился», как писал княгине Вяземской, и часто бывал на Крестовском острове у Дельвига. Вечером на одной даче собралось большое общество, был и Пушкин. Играли в банк. В калитку палисадника вошел молодой человек очень высокого роста, закутанный в широ-

кий плащ. Он незаметно, не снимая ни шляпы, ни плаща, вошел в комнаты и остановился за спиною одного из понтеров. Молодой человек этот был кн. Голицын-Фирс. Он в то время был в числе многочисленных поклонников красавицы-фрейлины А. О. Россет, будущей Смирновой. Нужно заметить, что дня за два до этого вечера Голицын в том же обществе выиграл около тысячи рублей, и как раз у банкомета, державшего теперь банк; выигрыш этот остался за ним в долгу. Голицын простоял несколько минут, никем не замеченный, потом, взяв со стола карту, бросил ее на стол и крикнул:

— Ва-банк!

Все подняли глаза и увидели со смехом и изумлением неожиданного гостя в его странном костюме. Банкомет, смущенный ставкою Голицына, отвел его немного в сторону и спросил:

— Да ты на какие деньги играешь? На эти или на те?

Под «этими» он разумел ставку нынешнего вечера, а под «теми» свой долг. Голицын ответил:

— Это все равно: и на эти, и на те, те, те.

Пушкин слышал ответ Голицына; те-те-те его очень позабавило, и он тут же написал стихи:

Полюбуйтесь же вы, дети,
Как в сердечной простоте
Длинный Фирс играет в *эти,*
Те, те, те, и *те, те, те.*

Черноокая Россети
В самовластной красоте
Все сердца пленила *эти,*
Те, те, те, и *те, те, те.*

О, какие же здесь сети
Рок нам стелет в темноте:
Рифмы, деньги, дамы *эти,*
Те, те, те и *те, те, те.*

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ САЛТЫКОВ
(1777—1846)

Знатного рода, богач. По вторникам у него собиралось высшее общество на танцовальные вечера. Пушкин нередко бывал на этих вечерах. Дом Салтыкова был на Малой Морской — двухэтажный, с низенькими, уютными комнатами, вход был с тротуара прямо в нижний этаж, где в длинной прихожей между колонн пылал камин. Салтыков нигде не служил, не имел никакого придворного звания. Воспитывался он

вместе с наследником престола, будущим имп. Александром I, но за какую-то дерзость был удален из дворца. Держался независимо и позволял себе едко острить насчет властей, однако знакомством с высокопоставленными придворными очень дорожил. У него была замечательная библиотека, заключавшая в себе величайшие редкости, но он не позволял никому читать даже на переплетах заглавия его книг. Если называли при нем какую-нибудь книгу, он сам выносил ее и говорил:

— У меня все есть!

Каждый день ровно в четыре часа он выходил гулять, возвращался ровно в шесть. Маленького роста, широкоплечий, он шел, низко опустив голову, как будто искал чего-то на земле. С тростью в руках и с шляпой на голове, он входил так в столовую, как будто не видя собравшихся гостей, выпивал стаканчик водки, клал в рот крошечный кусочек хлеба, как будто был один-одинешенек в комнате, и проходил, сильно стуча испанскою тростью, через библиотеку в кабинет. Он называл это своим «инкогнито». Из кабинета хозяин выходил совсем другим человеком, приветствовал собравшихся, подавал гостю палец, знатным гостям отвешивал сухой поклон и говорил:

— Пойдемте к столу.

К изысканному, богатому столу его можно было иметь свободный доступ, но должно было являться во фраке, хотя сам хозяин всегда был в сюртуке. Прислуживало множество лакеев в ливреях. За столом Салтыков пресерьезно рассказывал истории, в которые сам не верил. Для собственного обихода он сочинил русскую историю, так что слушатель недоумевал, не имеет ли он дело с сумасшедшим. Любил пофрондировать. Вдруг обращался к жене:

— Я видел сегодня le grand bourgeois (так он называл императора Николая). Уверяю тебя, ma chère, он может выпороть тебя розгами, если захочет; повторяю: он может.

Граф ИВАН ИЛЛАРИОНОВИЧ ВОРОНЦОВ-ДАШКОВ
(1790—1854)

Член государственного совета, обер-церемониймейстер при дворе Николая I, богач. За всегдашнее веселое выражение лица его называли «вечным именинником». Балы, им задаваемые, уступали только придворным балам. В вечер торжества дом-дворец Воронцовых-Дашковых представлял великолепное зрелище: на каждой ступени роскошной лестницы стояло по два ливрейных лакея, внизу в белых кафтанах — ливрея Дашковых, на второй половине лестницы в красных кафтанах —

ливрея Воронцовых. К десяти часам все съезжались и размещались в двух первых залах. Когда приходила весть, что царь и царица выехали из дворца, мажордом Воронцова-Дашкова, итальянец Риччи, в черном бархатном фраке, коротких бархатных панталонах, чулках и башмаках, со шпагой на боку и треуголкой под локтем, проворно спускался с лестницы и становился в сопровождении двух дворецких у подъезда; граф помещался на первой ступени лестницы, графиня ожидала на первой площадке. Императрица, опираясь на локоть графа, поднималась па лестницу. Государь следовал за нею. Императрица благосклонно разговаривала с присутствующими и открывала бал, шествуя в полонезе с хозяином. Мажордом Риччи ни на секунду не покидал императрицы, всегда стоя за несколько шагов позади ее, а во время танцев держась в дверях танцовальной залы. Ужин императрице сервировался на отдельном небольшом столе на посуде из чистого золота; императрица ужинала одна; царь, по обыкновению, прохаживался между столами и садился, где ему было угодно.

Графиня АЛЕКСАНДРА КИРИЛЛОВНА ВОРОНЦОВА-ДАШКОВА (1817—1856)

Жена предыдущего, рожденная Нарышкина. «Повелительница мод» и первостатейная «светская львица». Современники рассказывают: никогда ни в какой женщине нельзя было встретить такого соединения самого тонкого вкуса, изящества, грации с такою неподдельною веселостью, живостью, почти мальчишеской проказливостью. Жизнь била в ней живым ключом и оживляла, скрашивала все, ее окружающее. Все в ней было — порыв и неожиданность. Захотелось ей помочь нуждающейся женщине; нужной суммы под рукой не оказалось; графиня оторвала от своего ожерелья ценный бриллиант и отдала женщине. Дочь императора, Мария Николаевна Лейхтенбергская, у которой Воронцова-Дашкова иногда участвовала в любительских спектаклях, однажды прислала ей переписанную роль без всякого письма, приглашающего принять участие в спектакле; Воронцова-Дашкова без письма же отослала роль обратно. Об ее остроумных и озорных выходках говорил весь город. Много позже, в Париже, когда Луи-Наполеон стал президентом французской республики и осторожно прокладывал себе дорогу к императорскому трону, Воронцова-Дашкова не жалела острот по его адресу. На балу в своем дворце Наполеон холодно спросил ее, долго ли она намерена еще оставаться в Париже. Воронцова-Дашкова в ответ спросила:

— А сами вы, г. президент, долго собираетесь оставаться здесь?

Лермонтов дает такой ее портрет:

Как мальчик кудрявый, резва,
Нарядна, как бабочка летом;
Значенья пустого слова
В устах ее полны приветом.
Ей нравиться долго нельзя,
Как цепь, ей несносна привычка;
Она ускользнет, как змея,
Порхнет и умчится, как птичка.
Таит молодое чело
По воле и радость и горе.
В глазах, как на небе, светло,
В душе ее темно, как в море.
То истиной дышит в ней все,
То все в ней притворно и ложно;
Понять невозможно ее,
За то не любить невозможно.

Воронцову-Дашкову нельзя было причислить к красавицам, но в ней было что-то особенно чарующее, производившее более сильное впечатление, чем самая правильная красота. Она была среднего роста, брюнетка, с выразительными темными глазами овально-продолговатой формы немного монгольского типа, как и весь склад лица. Талия была безукоризненна и движения грациозны.

Пушкин был знаком с Воронцовыми-Дашковыми, бывал на их балах. 27 января 1837 г. графиня, катаясь, встретила Пушкина, ехавшего на острова с Данзасом, потом — направлявшихся туда же Дантеса с д'Аршиаком. Она сразу почуяла недоброе и никогда не могла вспоминать об этих встречах без горести. Она думала, как бы предупредить несчастие, в котором не сомневалась после такой встречи, и не знала, как быть. К кому обратиться? Куда послать, чтобы остановить поединок? Приехав домой, она в отчаянии говорила, что с Пушкиным непременно произошло несчастие, и предчувствие ее не обмануло.

Вся неожиданность, и кончила она неожиданно. В 1852 г. умер ее муж. Через год Воронцова-Дашкова, ко всеобщему изумлению, вышла в Париже замуж за француза-доктора барона де-Поальи. Новый муж страшно ее тиранил, отобрал деньги и бриллианты. Умерла она в нищете в одной из парижских больниц.

ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА ФРОЛОВА-БАГРЕЕВА
(1799—1857)

Единственная дочь знаменитого государственного деятеля александровского времени М. М. Сперанского. Мать ее, англичанка, умерла через полтора месяца после ее рождения, и девочка осталась на попечении

отца. Отец с ранних лет был ее воспитателем и учителем. Девочка была талантливая, но слабого здоровья. В 1822 г. она вышла замуж за черниговского губернатора А. А. Фролова-Багреева. Через два года он перевелся в Петербург членом совета министра финансов. Супруги поселились вместе со Сперанским. В доме Сперанского собиралось все лучшее общество Петербурга. Фролова-Багреева стала центром отцовского салона и пленяла гостей живым умом и образованностью. В ее салоне бывали Карамзин, кн. П. А. Вяземский, А. И. Тургенев, Мицкевич, Брюллов, многие из будущих декабристов, чего император Николай никогда не мог ей простить. Бывал и Пушкин. Летом 1830 г. он писал из Петербурга невесте: «Вчера m-me Багреева, дочь Сперанского, присылала за мной, чтобы вымыть мне голову, за то, что я не исполнил формальностей, — но, в самом деле, у меня не хватает сил».

В браке Фролова-Багреева не была счастлива. Муж ее был неинтересный, пустой человек, очень эгоистический. После смерти отца в 1839 г. она уехала за границу, много путешествовала, потом жила в своем полтавском имении, с 1850 г. поселилась в Вене, где и умерла. Фролова-Багреева была не лишенная таланта писательница. На русском языке ею написано только «Чтение для малолетних детей» (1828). В Европе она как писательница получила известность своими французскими романами из русской жизни («Русские паломники в Иерусалиме», «Старовер и его дочь», «Тунгузское семейство», «Невские острова в Петербурге» и др.). Проспер Мериме, удивляясь ее прекрасному французскому языку, писал, что рассказы Фроловой-Багреевой о России увеличивают его желание побывать в этой стране.

Графиня МАРЬЯ ГРИГОРЬЕВНА РАЗУМОВСКАЯ
(1772—1865)

Рожденная княжна Вяземская. В первом браке состояла за князем Александром Николаевичем Голицыным. Он был камергер, сказочный богач владел двадцатью четырьмя тысячами душ. Прозвание ему было, по имени модной тогда оперы, — «Cosa rara» — редкая штука. Действительно, редкая по безумной расточительности. Голицын ежедневно отпускал своим кучерам шампанское, крупными ассигнациями зажигал трубки гостям, горстями бросал на улицу извозчикам золото, чтобы они толклись у его подъезда. Не читая, подписывал заемные письма, в которых сумма была проставлена цифрами, так что потом легко было приписать лишний нуль, а то и два-три. На одном из пиров, дававшихся им в Москве, преподнес даме, за которой ухаживал, шестьсот тысяч

рублей полуимпериалами. По обоюдному соглашению они с женою развелись в 1802 г., и она вышла замуж за богача графа Льва Кирилловича Разумовского, отставного генерал-майора. Голицын продолжал вести дружбу с Разумовским, часто обедал у бывшей своей жены и нередко даже показывался с нею в театре. В свете Разумовской чуждались как разведенной жены и избегали называть графиней, пока на одном балу в Москве Александр I не подошел к ней и не пригласил на полонез, громко назвав графиней. С той минуты она вступила во все права и законной жены, и графского достоинства. В 1818 г. муж ее умер. Она сильно о нем горевала, надолго уехала за границу. В 1835 г. воротилась в Россию и привезла с собою триста платьев. Ей было уже шестьдесят три года, но она любила наряжаться. Нужно, впрочем, заметить, что была она не по летам моложава. «Знавшие ее с молодых лет, — рассказывает кн. П. А. Вяземский, — говорили, что она хорошела с годами, т. е., разумеется, до известного возраста. В летах полной зрелости, и даже в летах глубокой старости, она могла дать о себе понять, что была некогда писаной красавицей, чего, говорят, никогда не было». Дом ее в Петербурге сделался одним из наиболее посещаемых. Обеды, вечеринки, балы, рауты зимою в городе, летом на даче следовали непрерывно друг за другом. Их посещали сам император Николай с женой; вел. князь Михаил Павлович сыпал у нее своими каламбурами. Светские развлечения, веселия и вечно суетное движение графиня Разумовская любила, по словам Вяземского, «с жадностью, доходившей до слабодушия». В делании визитов она была неутомима. Рассказывали, что у нее была соперница по этой части, и когда кучера той и другой съезжались где-нибудь, то высчитывали и хвастались друг перед другом, сколько они со своими барынями сделали за утро визитов. Пушкин нередко бывал на балах гр. Разумовской.

Графиня АННА ВЛАДИМИРОВНА БОБРИНСКАЯ
(1769—1846)

Рожденная баронесса Унгерн-Штернберг. Вдова первого графа Бобринского (побочного сына Екатерины II от гр. Григория Орлова). Из-за отзыва Пушкина о графине Бобринской в 1827 г. чуть было не состоялась дуэль между Пушкиным и Соломирским. По свидетельству современников, Бобринская отличалась «веселым характером, добротою в намерениях и простотою в обычаях». Праздники ее были не только блистательны, но и носили отпечаток вкуса и художественности. Ее ценили и уважали при дворе; не имея никакого придворного звания, она

и в интимном придворном кругу, и на придворных торжествах «шла в уровень с статс-дамами». Бобринская очень тепло относилась к Пушкину и не раз выводила его из беды, когда он делал промахи против придворного этикета. Так, например, 18 декабря 1834 г. Пушкин писал в дневнике: «Придворный лакей явился ко мне с приглашением быть в Аничковом дворце. В девять часов мы с женой приехали. На лестнице встретил я старую графиню Бобринскую, которая всегда за меня лжет и вывозит меня из хлопот. Она заметила, что у меня треугольная шляпа с плюмажем (не по форме: в Аничков ездят с круглыми шляпами)... Граф Бобринский (сын ее) велел принести мне круглую. Мне дали одну, такую засаленную помадой, что перчатки у меня промокли и пожелтели».

Княгиня ВАРВАРА ПЕТРОВНА ди-БУТЕРА
(1796—1870)

Рожденная княжна Шаховская. Как одна из наследниц (по матери) строгановских богатств обладала чудовищным состоянием: собственных своих у нее было шестьдесят пять тысяч десятин да в общем владении с другими наследниками — более миллиона десятин. В первом браке она была за графом А. П. Шуваловым. В 1823 г. овдовела, жила несколько лет в Швейцарии. Д. Н. Свербеев, встречавший ее в это время, пишет: «Милая эта женщина, чрезвычайно робкая и застенчивая, вменяла себе в общественную обязанность быть для всех гостеприимной, хотя видимо тяготилась приемами у себя два раза в неделю, на обед и на вечер, всего русского общества, а иногда и французов». В Швейцарии она вышла замуж за швейцарского уроженца Адольфа Полье, получившего от французского короля графский титул и затем поступившего на русскую службу. В России он был камергером, потом церемониймейстером. Умер весною 1830 г. Графиня поселилась под Петербургом, в своей роскошной усадьбе в Парголове, где умер ее муж, и каждый день ходила плакать на его могилу. Летом 1830 г. Пушкин писал невесте: «...графиня Полье почти сумасшедшая; она спит до шести часов вечера и никого не принимает». Как всякая так называемая «неутешная вдова», графиня в неутешности своей видела дело жизни и великую заслугу, гордилась ею и жила ею. Мужа она похоронила на своей усадьбе, в изящном гроте, высеченном в горе. Гора называлась Адольфовой, к ней вела Адольфова аллея. В гроте лежали две большие яшмовые плиты: под одною покоился муж, другая была назначена для жены. Снаружи и внутри грот был убран тропическими растениями, каждый день вдова осыпала могилу богатейшими цветами. Ходила по гроту, припадала к

плите, рыдала, слезы свои собирала в батистовый платок и, уходя, клала его меж роз на плиту мужа. Деревенские ребята приносили ей кучи светящихся червячков, она им платила по пятиалтынному за штуку; когда темнело, разбрасывала червячков по гроту, они расползались по пальмам, лилиям и розам, графиня любовалась иллюминацией, обливалась горючими слезами и разговаривала со своим Адольфом. Когда она утром уходила, ребята собирали червячков и вечером опять продавали ей. Рассказывали анекдот, что какие-то шалопаи-студенты подглядели ночные сетования вдовы и устроили такую штуку: один из них заблаговременно спрятался в склеп. В то время, как она рыдала и упрекала мужа, что он покинул ее одну на белом свете, вдруг из недр земли раздался глухой голос:

— Я здесь, я жду тебя, приди ко мне!

Графиня, сломя голову, бросилась из грота и с тех пор в него ни ногой.

В 1836 г. графиня Полье в третий раз, сорока лет, вышла замуж за неаполитанского посланника в Петербурге, князя ди-Бутера. Вечера, задававшиеся ею в Петербурге, отличались сказочною роскошью. На них бывали Пушкин с женою и Дантес. Один наблюдатель так описывает дворец княгини: «На лестнице рядами стояли лакеи в богатых ливреях. Редчайшие цветы наполняли воздух нежным благоуханием. Роскошь необыкновенная! Поднявшись наверх, мы очутились в великолепном саду, — перед нами анфилада салонов, утопающих в цветах и зелени. В обширных апартаментах раздавались упоительные звуки музыки невидимого оркестра. Совершенно волшебный очаровательный замок. Большая зала с ее беломраморными стенами, украшенными золотом, представлялась храмом огня, — она пылала». Современники описывают княгиню Бутера как милую и добрую женщину, гостеприимную и радушную, не чуждую благотворительности.

Княгиня НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА ГОЛИЦЫНА
(1741—1837)

Рожденная графиня Чернышева. Живой обломок восемнадцатого века. Когда-то долго жила в Париже при Людовиках XV и XVI, к ней очень благоволила королева Мария-Антуанетта. В 1766 г. вышла замуж за кн. В. Б. Голицына, бригадира в отставке, простоватого человека, с большим, но расстроенным состоянием, умершего в 1789 г. Голицына была женщина умная и энергичная, привела в порядок дела, очистила имения от долгов и, умирая. оставила с лишком шестнадцать тысяч душ.

Имения, собственно, принадлежали ее детям, но она самовластно распоряжалась ими до самой смерти. Сын ее, московский генерал-губернатор кн. Д. В. Голицын, не допускался ею до владения и получал от нее ежегодно небольшую сравнительно сумму в 50 000 руб. Своенравная и властная, она всех зависящих от нее держала в строгом подчинении, к седым уже детям своим относилась, как к ребятам, и вся семья трепетала перед нею. Была глубоко стара (умерла в год смерти Пушкина девяноста шести лет), лицом страшна, с большими усами и бородой, почему прозвание ей было: la princesse Moustache (усатая княгиня). Была статс-дама, кавалерственная дама ордена Екатерины первой степени. Жила в собственном доме на углу Большой Морской и Гороховой. Голицына занимала совершенно исключительное положение в высшем свете. К ней в известные дни ездил на поклонение весь город, а в день именин посещала вся царская фамилия. Княгиня принимала всех, за исключением императора, сидя и не трогаясь с места. Возле ее кресла стоял кто-нибудь из близких родственников и называл гостей, так как сама она уже плохо видела. Смотря по чину или знатности гостя, княгиня или наклоняла только голову, или произносила несколько более или менее приветливых слов. К ней везли на поклон каждую молодую девушку, начинавшую выезжать; гвардейские офицеры, только что надевшие эполеты, являлись к ней, как к начальству.

Один из внуков ее, вероятно, кн. С. Г. Голицын-Фирс, рассказывал Пушкину, что однажды он проигрался и пришел к бабке просить денег. Денег она не дала, а назвала три карты, названные ей когда-то в Париже знаменитым шарлатаном и авантюристом графом Сен-Жерменом. — «Попробуй!» — сказала бабушка. Внук поставил карты и отыгрался. Это дало Пушкину сюжет для «Пиковой дамы». По словам Нащокина, дальнейшее развитие повести все вымышлено. Нащокин заметил Пушкину, что графиня не похожа на Голицыну, что в ней больше сходства с Нат. Кир. Загряжской. Пушкин с этим согласился и ответил, что ему легче было изобразить Голицыну, чем Загряжскую, у которой характер и привычки были сложнее.

Графиня НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА КОЧУБЕЙ
(1801—1855)

Дочь графа, впоследствии князя В. П. Кочубея, одного из ближайших сотрудников Александра I, председателя государственного совета и комитета министров при Николае. Во время пребывания Пушкина в лицее семья Кочубеев жила в Царском селе, Наталья Викто-

ровна посещала лицей. По некоторым свидетельствам, она была первою любовью Пушкина. В 1818 г. вышла за гр. Строганова. Знаем мы о ней очень мало. Пушкин не раз встречался с нею в свете. Утверждают, что в восьмой главе «Онегина» в великосветской Татьяне Пушкин изобразил ее:

Она была не тороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Никто б не мог ее прекрасной
Назвать; но с головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar...

Один исследователь без большой убедительности доказывает, что именно графиня Кочубей была предметом «утаенной любви» Пушкина. Под новый 1837 г., на вечере у Вяземских, когда на глазах Пушкина Дантес, уже женившийся на Ек. Гончаровой, открыто ухаживал за женою Пушкина, Наталья Викторовна говорила княгине Вяземской:

— У Пушкина такой страшный вид, что, будь я его женой, я не решилась бы вернуться с ним домой.

С. М. Соловьев, встречавшийся с графиней Н. В. Строгановой в сороковых годах, рассказывает: «С умом и образованием поверхностным, огромными претензиями на то и другое, с полным отсутствием сердца, эгоизм воплощенный, неразборчивость средств, способность унижаться до самых неприличных искательств, когда считалось нужным, и в то же время гордость, властолюбие непомерное, — вот графиня Нат. Викт. Строганова. В Петербурге она занимала блистательное положение; умевшая владеть разговором, очень недурная собою, особенно вечером, с огромными связями, как дочь Кочубея, она держала блистательную министерскую гостиную». Когда муж ее потерял министерский пост, они уехали за границу. В Париже Наталья Викторовна сошлась с известною в свое время г-жою Свечиной, ярою католичкою. «Строганову,— продолжает Соловьев, — женщину без убеждений, без сердца, прельстила внешняя, чувственная, театральная набожность католическая; прельстила ее эта новая открывшаяся ей деятельность, это католическое милосердие, так тесно переплетенное с интригою, с составлением обществ, лотереями, со всеми этими мирскими забавами, подкрашенными христианством. Графиня окунулась с головою в католицизм. Она не

скрывала своих мнений при русских. вследствие чего сейчас же распространился слух, что она приняла католицизм».

Граф АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ СТРОГАНОВ
(1795—1891)

Муж предыдущей, сын гр. Григ. Ал. Строганова. В молодости артиллерист, участвовал в наполеоновских войнах. В 1834 г. назначен товарищем министра внутренних дел, в 1836—1838 гг. был генерал-губернатором черниговским, полтавским и харьковским, с 1839 по 1841 г. управлял министерством внутренних дел. С. М. Соловьев рассказывает: «Александр Григорьевич Строганов служил страшным примером, какие люди в России в царствование Николая I могли достигать высших ступеней служебной лестницы. Имея ум чрезвычайно поверхностный, Строганов мечтал, что обладает способностями государственного человека, и не знал границ своей умственной дерзости; с важностью высказывал какую-нибудь нелепую мысль и упорно поддерживал ее другими нелепостями... Император Николай понял, наконец, что избранный им министр внутренних дел не годится даже в ротные командиры и отставил его». Это, однако, не помешало Строганову впоследствии, при Александре II, занять пост новороссийского и бессарабского генерал-губернатора. Отличался исключительным высокомерием и барскою спесивостью.

Графиня АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА КОССАКОВСКАЯ
(1811—1886)

Жена церемониймейстера гр. Стан. Ос. Коссаковского, дочь графа И. С. Лаваля, сестра Ек. Ив. Трубецкой, жены декабриста. Пушкин не любил, когда в свете на него смотрели как на «сочинителя», и не выносил равнодушно-любезной дамской болтовни об его стихах. Однажды, в декабре 1835 г., графиня Коссаковская заговорила с ним об его произведениях. Пушкин отвечал сухо. Тогда она насмешливо сказала:

— Знаете ли, что ваш «Годунов» может показаться интересным в России?

Пушкин ответил:

— Сударыня, — так же, как вы можете сойти за хорошенькую женщину в доме вашей матушки.

С тех пор графиня не могла равнодушно видеть Пушкина.

Князь НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ РЕПНИН
(1778—1845)

Рожденный кн. Волконский, брат декабриста кн. Сергея Григорьевича, внук по матери фельдмаршала кн. Н. В. Репнина. Так как у фельдмаршала были только дочери, то Александр I приказал старшему из сыновей княгини Волконской-Репниной принять фамилию деда, «чтоб не погиб знатный род». Был посланником при вестфальском дворе, с 1816 по 1835 г. — военным губернатором Малороссии.

В 1836 г. Репнин жил в Петербурге. Пушкин опубликовал свою сатиру «На выздоровление Лукулла», где жестоко высмеял министра народного просвещения С. С. Уварова. Сатира вызвала в высших кругах сильнейшее негодование и доставила Пушкину немало хлопот и неприятностей. Между прочим, до Пушкина дошли слухи, что о стихотворении его очень неблагосклонно отозвался князь Репнин. Пушкин написал ему по-французски такое письмо:

«Князь! С сожалением вижу себя вынужденным докучать вашему превосходительству; но, как дворянин и отец семейства, я обязан оберегать свою честь и имя, которое должен оставить моим детям. Я не имею чести лично быть с вами знакомым. Не только никогда я вас не оскорблял, но, по причинам мне известным, я питал к вам до сего времени истинное чувство уважения и благодарности. Тем не менее некий г-н Боголюбов публично повторял оскорбительные для меня слова, якобы исходящие от вас. Я прошу ваше превосходительство не отказать осведомить меня, что мне об этом думать[1]. Больше, чем кто-нибудь, я знаю расстояние, отделяющее меня от вас; но вы, который не только вельможа, но еще и представитель нашего древнего и истинного дворянства, к которому принадлежу и я, — вы, надеюсь, без труда поймете повелительную необходимость, которая вынуждает меня к этому шагу».

Кн. Репнин ответил Пушкину по-русски странным письмом, из которого выходило, будто он никаких отзывов о «Послании к Лукуллу» не делал. Но в таком случае откуда же он догадался, какие именно слухи имел в виду Пушкин, почему заговорил именно о «Послании»? Вот его письмо:

«Милостивый государь Александр Сергеевич! Г-на Боголюбова я единственно вижу у С. С. Уварова и с ним никаких сношений не имею и никогда ничего на ваш счет в присутствии его не говорил, а тем паче

---

[1] В черновиках: ничтожный человек по имени Боголюбов недавно повторял в кофейнях замечания, позорящие меня... Я прошу, князь, взять обратно замечания Боголюбова, или я знаю, как мне поступить...

прочтя послание Лукуллу, вам же искренно скажу, что гениальный талант ваш принесет пользу отечеству и вам славу, воспевая веру и верность русскую, а не оскорблением частных людей. Простите мне сию правду русскую, она послужит вернейшим доказательством тех чувств отличного почтения, с коим имею честь быть вашим покорнейшим слугой».

Пушкин ответил Репнину по-русски не менее странным письмом, в котором определенно звучит нотка как бы покаяния:

«Милостивый государь, князь Николай Григорьевич! Приношу вашему сиятельству искреннюю, глубочайшую мою благодарность за письмо, коего изволили меня удостоить. Не могу не сознаться, что мнение вашего сиятельства касательно сочинений, оскорбительных для чести частного лица, совершенно справедливо. Трудно их извинить, даже когда они написаны в минуту огорчения и слепой досады; как забава суетного или развращенного ума, они были бы непростительны».

ВАРФОЛОМЕЙ ФИЛИППОВИЧ БОГОЛЮБОВ
(1786—1842)

Греч о нем говорит: «Боголюбов представляет любопытное зрелище человека всеми презираемого, всем известного своими гнусными делами и везде находящего вход, прием и наружное уважение». Сын эконома Смольного института, проворовавшегося и при ревизии кончившего самоубийством. В оставшихся детях приняла участие императрица Мария Федоровна, десятилетнего Варфоломея она устроила на воспитание к кн. А. Б. Куракину. В его семье мальчик получил хорошее образование и светское воспитание. Служил по дипломатической части в Неаполе, в Вене, потом проживал в Петербурге, числясь по министерству иностранных дел. Был он сплетник и мелкий мошенник, воровавший у знакомых деньги из плохо лежавших бумажников. Служил шпионом в Третьем отделении, но был оттуда прогнан за перлюстрированное московским почт-директором А. Я. Булгаковым письмо, где называл Бенкендорфа жалким олухом. Тот же Булгаков отзывался о Боголюбове: «Этот малый сущий демон, — везде поспеет и всем умеет услужить». Был он ловкий, подвижный, льстиво юлящий, с отталкивающей, сатанинской физиономией, носил две звезды и был известен как креатура министра народного просвещения С. С. Уварова. С Уваровым у него были какие-то секретные связи, которых сам Уваров стыдился. Однажды, в компании Пушкина, Нащокина, Куликова и др., Боголюбов рассказал какой-то до того скверненький анекдотец о петербургском мальчике,

что вызвал всеобщее омерзение. Можно думать, что связи его с Уваровым, любителем однополой любви, коренились именно в этой области. Боголюбов был знаком с Пушкиным, Вяземским, А. Тургеневым. Для Пушкина он в 1833 г. где-то добывал деньги. В 1836 г., в связи с появлением сатиры Пушкина на Уварова («На выздоровление Лукулла»), распространял позорящие Пушкина слухи, о которых Пушкин упоминает в письме к кн. Н. Г. Репнину.

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МУХАНОВ
(1802—1871)

Брат московского Муханова, Александра Алексеевича. С 1823 по 1830 г. служил адъютантом при петербургском генерал-губернаторе гр. П. В. Голенищеве-Кутузове. В 1827 г. Пушкин, приехав в Петербург, привез Муханову письмо от его брата Александра, где тот очень рекомендовал ему сблизиться с Пушкиным. Через два месяца Муханов писал брату в Москву: «Пушкина я вовсе не вижу, встречаю его иногда в клубе, он здесь в кругу шумном и веселом молодежи, в котором я не бываю; впрочем, мы сошлись с ним хорошо, не часто видимся, но видимся дружески, без церемоний». В 1830 г. Муханов перевелся из военной службы в штатскую, служил чиновником особых поручений в министерстве внутренних дел, боролся с холерою под начальством Закревского. В дневнике Муханова за лето 1832 г. встречается ряд упоминаний о Пушкине. «25 июня. Встал поздно. Пришел Пушкин, долго просидел у меня. Добрый малый, но часто весьма». Рассказывает в дневнике о спорах Пушкина с Вяземским, о затевавшейся в то время Пушкиным газете.

Впоследствии Муханов был товарищем министра народного просвещения (1858—1861), товарищем министра иностранных дел (с 1861 г.), умер действительным тайным советником и членом государственного совета. В общем владении с братом Владимиром имел в Харьковской губернии двадцать три тысячи десятин земли.

ИВАН СЕМЕНОВИЧ ТИМИРЯЗЕВ
(1790—1867)

Дядя известного ботаника-дарвиниста К. А. Тимирязева. Служил в конно-гвардейском и гродненском гусарских полках, был адъютантом вел. кн. Константина Павловича в Польше. За участие в штурме Вар-

шавы произведен в генералы, переведен на службу в Петербург. Жена его — Софья Федоровна, рожденная Вадковская, по первому мужу Безобразова (родилась в 1799 г.). В Петербурге Тимирязевы дружили с кн. Вяземским, Жуковским, Пушкиным. Пушкин в то время был уже женат, камер-юнкер и много ездил в большой свет и ко двору, сопровождая свою красавицу-жену. Этот образ жизни часто был ему в тягость, и он жаловался Тимирязевым, что это не только не согласуется с его наклонностями и призванием, но ему и не по карману. Часто забегал он к Тимирязевым, оставался, когда мог, обедать и, как школьник, радовался, что может провести несколько часов в кружке искренних друзей. Тогда он превращался в прежнего Пушкина; лились шутки и остроты, раздавался его заразительный смех. Однажды после обеда, когда перешли в кабинет, и Пушкин, закурив сигару, погрузился в кресло у камина, Софья Федоровна начала ходить взад и вперед по комнате. Пушкин долго следил за ее стройною и очень высокою фигурою и наконец воскликнул:

— Ах, Софья Федоровна, как посмотрю я на вас и на ваш рост, так мне все и кажется, что судьба меня, как лавочник, обмерила!

Как-то зашел он к Тимирязевым и не застал их дома. Слуга сказал ему, что они ушли гулять и скоро воротятся. В зале у Тимирязевых был большой камин, а на столе лежали орехи. Перед возвращением Тимирязевых Пушкин взял орехов, залез в камин и, скорчившись обезьяною, стал их щелкать. Он любил такие проказы.

ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ ТИТОВ
(1807—1891)

Из старинной дворянской помещичьей семьи. Мать его была сестра будущего министра юстиции Д. В. Дашкова. Образование получил в московском университетском Благородном пансионе, учился там вместе с Одоевским и Шевыревым. Уже юношею Титов изумлял всех необыкновенною любознательностью, начитанностью и многознанием; помимо обязательных лекций по филологическим, философским и юридическим наукам он слушал лекции также по медицине и естествознанию. Окончил курс с внесением его имени на золотую доску и поступил на службу в московский архив министерства иностранных дел, где служил цвет московской интеллигентной молодежи (пушкинские «архивные юноши»). Был членом литературного кружка Раича, близко стоял также к кружку «любомудров», возглавлявшемуся кн. Одоевским и Веневитиновым, принимал деятельное участие в «Московском вестнике», органе «любо-

мудров», пропагандировавшем философию Шеллинга. Литературным талантом Титов не обладал, статейки, которые он помещал в журнале, были больше переводные или компилятивные, оригинальные же, внешне приглаженные, были туманны и бедны содержанием. Однако многознанием своим Титов попрежнему пленял всех знакомых и с одинаковой компетентностью говорил об истории, об эллинской литературе, о Шеллинге, Руссо, о русских обрядах, о Несторе-летописце. Тютчев впоследствии отзывался о Титове, что ему как будто назначено провидением составить опись всего мира. С Пушкиным Титов познакомился в Москве вскоре после приезда Пушкина из деревенской ссылки, встречался с ним, между прочим, на вечерах кн. З. А. Волконской. В 1827 г. Титов перевелся в Азиатский департамент министерства иностранных дел и поселился в Петербурге у дяди своего Д. В. Дашкова. Летом 1827 г. он писал Погодину: «Без сомнения, величайшая услуга, какую бы мог я оказать вам, это — держать Пушкина на узде, да не имею к тому способов. Дома он бывает только в девять часов утра, а я в это время иду на службу царскую; в гостях бывает только в клубе, куда входить не имею права, к тому же, с ним надо няньчиться, до чего я не охотник и не мастер».

Однажды вечером, у Карамзиных, Пушкин был в ударе и всех захватил фантастическим рассказом об уединенном домике на Васильевском острове. Рассказ этот, за подписью Тита Космократова (псевдоним Титова), был вскоре напечатан в «Северных цветах» Дельвига. Вот как об этом рассказывает Титов: «Всю эту чертовщину уединенного домика Пушкин мастерски рассказал поздно вечером у Карамзиных, к тайному трепету всех дам. Апокалипсическое число 666, игроки-черти, метавшие на карту сотнями душ, с рогами, зачесанными под высокие парики, — честь всех этих вымыслов и главной нити рассказа принадлежит Пушкину. Сидевший в той же комнате Космократов подслушал, воротясь домой, не мог заснуть почти всю ночь и несколько времени спустя положил с памяти на бумагу. Не желая, однако, быть ослушником заповеди «не укради», пошел с тетрадью к Пушкину в гостиницу Демут, убедил его послушать от начала до конца, воспользовался многими, поныне очень памятными его поправками и потом, по настоятельному желанию Дельвига, отдал в «Северные цветы».

В набросках к повести «Египетские ночи» Пушкин изобразил Титова под именем Вершнева. Говорят об Аврелии Викторе.

«— Aurelius Victor? — прервал Вершнев, один из тех юношей, которые воспитывались в московском университете, служат в московском архиве и толкуют о Гегеле. — Аврелий Виктор — писатель четвертого столетия... Сочинения его приписываются Корнелию Непоту и даже Сво-

тонию. Он написал книгу: «de viris illustribus» — о знаменитых мужах города Рима. Знаю!»

«Эти люди, — замечает Пушкин, — одарены убийственною памятью, всё знают и всё читали, и стоит их только тронуть пальцем, чтобы из них полилась их всемирная ученость».

Впоследствии Титов был российским посланником в Турции, членом государственного совета и кавалером ордена Андрея Первозванного.

ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ ВАЛУЕВ
(1814—1890)

В мае 1836 г., будучи чиновником в Первом отделении собств. его вел. канцелярии и камер-юнкером, женился на дочери Вяземского Марии Петровне. Император Николай называл его «примерным молодым человеком». Был он изящной наружности, умел хорошо говорить. А. О. Смирнова сообщает: «Он уже тогда имел церемонийместерские приемы, жил игрой, потому что ни жена, ни он не имели состояния». Другой современник по поводу Валуева пишет: «Когда недостает материальных средств, чтобы поддержать свое положение в свете, содержать дом прилично и делать непомерные траты на постоянно свежие туалеты для жены, мужья ищут часто пополнения в картежной игре. Таким образом муж бывает всякий день до обеда на службе, а вечером до утра за картами». Дальнейшая карьера Валуева была блестящая: в шестидесятых годах он был министром внутренних дел, в семидесятых — министром государственных имуществ и председателем комитета министров; в 1880 г. возведен в графское достоинство. В государственной своей деятельности он проявил себя беспринципным оппортунистом-бюрократом, либеральным фразером и реакционером на деле — «мягко стелет, жестко спать». Б. Н. Чичерин называет его «пустозвоном» и применяет к нему двустишие Барбье: «Эти напыщенные торговцы пафосом, все эти канатоходцы, пляшущие на фразе».

МАРИЯ ПЕТРОВНА ВАЛУЕВА
(1813—1849)

Жена предыдущего, рожденная княжна Вяземская, дочь писателя. Была свежа, стройна, голубоглаза, вообще очень миловидна, хотя курноса. В свете ее называли «хорошенькой дурнушкой». Занималась только нарядами и болтовней. Пушкин бывал у Валуевых.

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ ПОЛТОРАЦКИЙ
(1803—1884)

Из богатой помещичьей семьи. Служил на военной службе. В 1827 г. вышел в отставку. Был страстным карточным игроком. В апреле 1827 г. Федор Толстой-Американец и Исленев обыграли его в Москве на семьсот тысяч. Полторацкий был взят в опеку. Это, однако, не помешало ему продолжать играть. 15 июля 1827 г. Пушкин, посылая из Петербурга Соболевскому какие-то деньги, писал: «...деньги эти—трудовые, в поте лица моего выпонтированные у нашего друга Полторацкого». Много играл Пушкин с Полторацким и летом 1828 г. «Пока Киселев и Полторацкий были здесь, — писал он Вяземскому, — я продолжал образ жизни, воспетый мною таким образом:

А в ненастные дни собирались они часто.
Гнули, ... их ..., от пятидесяти на сто.
И выигрывали, и отписывали мелом.
Так в ненастные дни занимались они делом.

Но теперь мы все разбрелись». Однажды, играя с Пушкиным, Полторацкий предложил ему поставить против его тысячи рублей письма Рылеева к Пушкину. В первую минуту Пушкин было согласился, но тотчас же опомнился и воскликнул:

— Какая гадость! Проиграть письма Рылеева в банк! Я подарю их вам!

Но Пушкин все откладывал исполнение своего обещания, так что Полторацкий решился как-то перехватить их у него и списал. После этого Пушкин все еще не отступался от намерения подарить их ему, но все забывал.

Полторацкий был большим любителем книги, владел превосходной библиотекой, приобретенной в 1865 г. Румянцевским музеем, много писал по библиографическим вопросам.

МИХАИЛ ОСИПОВИЧ СУДИЕНКО
(1802—1874)

Побочный сын тайного советника О. С. Судиенки, служил в лейб-кирасирском полку, был адъютантом у шефа жандармов Бенкендорфа. Образованный Судиенко выделялся в кругу светских приятелей Пушкина. Судя по письмам к нему Пушкина, общение их происходило главным образом на почве карточной игры и совместного посещения веселого заведения известной Софьи Остафьевны. В 1829 г. Судиенко вышел

в отставку штаб-ротмистром, женился и поселился в Москве. В 1832 г. Пушкин обращался к нему с просьбою ссудить ему на два года двадцать пять тысяч рублей. Судиенко, повидимому, ответил отказом. В 1833 г. Пушкин писал жене из Москвы: «Обедал у Судиенки, моего приятеля, товарища холостой жизни моей. Теперь и он женат, и он сделал двух ребят, и он перестал играть, — но у него 125 000 доходу, а у нас, мой ангел, это впереди. Жена его тихая, скромная, не красавица. Мы отобедали втроем, и я, без церемоний, предложил здоровье моей именинницы (Натальи Николаевны), и выпили мы все, не морщась, по бокалу шампанского».

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ ЯКОВЛЕВ
(1804—1882)

Потомок откупщика, железного заводчика и полотняного фабриканта, обладал миллионным состоянием, имел около 14 тыс. десятин земли, горные и железоделательные заводы в Перми, три каменных дома в Петербурге. Жил на широкую ногу и вел большую игру. Пушкин общался с ним на почве кутежей и картежной игры. В 1829 г. Пушкин задолжал Яковлеву шесть тысяч рублей, — вероятнее всего, проиграл в карты. В конце этого года, перед отъездом Яковлева в Париж, Пушкин извинялся перед ним, что не смог еще заплатить долга. В письме Яковлева к Н. А. Муханову из Парижа в декабре 1829 г. есть загадочные строки, касающиеся Пушкина: «Благодарю за несколько слов о Пушкине... Он чуть ли не должен получить отсюда небольшого приглашения анонимного. Дойдет ли до него? А не худо было бы ему потрудиться пожаловать, куда зовут. Помнит ли он прошедшее? Кто занял два опустевшие места на некотором большом диване в некотором переулке? Кто держит известные его предложения и внимает погребальному звуку, производимому его засученною рукою по ломберному столу?» Яковлев воротился из Парижа в 1836 г. Пушкину опять пришлось извиняться в неуплате его долга. Свои шесть тысяч Яковлев получил уже после смерти Пушкина от опеки.

ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ СЕМЕНОВ
(1801—1863)

Писатель и цензор. Окончил царскосельский лицей на три года позже Пушкина, находился с ним в приятельских отношениях и был на «ты». В 1827 г. поступил на службу в цензурный комитет, цензором

был довольно либеральным и много раз подвергался за это взысканиям. Он, между прочим, пропустил в «Литературной газете» французское четверостишие Делавиня, посвященное жертвам июльской революции, что повлекло за собою закрытие газеты. Весною 1836 г. Семенов вынужден был уйти из цензоров. Петербургские литераторы, очень его любившие, дали ему по этому случаю обед, на котором, вероятно, присутствовал и Пушкин. Мы знаем, что он присутствовал на ответном обеде, данном Семеновым осенью 1836 г. петербургским писателям, был очень весел, много острил и смеялся.

Впоследствии Семенов был орловским вице-губернатором и попечителем кавказского учебного округа.

Князь ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЭРИСТОВ
(1797—1858)

Родом грузин. Учился в полоцкой иезуитской коллегии, потом в царскосельском лицее, курсом моложе Пушкина. Служил в комиссии составления законов, потом во Втором отделении собств. его велич. канцелярии. Был большой повеса, забавник и балагур. Часто бывал на собраниях у Дельвига. Умел делать фокусы, был чревовещателем, великолепно передразнивал голосом и мимикой всех и все, начиная с знаменитых актеров и кончая вороной, скачущей около кучи выкинутого сора. Был неистощим в выдумках и состязался в этом отношении с своим приятелем М. Л. Яковлевым. Сочинял игривые куплеты. Какие-то из этих его куплетов Дельвиг переслал Пушкину, когда тот был еще в деревенской ссылке. Пушкин прислал Дельвигу несколько своих куплетов («Брови царь нахмуря») и писал: «Вот тебе, душа моя, приращение к куплетам Эристова. Поцелуй его от меня в лоб. Я помню его отроком, вырвавшимся из-под полоцких иезуитов. Благословляю его во имя Феба и св. Боболия безносого» (Андрей Боболя — монах-иезуит, замученный казаками в семнадцатом столетии). Рассказывают анекдот. На одном дружеском вечере Эристов потешал всех своими остротами и пикантными анекдотами. Вдруг Пушкин спросил его:

— Скажи, пожалуйста, в каком ты чине?

— Статский советник.

— Ну, желаю, чтоб ты стал поскорее *действительным* статским советником.

Анекдот явно вымышлен. Пушкин сам любил подобные анекдоты и отнюдь не был в этом отношении «действительным» статским советником.

Эристов много писал — преимущественно... о монастырских скитах, о различных святых. В сотрудничестве с М. Л. Яковлевым издал анонимно в 1836 г. «Словарь о святых, прославленных в российской церкви». Словарь был удостоен Академией наук демидовской премии, Пушкин дал о нем приятельски-дружественный отзыв в своем «Современнике». Один из сотрудников Эристова по составлению словаря вспоминает: «Меня особенно удивляло, что Эристов и Яковлев отнюдь не отличались благочестивою жизнью, и труд их, казалось, был вызван не понятиями о чистоте и святости нашей религии, но чисто спекулятивными расчетами».

Впоследствии Эристов был генерал-аудитором флота, сенатором и тайным советником.

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ МИЛЛЕР
(1814—1885)

Племянник по матери московского жандармского генерала А. А. Волкова. Воспитывался в царскосельском лицее. 27 июля 1831 г., будучи лицеистом, встретился в царскосельском парке с Пушкиным, жившим это лето с молодою женою в Царском. Миллер снял фуражку и взволнованным голосом сказал:

— Извините, что я вас останавливаю, Александр Сергеевич, но я внук вам по лицею и желаю вам представиться.

Пушкин улыбнулся и пожал юноше руку.

— Очень рад, очень рад!.. Ну, что у вас делается в лицее? Если вы не боитесь устать, то пойдемте со мной.

Пушкин пошел скоро, большими шагами, и засыпал лицеиста вопросами:

— Ну, а литература у вас процветает? Что ваш сад и ваш палисадник? А памятник в саду вы поддерживаете? Видаетесь ли вы с вашими старшими? Выпускают ли теперь из лицея в военную службу? Есть ли между вами желающие? Какие теперь у вас профессора? Прибавляется ли ваша библиотека? У кого она теперь на руках?

Миллеру очень хотелось расспросить Пушкина о нем самом, но Пушкин не давал ему времени. Миллер понимал, что Пушкину не о чем было говорить с семнадцатилетним юношей, как об его заведении. Расставленные по саду часовые вытягивались перед Пушкиным, он кивал им головою. Миллер спросил:

— Отчего они вам вытягиваются?

— Право, не знаю. Разве потому, что я с палкой. — Обойдя вокруг озера, он сказал: — Вы раскраснелись, кажется, устали?

— Это не от усталости, а от эмоции и удовольствия итти с вами.

Пушкин улыбнулся и протянул ему руку.

В октябре того же года Миллер был у Пушкина в Петербурге и увидел на его столе только что вышедшие «Повести Белкина». Не подозревая, что автор их — сам Пушкин, Миллер спросил, что это за повести, и кто этот Белкин. Пушкин ответил:

— Кто бы он там ни был, а писать повести надо вот этак: просто, коротко и ясно.

По окончании курса Миллер служил в Третьем отделении секретарем Бенкендорфа. Он рассказывает: «В апреле 1834 г. Бенкендорф получил от московского почт-директора Булгакова копию с письма Пушкина к жене, отмеченную припискою: «с подлинным верно». Подлинное же письмо было послано своим порядком. Прочитав копию, граф положил ее в один из двух открытых ящиков, стоявших по обеим сторонам его кресел перед письменным столом. Когда я увидел копию в отделе бумаг, назначенных для доклада государю, у меня сердце дрогнуло при мысли о новой беде, грозившей поэту. Я тут же переложил ее под бумаги в другой отдел ящика и поехал сказать М. Д. Деларю, моему товарищу по лицею, чтоб он немедленно дал знать об этом Пушкину. Расчет мой на забывчивость графа оказался верен: о копии уже не было речи, и я через несколько дней вынул ее из ящика вместе с другими залежавшимися бумагами». Рассказ Миллера не внушает никакого доверия. Царь был ознакомлен с упомянутым письмом Пушкина, говорил о нем с Жуковским, который об этом сообщил Пушкину, — об этом пишет Пушкин в своем дневнике.

Этот же Миллер после смерти Пушкина описывал и опечатывал комнату, где он скончался. Как он рассказывал Бартеневу, Миллер взял себе на память из сюртука, в котором Пушкин стрелялся, известное его письмо на имя Бенкендорфа (от 21 ноября 1836 г.), которое он в подлиннике показывал Бартеневу. Бартенев об этом письме пишет: «Пушкин написал его, исполняя обещание, данное в ноябре 1836 г. государю, уведомить его (через Бенкендорфа), если ссора с Дантесом возобновится; но послать это письмо Пушкин не решился: ему тяжко было призывать власть к разбору его личного дела». Щеголев находит это объяснение несостоятельным и выражает недоумение, — как упоминаемое письмо могло полтора месяца пролежать в кармане сюртука Пушкина; вообще он всю эту историю находит сомнительной и неясной.

III

НАЧАЛЬСТВО И ЕГО АГЕНТЫ

Император АЛЕКСАНДР I
(1777—1825)

В 1836 г. Пушкин в стихах на лицейскую годовщину писал об Александре:

Вы помните, как наш Агамемнон
Из пленного Парижа к нам примчался;
Какой восторг тогда пред ним раздался!
Как был велик, как был прекрасен он,
Народов друг, спаситель их свободы!

И раньше, еще при жизни Александра, в 1825 г., в статье о г-же Сталь Пушкин выхвалял «великодушие русского императора», оказавшего г-же Сталь покровительство. Но по поводу этой своей статьи Пушкин тогда же писал Вяземскому: «Тут есть одно великодушие, поставленное во-первых ради цензуры, а во-вторых для вящшего анонима (род онанизма журнального)». В действительности Александр был одною из самых прочных и глубоких ненавистей Пушкина. Он не уставал бичевать в стихах его двуличность, наследственную любовь к парадам и фронтовой муштре, призрачное величие, в которое ход истории облек этого посредственного человека. «Венчанный солдат», «кочующий деспот», «фрунтовой профессор», «к противочувствиям привычен, в лице и в жизни арлекин». В уничтоженной главе «Онегина»:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.
Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У бонапартова шатра.
Гроза двенадцатого года
Настала, — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?
Но бог помог, — стал ропот ниже,
И скоро, силою вещей,
Мы очутилися в Париже,
И русский царь главой царей...

В 1827 г. Пушкин высказывал Алексею Вульфу твердое намерение написать историю Александра I «пером Курбского» — ненавидящим пером Андрея Курбского, бежавшего от преследований Иоанна Грозного в Литву и там написавшего его историю. У Пушкина, которого Александр в течение шести лет бросал из ссылки в ссылку, было не меньше причин и к чисто личной ненависти к нему, чем у Курбского к Иоанну Грозному.

Император НИКОЛАЙ I
(1796—1855)

Французский путешественник маркиз де-Кюстин характеризует его так: «Император ни на минуту не может забыть ни того, кто он, ни того внимания к себе, которое он постоянно вызывает у всех его окружающих. Он вечно позирует и потому никогда не бывает естественен, даже тогда, когда кажется искренним. Лицо его имеет троякое выражение, но ни одно из них не свидетельствует о сердечной доброте. Самое обычное, это — выражение строгости; второе — выражение какой-то торжественности и, наконец, третье — выражение любезное. Император — всегда в своей роли, которую он исполняет, как большой актер. Масок у него много, но нет живого лица, и когда под ним ищешь человека, всегда находишь только императора». Одну из таких совершенно определенных масок Николай надевал, имея дело с Пушкиным. Жестоко напуганный на всю жизнь декабрьским восстанием, царь боялся и Пушкина, революционные стихи которого находили при обысках чуть не у всех декабристов. Он нашел более выгодным не преследовать Пушкина, а сделать его безопасным. И вот он надел в сношениях

с Пушкиным маску благоволения и ласковости, а из глазных разрезов этой маски смотрели глаза, полные ненависти и пренебрежения. Царь вызвал Пушкина из ссылки к себе в Москву, обласкал его, простил — и поручил неослабному надзору Бенкендорфа. Для Пушкина началась мучительная жизнь строго опекаемого мальчика, за каждый неугодный начальству шаг получавшего суровые нагоняи, опутанного по рукам и ногам сомнительными благодеяниями, за которые от него требовали восторженной благодарности. Повидимому, Николай совершенно не рассчитывал превратить Пушкина в преданного царю славослова вроде Державина, Карамзина или Жуковского, он вовсе не заботился о том, чтобы доставить Пушкину почетное и материально-обеспеченное положение и этим привязать к себе. Каждое его благодеяние несло в себе для Пушкина скрытое оскорбление и перерождалось в совершенно ненужное стеснение. Личное цензорство царя дало Пушкину не право апеллировать к нему на цензурные запреты, а только связало Пушкина, лишив его права что-либо печатать без специального царского разрешения. Дарование ему камер-юнкерского звания было вполне сознательным издевательством над Пушкиным, потому что звание это давалось совсем молодым людям, и тридцатипятилетний Пушкин в кургузой камер-юнкерской курточке, в толпе юнцов, должен был вызывать только улыбку. Попытки Пушкина вырваться из Петербурга, избавиться от непомерных трат, которых требовала близость ко двору его и жены, встречали суровый отпор, а редкие вспомоществования, в виде, например, займа на печатание «Истории Пугачевского бунта», нисколько не ослабляли долговой петли, все туже стягивавшей шею Пушкина. Ко всему этому присоединилось еще одно специальное обстоятельство. Николай был пленен красотою Натальи Николаевны и настойчиво домогался ее благосклонности. Всякий другой, из самой даже высокопоставленной знати, составлявшей придворный круг, был бы только польщен честью, выпадающей на долю его жены. А этот «сочинитель», титулярный какой-то советник и ничтожный камер-юнкер,— он не допускает об этом и мысли. Это особенно должно было раздражать Николая, потому что маска блюстителя семейной нравственности была одною из самых любимых его масок, и такие дела должны были делаться полюбовно, к общему взаимному удовольствию. В противоречии к обрисованному отношению царя к Пушкину стоит то, как царь отозвался на смерть Пушкина. Пенсия и всякие льготы, пожалованные его вдове, говорят, конечно, только о благоволении Николая к Наталье Николаевне. Но его крутая расправа с Геккереном, заподозренным в посылке Пушкину злополучных анонимок, как будто говорит за то, что хоть после смерти Пушкина царь понял весь размер этой национальной утраты. Новейшие

исследования, однако, совершенно опровергают такое мнение. До последнего времени мы в какой-то странной слепоте считали, что в полученном Пушкиным пасквиле имеются в виду отношения его жены к Дантесу. Только совсем недавно П. Е. Рейнбот указал на истинный смысл пасквиля. Великим магистром ордена рогоносцев назывался в нем Д. Л. Нарышкин, муж любовницы Александра I. Пушкин жаловался в заместители великого магистра, — уж конечно не как муж любовницы какого-то поручика, а как муж якобы любовницы Николая I. Вот что тогда все прекрасно понимали, вот что привело в бешенство Николая, вот за что он потребовал от голландского правительства убрать с поста посланника «каналью» Геккерена, — а не за то, конечно, что Геккерену вздумалось позабавиться над нечиновным камер-юнкером — рогоносцем. Нам лично, впрочем, кажется, что главною причиною, побудившею Николая разыграть роль печальника и мстителя за погибшего поэта, было давление общественного мнения, обнаружившегося с совершенно неожиданною для Николая силою. Об этом см. ниже в гл. XXII.

Показное свое отношение к Николаю Пушкин проявил в ряде стихотворений: «В надежде славы и добра», «Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю», «Герой». В последнем стихотворении поэт выражает огорчение по поводу разоблачения Бурьена, что Наполеон в яффском госпитале вовсе не пожимал руки чумным больным. Друг многозначительно отвечает поэту: «Утешься...». На этом стихотворение обрывается, и под ним стоит дата: «Москва. 29 сент. 1830 г.». В этот день император Николай посетил пораженную холерою Москву. В черновой статье о Радищеве Пушкин писал по поводу этого посещения Николая, что оно «принадлежит будущему историку». Истинное свое отношение к Николаю Пушкин унес необнаруженным в могилу.

АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА
(1798—1860)

Жена императора Николая I, дочь прусского короля Фридриха-Вильгельма III и знаменитой своею красотою королевы Луизы. Она была хороша собою. Маркиз де-Кюстин в своей беспощадной книге о России («La Russie en 1839») говорит: «Императрица обладает изящной фигурой и, несмотря на ее чрезмерную худобу, исполнена неописуемой грации... Она пленяет своею наружностью, звук ее голоса мягок и нежен». Ее учителем русского языка был Жуковский, который воспел ее под именем Лалла-Рук (героиня одноименной поэмы Томаса Мура).

Пушкин описывает царицу в выпущенной им строфе восьмой главы «Онегина»:

И в зале яркой и богатой,
Когда в умолкший тесный круг,
Подобна лилии крылатой,
Колеблясь, входит Лалла-Рук
И над поникшею толпою
Сияет царственной главою,
И тихо вьется, и скользит
Звезда, — харита меж харит, —
И взор смущенных поколений
Стремится, ревностью горя,
То на нее, то на царя, —
Для них без глаз один Евгений...

В дневнике Пушкин писал: «Я ужасно люблю царицу». Нащокин рассказывал Бартеневу: «Императрица удивительно как нравилась Пушкину; он благоговел перед нею, даже имел к ней какое-то чувственное влечение».

Великий князь КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ (1779—1831)

Второй сын императора Павла. Участвовал в итальянском походе Суворова, под Аустерлицем командовал гвардией. В 1812 г., вследствие постоянных резких столкновений с главнокомандующим Барклаем-де-Толли, был им отослан из армии в Петербург. С 1816 г. был главнокомандующим польских войск, а фактически — наместником и вице-королем Польши. Управлением своим он всех восстановил в Польше против себя. В 1820 г. развелся с женой, немецкой принцессой, и женился на польке Жанете Антоновне Грудзинской, получившей титул княгини Лович. Вследствие этого брака он должен был отказаться от прав на российский престол, наследником которого именовался вследствие бездетности Александра I. Его отречение почему-то хранилось в строгой тайне, после смерти Александра декабристы воспользовались получившимся неопределенным положением и подняли войска против Николая. После воцарения Николая Константин остался польским главнокомандующим. Польское восстание 1830—1831 гг. заставило его бежать из Варшавы, командование было передано Дибичу; вскоре Константин умер от холеры в Витебске.

Был он плотный, немного лысый, с белокурыми, неприятного пепельного цвета волосами, с серыми бровями, нависшими на серые глаза, одутловатый, курносый, безобразный, как отец. Был бешено вспыльчив,

перед фронтом проявлялся мелочно-придирчивым, жестоким самодуром; подобно отцу и братьям имел страсть к воинским учениям, к выправкам, выпушкам и всякой муштре. «Фельдфебель по натуре», — характеризует его Николай Тургенев. После Березины, когда разбитый Наполеон уходил из России, Константин на смотру был очень шокирован внешним видом русской армии, совершенно не соответствовавшим уставу. В отрепанной, не по форме, одежде, отвыкшие в непрерывных боях от всех тонкостей плацпарадной маршировки, войска выглядели совсем не так, как на параде. Глядя на покрытый славой гвардейский полк, проходивший перед ним церемониальным маршем, Константин воскликнул в негодовании:

— Эти люди умеют только драться!

Сам он таким умением не отличался и, как многие фронтовики, был большой трус.

Вне службы Константин, по рассказам, был человек добродушный и даже сантиментальный, дома, у себя, держался радушнейшим и любезнейшим хозяином, так что даже, когда ему в разговоре случалось прервать чью-нибудь речь, он немедленно останавливался и извинялся.

После смерти Александра, когда все думали, что императором будет Константин, Пушкин писал Катенину: «Как поэт, радуюсь восшествию на престол Константина I. В нем очень много романтизма; бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем напоминает Генриха V. К тому же он умен, а с умными людьми все как-то лучше; словом, я надеюсь от него много хорошего».

Когда в апреле 1828 г. Россия объявила войну Турции, Пушкин и Вяземский просили разрешения отправиться при главной императорской квартире на театр военных действий. Великий князь Константин писал по этому поводу Бенкендорфу: «Вы говорите, что писатели Пушкин и князь Вяземский просят о дозволении следовать за главной императорской квартирой. Поверьте мне, любезный генерал, что, ввиду прежнего их поведения, как бы они ни старались выказать теперь свою преданность службе его величества, они не принадлежат к числу тех, на кого можно бы было в чем-нибудь положиться; точно так же нельзя полагаться на людей, которые придерживались одинаких с ними принципов и число которых перестало увеличиваться лишь благодаря бдительности правительства». А через две недели писал ему же: «Неужели вы думаете, что Пушкин и князь Вяземский, действительно, руководствовались желанием служить его величеству, как верные подданные, когда они просили позволения следовать за главной императорской квартирой? Нет, не было ничего подобного; они уже так заявили себя и так нравственно испорчены, что не могли питать столь благородного

чувства. Поверьте мне, что в своей просьбе они не имели другой цели, как найти новое поприще для распространения своих безнравственных принципов, которые доставили бы им в скором времени множество последователей среди молодых офицеров».

Великий князь МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
(1798—1840)

Младший сын императора Павла. В тридцатых годах состоял командиром гвардейского корпуса и главным начальником всех сухопутных военно-учебных заведений. Огромного роста, плотный, несколько сутуловатый, с большими, проницательными голубыми глазами, в высокой прическе, как ее тогда носили, рыжий (офицеры его называли «рыжий Мишка»). Говорил громко, отрывисто и повелительно. Был беспощадно-строгий формалист, взыскивал с офицеров и солдат за малейшее нарушение формы и правил службы. Ежедневно, гуляя по улицам, ловил офицеров в калошах, солдат в расстегнутых мундирах и т. п. Был большой остряк и очень любил каламбуры. Острословие было любимейшим делом его жизни и величайшею его гордостью. По утрам, после докладов, ему передавали острые слова, ходящие по городу и приписываемые ему. Если острота была хороша, великий князь молча улыбался, если же была плоха, то говорил:

— Вздор, я этого не говорил!

Таким образом остроумие всего гвардейского корпуса приписывалось ему. За острое слово он готов был простить все. Однажды он поймал на улице офицера, одетого не по форме, и велел ему сесть к себе в сани, чтобы отвезти на гауптвахту. Офицер, садясь, задел великого князя шпагой. Михаил рассердился.

— Дурак, и садиться-то еще не умеет!

— Это оттого, ваше высочество, что не в свои сани ненадобно садиться, — ответил офицер.

Великий князь пришел в восторг, рассмеялся и отпустил офицера.

Был он человек колоссально необразованный. В кабинете его каменноостровского дворца не было ни одной книги, кроме «Рекрутской школы», «Батальонного учения» и т. п. Читал только военную газету «Инвалид». Утром первым делом его было прочитать «Инвалид», и часто он восклицал:

— Ах, негодный этот Воейков (редактор «Инвалида»)! Поручик Иванов уже четыре дня, как приехал, а он сегодня только напечатал об этом!

Весною 1830 г. Михаил был в гостях у Елизаветы Мих. Хитрово, увидел у нее портрет Пушкина и сказал:

— Знаете ли, что я никогда не видал Пушкина близко; у меня были против него большие предубеждения; но по всему, что до меня доходит, я весьма желаю его узнать и особенно желаю иметь с ним продолжительный разговор.

И взял у Хитрово прочесть «Полтаву».

В середине тридцатых годов Пушкин нередко виделся с великим князем. Имел ли с ним Михаил тот «продолжительный разговор», который собирался с ним вести, и о чем мог быть этот разговор, мы не знаем. Но разговаривали они часто. Однажды, например, они встретились утром в дворцовом саду. Великий князь спросил Пушкина:

— Что ты один здесь философствуешь?

— Гуляю.

— Пойдем вместе.

Разговорились о плешивых. Пушкин сказал:

— Вы не в родню, в вашем семействе мужчины молодые оплешивливают.

— Государь Александр и Константин Павловичи оттого рано оплешивели, что при отце моем носили пудру и зачесывали волоса; на морозе сало леденело, — и волоса лезли... Нет ли новых каламбуров?

— Есть, да нехороши, не смею представить их вашему высочеству.

— У меня их тоже нет. Я замерз.

И они распростились.

Другой раз у Пушкина был большой разговор с великим князем о дворянстве. Пушкин говорил, что необходимо замкнутое и экономически крепкое дворянское сословие, что теперешнее разоренное старинное дворянство с его просвещением, с ненавистью против аристократии, с его притязаниями на власть и богатство представляет такую страшную стихию мятежей, какой нет и в Европе. Между прочим, он сказал великому князю:

— Вы весь в ваше семейство: все Романовы революционеры и нивелировщики.

— Спасибо! Так ты меня жалуешь в якобинцы! Благодарю. Вот репутация, которой мне недоставало.

«Разговор,— пишет Пушкин в дневнике,— обратился к воспитанию, любимому предмету его высочества. Я успел высказать ему многое. Дай бог, чтобы слова мои произвели хоть каплю добра!»

Летом 1837 г., через полгода после смерти Пушкина, великий князь Михаил Павлович встретил в Бадене Дантеса, разжалованного за дуэль

с Пушкиным в солдаты и высланного за границу. Великий князь на три дня расстроился от этой встречи. Придворная дама спросила:

— Воспоминание о Пушкине вас встревожило?

— О, нет! Туда ему и дорога!

— Так что же?

— Да сам Дантес! Бедный! Подумайте, ведь он солдат!

АЛЕКСАНДР ХРИСТОФОРОВИЧ БЕНКЕНДОРФ
(1783—1844)

Учился в пансионе аббата Николя, где на науки обращалось мало внимания, а главное значение придавалось светскому воспитанию. Пятнадцати лет поступил на военную службу, участвовал в турецкой и наполеоновских войнах, выделялся храбростью, получил Георгия 4-й и 3-й степени. В 1821 г., будучи генерал-адъютантом и начальником штаба гвардейского корпуса, подал императору Александру записку о тайных обществах, которую тот оставил без последствий. После смерти Александра записка была найдена в его бумагах и обратила на Бенкендорфа благосклонное внимание Николая. Он был введен в состав верховного суда над декабристами, а в июле 1826 г. назначен командующим императорскою квартирою, шефом жандармов и главным начальником так называемого Третьего отделения собственной его величества канцелярии, на которое возложена была высшая охрана государственного порядка в стране. С этих пор Бенкендорф стал самым приближенным и доверенным лицом Николая. В 1832 г. он был возведен в графское достоинство, в 1834 г. получил андреевскую ленту.

Монархист-бюрократ граф М. А. Корф дает Бенкендорфу такую характеристику: «Без знания дела, без охоты к занятиям, отличавшийся особенно беспамятством и вечною рассеянностью, наконец, без меры преданный женщинам, он никогда не был ни деловым, ни дельным человеком и всегда являлся орудием лиц, его окружавших. Сидев с ним в комитете министров и в государственном совете, я ни единожды не слышал его голоса ни по одному делу, хотя многие приходили от него самого, а другие должны были интересовать его лично. Часто случалось, что он, после заседания, на котором присутствовал от начала до конца, спрашивал меня, чем решено такое-то из внесенных им представлений. Должно еще прибавить, что при очень приятных формах, при чем-то рыцарском в тоне и словах, при довольно живом светском разговоре, он имел самое лишь поверхностное образование, ничему не учился, ничего не читал и даже никакой грамоты не знал порядочно. Личной во-

ли имел он не более, чем дарования и высших взглядов. В жизни своей он много раз значительно обогащался, потом опять расточал все приобретенное и при конце дней оставил дела свои в самом жалком положении». Главной пружиной, направлявшей всю деятельность Третьего отделения, был М. Я. фон-Фок. Безграмотный Бенкендорф почти всегда подписывал не читая бумаги и находился вполне под влиянием Фока. Вигель называет Бенкендорфа пустоголовым фанфароном, менее кого-либо другого имевшим способностей для занятия возложенной на него важной должности. В 1840 г. Герцену пришлось быть на приеме у Бенкендорфа, и вот как он описывает этот прием. «Дверь отворилась на обе половинки и вошел Бенкендорф. Наружность шефа жандармов не имела в себе ничего дурного; вид его был довольно общий остзейским дворянам и вообще немецкой аристократии. Лицо его было измято, устало, он имел обманчиво добрый взгляд, который часто принадлежит людям уклончивым и апатическим. Он очень мало говорил с просителями, брал просьбу, бросал на нее взгляд, потом отдавал Дубельту, прерывая замечания просителей той же грациозно-снисходительной улыбкой. Месяцы целые эти люди обдумывали и приготовлялись к этому свиданию, от которого зависит честь, состояние, семья; сколько труда, усилий было употреблено ими прежде, чем их приняли! А человек этот отделывается общими местами, и, по всей вероятности, какой-нибудь столоначальник положит к а к о е - н и б у д ь решение, чтоб сдать дело в к а к у ю - н и б у д ь другую канцелярию. И чем он так озабочен, куда торопится? Бенкендорф подошел к высокому, несколько согнувшемуся старику в темнозеленой военной шинели, с рядом медалей и крестов на груди. Старик стал на колени и вымолвил: «Ваше сиятельство, войдите в мое положение!» — «Что за мерзость! — закричал граф. — Вы позорите ваши медали!» — и, полный благородного негодования, прошел мимо, не взяв его просьбы. Старик тихо поднялся, его стеклянный взгляд выражал ужас и помешательство, нижняя губа дрожала, он что-то лепетал. Как эти люди бесчеловечны, когда на них приходит каприз быть человечными! Дубельт взял у старика просьбу и сказал: «Зачем это вы, в самом деле? Ну, давайте вашу просьбу, я пересмотрю». В 1844 г. Бенкендорф получил от Николая полмиллиона рублей на лечение, уехал за границу, сошелся там с француженкой, возвращался с нею в Петербург, на пароходе принял католичество и, не доехав до Петербурга, внезапно умер.

Пушкин попал в лапы Бенкендорфа в 1826 г., немедленно по возвращении из ссылки и получении «прощения» от императора. Из этих беспощадных лап Пушкину не суждено было вырваться до самой смерти. Необразованный, глубоко равнодушный к литературе, Бенкендорф

видел в Пушкине только ветреного сорванца и беспокойного вольнодумца, очень опасного своею общественною популярностью. Он был всегдашним посредником в сношениях Пушкина с царем и передавал ему царские решения и замечания в холодно-официальных словах, по существу невероятно грубых. Получаешь как будто личное оскорбление, читая эти высокомерные запросы и выговоры, обращаемые тупым жандармом к великому поэту, словно к озорному мальчишке, с которым стесняться нечего. Весною 1827 г. Пушкин просил у Бенкендорфа разрешения приехать из Москвы в Петербург. Бенкендорф отвечал: «Его величество, соизволяя на прибытие ваше в С. Петербург, высочайше отозваться изволил, что не сомневается в том, что данное русским дворянином государю своему честное слово вести себя благородно и пристойно будет в полном смысле сдержано». Летом 1829 г. Пушкин ездил на Кавказ в действующую армию Паскевича. Бенкендорф знал и о том, что Пушкин собирался туда поехать, и о том, что он там находится; однако, по возвращении Пушкина, направил к нему запрос: «Государь император, узнав, по публичным известиям, что вы, милостивый государь, странствовали за Кавказом и посещали Арзерум, высочайше повелеть мне изволил спросить вас, по чьему позволению предприняли вы сие путешествие. Я же с своей стороны покорнейше прошу вас уведомить меня, по каким причинам не изволили вы сдержать данного мне слова и отправились в закавказские страны, не предуведомив меня о намерении вашем сделать сие путешествие». Пушкин ответил: «Я чувствую, насколько положение мое было ложно и поведение — легкомысленно. Мысль, что это можно приписать другим мотивам, была бы для меня невыносима. Я предпочитаю подвергнуться самой строгой немилости, чем показаться неблагодарным в глазах того, кому я обязан всем, для кого я готов пожертвовать своим существованием, и это не фраза». В начале 1830 г. Пушкин подал Бенкендорфу просьбу о разрешении ему поехать за границу. Ответ Бенкендорфа обнаруживает большую «заботливость» его и императора о Пушкине: «Его величество государь император не удостоил снизойти на вашу просьбу посетить заграничные страны, полагая, что это слишком расстроит ваши денежные дела и в то же время отвлечет вас от ваших занятий». Вскоре Пушкин уехал в Москву. О предполагаемой поездке этой он, встретясь на гулянии с Бенкендорфом, сообщил ему, и Бенкендорф ему на это сказал:

— Вы всегда на больших дорогах.

Однако, когда Пушкин уехал, вслед ему полетел грозный запрос Бенкендорфа: «К крайнему моему удивлению услышал я, что вы внезапно рассудили уехать в Москву, не предваря меня, согласно с сделанным между нами условием, о сей поездке. Поступок сей принуждает

меня вас просить о уведомлении меня, какие причины могли вас заставить изменить данному мне слову? Мне весьма приятно будет, если причины, вас побудившие к сему поступку, будут довольно уважительны, чтобы извинить оный; но я вменяю себе в обязанность вас предуведомить, что все неприятности, коим вы можете подвергнуться, должны вами быть приписаны собственному вашему поведению». Пушкин в полном отчаянии отвечал: «Письмо, которым вы удостоили меня, доставило мне истинное горе; я умоляю вас дать мне минуту снисхождения и внимания. Несмотря на четыре года ровного поведения, я не смог получить доверия власти! С огорчением вижу, что малейший из моих поступков возбуждает подозрение и недоброжелательство. Во имя неба, удостойте на минуту войти в мое положение и посмотрите, как оно затруднительно!..»

Став женихом Гончаровой, Пушкин писал Бенкендорфу, что родителей его невесты очень смущает его ложное и сомнительное положение в отношении к правительству. «Г-жа Гончарова, — сообщал он, — боится отдать свою дочь за человека, имеющего несчастие пользоваться дурной репутацией в глазах государя. Мое счастие зависит от одного слова благоволения того, к которому моя преданность и благодарность уже и теперь чисты и безграничны». Ответ Бенкендорфа: «Я имел счастье представить императору письмо, которое вам угодно было мне написать 16 числа сего месяца. Его императорское величество, с благосклонным удовлетворением приняв известие о вашей предстоящей женитьбе, удостоил заметить по сему случаю, что Он надеется, что вы, конечно, хорошо допросили себя раньше, чем сделать этот шаг, и нашли в себе качества сердца и характера, какие необходимы для того, чтобы составить счастье женщины, — и в особенности такой милой, интересной женщины, как m-lle Гончарова. Что касается вашего личного положения по отношению к правительству, — я могу вам только повторить то, что уже говорил вам столько раз: я нахожу его совершенно соответствующим вашим интересам; в нем не может быть ничего ложного или сомнительного, если, разумеется, вы сами не пожелаете сделать его таковым. Его Величество Император, в совершенном отеческом попечении о вас, милостивый государь, удостоил поручить мне, генералу Бенкендорфу, — не как шефу жандармов, а как человеку, к которому Ему угодно относиться с доверием, — наблюдать за вами и руководительствовать своими советами; никогда никакая полиция не получала распоряжения следить за вами. Советы, которые я вам от времени до времени давал, как друг, могли вам быть только полезны, — я надеюсь, что вы всегда и впредь будете в этом убеждаться».

МАКСИМ ЯКОВЛЕВИЧ фон-ФОК
(1777—1831)

Управляющий Третьим отделением, правая рука Бенкендорфа. Был человеком, повидимому, умным, хорошо образованным и воспитанным, очень деятельным и энергичным. Вел широкую агентурную разведку при помощи большого штата наемных агентов и шпионов-добровольцев; в числе их были и люди из высшего света, например, граф Л. И. Сологуб, отец красавицы и дядя писателя. «Бенкендорф, — рассказывает Греч, — был одолжен фон-Фоку своею репутациею ума и знания дела». К Пушкину Фок относился очень недоброжелательно. В сентябре 1826 г. он писал Бенкендорфу: «Этот господин проповедует последовательный эгоизм с презрением к людям, ненависть к чувствам, как к добродетелям, наконец, — деятельное стремление к тому, чтобы доставлять себе житейские наслаждения ценою всего самого священного. Это честолюбец, пожираемый жаждою вожделений, как примечают, имеет столь скверную голову, что его необходимо будет проучить при первом удобном случае». И через четыре года по поводу одного письма Пушкина к Бенкендорфу, писал своему шефу: «Эти строки нашего пресловутого Пушкина великолепно его характеризуют во всем его легкомыслии, во всей его беззаботной ветрености. К несчастию, это человек, не думающий ни о чем, но готовый на все. Лишь минутное настроение руководит им в его действиях». Чиновник Третьего отделения М. М. Попов так характеризует отношение Фока и Бенкендорфа к Пушкину:

«Они как бы беспрестанно ожидали, что вольнодумец или предпримет какой-либо вредный замысел, или сделается коноводом возмутителей. Между тем Пушкин беспрестанно впадал в проступки, выслушивал замечания, приносил извинения и опять проступался. Он был в полном смысле дитя и, как дитя, никого не боялся. Зато люди, которые должны бы быть прозорливыми, его боялись. Отсюда начался ряд, с одной стороны, напоминаний, выговоров, а с другой — извинений, обещаний и вечных проступков». Свое отношение к Пушкину Фок прикрывал изысканнейшею вежливостью в сношениях с ним и сумел внушить Пушкину самое о себе лестное мнение. После смерти Фока в 1831 г. Пушкин писал:

«На-днях скончался фон-Фок, человек добрый, честный и твердый. Смерть его есть бедствие общественное. Государь сказал: «Я потерял Фока; могу только оплакивать его и жалеть, что не мог его любить». Фок был плотный человек с очень большим лицом, крупными чертами, высоким лбом и умными, проницательными глазами.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ МОРДВИНОВ
(1792—1869)

Сын полковника, порховского помещика. Служил по департаменту полиции, в 1812 г. перешел на военную службу, участвовал в ряде боев. По окончании войны опять служил в полиции, а с учреждением Третьего отделения поступил туда. Когда весною 1829 г. Пушкин собирался на Кавказ, Мордвинов писал Бенкендорфу: «Господин поэт столь же опасен для государства, как неочиненное перо. Ни он не затеет ничего в своей ветреной голове, ни его не возьмет никто в свои затеи. Это верно! Предоставьте ему слоняться по свету, искать девиц, поэтических вдохновений и игры. Можно сильно утверждать, что это путешествие на Кавказ устроено игроками, у коих он в тисках. Ему, верно, обещают золотые горы на Кавказе, а когда увидят деньги или поэму, то выиграют — и конец». После смерти фон-Фока Мордвинов был назначен управляющим Третьим отделением. «Есть вероятие предполагать, — пишет М. К. Лемке, — что насколько он был менее талантлив, чем его предшественник, настолько же был и непорядочнее его». Пушкину не раз приходилось иметь дело с Мордвиновым как начальником Третьего отделения. Летом 1833 г. Мордвинов писал Пушкину: «Его величество изъявил высочайшую свою волю знать, что побуждает вас к поездке в Оренбург и Казань, и по какой причине хотите вы оставить занятия, здесь на вас возложенные?» Пушкину пришлось объяснять, что живет он литературным трудом, что ему необходимо месяца два провести в полном уединении, чтоб кончить книгу, которая доставит очень нужные ему деньги, а что Оренбург и Казань ему нужно посетить потому, что главное действие его романа («Капитанская дочка») происходит в этих губерниях. Разрешение было дано. В 1836 г. Мордвинов запрашивал Пушкина: «Его сиятельство граф Александр Христофорович просит вас доставить к нему письмо, полученное вами от Кюхельбекера, и с тем вместе желает непременно знать, через кого вы его получили». Пушкин отправил ему письмо Кюхельбекера и ответил, что письмо было подано на квартиру в его отсутствие, неизвестно кем. Когда гроб с телом убитого Пушкина отправляли для похорон в псковскую губернию, к псковскому губернатору пошло предварительное послание Мордвинова: «Имею честь сообщить вашему превосходительству волю государя императора, чтобы вы воспретили всякое особенное изъявление, всякую встречу, одним словом, всякую церемонию, кроме того, что обыкновенно по нашему церковному обряду исполняется при погребении тела дворянина. К сему не излишним считаю, что отпевание тела уже совершено».

В 1839 г. Мордвинов, по приказанию императора, был смещен с должности за то, что разрешил поместить в альманахе Смирдина «Сто русских литераторов» портрет декабриста А. А. Бестужева-Марлинского, в то время уже убитого на Кавказе в схватке с горцами. Впоследствии был вятским губернатором и сенатором.

СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ УВАРОВ
(1786—1855)

В молодости служил в коллегии иностранных дел, состоял при посольствах в Вене и Париже, за границей познакомился с рядом выдающихся литературных и научных деятелей — Гете, Гумбольдтом и др. В 1811 г. женился на 28-летней дочери министра народного просвещения, богача графа А. К. Разумовского, и был назначен попечителем петербургского учебного округа. В Петербурге вращался в литературных кругах, дружил с Батюшковым, хорош был с Карамзиным, Жуковским, бр. Тургеневыми, состоял членом «Арзамаса». Был человек многосторонне образованный, особенно интересовался классической археологией и филологией, напечатал ряд работ — об элевсинских мистериях и др. Он убедил Гнедича в возможности употребления гекзаметра в русском стихосложении, и Гнедич, уже переведший одиннадцать песен «Илиады» александрийским стихом, уничтожил перевод и стал переводить «Илиаду» гекзаметром. В 1818 г. Уваров был назначен президентом Академии наук, в 1832 — помощником министра, в 1833 — министром народного просвещения. Он был творцом и проводником в жизнь знаменитой формулы «православие, самодержавие и народность». В 1846 г. возведен в графское достоинство. В 1849 г. оставил пост министра.

Историк С. М. Соловьев пишет об Уварове: «Он был человек с бесспорно блестящими дарованиями, и по этим дарованиям, по образованности и либеральному образу мыслей был способен занимать место министра народного просвещения и президента Академии наук; но в этом человеке способности сердечные нисколько не соответствовали умственным. Представляя из себя знатного барина, Уваров не имел в себе ничего истинно-аристократического; напротив, это был слуга, получивший порядочные манеры в доме порядочного барина, Александра I, но оставшийся в сердце слугою; он не щадил никаких средств, никакой лести чтоб угодить барину Николаю I; он внушил ему мысль, что он, Николай, творец какого-то нового образования, основанного на новых началах, и придумал эти начала, т. е. слова: православие, самодержавие

и народность; православие, — будучи безбожником; самодержавие, — будучи либералом; народность, — не прочитав в свою жизнь ни одной русской книги. Люди порядочные, к нему близкие, с горем признавались, что не было никакой низости, которой бы он не был в состоянии сделать, что он кругом замаран нечистыми поступками. При разговоре с этим человеком, разговоре очень часто блестяще-умном, поражали, однако, крайнее самолюбие и тщеславие; только и ждешь, — вот скажет, что при сотворении мира бог советовался с ним насчет плана». Угодливость и искательство Уварова не знали пределов. У влиятельного министра Канкрина он был «своим человеком»; А. И. Тургенев писал Вяземскому: «Он всех кормилиц у Канкрина знает и дает детям кашку». В другом письме он называет Уварова: «всех оподляющий». Однажды министр Дашков встретил Жуковского под руку с Уваровым, отвел Жуковского в сторону и сказал: «Как тебе не стыдно гулять публично с таким человеком!» Уваров обладал противоестественными наклонностями; усиленно рассказывали, что кн. Дондуков-Корсаков был им назначен попечителем петербургского учебного округа за то, что был его «любовницей».

Пушкин, несомненно, встречался с Уваровым еще в эпоху «Арзамаса». Виделись нередко и впоследствии. В 1831 г. Уваров прислал Пушкину свой французский перевод его стихотворения «Клеветникам России». Пушкин, со всегдашнею своею любезностью, ответил, что восхищен «прекрасными, истинно вдохновенными стихами» Уварова, и находил, что стихи его, Пушкина, послужили для Уварова «простою темою для развития гениальной фантазии».

В 1834 г. Пушкин хлопотал перед Уваровым о предоставлении Гоголю кафедры в киевском университете. Бывал у него в гостях. Но отношения их постепенно делались все холоднее. Уваров начинал теснить Пушкина, требовал, чтобы сочинения его, помимо царской цензуры, проходили цензуру общую, самолично вычеркнул несколько вполне невинных стихов из поэмы Пушкина «Анджело». В феврале 1835 г. Пушкин раздраженно писал в дневнике: «В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже — не покупают. Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге, как о возмутительном сочинении. Его клеврет Дундуков (дурак и бардаш) преследует меня своим цензурным комитетом. Он не соглашается, чтоб я печатал свои сочинения с одного согласия государя. Царь любит, да псарь не любит. Кстати об Уварове: это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен. Низость до того доходит, что он у детей Канкрина на посылках. Он крал казенные дрова, и до сих пор на нем есть счеты (у него одиннадцать тысяч душ), казенных слесарей употребляет в собственную работу и т. п.». Вскоре случилось

такое происшествие. В Воронеже, проездом, тяжело заболел скарлатиной молодой и бездетный граф Д. Н. Шереметев, один из богатейших людей России, двоюродный брат жены Уварова. Через нее Уваров являлся одним из его наследников. Не сомневаясь в близкой смерти Шереметева, Уваров поспешил опечатать его имущество. А Шереметев выздоровел. Об этом скандале со смехом говорил весь Петербург. Пушкин напечатал в одном из московских журналов стихотворение «На выздоровление Лукулла», будто бы «подражание латинскому»:

Ты угасал, богач младой!
Ты слышал плач друзей печальных;
Уж смерть являлась за тобой
В дверях сеней твоих хрустальных...
А между тем наследник твой,
Как ворон, к мертвечине падкий,
Бледнел и трясся над тобой,
Знобим стяжанья лихорадкой.
Уже скупой его сюргуч
Пятнал замки твоей конторы,
И мнил загресть он злата горы
В пыли бумажных куч.
Он мнил: «теперь уж у вельмож
Не стану няньчить ребятишек;
Я сам вельможа буду тож,
В подвалах, благо, есть излишек.
Теперь мне честность — трын-трава!
Жену обсчитывать не буду
И воровать уже забуду
Казенные дрова!»
Но ты воскрес. Твои друзья,
В ладони хлопая, ликуют...
Бодрится врач, подняв очки;
Гробовый мастер взоры клонит;
А вместе с ним приказчик гонит
Наследника в толчки.

Стихи вызвали сенсацию. Рассказывают, что Бенкендорф пригласил Пушкина к себе и сделал ему строгий выговор за то, что в таком виде выставил Уварова. Пушкин будто бы ответил:

— Да стихи написаны вовсе не на Уварова.

— А на кого же?

— На вас.

Бенкендорф остолбенел.

— На меня?!

— На вас.

— Но позвольте, — когда же я воровал казенные дрова?

— А значит, — Уваров воровал дрова? Почему он стихи отнес к себе?

Рассказ этот внушает мало доверия. Пушкин так не держался с Бенкендорфом. До нас дошел черновик его письма к шефу жандармов, где Пушкин очень почтительно доказывает, что стихи его представляют общую сатиру и не имели в виду никакого определенного лица. Однако намеки были слишком ясны. Царь выразил Пушкину через Бенкендорфа крайнее свое неудовольствие.

Князь МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДОНДУКОВ-КОРСАКОВ (1794—1869)

До женитьбы просто Корсаков. В 1819 г., будучи капитаном Преображенского полка, женился на княжне Дондуковой-Корсаковой, происходившей от владетельных калмыцких князей Дондук-Омбо, и получил высочайшее разрешение носить титул и фамилию жены. Ловкий карьерист и, по выражению Плетнева, «большой мастер на денежные предприятия», составивший себе огромное состояние помимо богатства, полученного за женою. С 1833 по 1842 г. был попечителем петербургского учебного округа, с 1835 по 1862 — вице-президентом Академии наук при президенте С. С. Уварове. В качестве председателя цензурного комитета жестоко теснил литературу. Пушкин писал летом 1836 г.: «Никогда русские писатели не были так притеснены, как нынче, — даже в последнее пятилетие царствования покойного императора Александра, когда вся литература сделалась рукописною». На Дондукова-Корсакова Пушкин написал известную эпиграмму:

В Академии Наук
Заседает князь Дундук.
Говорят, не подобает
Дундуку такая честь;
Почему ж он заседает?
Потому что .... есть.

В эпиграмме этой Пушкин не просто высмеивает Дундука, удостоившегося заседать в Академии единственно по той причине, что у него «есть, чем сесть», как читается эпиграмма в исправленном «для дам» виде. Смысл эпиграммы другой: в молодости Дондуков-Корсаков состоял в «любовной связи» с Уваровым; за эти заслуги Уваров, став министром народного просвещения, провел Дондукова-Корсакова в попечители петербургского округа и в вице-президенты Академии наук. На это и намекает эпиграмма Пушкина.

Граф ЮЛИЙ ПОМПЕЕВИЧ ЛИТТА
(1763—1839)

По происхождению итальянец, родился в Милане. Старший оберкамергер высочайшего двора. Пушкин был подчинен ему как камер-юнкер, обязанный присутствовать на церковных службах, царских выходах и приемах, торжествах и балах. Литта был женат на племяннице Потемкина, принесшей ему огромнейшее состояние. Был он исполинского роста, толст, очень здоров, хотя и на восьмом десятке не придерживался никакой диэты, ел, пил, что ему нравилось и во всякие часы. Мороженого съедал сразу по десять порций. Имел привычку, как эхо, повторять за собою всякое слово: bonjour — bonjour, oui — oui... Говорил гулкогромким голосом, звук которого походил на звук органа, когда прижмешь педаль.

Барон ИВАН ИВАНОВИЧ ДИБИЧ (фон-Девич или Дибич)
(1785—1831)

Сын немецкого генерала, перешедшего на русскую службу. С отличием участвовал в наполеоновских войнах, был приближенным лицом Александра I. С 1824 г.—начальник главного штаба. При вступлении на престол Николая заслужил его расположение донесением об открытии заговора декабристов, лично принимал меры к арестованию главнейших заговорщиков второй армии. В 1827 г. возведен в графское достоинство. В 1829 г. был главнокомандующим армией, действовавшей против Турции на европейском фронте, перешел Балканы и овладел Адрианополем. За этот переход получил титул «Забалканского». Когда произошло польское восстание, главнокомандующим русских войск против поляков был назначен Дибич. Действия его были вялы и нерешительны. До окончания войны умер от холеры. Был он небольшого роста, толст, рыж, криволиц, с умными глазами; разговаривал, не глядя в лицо, а потупив глаза вниз или кося потупленными глазами в сторону.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЧЕРНЫШЕВ
(1786—1857)

Военный министр Николая I с 1827 г. по 1852 г. С 1826 г. — граф, с 1841 — князь, с 1849 — светлейший князь. Наряду с Клейнмихелем и Бенкендорфом самый нелюбимый и презираемый тогдашним обще-

ством государственный деятель. Военный министр был он очень плохой, разгром России в Крымскую войну в большой степени был обусловлен полною во всех отношениях негодностью военной подготовки страны. В 1826 г., будучи членом следственной комиссии по делам декабристов, Чернышев принимал все меры, чтобы побольше запутать декабриста гр. З. Гр. Чернышева, дальнего своего родственника, в надежде завладеть богатым чернышевским майоратом. Запутать он его запутал, но завладеть майоратом ему не удалось ввиду отдаленности родства.

IV

ДРУЗЬЯ[1]

ИВАН ИВАНОВИЧ ПУЩИН

О лицейских годах — см. III гл. — По окончании лицея Пущин определился в гвардейскую конную артиллерию в Петербурге. Через капитана И. Г. Бурцова он тотчас же вступил в Тайное общество. «Эта высокая цель жизни, — рассказывает Пущин, — самою своею таинственностью и начертанием новых обязанностей резко и глубоко проникла душу мою; я как будто вдруг получил особенное значение в собственных своих глазах: стал внимательнее смотреть на жизнь во всех проявлениях буйной молодости, наблюдая за собою, как за частицей, входящею в состав того целого, которое рано или поздно должно было иметь благотворное свое действие». По поступлении в общество первою мыслью Пущина было открыться Пушкину, но Пушкин в это время был в деревне. Когда же Пушкин возвратился, Пущин заколебался: по непостоянному характеру своему Пушкин слишком был ненадежен как заговорщик. Пушкин заметил перемену в Пущине, начал подозревать, что он что-то от него скрывает, усердно расспрашивал и допрашивал его. Пущин был в постоянной борьбе с собою, у него являлась мысль: не должен ли он все-таки предложить Пушкину вступить в Тайное общество? Пусть сам решает, — вступать или нет. Но распущенный образ

[1] В этой же главе — жены и дети друзей Пушкина.

жизни Пушкина, неразборчивость на знакомства, легкомыслие, действия под влиянием минутного настроения, — все это заставляло Пущина отказаться от своего намерения. Пушкин высказывал самые радикальные мысли, противоправительственные его остроты расходились по всему городу, революционные стихи знала вся читающая Россия, а рядом с этим так, например: сидит Пущин в театре и видит, — Пушкин в первых рядах кресел, «как собачонка какая-нибудь», вертится вокруг А. Ф. Орлова, А. И. Чернышева и подобных сановников, сыплет остротами, а они с покровительственно-небрежною улыбкою слушают его. Возмущенный Пущин сделает Пушкину знак, тот подбежит.

— Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом? Можно ли себя так срамить? Ведь над тобою все смеются!

Пушкин в ответ начнет обнимать Пущина, щекотать, что он обыкновенно делал, когда немножко растеряется. А в следующий антракт — опять то же самое.

Пущин страдал за Пушкина, подчас ему приходила в голову мысль, что, может быть, вступив в Тайное общество, Пушкин начнет серьезнее и строже относиться к себе и к жизни, что широкая общественная работа перевоспитает его. Но он так и не решился вверить Пушкину тайну, не ему одному принадлежавшую, где малейшая неосторожность могла быть пагубна для всего дела. Постепенно друзья стали видеться реже, круг интересов и знакомств был у них разный. Однако встречались они с прежней дружбой и радовались встречам.

Пущин был очень деятельным членом Северного тайного общества, был избран в Думу — руководящий орган общества. В 1823 г. он ушел с военной службы. Он хотел показать, что в работе на пользу государства и народа нет обязанности, которую можно было бы считать унизительною, и решил поступить на должность... полицейского квартального надзирателя. Решение Пущина привело в ужас его аристократических родных, сестры на коленях умолили его отказаться от своего намерения. Тогда Пущин поступил в надворные судьи петербургской уголовной палаты, — должность, пользовавшаяся также небольшим уважением ввиду чиновничьей волокиты и взяточничества, царствовавших в тогдашних судах. Вскоре, в связи с делами Тайного общества, Пущин перевелся на ту же должность в Москву. В качестве надворного судьи он повел энергичную борьбу со взяточничеством и неправосудием. Один современник писал: «Пущин — первый честный человек, который сидел когда-либо в русской казенной палате». Каким малым почетом пользовалась эта должность, показывает такой случай. На балу у московского генерал-губернатора кн. Юсупов увидел Пущина, танцующего с дочерью

генерал-губернатора. Поинтересовался узнать, кто это. Когда ему сказали, он воскликнул:

— Как?! Надворный судья танцует с дочерью генерал-губернатора? Это вещь небывалая. Тут кроется что-то необыкновенное.

«И точно, — рассказывает Пущин, — на другой год я уже не танцовал в Москве». Пущин был председателем московской управы Тайного общества, энергично занимался вербовкою новых членов, учредил особый «Практический союз»; цель этого союза была — впредь до осуществления радикального решения крестьянского вопроса содействовать освобождению от крепостной зависимости дворовых людей. В земельном вопросе Пущин держался наиболее левого для северных декабристов взгляда.

В январе 1825 г., к ужасу родственников и добрых знакомых Пушкина, Пущин поехал проведать опального друга, сосланного в псковскую деревню родителей. Ночью, проезжая через городок Остров, он взял три бутылки шампанского. Утром был уже близ Михайловского. Пущин нетерпеливо подгонял ямщика, лошади мчались во всю прыть; спускаясь с горы, сани на ухабе так наклонились вбок, что ямщик вылетел в снег, лошади понесли в гору. Пущин со слугою своим Алексеем схватили вожжи, но сдержать лошадей не смогли; они сделали крутой поворот, смаху влетели в притворенные ворота, гремя колокольчиком, пронеслись мимо крыльца и завязли в сугробах нерасчищенного двора.

Пущин вылез из саней. На крыльце стоял Пушкин — босой, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками. Пущин бросился к нему, схватил в охапку и втащил в комнаты. Смотрели друг на друга, целовались и молчали. Пушкин забыл, что надо прикрыть наготу, Пущин не думал о заиндевевшей шубе. Обнимались и плакали, — один почти голый, другой — весь осыпанный снегом. Прибежала няня Арина Родионовна, друзья очнулись. Пущину подали умыться. Засыпали друг друга вопросами, не ожидая ответов. Наконец понемножку прибрались. Подали кофе. Друзья уселись с трубками. Беседа пошла более правильно. Пушкин, как дитя, радовался свиданию и повторял, что ему все не верится, что они вместе. Болтали, шутили, хохотали. Пушкин расспрашивал про лицейских товарищей. Потребовал объяснения, каким образом из гвардейского артиллериста Пущин преобразился в надворного судью. С восторгом и гордостью выслушал объяснения Пущина. Незаметно разговор коснулся Тайного общества. Когда Пущин сказал, что не он один поступил в это новое служение отечеству, Пушкин вскочил со стула и воскликнул:

— Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в тираспольской крепости и ничего не могут выпытать!

Потом, успокоившись, продолжал:

— Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою — по многим моим глупостям.

Молча, Пущин крепко расцеловал его. Они обнялись и пошли ходить. Подали обедать. Раскупорили шампанское. Начались тосты за Русь, за лицей, за отсутствующих друзей, за н е е (повидимому, свободу). Попотчевали шампанским няню, а работавших в ее комнате дворовых девушек — хозяйскою наливкою. Пущин привез Пушкину в подарок «Горе от ума»; в то время комедия была еще запрещена и ходила в рукописях. Пушкин стал громко читать и, видимо, испытывал высокое наслаждение. Потом он читал другу свои произведения. Время шло незаметно. Было уже за полночь. Подали закусить, на прощанье хлопнула третья пробка шампанского. Ямщик уже запряг лошадей, колокольчик брякал у крыльца, на часах ударило три. Еще раз чокнулись стаканами, но грустно пилось: как будто оба чувствовали, что пьют на вечную разлуку. Пущин молча набросил на плечи шубу и убежал в сани. Пушкин еще что-то говорил ему вслед. Ничего не слыша, Пущин глядел на него; тот стоял на крыльце со свечою в руке. Кони рванули под гору. Послышалось:

— Прощай, друг!

Ворота запахнулись за Пущиным.

Осенью этого же года, в стихотворении «19 октября 1825 г.», Пушкин так вспоминал посещение Пущина:

И ныне здесь, в забытой сей глуши,
В обители пустынных вьюг и хлада,
Мне сладкая готовилась отрада...
Поэта дом опальный,
О, Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его лицея превратил!
И все прошло, — проказы, заблуждения...
Ты, освятив тобой избранный сан,
Ему в очах общественного мненья
Завоевал почтение граждан....

Когда, после внезапной смерти Александра I, для Тайного общества неожиданно представилась возможность решительных действий, Пущин поспешил выехать из Москвы в Петербург. Декабрист Лорер со слов Льва Пушкина сообщает, что перед отъездом из Москвы Пущин послал Александру Пушкину письмо, в котором вызывал его в Петербург. Пушкин быстро собрался и выехал с подложным свидетельством на имя

крестьянина села Тригорского, подписанным П. А. Осиповой. Но при выезде Пушкину перебежал дорогу заяц, суеверный поэт счел это за недоброе предзнаменование и воротился домой. «А вот каковы были бы последствия моей поездки, — впоследствии рассказывал Пушкин друзьям. — Я рассчитывал приехать в Петербург поздно вечером к Рылееву и следовательно попал бы к нему прямо на совещание 13 декабря. Меня приняли бы с восторгом; вероятно, я попал бы с прочими на Сенатскую площадь и не сидел бы теперь с вами, мои милые!»

В Петербурге Пущин принимал деятельное участие во всех заседаниях Верховной думы Тайного общества, вплоть до последнего собрания 13 декабря, где было решено вывести войска на Сенатскую площадь. 14 декабря Пущин все время находился в рядах восставших и проявил кипучую деятельность. Когда избранный Верховной думой в диктаторы кн. С. П. Трубецкой струсил и не явился на площадь, Пущин один из немногих не потерял головы, все время находился в центре стрельбы, плащ его был прострелен в нескольких местах. Вообще он в тот день проявил большую твердость характера и хладнокровие. Хотя он как отставной был не в военной одежде, но солдаты охотно слушали его команду, видя его спокойствие и бодрость. На следующий день лицейский товарищ его кн. А. М. Горчаков привез Пущину заграничный паспорт и предлагал устроить ему отъезд на иностранном пароходе. Пущин отказался, не желая бежать от общей беды. 15 декабря он был арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Пущин был один из немногих, которые держались на допросах с достоинством. Решительно отрицал перед следственной комиссией какое-либо участие в подготовке восстания — как свое, так и названных ему лиц, часто выгораживал других вопреки очевидности. Если трудно было уклониться от прямого ответа, называл либо покойника, либо вымышленное лицо. Верховным судом Пущин был отнесен к первому разряду государственных преступников и присужден к смертной казни отсечением головы; через несколько дней казнь была заменена двадцатью годами каторги. Когда 13 июля 1826 г. осужденных вывели из казематов для приведения приговора в исполнение, Пущин своими шутками и остротами заставил хохотать всех окружающих товарищей. А потом выступил из рядов осужденных с речью, в которой протестовал против осуждения его и товарищей. Начальство поспешило увести весь первый разряд в казематы.

Пущин был заключен в Шлиссельбургскую крепость. В начале 1828 г. он был привезен для отбытия каторги в Читу. В самый день его приезда А. Г. Муравьева, жена декабриста, подозвала Пущина к частоколу острога, передала ему листок бумаги и сообщила, что получила этот листок от одного своего знакомого в Петербурге, хранила его до

свидания с Пущиным и рада, что может, наконец, исполнить поручение. Это были следующие стихи Пушкина:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье,
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье,
Лучом лицейских ясных дней!

В 1839 г., после двенадцати лет каторжных работ, Пущин был сослан на поселение сначала в гор. Туринск Тобольской губернии, потом в Ялуторовск. После смерти Николая I, в 1856 г., по общей амнистии декабристам вернулся в Россию. Пятидесяти семи лет женился на вдове декабриста, пятидесятилетней Н. Д. Фонвизиной. Умер в имении жены, Броницкого уезда, Московской губернии.

Пущин был человек исключительной моральной красоты. Рылеев говорил о нем: «Кто любит Пущина, тот непременно сам редкий человек». Декабрист Волконский называл его «рыцарь правды». По темпераменту, однако, Пущин не был революционером. Член Южного тайного общества, неукротимый и суровый И. И. Горбачевский, писал М. Бестужеву: «Пущин — чудо-человек, что хочешь, так он хорош. Но заговорщик он или нет? Способен ли он кверху дном все переворотить? Нет и нет, — ему надобны революции, чтобы были на розовой воде: они все хотели всё сделать переговорами, ожидая, чтобы сенат к ним вышел и, поклонившись, спросил: что вам угодно? Всё к вашим услугам!» Пущин был человек бодрый и жизнерадостный, трудно падавший духом; в самые трудные минуты он оживлял товарищей шутками и смехом. Женщины носили его на руках, у него было много романов.

Барон АНТОН АНТОНОВИЧ ДЕЛЬВИГ
(1798—1831)

О лицейской поре его жизни см. гл. III.— По окончании лицея служил в разных петербургских канцеляриях, нуждался сильно. Одно время жил вместе с начинавшим поэтом Боратынским. В совместном стихотворении они так описывают тогдашнюю свою жизнь:

Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком,
Жил поэт Боратынский с Дельвигом, тоже поэтом.
Тихо жили они, за квартиру платили немного,
В лавочку были должны, дома обедали редко;
Часто, когда покрывалось небо осеннею тучей,
Шли они в дождик пешком, в панталонах трикотовых тонких,
Руки спрятав в карманы (перчаток они не имели!),
Шли и твердили шутя: «какое в россиянах чувство!»

В 1821 г. Дельвиг поступил в Публичную библиотеку помощником библиотекаря И. А. Крылова, известного баснописца. В обязанности Дельвига входило дежурить иногда в библиотеке, исправлять и заполнять какой-то бесконечный каталог и выдавать книги посетителям. Он там много читал и приобрел ту начитанность, которою удивлял друзей, но в лености по исправлению служебных обязанностей нисколько не уступал своему начальнику Крылову. В апреле 1825 г. Дельвиг ездил к опальному Пушкину в Михайловское и прожил там несколько дней. Утро они проводили в чтении и литературных спорах, потом играли на биллиарде, обедали поздно, вечера проводили в Тригорском. Пушкин писал брату Льву: «Как я рад баронову приезду! Он очень мил! Наши барышни все в него влюбились, — а он равнодушен, как колода, любит лежать на постели, восхищаясь «Чигиринским старостою» (поэма Рылеева)». В стихотворении «19 октября 1825 г.» Пушкин так вспоминал об этом посещении Дельвига:

Когда постиг меня судьбины гнев,
Для всех чужой, как сирота бездомный,
Под бурею главой поник я томной
И ждал тебя, вещун Пермесских дев.
И ты пришел, сын лени вдохновенный,
О, Дельвиг мой: твой голос пробудил
Сердечный жар, так долго усыпленный,
И бодро я судьбу благословил.

За это посещение ссыльного Пушкина Дельвиг был удален со службы директором Публичной библиотеки А. Н. Олениным. Через несколько месяцев он поступил в канцелярию министерства внутренних дел. В октябре того же года женился на С. М. Салтыковой. С 1824 г. редактировал ежегодные альманахи «Северные цветы», замечательнейшие по подбору произведений и изящной внешности.

Роста Дельвиг был выше среднего, очень полный; эта болезненная полнота его казалась дородством; из-под высокого, прекрасного лба смотрели голубые глаза, всегда в очках с черной оправой. Был лениво-медлителен и двадцатилетним еще юношей очень степенен; Пушкин говорил, что Дельвиг «родился женатым». Однако он любил и покутить, и по-

скандалить, что тогда считалось молодечеством; в кругу повес «Зеленой Лампы» чувствовал себя, как дома. Писал Пушкину в Михайловское: «...нет ничего скучнее теперешнего Петербурга. Вообрази, даже простых шалунов нет! Квартальных некому бить! Мертво и холодно». Первое от Дельвига впечатление было человека холодного и ко всему равнодушного, но кто узнавал его ближе, тот горячо начинал любить за глубокое душевное благородство, веселое добродушие и отзывчивость. А. П. Керн вспоминает: «Мы никогда не видели Дельвига скучным или неприязненным к кому-либо. Может быть, та же самая любовь спокойствия, которая мешала ему быть деятельным, делала его до крайности снисходительным ко всем и даже в особенности к слугам. Они обращались с ним за панибрата, могли быть и грубыми, и пренебрежительными; он на них рукой махнул, и, если бы они вздумали ходить на головах, я думаю, он бы улыбнулся и сказал бы свое обычное: «Забавно!» Он так мило, так оригинально произносил это «забавно», что весело вспомнить. И замечательно, что иногда он это произносил, когда вовсе не было забавно, а было грустно или досадно. Гостеприимный, великодушный, деликатный, он умел счастливить всех его окружающих». Жил он, женившись, на Владимирской улице. По утрам занимался в своем маленьком кабинете, отделенном от передней простой перегородкою из зеленой тафты. Дома ходил в малиновом шелковом шлафроке, за обедом сам разливал суп. Любил хорошее вино и вкусный стол. Спал долго, рано встать было для него серьезным страданием. Был, как Пушкин, очень суеверен: боялся тринадцати человек за столом, передачи соли, плевал, встретясь на улице со священником, имел кроме того много собственных примет. Был, однако, очень умен, обладал тонким вкусом и выдающимся критическим чутьем при полном отсутствии профессиональной зависти. Еще в лицее он восторженно приветствовал в стихах Пушкина как бесспорного преемника Державина и предсказывал ему бессмертие. Оценил Боратынского и Языкова, когда они были совсем еще неизвестны. В сонете, обращенном к молодому, только что начинавшему Языкову, в 1823 г. Дельвиг писал:

Младой певец, дорогою прекрасной
Тебе итти к Парнасским высотам,
Тебе венок, — поверь моим словам, —
Плетет Амур с Каменой сладкогласной.
От ранних лет я пламень не напрасный
Храню в душе, благодаря богам,
Я им влеком к возвышенным певцам
С какою-то любовию пристрастной.
Я Пушкина младенцем полюбил,
С ним разделял и грусть, и наслажденье,
И первый я его услышал пенье

И за себя богов благословил!
Певца «Пиров» я с музой подружил
И славой их горжусь в вознагражденье.

Певец «Пиров» Боратынский, в самую тяжелую пору жизни нашедший опору в дружбе и руководстве Дельвига, писал ему:

Ты помнишь ли, с какой судьбой суровой
Боролся я, почти лишенный сил?
Не ты ль тогда мне бодрость возвратил?
Не ты ль душе повеял жизнью новой?
Ты ввел меня в семейство добрых муз...
...Молюся я судьбине,
Чтоб для тебя я стал хотя отныне,
Чем для меня ты стал уже давно!

Пушкин любил Дельвига горячо; по единогласному свидетельству друзей, никого он не любил больше Дельвига. А. П. Керн вспоминает их встречу осенью 1828 г. при возвращении Дельвига в Петербург после девятимесячной отлучки: «Пушкин, узнав о приезде Дельвига, тотчас приехал, быстро пробежал через двор и бросился в его объятия: они целовали друг у друга руки и, казалось, не могли наглядеться один на другого. Они всегда так встречались и прощались: была обаятельная прелесть в их встречах и расставаниях». Дельвиг имел большое влияние на Пушкина. «Дельвиг со всеми товарищами по лицею был одинаков в обращении, но Пушкин обращался с ними разно, — вспоминает племянник Дельвига. — С Дельвигом он был вполне дружен и слушался, когда Дельвиг его удерживал от излишней картежной игры и от слишком частого посещения знати, к чему Пушкин был очень склонен. С некоторыми же из своих товарищей-лицеистов, в которых Пушкин не видел ничего замечательного, обходился несколько надменно, за что ему часто доставалось от Дельвига. Тогда Пушкин, видимо, на несколько времени изменял свой тон и с этими товарищами».

После женитьбы Дельвига дом его стал одним из литературных центров Петербурга. Собирались по средам и воскресеньям. Постоянными посетителями были Пушкин, Мицкевич, Жуковский, Крылов, Гнедич, Плетнев, Вяземский, М. И. Глинка, лицейские товарищи Дельвига М. Л. Яковлев и Илличевский, начинающие поэты Подолинский, Щастный, Деларю, в последние годы — Гоголь. На этих вечерах говорили по-русски, а не по-французски, как тогда было принято. Читали новые произведения, спорили о литературе, Глинка играл на фортепиано, Яковлев пел.

В 1830 г. удалось осуществить давнюю мечту пушкинского кружка — иметь собственную литературную газету для проведения в публи-

ку здравых художественных вкусов и для борьбы с растлевающим влиянием на нее булгаринской прессы. Редактором «Литературной газеты» стал Дельвиг. Булгаринские органы, почуяв опасного конкурента, яро напали на газету и пустили в ход привычное для них оружие — доносы. Дельвигу несколько раз приходилось иметь объяснения с Третьим отделением. Наконец, разразилась гроза. В конце октября 1830 г. вышел очередной номер «Литературной газеты». В конце номера была помещена заметка, в которой приводилось (на французском языке) четверостишие Казимира Делавиня на памятник, который в Париже предполагалось поставить «жертвам 27, 28 и 29 июля» (июльской революции). Стихи такие: «Франция, скажи мне их имена, я их не вижу на этом погребальном памятнике. Они победили так быстро, что ты стала свободной, раньше чем успела узнать имена их». Дельвиг получил предложение явиться в Третье отделение. Бенкендорф встретил его очень грубо и спросил, обращаясь на «ты»:

— Что ты опять печатаешь недозволенное?

Кричал, что он Дельвига с его друзьями Пушкиным и Вяземским упечет в Сибирь, топал на него ногами. Дельвиг оправдывался с большим достоинством, — по терминологии Бенкендорфа, «самонадеянно и дерзко». Бенкендорф выгнал его из кабинета, повторив:

— Вон, вон, я упрячу тебя с твоими друзьями в Сибирь!

Дельвиг собирался жаловаться на Бенкендорфа царю, но сановные его друзья пришли в ужас от такого его намерения и отговорили его, растолковав, что можно царю жаловаться на кого угодно, даже на самого царя, только не на Бенкендорфа, что этим Дельвиг погубит и себя, и жену с маленькою дочерью. По их заступничеству, Бенкендорф послал к Дельвигу своего чиновника заявить, что сам по нездоровью не может приехать, а прислал извиниться в том, что погорячился при свидании, что издание «Литературной газеты» будет снова разрешено, но только под редакцией Сомова (помощника Дельвига), так как уже состоялось высочайшее повеление о запрещении издания под его редакцией. Извинение Бенкендорфа нисколько не подействовало на Дельвига к лучшему. Он, всегда хворый и постоянно принимавший лекарства, заболел сильнее прежнего, впал в апатию, не хотел никого видеть. Зимою он простудился, заболел «гнилою горячкою» и умер 14 января 1831 г.

На Пушкина смерть Дельвига произвела впечатление потрясающее. Он был в то время в Москве и писал Плетневу: «Грустно, тоска. Вот первая смерть мною оплаканная. Никто на свете не был мне ближе Дельвига. Из всех связей детства он один оставался на виду, — около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Вчера провел я день с Нащокиным, который сильно поражен его смертью.

Говорили о нем, называя его «покойник Дельвиг», и этот эпитет был столь же странен, как и страшен. Нечего делать! Согласимся. Покойник Дельвиг. Быть так. Боратынский болен с огорчения. Меня не так-то легко с ног свалить. Будь здоров — и постараемся быть живы».

В этом же году, в стихах на лицейскую годовщину, Пушкин писал:

Чем чаще празднует лицей
Свою святую годовщину,
Тем робче старый круг друзей
В семью стесняется едину;
Тем реже он; тем праздник наш
В своем веселии мрачнее;
Тем глуше звон заздравных чаш,
И наши песни тем грустнее...
Мы возмужали; рок судил
И нам житейски испытанья;
И смерти дух средь нас ходил
И назначал свои закланья.
Шесть мест упраздненных стоят,
Шести друзей не узрим боле:
Они, разбросанные, спят
Кто здесь, кто там, на ратном поле,
Кто дома, кто в земле чужой,
Кого недуг, кого печали
Свели во мрак земли сырой, —
И надо всеми мы рыдали.
И, мнится, очередь за мной...
Зовет меня мой Дельвиг милый,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых,
Пиров и гордых помышлений,
Туда, в толпу теней родных
Навек от нас ушедший гений.

Баронесса СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА ДЕЛЬВИГ
(1806—1888)

Жена поэта Дельвига, дочь М. А. Салтыкова (см. гл. IV) и швейцарской француженки. Образование получила в петербургском частном женском пансионе, где одним из учителей ее был П. А. Плетнев, внушивший ей большую любовь к русской словесности. Еще девушкой она знала наизусть всего Пушкина, любила Дельвига, Боратынского, Рылеева. Летом 1824 г., живя в смоленской деревне своего дяди П. П. Пассека, она горячо полюбила гостившего там П. Г. Каховского, будущего декабриста, одного из пяти повешенных. Каховский сделал предложе-

ние, но отец Софьи Михайловны, М. А. Салтыков, решительно отказал на том основании, что «у него нет ничего». Каховский должен был немедленно уехать, не простившись с любимой. Он не раз пытался увидеться с нею в Петербурге, предлагал ей через ее брата увезти ее, но Софья Михайловна отказалась, хотя в душе продолжала любить его, и в дальнейшем стала возвращать ему его письма нераспечатанными. Подруге своей она писала: «Я раскаиваюсь, что забывала о боге так долго и стараюсь загладить свою вину. Если я когда-нибудь выйду замуж, то не хочу больше, чтобы это случилось по «страсти»; я вижу, что все порывы страсти — лишь безрассудство, которое ведет к раскаянию и дает лишь призрачные радости».

В мае 1825 г. Софья Михайловна познакомилась с бар. А. А. Дельвигом. Они быстро полюбили друг друга, Дельвиг уже через две недели после знакомства сделал предложение и получил от отца и дочери согласие. Летом Дельвиг писал невесте: «Я отдался тебе на жизнь и на смерть. Береги меня твоею любовью, употреби все, чтобы сделать меня высочайшим счастливцем, или скорее скажи: «умри, друг», — и я приму это слово, как благословение». 30 октября Дельвиг женился, получив в приданое от отца невесты 80 000 (по другим сведениям — 100 000) рублей чистыми деньгами и обещание завещать 130 душ. Племянник поэта А. И. Дельвиг рассказывает: «Когда я приехал в Петербург, Софье Михайловне Дельвиг только что минуло двадцать лет. Она была очень добрая женщина, очень миловидная, симпатичная, прекрасно образованная, но чрезвычайно вспыльчивая, так что часто делала такие сцены своему мужу, что их можно было выносить только при его хладнокровии. Она много оживляла общество, у них собиравшееся». Общество было почти исключительно мужское. Женского, кстати, и сама Софья Михайловна не любила. Пылкая и страстная, она охотно принимала ухаживания окружавших ее поклонников. В конце 1827 г. приехал в Петербург Алексей Вульф. Он записывает в дневнике: «Я познакомился с С. М. Дельвиг, молодою, очень миленькою женщиною лет двадцати. С первого дня нашего знакомства показывала она мне очень явно свою благосклонность, которая мне чрезвычайно польстила оттого, что я так скоро обратил на себя внимание женщины, жившей в свете и всегда окруженной толпою молодежи столичной. Рассудив, что, по дружбе ее с А. П. Керн и по разным слухам, она не должна быть весьма строгих правил, решился я ее предпочесть. Я не ошибся в моем расчете: недоставало только случая, чтобы увенчать мои желания. Но неожиданно все расстроилось. Муж ее, движимый, кажется, ревностью не ко мне одному, принял поручение ехать на следствие в дальнюю губернию и через месяц после нашего знакомства увез мою красавицу».

По возвращении Дельвигов в Петербург отношения между Вульфом и женою Дельвига возобновились. «Любовные дела мои шли успешно, — рассказывает он. — Софья становилась с каждым днем нежнее, пламенней, и ревность мужа, казалось, усиливала ее чувства. Совершенно от меня зависело увенчать его чело, но его самого я слишком много любил, чтобы так поступить с ним. Я ограничился наслаждением проводить с нею вечера в разговоре пламенным языком сладострастных осязаний». Загородная прогулка на тройках в Красный Кабачок окончательно упрочила их отношения. «С этого гуляния, — продолжает Вульф, — Софья совершенно предалась своей временной страсти и, почти забывая приличия, давала волю своим чувствам, которыми никогда, к несчастию, не училась она управлять. Мы не упускали ни одной удобной минуты для наслаждений, — с женщиной труден только первый шаг, а потом она сама почти предупреждает роскошное воображение, всегда жаждующее нового сладострастия. Я не имел ее совершенно, потому что не хотел, но несколько вечеров провел я с нею, где истощил мое воображение, придумывая новые сладострастия». Вскоре затем приехал из Москвы молодой студент-медик С. А. Боратынский, брат поэта, очень красивый, очень умный, с пылкими глазами, и целые дни стал проводить у Дельвигов, скрывая от петербургских родных свой приезд. В связи со всем этим загадочное и жуткое впечатление производит запись Вульфа о мимолетной встрече в его присутствии Софьи Михайловны с Пушкиным: «Мы начали говорить о нем; она уверяла, что его только издали любит, а не вблизи; я удивлялся и защищал его; наконец она, приняв одно общее мнение его об женщинах за упрек ей, заплакала, говоря, что это ей тем больнее, что она его заслуживает. Странное было для меня положение быть наедине с женщиною, в которую я должен быть влюблен, плачущею об прежних своих грехах».

Наружно семейная жизнь Дельвигов производила впечатление семейной идиллии, но Дельвиг ясно видел, что творится под покровом этой идиллии. По мнению некоторых исследователей, личная семейная трагедия Дельвига в большей мере ускорила его смерть, чем предсмертное его столкновение с Бенкендорфом. А. П. Керн после смерти Дельвига писала Вульфу: «Барон Дельвиг переселился туда, где нет ревности и воздыханий». И, должно быть, Дельвиг горько вспоминал о самом себе, когда писал элегию на смерть Веневитинова; на жалобы девушки о рано погибшем юноше роза отвечает:

Дева, не плачь! Я на прахе его в красоте расцветаю.
Сладость он в жизни вкусив, горечь оставил другим.
Ах! и любовь бы изменою душу певца отравила!
Счастлив, кто прожил, как он, век соловьиный и мой!

Софья Михайловна была глубоко потрясена смертью Дельвига. В феврале она писала подруге: «Это — рана, которая никогда не закроется. Потерять такого друга, как он, в таком возрасте! После того, что я испытала такое глубокое счастие в продолжение пяти лет. Можно ли когда-нибудь забыть его! Он был человек необыкновенный и муж необыкновенный... Конечно, я не была достойна такого человека, однако было слишком жестоко отнять его у меня». Однако уже в начале мая О. С. Павлищева писала мужу: «Баронессу Дельвиг я видела только два раза, она не любит, чтобы ее посещали, — женщины, разумеется. Но она всегда со своим кузеном Сапуном и Сомовым, и видели, как она кокетничала в церкви с Резимоном».

В конце мая приехал в Петербург С. А. Боратынский. Он повел энергичную атаку на Софью Михайловну: говорил, что жить без нее не может, умолял выйти за него замуж, клялся всего себя посвятить ей и ее дочери, заявил, что, если она ему откажет, он решил покончить с собою. «Его отчаяние, — писала Софья Михайловна подруге, — малая надежда на изменение его страшного решения, отвращение к предстоявшей мне совместной жизни с моим отцом, наконец, одна минута слабости, — все это решило мою судьбу, и я не могла получить от нетерпеливости Сергея отсрочки, которая требовалась хотя бы приличием». В конце июля они тайно повенчались. Софья Михайловна с маленькою дочкою поселилась у свекрови своей, баронессы Дельвиг, в ее тульском имении. Но вскоре выяснилась ее беременность, она объявила о своем замужестве и уехала в Тамбовскую губернию к новому своему мужу. Остальную жизнь она прожила в тамбовском имении мужа. Д-р Боратынский нигде не служил, но лечил безвозмездно почти всю Тамбовскую и Саратовскую губернии. Жизнь с ним Софьи Михайловны была очень тяжелая. Павлищева писала мужу в 1835 г.: «Она живет с мужем, как собака с волком. Он, под предлогом посещения больных, целыми месяцами не бывает дома... Он ее чубуком бьет беспрестанно».

ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
(1794—1856)

Родился в Москве, в богатой помещичьей семье. Трех лет остался круглым сиротою; вместе со старшим на полтора года братом Михаилом воспитывался в доме дяди своего по матери, богатого екатерининского барина кн. Д. М. Щербатова. Замечательная красота мальчика, бойкость, острый ум и необыкновенные способности сделали его в родственном кругу общим баловнем. Около 1809 г. Чаадаев, блестяще подготов-

ленный, поступил в московский университет. Там его товарищами были Грибоедов, Н. И. Тургенев, И. Д. Якушкин, В. А. Перовский. Чаадаев выдавался начитанностью, резким своеобразием ума и гордою самостоятельностью. Вместе с тем уже шестнадцати лет он был одним из самых блестящих молодых людей московского большого света и одним из лучших танцоров. По окончании университета поступил на военную службу в лейб-гвардии Семеновский полк в Петербурге. Проделал кампанию 1812—1814 гг., участвовал в бородинском сражении, тарутинском, лейпцигском и многих других. В начале 1816 г. перевелся в лейб-гвардии гусарский полк, стоявший в Царском селе. Здесь, в доме Карамзина, Чаадаев познакомился с лицеистом Пушкиным. Они сблизились. Племянник Чаадаева М. И. Жихарев рассказывает: «Во время пребывания Чаадаева с лейб-гусарским полком в Царском селе между офицерами полка и воспитанниками лицея образовались непрестанные ежедневные и очень веселые отношения. То было, как известно, золотое время лицея. Воспитанники поминутно пропадали в тенистых вековых аллеях царскосельских садов, иногда даже в переходах и различных помещениях самого царского дворца. Шумные скитания щеголеватой, утонченной молодежи очень скоро возбудили внимательное, бодрствующее чутье Чаадаева и еще скорее сделались целью его верного, меткого, исполненного симпатического благоволения охарактеризования. Юных, разгульных любомудрцев он сейчас же прозвал «философами-перипатетиками». Прозвание было принято воспитанниками с большим удовольствием, но ни один из них не сблизился столько с его творцом, сколько Пушкин». Пушкин часто посещал Чаадаева, жадно слушал беседы умного и образованного гусара. Беседы эти, по мнению одного из мемуаристов, больше способствовали развитию и образованию Пушкина, чем вся лицейская наука.

В 1817 г. Чаадаев был назначен адъютантом к командиру гвардейского корпуса генералу Васильчикову и поселился в Петербурге. Пушкин кончил курс в лицее и тоже переехал в Петербург. Знакомство их продолжалось. Дошел рассказ современника в черновой записи Анненкова: «Чаадаев, воспитанный превосходно, не по одному французскому манеру, но и по-английски, был уже двадцати шести лет, богат и знал четыре языка. Влияние на Пушкина было изумительно. Он заставлял его мыслить. Французское воспитание нашло противодействие в Чаадаеве, который уже знал Локка и легкомыслие заменял исследованием. Чаадаев был умен, он думал о том, о чем никогда не думал Пушкин. Пушкин, восхищавшийся Державиным, встретил у Чаадаева опровержение, а именно за неточность изображений. Пример был «Путник» Державина: «Луна светит, сквозь мрак ужасный путник едет в челноке». Взгляд Чаадаева на жизнь был серьезен. Он поворотил Пушкина на

мысль. Пушкин покидал свои дурачества в доме Чаадаева, который жил тогда в Демутовом трактире». Об огромном умственном и нравственном влиянии на него Чаадаева рассказывает и сам Пушкин в послании к Чаадаеву:

Ты был целителем моих душевных сил;
О, неизменный друг, тебе я посвятил
И краткий век, уже испытанный судьбою,
И чувства, может быть, спасенные тобою!
Во глубину души вникая строгим взором,
Ты оживлял ее советом иль укором;
Твой жар воспламенял к высокому любовь;
Терпенье смелое во мне рождалось вновь;
Уж голос клеветы не мог меня обидеть:
Умел я презирать, умея ненавидеть.

Они беседовали, спорили, вместе читали. Беседы были на самые разнообразные темы. Но главною темою было то, что тогда составляло общую боль всех живых душою людей: мрачный гнет самодержавия, отсутствие свободы, тяжелое положение родины. По тогдашнему своему настроению Чаадаев был близок к членам Тайного общества, есть даже сведения, что он состоял в «Союзе благоденствия». Пушкин так писал, обращаясь к Чаадаеву:

Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванья.
Мы ждем в томленьи упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластья
Напишет наши имена!

При исключительном уме, при необыкновенной образованности, Чаадаев был очень красив: белый, с нежным румянцем, стройный, тонкий, изящный, с великолепным лбом; товарищи называли его «le beau Tchadaef». Обладал безукоризненно-светскими манерами, был любезен, одевался с непринужденным изяществом денди. Этот дендизм, которым в то время увлекался и Пушкин, так же импонировал ему, как ум и образованность Чаадаева. Он рассказывает про Онегина:

Второй Чадаев, мой Евгений,
Боясь ревнивых осуждений,
В своей одежде был педант
И то, что мы назвали франт.
Он три часа, по крайней мере,
Пред зеркалами проводил...

Весною 1820 г., когда Пушкин был вызван к петербургскому генерал-губернатору и ему грозила жестокая кара за его революционные стихи, Чаадаев поздним вечером прискакал к Карамзину, немного удивил его своим приездом в такой поздний час, принудил Карамзина оставить свою работу и убедил, не теряя времени, заступиться за Пушкина перед императором Александром. Пушкин, как известно, был отправлен на юг, на службу к генералу Инзову.

В ссылке Пушкин часто вспоминал Чаадаева, переписывался с ним. Весною 1821 г. он записал в кишиневском дневнике: «Получил письмо от Чаадаева. Друг мой, упреки твои жестоки и несправедливы: никогда я тебя не забуду. Твоя дружба мне заменила счастье, — одного тебя может любить холодная душа моя».

И в послании к Чаадаеву писал:

...дружбы нет со мной: печальный вижу я
Лазурь чужих небес, полдневные края;
Ни музы, ни труды, ни радости досуга,
Ничто не заменит единственного друга...
Ты сердце знал мое во цвете юных дней;
Ты видел, как потом в волнении страстей
Я тайно изнывал, страдалец утомленный;
В минуты гибели над бездной потаенной
Ты поддержал меня недремлющей рукой;
Ты другу заменил надежду и покой...
Одно желание: останься ты со мною!
Небес я не томил молитвою другой.
О, скоро ли, мой друг, настанет срок разлуки?
Когда соединим слова любви и руки?
Когда услышу я сердечный твой привет?
Как обниму тебя! Увижу кабинет,
Где ты всегда мудрец, а иногда мечтатель
И ветреной толпы бесстрастный наблюдатель;
Приду, приду я вновь, мой милый домосед,
С тобою вспоминать беседы прежних лет,
Младые вечера, пророческие споры,
Знакомых мертвецов живые разговоры;
Поспорим, перечтем, посудим, побраним,
Вольнолюбивые надежды оживим,
И счастлив буду я...

В судьбе Чаадаева в это время произошел резкий перелом. Он преуспевал на службе, его уже прочили в флигель-адъютанты к импера-

тору. Осенью 1820 г. произошло восстание Семеновского полка. Царь в это время находился за границей на конгрессе в Троппау. Командир гвардейского корпуса Васильчиков послал к нему с докладом о случившемся своего адъютанта Чаадаева. Чаадаев исполнил поручение, а вскоре после этого неожиданно подал в отставку. Рассказывали, что Чаадаев ехал к царю очень неспеша, долго задерживался на станциях в заботах об удобствах и костюме, и приехал тогда, когда император узнал уже о случившемся от Меттерниха. Это все вздор, ничего такого не было. Александр был своевременно извещен о событии фельдъегерем, Чаадаев же должен был устно сообщить ему все подробности. Но приняв поручение, Чаадаев ставил себя в очень неловкое положение: все в Петербурге знали, что восстание солдат и попустительство офицеров вызваны были неслыханною даже для того времени свирепостью командира полка Шварца, очень любимого императором. Этого, конечно, Чаадаев не мог и, во всяком случае, не посмел сообщить императору, а должен был изложить официальную версию начальства, где виновными выставлялись солдаты и офицеры полка. Все гвардейское офицерство было возмущено, что Чаадаев, сам бывший семеновский офицер, взял на себя такое поручение, обвиняло его в желании выслужиться и получить флигель-адъютантские вензеля. Самолюбивый Чаадаев нашел один выход восстановить честь — отказался от предложенного ему флигель-адъютантства и ушел со службы. Было перлюстрировано письмо его к тетке, где Чаадаев с пренебрежительною насмешкою говорил о флигель-адъютантстве. Он уволен был в отставку с чином «отставного гвардии ротмистра», без обычного в таких случаях повышения в следующий чин.

Два года Чаадаев прожил в полном бездействии — то в Москве, то в деревне у тетки. За это время он испытал какой-то глубокий душевный переворот, сильно хворал и, совсем больной, в июле 1823 г., уехал лечиться за границу. У него было тяжелое нервное расстройство, он страдал упорными запорами, геморроем Чаадаев побывал в Англии, Франции, Италии, Швейцарии, Германии. В Берне с ним встречался Д. Н. Свербеев. Он рассказывает: «Красивый Чаадаев всех поражал недоступною своею важностью, безукоризненной изящностью манер и одежды. Оставивший службу почти поневоле и очень недовольный собою и всеми, он выражал все свое негодование на Россию и на всех русских без исключения. Он не скрывал в своих резких выходках глубочайшего презрения ко всему нашему прошедшему и настоящему и решительно отчаивался в будущем. Он обзывал Аракчеева злодеем, высших властей — военных и гражданских — взяточниками, дворян — подлыми холопами, духовных — невеждами, все остальное — коснеющим и пре-

смыкающимся в рабстве». За границей Чаадаев познакомился с Гумбольдтом, Кювье. На карлсбадских водах провел несколько дней с Шеллингом в близком общении. Шеллинг говорил, что Чаадаев, по его мнению, один из замечательных людей нашего времени и уж, конечно, самый замечательный из всех известных ему русских.

Заграничное лечение не помогло Чаадаеву. Летом 1826 г. он вернулся в Россию. При въезде подвергся обыску по подозрению в прикосновенности к декабрьскому движению, был оправдан, однако московскому генерал-губернатору было поручено иметь за ним бдительный надзор. Чаадаев поселился в Москве и повел жизнь совершенно затворническую. Ни с кем не видался; когда, в ежедневных своих прогулках по городу, нечаянно встречался с людьми самыми близкими, явно от них убегал или надвигал шляпу на лицо, чтоб его не узнали. Мрачным, угрюмым нелюдимом он прожил так пять лет. Лечившему его профессору Альфонскому он смертельно надоел своею мнительностью и капризами. Летом 1831 г. Альфонский почти насильно свез Чаадаева в Английский клуб. Здесь Чаадаев встретил множество старых знакомых и был радушно принят ими. С этого дня Чаадаев сделался постоянным посетителем клуба, стал бывать у знакомых, принимать у себя, словом, был возвращен обществу. Вместе с тем и здоровье его заметно поправилось.

В египетской пустыне лежит в развалинах древняя столица Египта — стовратные Фивы. В первые века христианства эти развалины назывались Фиваидой. В норах обрушившихся храмов и в гробницах ютились дикие звери, птицы, — в них же жили христианские отшельники, в молитве и в молчании готовившиеся к проповедыванию среди людей своей веры. Такой Фиваидой, по словам Чаадаева, явилось для него московское пятилетнее его одиночество. При внешней бездеятельности он много думал, читал, искал. В результате жизненная ладья его, носившаяся по морю сомнений и уныния, «пристала к подножию креста». Посмотрим, что обрел он у этого подножия.

Историей руководит божий промысел. Языческие народы в жизни своей руководились «интересами», у христианских народов Европы все положительные, материальные, личные интересы поглощались идеей. В этом одушевлении жизни духовными интересами вся тайна европейской культуры и залог ее дальнейшего развития. Эллинская культура и самый яркий ее представитель Гомер вызывают в Чаадаеве омерзение — «гибельный героизм страстей, грязный идеал красоты, необузданное пристрастие к земле, — все это заимствовано нами у Гомера. Философия истории по совести обязана бы наложить на чело Гомера клеймо неизгладимого позора». Средние века — это наивысший и прекраснейший расцвет истинно-христианской культуры. «По истории средних ве-

ков, — пишет Чаадаев, — можно ясно видеть, какое направление приняла бы мысль христианских народов, если бы она всецело отдалась руке, которая ее вела». Но пришла эпоха Возрождения и сбила европейские народы с правильного пути. Этот возврат к язычеству будет возбуждать в новых народах стыд как воспоминание о сумасшедшем и преступном увлечении молодости. По мнению Чаадаева, «доказано, что наиболее плодотворными эпохами в истории человеческого духа были те, когда наука и религия шли рука об руку»; все великие научные открытия совершены тогда, когда наука опиралась на теологию (!). Новейшие научные открытия ведут к полному подтверждению космогонической системы, изложенной в библии, и философия истории совершенно невозможна без допотопных событий, рассказанных в «книге Бытия». Все революции ничего, кроме вреда, не приносят и отбрасывают человечество далеко назад. «Ищите же прежде всего царства божия и правды его, и все остальное приложится вам». Сила, объединяющая человечество и ведущая его к царству божию на земле, это — «истинное христианство, представленное католичеством». Папство существенным образом вытекает из самого духа христианства, оно централизует христианские идеи, сближает их между собою и в силу своего божественного призвания величаво парит над миром материальных интересов. Протестантизм снова поверг мир в языческую разъединенность. Но, — «слава богу, реформация не все разрушила; слава богу, общество было уже вполне построено для вечной жизни, когда этот бич поразил христианский мир». Россия осталась чужда великому нравственному движению, которым жила католическая Европа. Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к растленной, глубоко презираемой европейскими народами Византии и получили из ее рук мертвое, в корне искаженное христианство. И по этой причине, когда христианский мир величественно шествовал по пути, предначертанному его божественным основателем, — мы, хотя и носили имя христиан, не двигались с места.

Вот какое учение вынес Чаадаев из своей Фиваиды. Он стал появляться во всех великосветских салонах, ежедневно бывал в клубе. Изящный, умный, красноречивый, он везде делался центром общества. М. И. Жихарев рассказывает: «Склад речи и ума Чаадаева поражал всякого какою-то редкостью и небывалою невиданностью, чем-то ни на кого не похожим. Он обладал способностью магнетического притяжения людей. Его разговор, даже одно его присутствие действовали на других, как шпоры на благородную лошадь». Дамы ему поклонялись и носили на руках, им Чаадаев проповедывал особенно охотно, к даме обращены его религиозно-философские письма, которые он в копиях распространял в обществе. Он сам где-то назвал себя «философом женщин».

Чаадаев был проповедником, в представлении его недоброжелателей. Буйно-революционный христианский демократизм Ламмене вызывал в нем отрицательное чувство. «Как можно искать разума в толпе? — писал он. — Где видано, чтоб толпа была разумна? Это вовсе не христианское исповедание. Каждому известно, что христианство, во-первых, предполагает жительство истины не на земли, а на небеси; во-вторых, что когда она является на земли, то возникает не из толпы, а из среды избранных или призванных».

В 1836 г. Надеждин опубликовал в своем журнале «Телескоп» одно из «Философических писем» Чаадаева, написанное шесть лет назад и представлявшее совершенно ясное частичное изложение чаадаевской системы, выше изложенной: спасение человечества только в религии; у западноевропейских народов единственным могучим двигателем были идеи, поглощавшие все материальные и личные выгоды; основная сила, оживотворяющая Европу, это — католицизм; наше декабрьское движение — плод дурных понятий и гибельных заблуждений, оно отодвинуло нас назад на полстолетия и т. д. Рядом с этим письмо заключало в себе страстные нападки на Россию, на ее отсталость, некультурность, ничтожность ее истории, убожество ее настоящего. «Посмотрите вокруг себя, — писал Чаадаев. — Все как будто на ходу. Мы все как будто странники. Нет ни у кого сферы определенного существования. Мы явились в мир, как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, которые нам предшествовали, не усвоили себе ни одного из поучительных уроков минувшего... Мы растем, но не зреем; идем вперед, но по какому-то косвенному направлению, не ведущему к цели... В наших головах решительно нет ничего общего; все в них частно, и к тому еще неверно, неполно. Даже в нашем взгляде я нахожу что-то неопределенное, холодное, несколько сходное с физиономией народов, стоящих на низших ступенях общественной лестницы... Во все продолжение нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей: ни одной полезной мысли не возросло на бесплодной нашей почве; ни одной великой истины не возникло из-среди нас». Под статьею стояло: «Некрополис» (город мертвых, т. е. Москва).

Герцен ярко рассказывает о впечатлении, произведенном статьей Чаадаева:

«Письмо Чаадаева было своего рода последнее слово, рубеж. Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, — все равно, надобно было проснуться. Что, кажется, значат два-три листа, помещенных в ежемесячном обозрении? А между тем, такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране,

молчащей и непривыкшей к независимому говору, что «Письмо» Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. После «Горя от ума» не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление. Между ними — десятилетнее молчание, 14 декабря, виселицы, каторга, Николай. Пустое место, оставленное сильными людьми, сосланными в Сибирь, не замещалось. Мысль томилась, работала, но еще ни до чего не доходила. Говорить было опасно, да и нечего было сказать. Вдруг тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала речи для того, чтобы спокойно сказать: «lasciate ogni speranza (оставьте всякую надежду)!» Появился, наконец, человек с душою, переполненною горечью; он нашел страшные слова, чтобы сказать с погребальным красноречием, с убийственным спокойствием все, что накопилось за десять лет горького на душе образованного русского. Строгий и холодный, автор требует отчета у России о всех страданиях, которыми она наделяет всякого, кто осмелился бы выйти из состояния скотины. Он хочет знать, что мы этою ценою покупаем, чем мы заслужили такое положение. Да, этот мрачный голос послышался только для того, чтобы сказать России, что она никогда не жила по-человечески, что ее прошлое было бесполезно, ее настоящее излишне, и что у ней нет никакой будущности».

Письмо Чаадаева, хотя и ложно понятое, как впоследствии признавал и сам Герцен, все же потрясло всю Россию, мыслящую, ищущую, задыхающуюся в николаевских цепях живую ее часть. Но и в официальной России письмо произвело огромный переполох. Журнал, где напечатано было письмо Чаадаева, закрыли, редактора Надеждина сослали в Устьсысольск, цензора, пропустившего статью, уволили со службы. Чаадаева же официально объявили сумасшедшим и отдали под врачебный надзор. Каждое утро полицейский лекарь должен был посещать Чаадаева и наблюдать за его здоровьем. Ему запрещено было писать. В остальном Чаадаеву была предоставлена свобода, он мог выходить из дому, мог принимать у себя гостей. Москва, всегда державшаяся несколько оппозиционно по отношению к Петербургу, с большим сочувствием относилась к людям, преследуемым Петербургом. Чаадаев, наряду с генералом Ермоловым и М. Ф. Орловым, стал в этом отношении одним из популярнейших в Москве людей. Популярности его способствовало исключительное обаяние, от него исходившее, огромный ум и изящное тонкое красноречие. Герцен так описывает Чаадаева того времени: «Печальная и самобытная фигура Чаадаева резко отделялась каким-то грустным упреком на фоне московского высшего общества. Я любил смотреть на него среди этой мишурной знати, ветреных сенаторов, седых повес и почетного ничтожества. Как бы ни была густа толпа, глаз на-

ходил его тотчас. Лета не исказили стройного стана его; он одевался очень тщательно; бледное, нежное лицо его, когда он молчал, было совершенно неподвижно, как будто из воску или из мрамора; «чело, как череп, голый» («Полководец» Пушкина); серо-голубые глаза были печальны и с тем вместе имели что-то доброе; тонкие губы, напротив, улыбались иронически. Десять лет стоял он, сложа руки, где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, в залах и театрах, в клубе, и живой протестацией смотрел на вихрь лиц, бессмысленно вертевшихся около него... Старикам и молодым было неловко с ним, не по-себе; они, бог знает отчего, стыдились его неподвижного лица, его прямо смотрящего взгляда, его печальной насмешки, его язвительного снисхождения...»

Герцен до конца жизни сохранил нежную любовь к Чаадаеву и всегда вспоминал о нем с глубочайшим уважением. Но он многого не знал о нем. Не знал, что Чаадаев восторженно приветствовал Пушкина за его стихи на усмирение Польши, что писал ему по поводу этих стихов: «...вот, наконец, ты — национальный поэт; ты угадал, наконец, свое призвание». В 1851 г. Герцен, тогда уже эмигрант, издал за границей брошюру «О развитии революционных идей в России», где, между прочим, рассказывал о революционизирующем действии, произведенном на общество «Философическим письмом» Чаадаева в «Телескопе». Выдержки из этой статьи приведены выше. В письме к Герцену Чаадаев тепло поблагодарил его за его отзыв, а шефу жандармов графу А. Ф. Орлову по поводу этого отзыва писал: «Каждый русский, каждый верноподданный царя, в котором весь мир видит богом призванного спасителя общественного порядка в Европе, должен гордиться быть орудием, хотя и ничтожным, его высокого, священного призвания; как же остаться равнодушным, когда наглый беглец, гнусным образом искажая истину, приписывает нам собственные свои чувства и кидает на имя наше собственный свой позор?» И просил у Орлова разрешения написать опровержение на книгу Герцена. Копию этого письма Чаадаев дал прочесть своему племяннику М. И. Жихареву. Жихарев прочел и спросил:

— Зачем вы сделали эту ненужную гадость?

Чаадаев взял письмо, бережно сложил его в маленький портфельчик, который всегда носил при себе, и, помолчав с полминуты, ответил:

— Мой дорогой, приходится дорожить своей шкурой.

Письмо его в «Телескопе», помимо, может быть, намерений Чаадаева, сыграло именно такую роль, какую отмечает Герцен. Упорная борьба Чаадаева с национальным чванством и квасным патриотизмом тоже должна быть зачтена ему в заслугу; хотя «западничество» Чаадаева шло совершенно из других истоков, чем западничество Белинского, Герцена, Бакунина, Грановского, но в общей борьбе их с славянофильством Ча-

адаев являлся ценным союзником. Наконец, Чаадаев, какова бы ни была его направленность, был все же большой и оригинальный ум, начисто заклеванный российским двуглавым орлом.

Обязательный врачебный надзор, которому был подвергнут Чаадаев, через год был снят, но запрещение писать осталось в силе. После истории с напечатанием его письма Чаадаев прожил двадцать лет. Жил он все время на Новой Басманной, во флигеле дома, принадлежавшего его друзьям Левашовым; остался там жить, когда дом был продан другому лицу. Флигель с годами пришел в полную ветхость, покосился. Но Чаадаев продолжал жить в нем до самой смерти и не давал хозяину возможности ни перекрасить полы квартиры, ни поправить печи. Он и лето проводил в Москве, отказывался даже на день, на два посетить знакомых на даче или в подмосковной. Вел жизнь точно размеренную; в определенные часы гулял, в определенные дни бывал в Английском клубе, сидел там всегда на диване в маленькой каминной гостиной; если находил свое место занятым, выказывал явное неудовольствие. У кого бы ни был в гостях, какой бы ни был интересный разговор, ровно в половине одиннадцатого прощался и уходил. Обедал всегда в том же ресторане Шевалье. Чаадаев принимал у себя по понедельникам от часу до четырех дня. В трех маленьких комнатах его флигеля собирался весь цвет московской и приезжей интеллигенции. Чаадаев любил, чтоб его в эти дни не забывали, и зорко следил, не манкирует ли кто из знакомых его понедельниками. Вообще был очень обидчив, щепетильно считался визитами и не выносил малейше непочтительного к себе отношения. Тщеславие его не знало границ. Одна дама спросила его, гуляет ли он зимою пешком. Чаадаев ответил:

— Я крайне удивлен, что мои привычки неизвестны кому-нибудь. Знайте же, что я гуляю ежедневно от часу до двух.

Знакомый Чаадаева собирался ехать во Францию и спросил, не будет ли у него каких поручений. Чаадаев сказал:

— Скажите французам, что я здоров.

У него всегда был большой запас собственных литографированных портретов, и он их дарил новым знакомым. «Вряд ли он был способен на истинную привязанность, — рассказывает С. В. Новосильцева. — Несмотря на мягкость приемов, в нем проглядывала какая-то сухость, и он не пренебрегал случаем порисоваться даже в чувстве». Интересно, между прочим, что у Чаадаева, как у многих людей, сильно живущих умственною жизнью, было совершенно атрофировано половое влечение, у него за всю жизнь не было ни одного романа с женщиной, не было даже мимолетной связи. Реальной жизнью он совершенно не интересовался и проявлялся в ней с крайнею наивностью. В начале 50-х гг. он

говорил доброму своему приятелю, начальнику московских водопроводов:

— Решительно не могу понять вашего здесь назначения: я с ребячества жил в Москве и никогда не чувствовал недостатка в хорошей воде; мне всегда подавали стакан чистой воды, когда я этого требовал.

Когда-то Чаадаев был очень богат; общее его с братом имущество оценивалось в миллион рублей. Но Чаадаев не любил в чем-нибудь себе отказывать; прожил свою долю, прожил два полученных наследства. Брат долго помогал ему, но наконец отказался. Чаадаев занимал деньги направо и налево, за квартиру не платил, но нанимал помесячно элегантный экипаж, держал, помимо другой прислуги, камердинера, которому дозволялось заниматься только чистой работой, — даже сапоги этому камердинеру чистил другой служитель. Перчатки Чаадаев покупал дюжинами. Наденет одну перчатку, найдет, что она недостаточно элегантна, и отдает всю дюжину камердинеру.

Каковы были отношения между Чаадаевым и Пушкиным после высылки Пушкина из Петербурга, мы знаем мало. В 1826 г. оба они почти одновременно приехали в Москву, — Пушкин из псковской ссылки, Чаадаев — из заграничного путешествия. Но свиделись ли они в это время, мы достоверных сведений не имеем. Впоследствии встречались, беседовали. Однако дороги их слишком разошлись, от прежней умственной и нравственной близости мало осталось. Чаадаеву, ненавидевшему, как мы видели, Гомера, направление поэзии Пушкина было очень не по сердцу. В 1829 г. он писал ему: «Мое пламеннейшее желание, друг мой, видеть тебя посвященным в тайну времени. Нет более огорчительного зрелища в мире нравственном, как зрелище гениального человека, не понимающего свой век и свое призвание. Когда видишь, как тот, который должен был бы властвовать над умами, сам отдается во власть привычкам и рутинным настроениям черни, чувствуешь самого себя остановленным в своем движении вперед; говоришь себе: зачем этот человек мешает мне идти, когда он должен был бы вести меня? Это поистине бывает со мною всякий раз, когда я думаю о тебе, а думаю я о тебе так часто, что совсем измучился. Не мешай же мне идти, прошу тебя. Если у тебя не хватает терпения, чтобы научиться тому, что происходит в мире, то погрузись в себя и извлеки из собственного твоего существа тот свет, который неизбежно находится во всякой душе, подобной твоей. Я убежден, что ты можешь принести бесконечное благо этой бедной России, заблудившейся на земле. Не обмани своей судьбы, мой друг... Обратись с воплем к небу, — оно ответит тебе». И в ряде писем Чаадаев старался обратить Пушкина в свою веру, посылал ему копии «Философических писем», пророческим тоном писал о гибели современ-

ного мира и о грядущей новой истине, звал Пушкина стать глашатаем этой истины. Пушкин отвечал Чаадаеву, — с одним соглашался, на другое возражал, но в основном оставался, к счастью, глубоко равнодушным к призывам бывшего друга.

Вскоре после смерти Пушкина Чаадаев в своей «Апологии сумасшедшего», говоря о письме своем в «Телескопе», писал: «Может быть, преувеличением было опечалиться на минуту о судьбе народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина».

Князь ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ВЯЗЕМСКИЙ
(1792—1878)

Крупный помещик. Острый критик, суховатый, скрипучий поэт, с полным преобладанием ума над эмоцией. Это по поводу него и к нему писал Пушкин: «Поэзия, прости господи, должна быть глуповата». Ценен и до настоящего времени как мемуарист, как автор «Записной книжки», полной остроумия и блестящих, художественных характеристик тогдашнего быта и людей.

Сын кн. Андрея Ивановича Вяземского, при Екатерине — наместника нижегородского и пензенского, при Павле — действительного тайного советника и сенатора. Родился в родовом подмосковном имении Вяземских Остафьеве, воспитывался в иезуитском пансионе в Петербурге, потом слушал у себя на дому лекции московских профессоров. В 1812 г. поступил в московское ополчение, в бородинском сражении под ним были убиты две лошади. В 1818 г. определился на службу в Варшаву к Н. Н. Новосильцеву, принимал деятельное участие в выработке проекта русской конституции, составление которой было поручено Александром I Новосильцеву. Письмо Вяземского, содержавшее резкие отзывы о российских порядках, было перлюстрировано, он уволен от службы без прошения и отдан под негласный надзор полиции. Сам Вяземский по поводу увольнения своего говорит: «Я, ни душою, ни телом не виноватый, а разве одною гимнастикою языка, прослыл за революционера и карбонара». Революционером и карбонарием Вяземский, действительно, не был. Он был умеренным конституционалистом, признававшим лишь лойяльные способы борьбы, поклонником феодально-аристократической английской конституции, типичным либералом английского склада; стоял за уничтожение крепостного права из чувства чисто-классового самосохранения. «Рабство, — писал он, — одна революционная стихия, которую имеем в России. Уничтожив его, уничтожим всякие пред-

будущие замыслы. Кому же, как не нам, приступить к этому делу? Корысть наличная, обеспечение настоящего, польза будущего — все от этой меры зависит». Однако при всем этом Вяземский неистово ненавидел самодержавие, всепроникающим ядом отравлявшее строй русской жизни. Его стихотворения «Негодование», «Русский бог» и др. по своему пафосу нисколько не уступают самым революционным стихам Рылеева и Пушкина и пользовались в свое время огромною популярностью. Оригинально, что Вяземский нисколько не сдерживался в письмах, прекрасно зная, что они тщательнейшим образом перлюстрируются. «Я, — рассказывает Вяземский, — писал часто в надежде, что правительство наше, лишенное независимых органов общественного мнения, узнает через перехваченные письма, что есть однако же мнение в России, что посреди глубокого молчания, господствующего на равнине нашего общежития, есть голос бескорыстный, укорительный представитель мнения общего». К планам и стремлениям декабристов Вяземский никакого касательства не имел, хотя и был в дружеских отношениях со многими из декабристов. Имени его нет в официальном «Алфавите декабристов», куда занесены были даже лица оправданные. Однако император Николай был глубоко убежден в прикосновенности его к декабризму, ненавидел его всеми силами души и говорил Блудову: «Отсутствие имени его в этом деле доказывает только, что он был умнее и осторожнее других». Вяземский находился под усиленным наблюдением тайной полиции, он считался главою либерализма в Москве, доносы на него сыпались непрерывно. В 1828 г. было сообщено в Петербург, будто Вяземский собирается издавать под чужим именем газету; Николай через московского генерал-губернатора велел передать ему, что запрещает ему издавать оную газету, потому что ему известна развратная жизнь Вяземского, недостойная образованного человека.

В 1825 г. возник в Москве журнал Н. А. Полевого «Московский телеграф», явившийся органом боевого русского радикализма. В его основании ближайшее участие принимал Вяземский, он усердно сотрудничал в журнале, исправлял и дополнял статьи молодого редактора, привлек к сотрудничеству Пушкина и других своих литературных друзей. Однако к концу двадцатых годов Вяземский стал отходить от журнала и наконец окончательно порвал с ним, признав Полевого «низвергателем законных литературных властей». Воевал с ним в «Литературной газете» Дельвига в защиту «литературной аристократии». Опальное положение, в котором находился Вяземский, начинало все больше тяготить его. Он послал царю обширную «Исповедь», в которой с достоинством, ни в чем не каясь, излагал свои лойяльные политические взгляды. Письмо понравилось царю, и он предложил Вяземскому поступить

на государственную службу, куда ему будет указано, — и указал на министерство финансов. Вяземский согласился. «Приходило так, — писал он А. И. Тургеневу, — что непременно должно было мне или в службу, или вон из России». Московский почт-директор А. Я. Булгаков сообщал брату: «...поэт наш сделался спокойнее и осторожнее... Очень радуюсь его назначению. У него прекрасная душа и способности, и когда отстанет от шайки либеральной, да примется за службу, то будет полезен и себе, и семейству своему». Вскоре Вяземский был пожалован в камергеры, через два года службы назначен вице-директором департамента внешней торговли и редактором «Коммерческой газеты». Он правел все больше. Когда административная расправа постигла журнал бывшего его соратника Полевого, Вяземский писал: «Признаюсь, существование «Телеграфа» в том виде, как он был, может быть сочтено за неприличность не только литературную, но и политическую». При Александре II Вяземский был несколько лет товарищем министра народного просвещения. К этому времени он превратился в типичного сановного старца, брюзжащего на все новое в литературе и жизни. Умер в Баден-Бадене в глубокой старости, восьмидесяти шести лет.

Вяземский был высокого роста, держался очень прямо; небольшие и небыстрые голубые глаза смотрели сквозь золотые очки проницательно; на тонких губах насмешливая улыбка. Вид невозмутимый, неподвижный и холодный. Голос немного хриплый. Вигель сообщает: «...с женщинами был он жив и любезен, как француз прежнего времени; с мужчинами холоден, как англичанин; в кругу друзей был он русский гуляка». Разговаривал остроумно и увлекательно. Пушкин про него рассказывает в «Евгении Онегине»:

У скучной тетки Таню встретя,
К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.
И близ него ее заметя,
Об ней, поправив свой парик,
Осведомляется старик.

Вяземский был большой похабник, очень любил острить и каламбурить в этом направлении. Пушкин в переписке с приятелями и в стихотворных посланиях к ним умел изумительно подделываться под стиль каждого; под пером Пушкина стиль этот получал высшее художественное воплощение и был для данного лица даже более характерен, чем собственные его писания. Подобную квинтэссенцию интимного стиля Вяземского находим в письме к нему Пушкина из Михайловского осенью 1825 г.:

В глуши, измучась жизнью постной,
Изнемогая животом,
Я не парю — сижу орлом
И болен праздностью поносной,
Бумаги берегу запас,
Натугу вдохновенья чуждый,
Хожу я редко на Парнас,
И только за большою нуждой.
Но твой затейливый навоз
Приятно мне щекотит нос
И дух мой снова позывает
Ко испражненью прежних дней.

«Благодарствую, душа моя, — и цалую тебя в твою поэтическую (.....) — с тех пор, как я в Михайловском, я только два раза хохотал; при разборе новой пиитики басен и при посвящении г(....) г(....) твоего». И так дальше, — сплошная похабщина.

Вяземский очень высоко ценил Пушкина, не раз выступал в печати с обширными статьями об его поэзии; уже с ранних лет знакомства в письмах его к Пушкину заметен тон внимательного подмастерья к чтимому мастеру. Это, однако, не мешало Вяземскому резко высказываться о политических и общественных промахах Пушкина, и тут влияние его на Пушкина должно было быть очень плодотворным. Так, по поводу эпилога к «Кавказскому пленнику» Вяземский писал А. Тургеневу: «Мне жаль, что Пушкин окровавил последние стихи своей повести. Что за герой Котляревский, Ермолов? Что тут хорошего, что он, «как черная зараза, губил, ничтожил племена?» От такой славы кровь стынет в жилах, и волосы дыбом становятся. Если мы просвещали бы племена, то было бы что воспеть. Поэзия не союзница палачей; политике они могут быть нужны, и тогда суду истории решить, можно ли ее оправдывать или нет; но гимны поэта не должны быть никогда славословием резни. Мне досадно на Пушкина». Когда, приехав в 1827 г. в Петербург, небрезгливый Пушкин свел личное знакомство с Булгариным и обедал у него, Вяземский с негодованием писал: «Не стыдно ли тебе, пакостник, обедать у Булгарина?» Резкое осуждение Вяземского вызвали и патриотические стихи Пушкина на взятие Варшавы. «Пушкин в стихах своих «Клеветникам России» кажет им шиш из кармана, — записывает он. — Он знает, что они не прочтут стихов его, следовательно, и отвечать не будут на вопросы, на которые отвечать было бы очень легко, даже самому Пушкину. За что возрождающейся Европе любить нас?.. Мне также уже надоели эти географические фанфаронады наши: «От Перми до Тавриды» и проч. Что же тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим в растяжку, что у нас от мысли до мысли пять тысяч верст?.. «Вы грозны на словах, попробуйте на деле...» Неужели Пушкин

не убедился, что нам с Европою воевать была бы смерть? Зачем же говорить нелепости и еще против совести и более всего без пользы?.. После этих стихов не понимаю, почему Пушкину не воспевать Орлова за победы его Старорусские (укрощение холерного бунта военных поселян), Нессельроде за подписание мира. Когда рещишься быть поэтом событий, а не соображений, то нечего робеть и жеманиться... Пой, да и только. Смешно, когда Пушкин хвастается, что «мы не сожжем Варшавы их». И вестимо, потому что после нам пришлось же бы застроить ее». Когда у Пушкина все больше стало проявляться тяготение к царскому двору, Вяземский писал ему: «Провидение зажгло в тебе огонь дарования в честь народу, а не на потеху двора. Как ни будь поверхностно и малозначительно обхождение супруга с девками, но брачный союз все от того терпит, и, рано или поздно, распутство дома отзовется. Брачный союз наш — с народом. Царская ласка — курва соблазнительная, которая вводит в грех и от обязанности законной отвлекает. Говорю тебе искренно и от души».

Пушкин, со своей стороны, любил и ценил Вяземского. В 1820 г. он написал к его портрету:

Судьба свои дары явить желала в нем,
В счастливом баловне соединив ошибкой
Богатство, знатный род с возвышенным умом
И простодушие с язвительной улыбкой.

Бартенев со слов П. В. Нащокина записал: «Пушкин не любил Вяземского, хотя не выражал того явно; он видел в нем человека безнравственного, ему досадно было, что тот волочился за его женою, впрочем, волочился просто из привычки светского человека отдавать долг красавице». На полях записи Соболевский написал: «Это натяжка!» Повидимому, это, действительно, натяжка. Есть данные, что Вяземский, действительно, ухаживал за Натальей Николаевной, и Пушкину это не могло быть приятным. Но личная «безнравственность» Вяземского навряд ли могла особенно коробить Пушкина: цинизм выражений, легкое отношение к женщинам, ухаживание за чужими женами, — всем этим в достаточной мере грешил и сам Пушкин.

Княгиня ВЕРА ФЕДОРОВНА ВЯЗЕМСКАЯ
(1790—1886)

Жена кн. П. А. Вяземского (с 1811 г.), рожденная княжна Гагарина. Вигель пишет о ней: «Не будучи красавицей, она гораздо более их

нравилась; немного старее мужа и сестер, она всех их казалась моложе. Небольшой рост, маленький нос, огненный, пронзительный взгляд, невыразимое пером выражение лица и грациозная непринужденность движений долго молодили ее. Смелое обхождение в ней казалось не наглостью, а остатком детской резвости. Чистый и громкий хохот ее в другой казался бы непристойным, а в ней восхищал; ибо она скрашивала и приправляла его умом, которым беспрестанно искрился разговор ее. Такие женщины иногда родятся, чтобы населять сумасшедшие дома... Не было истинной скорби, которая бы не произвела не только ее сочувствия, но и желания облегчить ее. Ко всему человечеству вообще была она сострадательна, а немилосердна только к нашему полу. Какая женщина не хочет нравиться? В ней это желание было сильней, чем в других. Но все влюбленные казались ей смешны; страсти, ею производимые, в глазах ее были не что иное, как сочиненные ею комедии, которые перед нею разыгрывались и забавляли. Никого не поощряя, она частыми насмешками более производила досаду в тех, коих умела привлекать к себе. Сколько было безумцев, закланных, подобно баранам, на жертвеннике супружеской верности тою, которая и мужа своего любила более всего, любила нежно, но не страстно».

Пушкин познакомился с Вяземскою в бытность свою в Одессе, летом 1824 г., когда она приехала в Одессу с двумя детьми купаться в море. Здесь они дружески сошлись, — «добрая и милая баба», — отзывался о ней Пушкин. Когда он был назначен к высылке из Одессы и собирался бежать за границу, Вяземская старалась раздобыть для него деньги и устроить на идущий в Константинополь корабль. Предприятие не удалось. Пушкин уехал в михайловскую ссылку. Прошло два года. Он вызван был царем из Михайловского в Москву, прожил там некоторое время, часто виделся с Вяземскими, увлекался своею однофамилицею Софьей Пушкиной и в ноябре 1826 г. поехал на полтора месяца обратно к себе в деревню. Княгиня Вяземская просила его купить ей в Торжке несколько поясов, — Торжок славился сафьяновыми изделиями, шитыми золотом и серебром. 3 ноября Пушкин писал ей из Торжка (по-французски): «Спешу, княгиня, послать вам поясы. Вы видите, что мне представляется прекрасный случай написать вам мадригал по поводу пояса Венеры, но *мадригал и чувство стали одинаково смешны.* Что сказать вам о моем путешествии? Оно продолжается при очень счастливых предзнаменованиях, за исключением отвратительной дороги и невыносимых ямщиков. Толчки, удары локтями и проч. очень беспокоят двух моих спутников, я прошу у них извинения за вольность обращения, но *когда путешествуешь совместно, необходимо кое-что прощать друг другу.* С. П. (Софья Пушкина) — мой добрый ангел. но

д р у г а я — мой демон... Если вы удостоите прислать мне в Опочку небольшое письмо страницы в четыре, это будет с вашей стороны очень милое кокетство. Вы, которая умеете написать записку лучше, чем моя покойная тетушка, неужели вы не проявите такой доброты? (NB: *«записка» впредь синоним «музыки»)... Не достаточно ли намеков? Ради бога, не давайте ключа к ним вашему супругу. Решительно восстаю против этого!»*

Комментаторы говорят: «легкая светская болтовня». Однако под покрывалом этой болтовни конспирация так и выпирает всеми углами. Намеки, которых не должен понимать муж. Уговор о замене на будущее одних слов другими. Останавливает внимание пространная болтовня Пушкина о неприятностях путешествия втроем, о том, что при этом «необходимо кое-что прощать друг другу». Что до этого Вяземской? Для чего было писать ей об этом? Получается впечатление, что до этого у них был какой-то очень серьезный разговор, и теперь он продолжается намеками, под видом легкой болтовни. Впечатление это окончательно крепнет при чтении ответа Вяземской. Она пишет: «Я думаю, вот письмо, которое сильно займет вам, а моя слабость и леность воспользуются этим, чтобы сказать вам всего несколько слов... Продолжают ли добрый ангел и демон составлять ваше общество? Я думаю, вы давно уже оставили их. Кстати, вы так часто меняете свои п р е д м е т ы, что я не знаю, кто же д р у г а я. Муж меня уверяет, будто я н а д е ю с ь, что это я сама. Да сохранит нас обоих от этого небо! Прежде всего я не хочу с вами путешествовать, я чересчур слаба и стара, чтобы рыскать по большим дорогам; я сделалась бы в прямом смысле слова вашим злым ангелом. Но я рассчитываю на вашу дружбу. Вы, кажется, впрочем, сбросили с себя это иго, которому должны быть обязательно подчинены, чтобы выслушивать без возмущения некоторые правдивые слова. Итак, прощайте, мой серьезный друг». В какое путешествие звал Пушкин Вяземскую, в какое путешествие в буквальном смысле мог он ее звать? Что это за «старость» в тридцать шесть лет, которая мешает Вяземской «рыскать по большим дорогам»? И что это за логика: я слишком стара, чтобы рыскать с вами по большим дорогам, — но я рассчитываю на вашу дружбу? Умница-Вяземская прекрасно поняла «намеки» Пушкина и отвечает ему такими же намеками, закутанными довольно непрозрачной для нас кисеей «легкой болтовни». Мне кажется, что с некоторою долей вероятности можно расшифровать эту загадочную переписку так. «Кто это д р у г а я?», — спрашивает Вяземская. Ясно, — она сама, муж угадал вполне верно: Пушкин для чего-то подчеркивает это слово, первую возлюбленную называет инициалами — С. П.. — вторую назвать не считает нужным, как

будто она Вяземской известна. А Вяземская невинно раскрывает глаза: «кто это — другая? Муж уверяет, что это я. Если это так, то...»

Пушкин в Москве сильно увлекался Софьей Пушкиной. Однако, при его темпераменте, это нисколько не могло помешать ему попытаться завести «благородную интригу» и с В. Ф. Вяземской. Она не отвергла его домогательств с целомудренным негодованием матроны. Она, — вспомним характеристику Вигеля, — она, вероятно, кокетничала, смеялась и забавлялась комедией, которая перед нею разыгрывалась. «Как же это?! Ведь вы так увлечены Софи Пушкиной!» А он ей, — что это ничего не значит, что одна любовь вовсе не исключает другой. Она звонко на это хохотала, возражала, что такой одновременной любви к двоим никак не может принять. И вот Пушкин в письме своем из Торжка старается убедить Вяземскую, что при путешествии втроем приходится мириться с некоторыми неудобствами и «кое-что прощать друг другу». Вяземская отвечает мягко, но теперь уже серьезно и с большим достоинством, что она слишком стара для тягостей подобного путешествия, что постоянная смена Пушкиным «предметов» прельщает ее очень мало и что она ждет от «серьезного» своего друга только одного — дружбы. Характерно вот еще что. В письме своем из Торжка Пушкин просит Вяземскую не давать мужу ключа к пониманию его намеков, т. е., очевидно, — не показывать мужу письма. Но из ответного ее письма ему пришлось убедиться, что письмо она мужу показала, — они сообща разгадывали, кто такая «другая». В этом же письме Вяземской за конспиративно завуалированным ее ответом следует приписка мужа, — значит, и ее письмо он прочел. Нужно заметить, что отношения между супругами Вяземскими были своеобразные и не совсем обычные. В 1823 г. о какой-то любовной «шалости» Вяземского, очень на такие шалости падкого, петербургские друзья сочли нужным доложить очень уважаемому Вяземским человеку, — очевидно, Карамзину. Вяземский с негодованием писал А. Тургеневу: «Исповедание жены моей мне известно, я перекрестил ее в свою веру, основанную на терпимости. Про то знать нам и рассчитываться между собою, а чужому (а здесь между женою и мужем всякий чужой) впутываться в эти супружеские счеты и протестовать их на публичной бирже не годится». Вяземский откровенно, как близкому другу, сообщал в письмах к жене о своих ухаживаниях и увлечениях, она, как видим, тоже не считала нужным скрывать от него своего флирта с Пушкиным. Положение для Пушкина получилось глупейшее, — форменный «баран, закланный на жертвеннике супружеской верности»! И в ответном письме Вяземскому Пушкин сконфуженно пишет: «Adieu, couple si étourdi en apparence (чета, столь на вид ветреная), adieu, князь Вертопрахин и княгиня

Вертопрахина. Ты видишь, что у меня не достает уж и собственной простоты для переписки».

На этом закончилась попытка Пушкина завязать роман с княгиней Вяземской. Есть известие, через третьи руки идущее от Нащокина, что еще в Одессе Пушкин был в интимной связи с Вяземской. С решительностью отрицать возможность этого нельзя: Вяземская вовсе не была такою уже фанатическою жрицею у алтаря супружеской верности, как уверяет Вигель. В интимном дневнике А. А. Муханова от ноября 1825 т. читаем: «Видел княгиню Веру, у которой испросил позволения приехать к ним в Астафьево, и кроме того имел престранный, и предолгий, и прескучный разговор о протекшей любви, о теперешнем равнодушии и проч., в котором она силилась пробудить усопшие чувства, но я, коли не языком правды, то длинными извилистыми речениями выразил ей: В душе моей одно волненье, а не любовь пробудишь ты!» Не невозможно поэтому, что и с Пушкиным могли быть у Вяземской в Одессе близкие отношения. Смысл вышеприведенной переписки от этого не меняется. Только в таком случае Вяземская отвечает Пушкину отказом на его попытку возобновить отношения, бывшие между ними в Одессе.

Дальнейшие их отношения были хорошо-дружеские. Стиль писем к ней Пушкина — то шутливо влюбленный, с уверениями в верности, с упоминаниями о якобы ревности ее мужа и т. п., то исполненный уважения и доверия. Он делился с Вяземскою горестями и недоразумениями, возникавшими в связи с его женитьбой на Гончаровой, просил ее быть посаженною матерью на его свадьбе (чего не случилось по ее болезни). Вяземская была одна из немногих, посвященных Пушкиным в тайну предстоящей его дуэли с Дантесом. Она присутствовала при его смерти и утешала его жену.

Князь ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ ВЯЗЕМСКИЙ
(1820—1888)

Сын предыдущих. Ему было шесть лет, когда Пушкин после деревенской ссылки приехал в Москву. «Приезд его, — вспоминает Павел Вяземский, — произвел сильное впечатление, не изгладившееся из моей памяти до сих пор. — «Пушкин, Пушкин приехал!» — раздалось по нашим детским, и все, — дети, учителя, гувернантки, — все бросились в верхний этаж, в приемные комнаты, взглянуть на героя дня.' Впечатлению, произведенному приездом Пушкина, много содействовала дружба Пушкина с моей матушкой в Одессе, где она провела лето в 1824 г.

И детские комнаты, и девичья были с тех пор неувядающим рассадником легенд о похождениях поэта на берегах Черного моря». Пушкин подружился с мальчиком и многие часы проводил с ним. Он научил его боксировать по-английски; Павлуша так пристрастился к этому упражнению, что на детских балах всех вызывал боксировать, а нежелающих вызывал действием во время самых танцев. Общее негодование не смущало его, и он гордился поэтическим своим геройством, из рук в руки полученным от поэта-героя Пушкина. Результаты геройства были, однако, плачевные: мальчика перестали возить на семейные праздники. Пушкин научил его еще и другой игре. Княгиня строго запрещала детям играть в карты. Пушкин научил Павлушу играть в дурачки визитными карточками. Старшие карты определялись Пушкиным, значение остальных не было точно определено, эта неопределенность и составляла главную потеху: завязывались споры, чья карточка бьет карточку противника. Настойчивые возражения и доказательства Павлуши в пользу первенства его карточек потешали Пушкина, как ребенка. Вообще в сношениях с детьми Пушкин сам превращался в настоящего ребенка, совершенно не думавшего о педагогическом на них воздействии, и с азартом жил их жизнью. Однажды княгиня Вяземская, воротившись домой, застала Пушкина и Павлушу за тем, что они барахтались и плевали друг в друга. Мальчику подарили альбом в красном сафьяновом переплете. Павлуша попросил Пушкина написать ему в альбом стихи. Пушкин написал:

Душа моя Павел!
Держись моих правил:
Люби то-то, то-то,
Не делай того-то,
Кажись, это ясно.
Прости, мой прекрасный!

С тех пор кличка мальчика в семействе стала: «Душа моя Павел».

В 1828 г Вяземский-отец писал Пушкину: «Я у Павлуши нашел в тетради: «Критика на Евгения Онегина», и по началу можно надеяться, что он нашим критикам не уступит. Вот она: «И какой тут смысл:

Заветный вензель О да Е?»

В другом же месте он просто приводит твой стих:

Какие глупые места!

Дитя подает надежды. Булгарин и теперь был бы рад усыновить его Пчеле». Пушкин на это отвечает: «Критика князя Павла веселит

меня, как прелестный цвет, обещающий со временем плоды. Попроси его переслать мне его замечания; я буду на них отвечать непременно». А через некоторое время писал: «Кланяюсь грозному моему критику Павлуше. Я было написал на него ругательную антикритику слогом Галатеи, взяв в эпиграф: «Павлуша медный лоб, — приличное названье!», собирался ему послать, не знаю, куда дел».

Осенью 1836 г. шестнадцатилетний Павел Вяземский ехал как-то с Каменного Острова в коляске с Пушкиным. На Троицком мосту Пушкин дружески раскланялся с каким-то господином. Вяземский спросил, кто это. Пушкин ответил:

— Барков, ex-diplomat, habitué Воронцовых. — Заметив, что имя это неизвестно мальчику, он с удивлением сказал: — Вы не знаете стихов однофамильца Баркова и собираетесь вступить в университет? Это курьезно. Барков — это одно из знаменитейших лиц в русской литературе... Первые книги, которые выйдут в России без цензуры, будет полное собрание стихотворений Баркова.

«Вообще, — вспоминает Павел Вяземский, — Пушкин в это время как будто систематически действовал на мое воображение, чтобы обратить мое внимание на прекрасный пол и убедить меня в важном значении для мужчины способности приковывать внимание женщин. Пушкин поучал меня, что вся задача жизни заключается в том: все на земле творится, чтобы обратить на себя внимание женщин. Не довольствуясь поэтическою мыслью, он учил меня, что в этом деле не следует останавливаться на первом шагу, а итти вперед, нагло, без оглядки, чтобы заставить женщин уважать нас... Он постоянно давал мне наставления об обращении с женщинами, приправляя свои нравоучения циническими цитатами из Шамфора... В то же время Пушкин сильно отговаривал меня от поступления в университет и утверждал, что я в университете ничему научиться не могу. Однажды, соглашаясь с его враждебным взглядом на высшее у нас преподавание наук, я сказал Пушкину, что поступаю в университет исключительно для изучения людей. Пушкин расхохотался и сказал: «В университете людей не изучишь, да едва ли их можно изучить в течение всей жизни. Все, что вы можете приобрести в университете, — это то, что вы свыкнетесь жить с людьми, и это много. Если вы так смотрите на вещи, то поступайте в университет; но едва ли вы в том не раскаетесь!» С другой стороны, Пушкин постоянно и настойчиво указывал мне на недостаточное мое знакомство с текстами священного писания и убедительно настаивал на чтении книг ветхого и нового завета.

Для нашего поколения, воспитывавшегося в царствование Николая Павловича, выходки Пушкина уже казались дикими. Пушкин и его

друзья, воспитанные во время наполеоновских войн, под влиянием героического разгула представителей этой эпохи, щеголяли воинским удальством и каким-то презрением к требованиям гражданского строя. Пушкин как будто дорожил последними отголосками беззаветного удальства, видя в них последние проявления заживо схороняемой самобытной жизни».

Впоследствии кн. П. П. Вяземский был попечителем казанского учебного округа, начальником главного управления по делам печати (1881), сенатором; основал Общество любителей древней письменности, написал несколько исследований по древней русской литературе.

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ЖУКОВСКИЙ
(1783—1852)

Была война с турками. Крепостной мужик тульского помещика Бунина собрался для заработка ехать на войну маркитантом. Барин Афанасий Иванович ему сказал:

— Привези мне, братец, хорошенькую турчанку: видишь, жена моя совсем состарилась.

Крестьянин понял слова барина всерьез и привез ему двух сестер-турчанок, попавших в плен после взятия Бендер. Одна вскоре умерла, а другую определили нянею к барским детям. Звали ее Сальха. Барин вступил с нею в связь, оставил жену с семьею в большом доме, а сам с турчанкою поселился в малом, имел от нее двух девочек, вскоре умерших. Между тем семью Буниных посетило большое несчастие: в короткое время из одиннадцати детей умерло шестеро, в том числе единственный сын-студент. Жена Бунина Марья Григорьевна сильно горевала. Сальха в это время родила мальчика — будущего поэта. Марья Григорьевна приняла его в свою семью. Произошло примирение и соединение двух домов, большого и малого, обе семьи стали жить вместе. Сальха давно уже крестилась и называлась Елизавета Дементьевна, хорошо говорила по-русски, была главною экономкою дома, однако состояла на положении прислуги и приказания барыни должна была выслушивать стоя. Мальчик рос общим баловнем; общество, его окружавшее, было преимущественно женское. Отдали его учиться в Тулу сначала в частный пансион, потом в Главное народное училище, и из обоих он был исключен за малоспособность. Подросши, он поступил в московский университетский Благородный пансион. Там товарищами его были Дашков, Уваров, Воейков, братья Андрей и Александр Тургеневы. Кончил

курс в 1802 г., поступил было на службу в московскую Соляную контору, но вскоре бросил службу и уехал в родительское имение, с. Мишенское, Белевского уезда, Тульской губернии. В «Вестнике Европы» Карамзина за 1802 г. была напечатана его переделка стихотворения Грея «Сельское кладбище», сразу выдвинувшая Жуковского в первый ряд тогдашних поэтов. За этим последовал ряд других произведений — «Песнь барда над гробом славян-победителей», «Людмила», «Громобой», — все больше упрочивавших положение Жуковского в литературе.

В Белеве Жуковский занимался с двумя дочерьми овдовевшей сестры своей по отцу, Екатерины Афанасьевны Протасовой, — Марией (род. в 1793 г.) и Александрой (род. в 1795 г.). Он полюбил старшую из них, и она полюбила его. Жуковский, когда она подросла, просил у матери ее руки. Но мать, — сухая, деспотическая и узко-религиозная, — раз навсегда отказала Жуковскому ввиду того, что дочь ее приходилась родной племянницей Жуковскому. Эта неудавшаяся любовь на долгие годы заполнила душу Жуковского меланхолией и печальной покорностью судьбе. Отношения его с Машей Протасовой продолжались в форме платонической «любовной дружбы».

В 1812 г. Жуковский поступил в московское ополчение, состоял в канцелярии штаба Кутузова, в сражениях не участвовал. В лагере под Тарутиным он написал «Певца во стане русских воинов», где поименно прославлялись все живые и погибшие герои Отечественной войны. Стихотворение создало Жуковскому огромную популярность и обратило на него внимание царского двора. Благоволение двора поддерживалось и дальнейшими стихами Жуковского — к императрице Марии Федоровне, к императору Александру, патриотическою «Песнью к русскому царю», «Певцом в Кремле» и др. В 1817 г. Жуковский, за поднесенное царю собрание своих стихов, получил пожизненный пенсион в четыре тысячи рублей. В этом же году его возлюбленная, Маша Протасова, вышла замуж за дерптского профессора-хирурга И. Ф. Мойера, прекрасного человека, с которым она была вполне счастлива. Жуковский не раз приезжал к ней в Дерпт. В 1823 г. она умерла от родов.

С 1817 г. начинается придворная жизнь Жуковского. Он был приглашен преподавать русский язык сначала молодой жене в. кн. Николая Павловича, прусской принцессе Александре Федоровне, потом невесте в. кн. Михаила Павловича Елене Павловне. И обе его ученицы, и императрица-мать Мария Федоровна очень полюбили Жуковского и относились к нему с самой дружеской приязнью. После воцарения Николая Жуковский был назначен наставником наследника Александра Николаевича (будущего императора Александра II). Жуковский в то время пользовался огромною популярностью как первый поэт своего

времени и был как бы знаменем борьбы с отжившими литературными формами. Он стоял во главе молодо-озорного общества «Арзамас», боровшегося с литературными староверами, все члены общества носили прозвища, обязательно взятые из произведений Жуковского. Литературная молодежь, с Пушкиным во главе, считала его признанным своим учителем. При такой популярности Жуковского и при общем тогда оппозиционном настроении русского общества, близость Жуковского ко двору и бесчисленные льстивые его послания к царским особам вызвали резко-отрицательное к нему отношение. Ходила по рукам эпиграмма будущего декабриста А. А. Бестужева, долго приписывавшаяся Пушкину:

Из савана оделся он в ливрею,
На пудру променял свой лавровый венец;
С указкой втерся во дворец,
И там, пред знатными сгибая шею,
Он руку жмет камер-лакею...
Бедный певец!

Однако нападки эти были неосновательны: Жуковский не променял лаврового венца на пудру, венец его с самого начала густо был осыпан пудрой.

До 1841 г. Жуковский жил при дворе в качестве наставника царского наследника. Круг его знакомств теперь состоял преимущественно из придворной знати; стихотворения свои он посвящает гр. Самойловой, гр. Шуваловой, князю Голицыну, княгине Оболенской, гр. Гендриковой и т. п. Однако положение Жуковского среди этих новых его знакомых было довольно ложное: он не был ни богат, ни знатен, к тому же еще с клеймом «незаконнорожденного». А душа жаждала любви, мечтала о семейной жизни. Знатные фрейлины охотно смеялись и перекидывались шутками с остроумным учителем наследника, принимали от него поэтические послания и мадригалы, но никто из них не мог серьезно и подумать соединить с ним свою судьбу. В 1820 г. Карамзин писал Дмитриеву: «Увы! Жуковский влюблен, но не жених! Ему хотелось бы жениться, но при дворе не так легко найти невесту для стихотворца, хотя и любимого». Был у Жуковского странный роман с графиней С. А. Самойловой. Он увлекся ею, но ею же увлекся и друг Жуковского В. А. Перовский, — и Жуковский великодушно «уступил» свою возлюбленную другу и писал ему:

Товарищ! Вот тебе рука!
Ты другу во-время сказался;
К любви душа была близка,
Уже в ней пламень загорался...

Товарищ, мной ты не забыт!
Любовь друзей не раздружит.
Сим несозревшим упованьем,
Едва отведанным душой,
Подорожу ль перед тобой?

И не подорожил. Ю. А. Нелединский-Мелецкий писал дочери: «Жуковский, как сказывали мне, объяснялся с графиней Самойловой. Ты знаешь, что считали его в нее влюбленным. Он ей сказал, что сожалеет о том, что исканию его дружбы ее она не ответствовала, и изъявление его к ней дружбы приписала, как видно, другому чувствованию, которое, впрочем, внушить она всех более может. Как доведено было до этого, и что далее им было сказано, не знаю; но на эти слова она, сказывают, молчала, и будто показались у ней на глазах слезы... И подлинно: как? Человек приходит женщине сказать: не подумай, ради бога, чтоб я в тебя был влюблен!!»

В 1841 г. кончились обязанности Жуковского по воспитанию наследника. В награду он получил чин тайного советника, и за ним до смерти было сохранено полное жалование его — 28 тыс. руб. В 1841 же году пятидесятивосьмилетний Жуковский женился на 20-летней дочери давнишнего своего приятеля живописца Рейтерна. Остальную жизнь он провел с женою в Германии, жил сначала в Дюссельдорфе, потом во Франкфурте. Дружил с часто жившим у него Гоголем. Всегда религиозный, все больше становился религиозным с годами.

Жуковский был высокого роста, в молодости худощавый, с годами располневший и облысевший, с молочно-белым, спокойным, резко ассиметрическим лицом; он держал голову наклонно, как бы прислушиваясь и размышляя; глаза темные, на китайский лад приподнятые; на довольно крупных, но правильно очерченных губах постоянно играла чуть заметная, искренняя улыбка благоволения и привета. Полувосточное происхождение сказывалось во всем его облике. Был он человек бесхарактерный, податливый, но очень добрый и мягкодушный. Все его любили. Даже желчный Вигель, мало о ком отзывающийся хорошо, пишет о нем: «Знать Жуковского и не любить его было дело невозможное. Любить все близко его окружающее, даже просто знакомое, сделалось его привычкою; ненавистного ему человека не существовало». Друзья характеризуют Жуковского: «милый», «добродушный», «хрустальная душа», «всегда и во всем неземной», «чистоты душевной совершенно детской, доверчивый до крайности, потому что не понимал, чтобы кто был умышленно зол». Даже друзья, возмущавшиеся двусмысленной позицией Жуковского при дворе, не заподозревали его в неискренности и приспособленчестве. Князь Вяземский писал ему: «Стра-

шусь за твою царедворную мечтательность. В наши дни союз с царями разорван: они сами потоптали его. Провидение зажгло в тебе огонь дарования в честь народу, а не на потеху двора. Страх мой за тебя — не в ущерб уважения моего к тебе, ибо я уверен в непреклонности твоей совести; но мне больно видеть воображение твое, загрязненное каким-то дворцовым романтизмом». Конечно, нельзя себе представить, чтобы самое миролюбивое прекраснодушие могло ужиться в придворной атмосфере Александра и Николая без постоянных душевных компромиссов. Однако бесспорно, что в черной стае придворного воронья Жуковский производит впечатление какого-то не в свое место попавшего белого голубя. Он упорно, навязчиво, не боясь компрометировать себя, хлопотал о бесчисленном количестве лиц, так надоел во дворце своими просьбами, что все от него бегали. В ответ на его заступничество за Ник. Тургенева император Николай гневно сказал ему:

— Ты при моем сыне. Как же ты можешь быть сообщником людей беспорядочных, осужденных за преступление?

Не было в то время писателя в беде, к которому не пришел бы на помощь Жуковский. Он хлопотал о больном Батюшкове, о служившем в солдатах Боратынском, он сыграл главную роль в выкупе Шевченки из крепостного состояния, постоянно выхлопатывал пособия нуждавшемуся Гоголю, помогал ему тайно даже из собственных средств. Жил Жуковский до самого конца своего пребывания при дворе в Шепелевском дворце (теперь Эрмитаж) на третьем этаже. Комнаты его были просто, но хорошо убраны. Там по субботам происходили у него дружеские литературные вечера. С утра на его лестнице толпились нищие и просители всякого рода и звания. Он не умел никому отказывать, не раз был обманут, но его щедрость и сердоболие никогда не истощались. Однажды он показывал А. О. Смирновой свою записную книжку: в один год он роздал восемнадцать тысяч рублей, что составляло большую половину его средств. При совершенном неумении наживаться, он, однако, вел свои счеты с немецкою аккуратностью. В тесном кружке знакомых любил шалить и шутить самым невинным образом. Шутки его были детские и всегда повторялись; он ими сам очень тешился. Одну зиму он условился со Смирновой обедать у нее по средам и приезжал в сюртуке; но как-то случилось, что другие были во фраках: и ему, и всем стало неловко. На следующую среду Жуковский пришел в сюртуке, за ним человек нес развернутый фрак.

— Вот, я приехал во фраке, а теперь, братец Григорий, — сказал он человеку, — уложи его хорошенько.

Эта шутка повторялась раза три. Общественно-политические взгляды Жуковского были узко-консервативные и монархические. Декабри-

сты были для него разбойники, возмутители, у которых «даже не видно фанатизма, а просто зверская жажда крови безо всякой, даже химерической цели». Он уверен, что «кто дерзает на настоящее верное зло для будущего неверного блага, тот — злодей». «Сила России стоит на святом, вековом фундаменте самодержавия» и т. п.

Для Пушкина Жуковский, как поэт, с самого начала творческой деятельности был самым высоко-ценимым учителем. В 1825 г. он писал Вяземскому по поводу одной его критической статьи: «Ты слишком бережешь меня в отношении к Жуковскому. Я не следствие, а точно ученик его», и скромно прибавлял: «Я только тем и беру, что не смею сунуться на дорогу его, а бреду проселочной. Никто не имел и не будет иметь слога, равного в могуществе и разнообразии слогу его. В бореньях с трудностью силач необычайный». В противоположность большинству новаторов в искусстве, Пушкин относился с подчеркнутым уважением к своим литературным дедам и отцам. По настоянию Пушкина, из статьи Одоевского, предназначавшейся для «Московского вестника», были выброшены недостаточно почтительные отзывы о Державине и Карамзине. По поводу строгого приговора А. Бестужева над Жуковским Пушкин писал Рылееву: «Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? Потому что зубки прорезались? Что ни говори, Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности... Ох, уж эта мне республика словесности! За что казнит, за что венчает?» Лично Пушкин познакомился с Жуковским еще лицеистом, в 1815 г., когда Жуковский, назначенный чтецом к вдовствующей императрице Марии Федоровне, приезжал в Царское село. Впоследствии Пушкин так вспоминал о первой их встрече:

Могу ль забыть я час, когда перед тобой
Безмолвный я стоял, и молненной струей
Душа к возвышенной душе твоей летела
И, тайно съединясь, в восторгах пламенела?
Нет, нет, решился я без страха в трудный путь!
Отважной верою исполнилася грудь.

В 1817 г., по выпуске из лицея, Пушкин заходил к Жуковскому, не застал его дома и написал на дверях его квартиры:

Штабс-капитану, Гете, Грею,
Томсону, Шиллеру привет!
Им поклониться честь имею,
Но сердцем истинно жалею,
Что никогда их дома нет.

Дошла еще одна стихотворная записка Пушкина к Жуковскому от июля 1819 г., когда Пушкин с приятелем своим, лейб-гусаром Н. Раевским, заходил в Царском селе к Жуковскому и опять не застал его дома:

Раевский, молоденец прежний,
А там уже отважный сын,
И Пушкин, школьник неприлежный
Парнасских девственниц богинь,
К тебе, Жуковский, заезжали,
Но, к неописанной печали,
Поэта дома не нашли —
И, увенчавшись кипарисом,
С французской повестью «Борисом»
Домой уныло побрели.
Какой святой, какая сводня
Сведет Жуковского со мной?
Скажи: не будешь ли сегодня
С Карамзиным, с Карамзиной?
На всякий случай — ожидаю;
Тронися просьбою моей.
Тебя зовет на чашку чаю
Раевский, слава наших дней.

В Петербурге молодой Пушкин был усердным посетителем суббот Жуковского. Жуковский, исправляя уже перебеленные свои стихи, чтобы не марать рукописи, наклеивал полоски бумаги с исправленными стихами на прежние стихи. Сам он редко читал вслух свои произведения и поручал это другим. Однажды чтец, которому прежние стихи нравились больше новых, сорвал бумажку и прочел по-старому. Пушкин ловко подлез под стол, поднял брошенную бумажку и важно заявил:

— Что Жуковский бросает, то нам еще пригодится!

К портрету Жуковского Пушкин в 1818 г. написал следующие стихи:

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость.

Жуковский, со своей стороны, высоко ценил Пушкина с самого начала его поэтической деятельности, восхищался им и баловал. Пушкин обладал необычайною памятью: целые строфы, переданные ему Жуковским, он удерживал в голове и повторял их без остановки. Жуковский считал нужным исправлять стих, забытый Пушкиным: такой стих он признавал дурным по одному этому признаку. По поводу стихов Пушкина «Когда к мечтательному миру» Жуковский в 1818 г. писал Вяземскому: «Чудесный талант! Какие стихи! Он мучит меня своим даром, как привидение!» Когда Пушкин окончил «Руслана и Людмилу», Жуковский подарил ему свой портрет с такою надписью: «Победителю-уче-

нику от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму «Руслан и Людмила», 1820, марта 26, великая пятница». В течение всей жизни Пушкина Жуковский усердно заботился о нем, хлопотал, когда Пушкин попадал в беду. Впоследствии улаживал его недоразумения с двором. В этом отношении роль Жуковского вызывает очень мало уважения. Желая со своей точки зрения добра Пушкину, он старательно запутывал его как можно крепче в придворные сети, из которых с тоскою рвался Пушкин, старался насадить в его душе чувство благоговейно-почтительного обожания к монарху. Особенно отталкивающее впечатление производят старания Жуковского уладить недоразумение, возникшее между Пушкиным и императором в 1834 г. Жизнь Пушкина в Петербурге сложилась очень тяжело. Работать он не имел возможности, придворная жизнь и наряды красавицы-жены требовали трат совершенно непосильных, домашние дела были расстроены, он все больше входил в долги. Пушкин решил покинуть Петербург и подал царю через Бенкендорфа прошение об отставке, ходатайствуя о сохранении за ним права посещать архивы. Царь сухо ответил, что против воли он никого не желает удерживать, отставка будет дана, но архивы посещать он не может разрешить, «так как право сие может принадлежать единственно людям, пользующимся особенною доверенностью начальства». Жуковский узнал от Николая о просьбе Пушкина, пришел в ужас и спросил царя, можно ли поправить дело. Царь ответил:

— Почему же нельзя? Я никогда не удерживаю никого и дам ему отставку. Но в таком случае все между нами кончено. Он может, однако, еще возвратить письмо свое.

Жуковский стал бомбардировать Пушкина из Царского села письмами, где убеждал его взять назад свою просьбу. «Глупость досадная, эгоистическая, неизглаголанная глупость! Вот что бы я теперь на твоем месте сделал (ибо слова государя крепко бы расшевелили и повернули мое сердце): я написал бы к нему письмо, в котором бы обвинил себя за сделанную глупость, потом так же бы прямо объяснил то, что могло заставить тебя сделать эту глупость; и все это сказал бы с тем чувством благодарности, которое государь вполне заслуживает. Если не воспользуешься этою возможностью, то будешь то щетинистое животное, которое своим хрюканьем оскорбляет слух всякого благовоспитанного человека». Пушкин написал Бенкендорфу, что берет свою просьбу обратно, и выразил сожаление, что «необдуманное письмо мое могло показаться безумной неблагодарностью и супротивлением воле того, кто доныне был более моим благодетелем, нежели государем». Бенкендорф показал письмо Жуковскому. Тот опять пришел в ужас, попросил Бен-

кендорфа подождать с передачей письма Пушкина царю, а Пушкину написал: «Я право не понимаю, что с тобой сделалось: ты точно поглупел; надобно тебе или пожить в желтом доме или велеть себя хорошенько высечь, чтобы привести кровь в движение. Письмо твое так сухо, что оно может показаться государю новою неприличностью. Разве ты разучился писать? Разве считаешь ниже себя выразить какое-нибудь чувство к государю? Зачем ты мудришь? Действуй просто. Государь огорчен твоим поступком; он считает его с твоей стороны неблагодарностью. Он тебя до сих пор любил и искренно хотел тебе добра. По всему видно, что ему больно тебя оттолкнуть от себя. Что ж тут думать? Напиши то, что скажет сердце. А тут, право, есть, о чем ему разговориться». Пушкин в горьком недоумении ответил Жуковскому: «Я, право, сам не понимаю, что со мною делается. Идти в отставку, когда того требуют обстоятельства, будущая судьба всего моего семейства, собственное мое спокойствие, — какое тут преступление, какая неблагодарность? Но государь может видеть в этом что-то похожее на то, чего понять все-таки не могу. В таком случае я не подаю в отставку и прошу оставить меня в службе. Теперь, отчего письма мои сухи? Да зачем же быть им сопливыми? В глубине сердца моего я чувствую себя правым перед государем; гнев его меня огорчает, но чем хуже положение мое, тем язык мой становится связаннее и холоднее. Что мне делать? Просить прощения? хорошо; да в чем?.. Не знаю, почему письма мои неприличны. Попробую написать третье». И написал третье, — по возможности, «сопливое». Наконец, царь положил гнев на милость и написал Бенкендорфу: «Я ему прощаю, но позовите его, чтобы еще раз объяснить ему всю бессмысленность его поведения, и чем все это может кончиться; то, что может быть простительно двадцатилетнему безумцу, не может применяться к человеку тридцати пяти лет, мужу и отцу семейства».

Полное непонимание душевной драмы Пушкина Жуковский выказал и при улаживании первого вызова Пушкина Геккерену. Знаменитое письмо Жуковского о смерти Пушкина насквозь фальшиво; в нем Жуковский, с целью обеспечить милость царя к семье Пушкина, рисует Пушкина восторженным обожателем царя, вкладывает в его уста слова о царе, которых Пушкин никогда не говорил, и т. п.

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СОБОЛЕВСКИЙ
(1803—1870)

Побочный сын богатого помещика А. Н. Соймонова от вдовы бригадира А. И. Лобковой. Воспитывался матерью, получил хорошее до-

машнее образование, жил в роскоши. Обучался в петербургском университетском Благородном пансионе. Товарищами его были П. В. Нащокин, А. А. Краевский, М. И. Глинка, Л. С. Пушкин (брат поэта). С 1822 г. числился на службе в московском архиве министерства иностранных дел. Архив этот был излюбленным местом служения для тех молодых дворян, которые, не имея влечения к военной деятельности, искали легкой и видной службы на дипломатическом поприще, а также и для тех, кого вообще не прельщала чиновническая карьера. Эти «архивные юноши», как их назвал Пушкин в «Евгении Онегине», составляли цвет московской молодежи. К ним принадлежали братья Киреевские, Веневитинов, Одоевский, Шевырев, Погодин и др. По приезде в Москву Соболевский зажил веселою, рассеянною жизнью богатого повесы, кутившего на родительский счет и преимущественно на счет баловницы-матери. Блистал на балах и великосветских раутах, задавал гастрономические обеды, устраивал холостые попойки, прославился многочисленными любовными приключениями. Но в то же время был в тесной связи с передовою молодежью, посещал литературные и философские кружки, принимал живое участие в основании журнала «Московский вестник», дружил с целым рядом писателей. Пушкин, Грибоедов, Дельвиг, Боратынский читали ему свои произведения и дорожили его советами. С января 1829 г. до 1833 г. путешествовал по Европе, затем жил в Петербурге и Москве, а в августе 1836 г. снова уехал за границу. Впоследствии основал с братьями Мальцовыми бумагопрядильную фабрику и сильно разбогател. Жил то в Москве, то в Петербурге, много путешествовал за границей. Был страстный любитель книги, собрал библиотеку в 25 000 томов; как библиофил и ученый библиограф пользовался большою известностью и в Западной Европе. Был автором многочисленных эпиграмм и экспромптов, нередко приписывавшихся Пушкину.

С Пушкиным Соболевский познакомился в Петербурге, через его брата, когда еще был в университетском пансионе. Сблизились они после приезда Пушкина в Москву. Пушкин вскоре поселился у Соболевского, на Собачьей Площадке, и жил у него до самого своего отъезда в Петербург. И впоследствии они видались очень часто, когда жили в одном городе. Во время дуэли и смерти Пушкина Соболевский находился за границей.

Высокий, плотный, с лицом сатира; всегда одетый по моде; любил широко пожить, вкусно поесть и хорошо выпить; нахал и циник; его выходок и бесцеремонной шумливости многие совершенно не выносили, особенно дамы (жена Пушкина, жена Дельвига). До какого цинизма доходили его выходки, показывает запись в дневнике Пушкина. «3 мар-

та, (1834 г.), — пишет Пушкин, — был я вечером у кн. Одоевского. Соболевский любезничал с Ланской, сказал ей велегласно: «Le ciel n'est pas plus pur que le fond de mon cul (само небо не более чисто, чем дно моей задницы)»[1]. Он ужасно смутился, свидетели (в том числе Ланская) не могли воздержаться от смеха. Княгиня Одоевская обратилась к нему, позеленев от злости. Соболевский убежал». Одна современница, Новосильцева, характеризует Соболевского так: «Он жил в свое удовольствие, никому не принося пользы и не имея настоящих друзей. В сущности он не любил никого, дорожил очень немногими, а остальных презирал и преследовал своими злыми и остроумными эпиграммами. Его железный характер тяготел над людьми, близкими ему; он их забирал в руки и заставлял плясать под свою дудку. Те же, которые не поддавались, попадали в немилость». Пушкин любил Соболевского за тонкий литературный вкус, за остроумие и деловитость, посвящал его в свои хозяйственные дела. Однако очень сомнительно, чтобы между ними была большая духовная близость. В немногочисленных письмах своих к Соболевскому Пушкин совершенно не касается сколько-нибудь серьезных вопросов, речь только о деньгах и вообще о житейских делах, стиль писем, как всегда у Пушкина, — стиль адресата, в данном случае — острящий и циничный; предмет острот — обжорство и сластолюбие Соболевского; Пушкин называет его «животом», Калибаном, Фальстафом, заканчивает письма: «прощай, обжирайся на здоровье». Летом 1834 г., сообщая жене о беспутной жизни брата своего Левушки, Пушкин прибавляет: «Соболевский им руководствует, и что уж они делают, то господь ведает. Оба довольно пусты». Но, повидимому, у Соболевского, действительно, был сильный характер, и он умел влиять на Пушкина. Главным образом благодаря вмешательству Соболевского были предотвращены дуэли Пушкина с Ф. И. Толстым и Соломирским. В. А. Сологуб и А. А. Муханов высказывают твердую уверенность, что если бы во время последней дуэли Пушкина Соболевский находился в Петербурге, то он, по влиянию его на Пушкина, один мог бы удержать его, прочие были не в силах.

ПАВЕЛ ВОИНОВИЧ НАЩОКИН
(1800—1854)

В последнее десятилетие жизни Пушкина самый близкий его друг. Знатного дворянского рода, из очень богатой помещичьей семьи. Учился

[1] Пародия на стих Расина в «Федре»: «Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon coeur (сам день не более чист, чем дно моего сердца)».

в петербургском университетском Благородном пансионе вместе с братом Пушкина Львом. Курса не кончил. Поступил в лейб-гвардии Измайловский полк, зажил разгульною жизнью богатого гвардейского офицера, кутил, вел крупную игру в карты, ухаживал за актрисами. Наследник громадного родового имения, он удивлял всех обстановкою своей квартиры, рысаками, экипажами, выписанными прямо из Вены. Деньги ему были нипочем. Он покупал все, что попадалось на глаза: мраморные вазы, китайские безделушки, фарфор, бронзу, сколько бы это ни стоило, а потом за ненадобностью раздаривал друзьям. Для поощренья молодых талантов заказывал начинающим художникам свои портреты; таких портретов писано было с него до тридцати штук, их он тоже раздаривал. Жил он на всем готовом у своей матери, но кроме того нанимал бельэтаж большого дома на Фонтанке. Сюда он приезжал ночевать после ночных игр и кутежей, сюда же каждый из его знакомых мог явиться на ночлег не только один, но и приводить незнакомых Нащокину приятелей своих, даже девиц. Многочисленная прислуга под управлением Карлы-головастика обязана была для всех раскладывать на полу постели, — для парочек в маленьких кабинетах, для одиноких — в больших комнатах, вповалку. Сам Нащокин, явясь позднее всех, только спрашивал, много ли ночлежников, и тихо пробирался в свой отдельный кабинет. Но утром все обязаны были являться к кофе или чаю. Случалось, в день рождения Нащокина гвардейская молодежь, после великолепного завтрака и множества опорожненных бутылок, сажала в четырехместную карету, запряженную четверкой лошадей, нащокинского Карлу-карлика с кучей разряженных девиц, а сами офицеры, сняв мундиры, в одних рейтузах и рубашках, засев на места кучера и форейтора и став на запятках вместо лакеев, летели во всю конскую прыть по Невскому, по Морской и по всем лучшим улицам. Пушкин в это время был уже знаком с Нащокиным и принимал участие в забавах его приятелей. Однажды, тоже в день рождения Нащокина, по инициативе Пушкина, Нащокина пригласили в его собственный приют и при входе приготовили ему сюрприз до того циничный, что невозможно описать.

В 1824 г. Нащокин вышел в отставку поручиком, переехал в Москву и там повел ту же беспутную, распущенную и совершенно бездеятельную жизнь. Двух вещей он никогда не мог понять: как можно трудиться и как можно отказывать себе в осуществлении самой шальной затеи, раз есть деньги. Состояние свое он вскоре спустил, временами сильно нуждался, так что приходилось, например, топить печи мебелью красного дерева. Но потом дела его опять поправлялись: то выиграет большую сумму в карты, то получит от дальнего родственника наслед-

ство «в какую-нибудь сотню душ», то вдруг кто-нибудь возвратит ему крупный долг. Тогда он опять начинал швырять деньги направо и налево, давал взаймы каждому, кто попросит, помогал любому попрошайке, задавал приятелям роскошнейшие обеды, осуществлял нелепейшие затеи. Известность получил «Нащокинский домик», о котором не раз упоминает в письмах Пушкин: игрушечный двухэтажный домик аршина в два длины, населенный куклами. Все принадлежности и обстановка домика делались на заказ первейшими мастерами: обувь для кукол делал по специальным колодкам лучший петербургский сапожник Пель; настоящий игрушечный рояль в семь с половиной октав — Вирт; на рояли можно было разыгрывать палочками целые пьесы; мебель, раздвижной обеденный стол работал знаменитый Гамбс; скатерти, салфетки, фарфоровая и хрустальная посуда на двадцать четыре куверта, — все делалось на лучших фабриках. Домик этот обошелся Нащокину в сорок тысяч рублей[1]. Жил он с цыганкою Ольгой Андреевной, дочерью знаменитой Стеши. С утра до вечера в доме Нащокина толокся разнообразнейший народ, — на знакомства он был очень неразборчив. «Такая бестолочь и ералаш, что голова кругом идет, — писал Пушкин жене. — С утра до вечера у него разные народы: игроки, отставные гусары, студенты, стряпчие, цыганы, шпионы, особенно заимодавцы. Всем вольный вход. Всем до него нужда: всякий кричит, курит трубку, обедает, поет, пляшет; угла нет свободного... Не понимаю, как можно жить, окруженным такою сволочью». Главною страстью Нащокина были карты. Для них он забывал все. Приехал к нему из Петербурга горячо любимый Пушкин, — и в первый же вечер Нащокин, оставив его дома, отправился в клуб играть в карты. «Любит меня один Нащокин, — писал Пушкин жене. — Но тинтере (карточная игра) — мой соперник, и меня приносят ему в жертву». Однажды обедал у Нащокина беллетрист Ник. Фил. Павлов. После обеда сели играть. Играли весь вечер и всю ночь. Нащокин проиграл все наличные деньги, золотые часы, столовое серебро, карету с лошадьми и санки своей сожительницы Ольги Андреевны с парою вяток. На рассвете Павлов, захватив серебро, вещи, в выигранной карете поехал домой, приказав сани с вятками отправить вслед за собою.

В 1834 г. Нащокин сбежал от своей цыганки, оставив ей в Москве их квартиру со всей обстановкой, экипажами, лошадьми, хорошую сумму денег, обвенчался с молодой девушкой В. А. Снарской и некоторое время жил с нею в Туле, без всяких средств. Потом переселился в Москву; дела его поправились, и он повел прежний образ жизни. Получил

[1] Сейчас он в Историческом музее в Москве. Прим. редакции.

еще раз крупное наследство, скоро спустил и его. Сильно нуждался. Однако, когда приходил к нему почитаемый им гость, Нащокин посылал своего крепостного человека Модеста искать кредита и угощал гостя изысканнейшим обедом с отличными винами и десертом. Последние годы жил почти в нищете. Стал очень религиозен и, подобно Американцу-Толстому, умер, стоя на коленях и молясь богу.

Нащокин, хотя по-русски писал с безграмотностью совершенно исключительною, был человек очень образованный, умница, с тонким художественным вкусом; восхищался Бальзаком в то время, когда все увлекались Марлинским. Прекрасно рассказывал,—а испытал он в жизни много, сталкивался с самыми разнообразными людьми, рассказывать было что. Обществом его дорожили все выдающиеся люди его времени — Пушкин, Боратынский, Вяземский, Жуковский, Языков, Денис Давыдов, Гоголь, Чаадаев, Брюллов, Тропинин, Щепкин, Верстовский. Что-то, очевидно, было в Нащокине, поднимавшее его над уровнем ординарности. Гоголь писал про него, что, безрасчетно и шумно проведя молодость в обществе знатных повес и игроков, Нащокин ни разу не потерялся душою, не изменил ни разу ее благородным движениям, умел приобрести невольное уважение достойных и умных людей; будучи низринут в несчастие, в самые крайние положения, от которых бы закружилась и потерялась у всякого другого голова, он не прибегнул ни к одному бесчестному средству, которое могло бы выпустить его из крайности, не вдался ни в один из тех пороков, в которые способен вдаться русский, приведенный в отчаяние. Так же смотрел на Нащокина и Пушкин. Его он собирался сделать героем своего романа «Русский Пелам», где хотел вывести богатого и одаренного юношу двадцатых годов, предающегося самому бесшабашному разгулу, опускающегося до самых низменных нравственных подонков общества и через всю грязь, пороки и распущенность проносящего ясный ум и чистую, исполненную благородства душу. В письмах своих к Нащокину Пушкин отмечает его «удивительное добродушие и умную, терпеливую снисходительность», пишет ему: «...кто, зная тебя, не поверит тебе на слово своего имения, тот сам не стоит никакой доверенности». Нащокин был человек очень жизнерадостный, никогда не падавший духом, с добрым сердцем, отзывчивый. Помогая всяким тунеядцам и проходимцам, помогал и людям достойным, оказывал энергичную поддержку попавшим в беду артистам и писателям.

Пушкин близко сошелся с Нащокиным в Москве около 1829 г. С этого времени, приезжая в Москву, он почти всегда останавливался у Нащокина. Сейчас же оба отправлялись в баню, брали большой номер с двумя полками, подолгу парились и предавались самой задушевной

беседе. Пушкин к этому времени сильно уже угомонился, его не так тянуло к светским развлечениям и многолюдству, он казался домоседом. Нужны были даже усилия со стороны Нащокина, чтоб заставить Пушкина не прерывать своих знакомств и выезжать. Целые дни проводил он на диване, с трубкою во рту, болтая с Нащокиным и его домочадцами, учился играть в вист и просиживал за ним днями; шутливо ухаживал за родственницей Нащокина, княжной, недалекой старой девой, воображавшей, что она неотразима; Пушкин вздыхал, бросал на нее пламенные взоры, становился перед нею на колени, целовал руки и умолял окружающих оставить их вдвоем; княжна млела от восторга, роняла на пол платок, а Пушкин, поднимая, каждый раз жал ей ногу. Любил он также кривляния и песни обедневшего дворянина Загряцкого, ставшего по нужде шутом и бывавшего у Нащокина. Пушкин очень любил Нащокина, в письмах к нему делился самыми интимными переживаниями, надеждами и горестями, устраивал через него свои денежные дела; заслушивался его рассказами, записывал их за ним, побуждал написать воспоминания. Нащокин, между прочим, рассказал Пушкину случай с белорусским дворянином Островским, послуживший Пушкину темой для «Дубровского». Думают, что Нащокин первый обратил внимание Пушкина на молодого Белинского, через Нащокина Пушкин послал Белинскому первый номер «Современника» и вел переговоры о сотрудничестве Белинского в «Современнике». — Гоголь во втором томе «Мертвых душ» вывел Нащокина под именем Хлобуева.

ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА НАЩОКИНА

Пушкин и Нащокин во всех важных вопросах жизни всегда советовались друг с другом. Когда Пушкин задумал жениться на Н. Н. Гончаровой, он спросил мнения Нащокина. Нащокин посоветовал жениться. Осенью 1833 г. Нащокин решил порвать связь со своею сожительницею, неистовой и некультурной цыганкой Ольгой Андреевной, и жениться на молодой, хорошенькой девушке, Вере Александровне Снарской. Когда в ноябре 1833 г. Пушкин, проездом из Болдина в Петербург, остановился в Москве, Нащокин повез его к невесте. Вера Александровна сильно оробела, но Пушкин держался так просто и приветливо, что смущение ее совершенно исчезло. Он просидел довольно долго и все время говорил почти с нею одною. Когда друзья собрались уходить, Нащокин с улыбкой кивнул на девушку и спросил Пушкина:

— Ну, что, позволяешь на ней жениться?

— Не позволяю, а приказываю, — ответил Пушкин.

Нащокин сбежал от своей цыганки, в подмосковной деревне женился на Вере Александровне и некоторое время прожил с нею в Туле. Потом переселился опять в Москву. В начале мая 1836 г. Пушкин приехал в Москву и, по обыкновению, остановился у Нащокина, в Пименовском переулке. Нащокин посидел с другом, но даже для Пушкина не смог изменить привычке и отправился в Английский клуб играть в карты, оставив Пушкина с женой. Уходя, он спросил, что им прислать из клуба. Пушкин попросил варенца и моченых яблок, — это были его любимые кушанья. Клуб был недалеко, через несколько минут лакей принес. Пушкин вступил в одушевленную беседу с Верой Александровной, рассказывал о своей дружбе с Нащокиным, об их молодых проказах, припоминал смешные эпизоды. Заговорились до пяти часов утра, когда Нащокин воротился из клуба. Он спросил:

— Ты, небось, соскучился с моей женой?

Пушкин ответил:

— Уезжай, пожалуйста, каждый вечер в клуб.

— Вижу, вижу. Ты уж ей насплетничал на меня?

— Было немножко, — смеясь, ответил Пушкин.

Пушкин прожил у Нащокина недели три. Выезжал мало. Целыми часами он и супруги Нащокины просиживали в комнате Веры Александровны на турецком диване, поджав под себя ноги, — Вера Александровна посредине, а по сторонам Нащокин и Пушкин в красном архалуке с зелеными клеточками. Он часто восклицал:

— Как я рад, что я у вас! Я здесь в своей родной семье.

Вера Александровна прожила до глубокой старости, умерла в 1900 г. в Москве. Сильно нуждалась. Московский литературно-художественный кружок не раз оказывал ей материальную поддержку. Оставила воспоминания о Пушкине, напечатанные в «Новом времени». В них находим много мелких, но ценных бытовых черточек в характеристике Пушкина.

ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ ПЛЕТНЕВ
(1792—1862)

Сын бедного сельского священника, рано остался сиротою, учился в тверской духовной семинарии, затем в петербургском Педагогическом институте. Кончил курс в 1817 г. Преподавал словесность в женских институтах и кадетских корпусах. Писал стихи. Познакомился с Дельвигом, Жуковским, Пушкиным. Поздними вечерами возвращались они с Пушкиным с суббот Жуковского и в одушевленных беседах не заме-

чали дальних петербургских расстояний. Сношения ограничивались пока обыкновенным знакомством, а вскоре Пушкин был выслан из Петербурга. Из Кишинева Пушкин по поводу одного стихотворения Плетнева писал брату Льву: «Мнение мое, что Плетневу приличнее проза, нежели стихи; он не имеет никакого чувства, никакой живости, слог его бледен, как мертвец. Кланяйся ему от меня (т. е. Плетневу, а не его слогу) и уверь его, что он наш Гёте». Бесцеремонный Левушка показал письмо Плетневу. Плетнев ответил Пушкину стихотворением, которое было бы прекрасно, будь оно ровно в десять раз короче:

Я не сержусь за едкий твой упрек:
На нем печать твоей открытой силы;
И может быть, взыскательный урок
Ослабшие мои возбудит крылы.
Твой гордый гнев, скажу без лишних слов,
Утешнее хвалы простонародной:
Я узнаю судью моих стихов,
А не льстеца с улыбкою холодной...
и т. д.

По поводу этого стихотворения Пушкин, попеняв брату за его нескромность, писал: «послание Плетнева, может быть, первая его пьеса, которая вырвалась от полноты чувства. Она блещет красотами истинными. Он умел воспользоваться своим выгодным против меня положением; тон его смел и благороден». А самому Плетневу ответил задушевным письмом, положившим начало прочной их дружбе, продолжавшейся до самой смерти Пушкина. Плетнев был человек «услужливый», как назвал его Пушкин, деловитый и исполнительный. Живя постоянно в Петербурге, он заведывал изданием произведений Пушкина. «Я был для него всем, — писал Плетнев: — и родственником, и другом, и издателем, и кассиром. Пушкин, находившись по большей части вне Петербурга, то в Новороссийском краю, то в своей деревне, беспрестанно должен был писать ко мне, потому что у него не было других доходов, кроме тех денег, которые собирал я от издания и продажи его сочинений. Привычка относиться во всем ко мне, опыты прямодушия моего и — может быть — несколько счастливых замечаний, которые мне удалось передать ему на его сочинения, до такой степени сблизили его со мною, что он предварительно советовался с моим приговором каждый раз, когда он в новом сочинении своем о чем-нибудь думал надвое. Присылая оригинал свой ко мне для печатания, он прилагал при нем несколько поправок или перемен на сомнительные места, предоставляя мне выбрать для печати то, что я найду лучше». Сношения Плетнева с опальным Пушкиным обратили на себя внимание, и приказано было

навести справки о Плетневе. Полиция ответила: «Служит с отличным усердием, женат; поведения весьма хорошего, характера тихого и даже робкого, живет скромно». Несмотря на такой отзыв, за Плетневым был учрежден секретный надзор. Стихи он вскоре перестал писать и перешел к критическим статьям. Он держался мнения, что о плохих произведениях писать не стоит, а в хороших надо больше обращать внимание на хорошие стороны; статьи его поэтому были неизменно благожелательны и мягки. Темпераментному Пушкину это мало нравилось, и он писал Плетневу: «Брат Плетнев! не пиши добрых критик! будь зубаст и бойся приторности!»

С 1826 г. Плетнев, рекомендованный Жуковским, преподавал русский язык и словесность в царском дворце — великим княжнам, а потом и наследнику Александру Николаевичу. В 1832 г. занял кафедру русской словесности в петербургском университете. Пушкин очень любил Плетнева. Ему он посвятил «Евгения Онегина»:

Не мысля гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюбя,
Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя,
Достойнее души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзии живой и ясной,
Высоких дум и простоты...
и т. д.

В последние месяцы жизни озлобленный, с издерганными нервами, Пушкин тянулся к уравновешенному, незлобиво-мягкому Плетневу, в беседах с ним выше всего ставил в человеке качество благоволения, видел это качество в Плетневе, завидовал его жизни. Плетнев был высокого роста, крепко сложенный, приятной наружности; говорил тихо, как будто стыдливо. И. С. Тургенев, бывший его слушателем в конце тридцатых годов, рассказывает: «Как профессор русской литературы Плетнев не отличался большими сведениями; ученый багаж его был весьма легок; зато он искренно любил свой предмет, обладал несколько робким, но чистым и тонким вкусом, и говорил просто, ясно, не без теплоты. Кроткая тишина его обращения, его речей, его движений не мешала ему быть проницательным и даже тонким, но тонкость эта никогда не доходила до хитрости, до лукавства. Для критика ему недоставало энергии, огня, настойчивости; прямо говоря, — мужества. Он не был рожден бойцом. Пыль и дым битвы — для его гадливой и чистоплотной натуры были столь же неприятны, как и сама опасность, которой он мог подвергнуться в рядах сражавшихся. Притом его положение

в обществе, его связи со двором так же отдаляли его от роли критика-бойца, как и собственная его натура. Оживленное созерцание, участие искреннее, незыблемая твердость дружеских чувств и радостное поклонение поэтическому — вот весь Плетнев».

После смерти Пушкина Плетнев взял на себя редактирование его журнала «Современник». Но и в области журналистики он оказался таким же «блондином» (употребляя выражение Достоевского о поэте А. Плещееве), — каким блондином был и в поэзии, и в критических статьях, и в жизни. Журнал успеха не имел и в конце концов был передан Плетневым другим лицам. В 1840 г. Плетнев, оставаясь профессором, был избран в ректоры, переизбирался еще два раза, в 1849 г., с изменением устава, был ректором по назначению от правительства. И оставался ректором до 1861 г., исполняя также в отсутствие попечителя и его обязанности. Со студентами Плетнев был мягок, приветлив и доступен, — но мягок был и с начальством, так что мог удержаться на своем посту в течение свирепейшей реакции, наступившей после 1848 г. Иногда он шел даже дальше того, что требовалось законом. Никитенко, например, рассказывает: в качестве председателя цензурного комитета Плетнев жестоко притеснял неприятные ему журналы, особенно «Отечественные записки» с ненавистным ему Белинским. Требовал, чтобы цензурный комитет запретил «Отечественным запискам» печатать переводную беллетристику на том основании, что она не значилась в утвержденной программе журнала, хотел запретить «Библиотеке для чтения» печатать переводные р о м а н ы, потому что ей были разрешены только переводные п о в е с т и, и т. п. Уже в сороковых годах Плетнев занял глубоко консервативную позицию, восторженно приветствовал «Переписку» Гоголя, враждебно относился к Грановскому, Лермонтову, Некрасову.

V

ПИСАТЕЛИ

ГАВРИИЛ РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН
(1743—1816)

Знаменитый поэт второй половины XVIII века. В юности Пушкина пользовался огромным уважением как признанный патриарх русской литературы. С благоговейным уважением относилась к нему и учащаяся молодежь царскосельского лицея. В начале января 1815 г. был назначен в лицее публичный экзамен, на котором обещался быть Державин. Когда лицеисты узнали, что Державин будет к ним, они взволновались. Дельвиг вышел на лестницу, чтоб дождаться его и поцеловать ему руку, — руку, написавшую «Водопад». Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара:

— Где, братец, здесь нужник?

Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига, он отменил свое намерение и возвратился в залу. Державин был очень стар. Он был в мундире и плисовых сапогах. Экзамен очень его утомил: он сидел, подперши голову рукою; лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвисли. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен русской словесности. Тут он оживился: глаза заблистали, он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостью необыкновенной. Вызвали Пушкина. Стоя в двух шагах от Державина, он прочел свои патриоти-

ческие стихи «Воспоминания в Царском Селе». Мальчик не помнил себя от волненья и восторга. Он читал:

О, громкий век военных споров,
Свидетель славы россиян!
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,
Потомки грозные славян,
Перуном Зевсовым победу похищали!
Их смелым подвигам, страшась, дивился мир;
Державин и Петров героям песнь бряцали
Струнами громозвучных лир.

При слове «Державин» голос мальчика зазвенел. Кончил читать. Державин в восхищении обнял юного поэта и воскликнул:

— Я не умер. Вот кто заменит Державина!

Со слезами на глазах поцеловал Пушкина и положил руку на кудрявую его голову. Взволнованный Пушкин убежал. Его искали, но не нашли.

Пушкин впоследствии несколько раз вспоминал о теплом привете, с каким Державин отнесся к его юной музе:

И свет ее с улыбкой встретил,
Успех нас первый окрылил;
Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил.

Так в «Евгении Онегине». И в послании к Жуковскому:

И славный старец наш, царей певец избранный,
В слезах обнял меня дрожащею рукой
И счастье мне предрек, незнаемое мной.

До конца жизни Пушкин относился к поэту Державину с большим уважением, не допускал, чтобы в журналах, где хотели иметь его сотрудником, о Державине отзывались непочтительно. Однако смотрел на него трезво и вот как писал Дельвигу в 1825 г.: «По твоем отъезде перечел я Державина всего, и вот мое окончательное мнение: этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка, — он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии — ни даже о правилах стихосложения. Вот почему он и должен бесить всякое разборчивое ухо. Он не только не выдерживает о д ы, но не может выдержать и строфы. Чтож в нем: мысли, картины и движения истинно поэтические; читая его, кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого-то чудесного подлинника... У Державина должно сохранить будет од восемь, да несколько отрывков, а прочее сжечь. Жаль, что наш поэт, как Суворов, слишком часто

кричал петухом». К личности Державина, по сообщению Нащокина, Пушкин относился отрицательно. Он рассказывал Нащокину, что знаменитый лирик в пугачевщину сподличал, струсил и предал на жертву одного коменданта крепости, изображенного в «Капитанской дочке» под именем Миронова (сильно смягченный рассказ Пушкина о поведении Державина см. в «Истории Пугачевского бунта», гл. VIII первой части.)

Граф ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ХВОСТОВ
(1757—1835)

«Благосклонный читатель! Ты зришь пред очами своими жизнеописание знаменитого в своем отечестве мужа. Дела его и заслуги своему отечеству столь были обширны, что поместить оные в себе может одна только соразмерная оным память, и токмо при систематическом и притом раздельном повествовании оных. Почему мы при настоящем издании его жизнеописания заблагорассудили дела его и заслуги отечеству разделить на две части или статьи: предметом первой будут душевные его таланты и степень образованности по отношению к наукам и просвещению; предметом же второй положим краткое описание гражданского его достоинства и знаменитости, которые он своими доблестями приобрел в славном российском государстве».

Так начинает свою автобиографию граф Дмитрий Иванович Хвостов, «действительный тайный советник, сенатор и кавалер». Мы приступим к его жизнеописанию в обратном порядке, — сначала опишем доблестное его «гражданское достоинство», а потом — заслуги сего мужа по просвещению российской публики бессмертными поэтическими творениями своими.

Родился он просто Хвостовым. Был сыном подпоручика гвардии. Служил в мелких должностях в провиантском штате, в винной экспедиции, в одном из сенатских департаментов. В 1778 г., за неявку на службу, был уволен от должности и уехал в Москву. Там женился на княжне Агр. Ив. Горчаковой, родной племяннице знаменитого Суворова. После этого началась быстрая карьера Хвостова. Вскоре он уже действительный статский секретарь обер-прокурор сенатского департамента. По ходатайству Суворова императрица Екатерина пожаловала Хвостова в камер-юнкеры. Когда ей указали, что нет данных для такого пожалования Хвостова, Екатерина ответила:

— Если бы Суворов попросил, я сделала бы его и камер-фрейлиною.

Хлопотами того же Суворова сардинский король возвел Хвостова

в графское достоинство; вскоре Хвостову было разрешено пользоваться этим титулом в России. К концу жизни граф Хвостов был действительным тайным советником, членом государственного совета и занимал важную должность в сенате.

Однако «знаменитость», — и знаменитость широчайшую, — Хвостов приобрел не описанным гражданским своим служением, а поэтическою деятельностью. Батюшков сказал о нем: «Хвостов своим бесславием славен будет и в позднейшем потомстве». Это был бездарнейший виршеплет, напихивавший в корявые рифмованные строчки вялые эпитеты, безвкусные образы и невероятнейшую бессмыслицу. В баснях его, например, голубок разгрызает *зубами* сети, в которых запутался, осел лезет *лапами* на дерево, у козла — *свиная* туша и т. п. Писал Хвостов в самых разнообразных родах, — писал оды, послания, притчи, басни, переводил Буало, Расина, был усердным приверженцем ложноклассической поэзии. Никто сочинений его не читал и не покупал, но Хвостов выпускал их все новыми и новыми изданиями, рассылал пудами знакомым и незнакомым, рассылал в академии, университеты, школы; поймав слушателя даже на улице, часами читал свои стихи, без конца и без отдыху; на торжественных собраниях потихоньку рассовывал свои книжки по карманам фраков присутствующих, в дороге дарил их всем станционным смотрителям. Через подставных лиц скупал в книжных магазинах свои сочинения, уничтожал их и выпускал новыми изданиями; заказывал переводы на иностранные языки, печатал и рассылал иностранным знаменитостям: Гёте, Ал. Гумбольдту, Ламартину. На всех этих изданиях он сильно порасстроил свое состояние.

Все потешались над творениями Хвостова. Но никакие насмешки и эпиграммы не колебали в нем глубочайшей уверенности в его гениальности. Он писал о себе:

Ступай теперь, Хвостов,
Награду получить достойную трудов;
Стань смело на ряду с бессмертными творцами
И, скромность отложа, красуйся их венцами!

Насмешки над собою он приписывал зависти и увлечению новыми, осужденными на скорую гибель литературными модами. Когда Суворов умирал, он призвал Хвостова и умолял его не позорить себя и бросить писать стихи. Хвостов вышел от Суворова, обливаясь слезами. Все кинулись к нему, стали расспрашивать, как себя чувствует фельдмаршал. Хвостов безнадежно махнул рукою:

— Бредит!

Ловкие люди пользовались тщеславием Хвостова и, кадя ему фи-

миам, устраивали через него свои делишки. Среди этих людей были и профессора, и поэты, и журналисты (кн. Шаликов, Воейков, Греч). Кто просил материальной поддержки своему журналу, кто протекции в сенате, кто денежного пособия, кто представления о производстве в чин. Для таких своих хвалителей Хвостов делал все, что мог.

Для молодой литературы Хвостов служил предметом неистощимых насмешек. В «Арзамасе» сочинения его были настольными потешными книгами. Его высмеивали в стихах Жуковский, Батюшков, Вяземский. Пушкин еще лицеистом постоянно с насмешкой упоминал в своих стихах Хвостова под именем Графова или Свистова. В 1825 г., в Михайловском, он написал пародию на оды Хвостова, великолепно подделываясь под стиль Хвостова. Сопоставляя его с Байроном, Пушкин писал:

Вам с Бейроном шипела злоба,
Гремела и правдива лесть.
Он — лорд, граф — ты, поэты оба!
Се — мнится — явно сходство есть.
Никак! Ты с верною супругой
Под бременем судьбы упругой
Живешь в любви — и наконец
Глубок он, но единобразен,
А ты глубок, игрив и разен,
И в шалостях ты впрямь певец...
и т. д.

В 1831 г., в разгар холеры, Пушкин писал Плетневу из Царского села: «С душевным прискорбием узнал я, что Хвостов жив. Посреди стольких гробов, стольких ранних или бесценных жертв Хвостов торчит каким-то кукишем похабным. Перечитывал я на-днях письма Дельвига; в одном из них пишет он мне о смерти Веневитинова: «я в тот же день встретил Хвостова, говорит он, и чуть не разругал его: зачем он жив?» Бедный наш Дельвиг! Хвостов и его пережил!»

Осенью этого же года Хвостов, прочитав патриотические стихи Пушкина «Клеветникам России», написал ему такое письмо: «Милостивый государь мой Александр Сергеевич! Не повстречая вас лично, я имею честь послать к вам мои стихи, вскоре после творения вашего «Клеветникам России» сочиненные. Примите их от старика, близкого к могиле, в знак отличного уважения к дарованиям вашим.

Против крамол писал я много,
Изобличал безумцев строго.

Но убедясь в печальной истине опытов, что развращенные сердца завистливых крамольников ожесточенны и слухи их не внемлют преле-

стей гармонии сынов Аполлона, я ограничиваюсь желанием, чтобы знаменитая лира ваша предпочтительно воспевала богатырей русских давнего и последнего времени».

Стихи Хвостова к Пушкину очень длинны. Приводим из них отрывки, чтобы дать представление о манере Хвостова.

Когда кипела в жилах кровь,
Я славить мог весну, любовь;
От ига лет, подобно маку,
Я сгорбился, равняюсь злаку,
Но стал союзник Зодиаку.
Страшась холеры, стрел и пуль,
Я пел в Петрополе июль,
Поклонник давний русской славы,
Пел в августе приступ Варшавы...
и т. д.
Спасибо Пушкину-поэту;
Завистникам гостинец вновь
Заморскому докажет свету
Его к отечеству любовь.
Его творение прекрасно,
Замысловато, сильно, ясно,
Легко, приятно и умно...
Тебе дала поэта жар
Мать вдохновения — природа;
Употреби свой, Пушкин, дар
На славу русского народа...
и т. д.

Летом следующего 1832 г. Хвостов прислал жене Пушкина положенные на музыку стихи свои «Соловей в Таврическом саду». Пушкины в это время жили на Фурштатской. Стихи кончались так:

Пусть голос соловья прекрасный,
Пленяя, тешит, нежит слух,
Но струны лиры громогласной
Прочнее восхищают дух.
Любитель муз, с зарею майской,
Спеши к источникам ключей:
Ступай подслушать на Фурштатской,
Поет где Пушкин-соловей!

Пушкин ответил Хвостову любезнейшим письмом: «Жена моя искренно благодарит вас за принесенный и неожиданный подарок. Позвольте и мне принести вашему сиятельству сердечную мою благодарность. Я в долгу перед вами: два раза почтили вы меня лестным ко мне обращением и песнями лиры заслуженной и вечно юной. На днях буду иметь честь явиться с женою на поклонение к нашему славному и любезному патриарху».

ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ
(1768—1844)

Знаменитый баснописец, «дедушка Крылов». Неизвестно, был ли он когда-нибудь молод, деятелен, худощав; но его совершенно невозможно представить себе иначе, как тучным, малоподвижным стариком. И невозможно представить, что о нем могли бы писать биографы и мемуаристы, если бы не его легендарная леность, неопрятность и обжорливость. Служил он в Публичной библиотеке, где ничего не делал, всю работу свалив на плечи своего помощника Сопикова. Квартиру он имел в той же Публичной библиотеке, и была она больше похожа на берлогу медведя, чем на жилище культурного человека. Лестница, ведшая в квартиру, кухня, одновременно служившая прихожей, полы квартиры, стены, мебель, — все было грязно, покрыто пылью; хозяин восседал с поджатыми ногами на изодранном диване, в грязном халате; над диваном, сорвавшись с одного гвоздика, висела наискось большая картина в тяжелой раме; но Крылов рассчитал, что если картина сорвется, то должна описать косвенную линию и миновать его голову, поэтому считал излишним вбивать второй гвоздь.

Он был высокого роста, тучный, с обрюзглым лицом, с седыми, всегда растрепанными волосами; умываться не любил, одевался неряшливо; сюртук носил постоянно запачканный, залитый чем-нибудь, жилет надет был вкривь и вкось. Однажды Крылов собирался на придворный бал и советовался с другом своим А. Н. Олениным, как ему нарядиться. Маленькая дочка Олениных ему посоветовала:

— Вы умойтесь и причешитесь, вас никто и не узнает.

Книги он зачитывал или так затрепывал, что знакомые остерегались давать ему ценные издания. Читать серьезных книг и вообще употреблять какие-нибудь умственные усилия не любил. Однако над баснями своими работал много и упорно, не ленился переделывать и переписывать их по десятку раз. Да и вообще, если задевали его самолюбие, был способен отдаться порывом самому интенсивному труду. Гнедич часто приходил к Оленину читать свой перевод «Илиады»; когда Крылов пытался делать свои замечания, Гнедич возражал:

— Ведь ты не знаешь греческого языка; ну, и молчи.

Тогда Крылов потихоньку выучился греческому языку, вдруг заспорил с Гнедичем, что он такой-то стих перевел неправильно, и, к изумлению Гнедича, доказал ему это разбором соответственного места в подлиннике.

Весь смысл жизни, все упоение ее, все блаженство заключались для Крылова в еде. Современница так описывает один из званых обедов,

устраивавшихся Крылову его почитателями. Обедали в пять часов. Крылов появлялся аккуратно в половине пятого. Перед обедом он неизменно прочитывал две или три басни. Выходило у него прелестно. Приняв похвалы как нечто обыденное и должное, Крылов водворялся в кресло, — и все его внимание было обращено теперь на дверь в столовую. Появлялся человек и провозглашал:

— Обед подан!

Крылов быстро поднимался с легкостью, которой и ожидать от него нельзя было, оправлялся и становился у двери. Вид у него был решительный, как у человека, готового, наконец, приступить к работе. Скрепя сердце, пропускал вперед дам, первый следовал за ними и занимал свое место. Лакей-киргиз Емельян подвязывал Крылову салфетку под самый подбородок, вторую расстилал на коленях и становился позади его стула. На первое блюдо уха с растегаями; ими всех обносили, но перед Крыловым стояла глубокая тарелка с горою растегаев. Он быстро с ними покончил и после третьей тарелки ухи обернулся к буфету. Емельян поднес ему большое общее блюдо, на котором еще оставался запас. На второе подали огромные отбивные телячьи котлеты, еле умещались на тарелке, — не осилишь и половины. Крылов съел одну, потом другую; приостановился, окинул взором обедающих, быстро произвел математический подсчет и решительно потянулся за третьей. Громадная жареная индейка вызвала у него восхищение.

— Жар-птица! — твердил он, жуя и обкапывая салфетку. — У самых уст любезный хруст... Ну, и поджарено! Точно кожицу отдельно и индейку отдельно жарили. Искусники, искусники!

К этому еще мочения, которые Крылов очень любил, — нежинские огурчики, брусника, морошка, сливы. Крылов блаженствовал, глотая огромные антоновки, как сливы. Первые три блюда готовила кухарка, два последние — повар из Английского клуба, знаменитый Федосеич. И вот подавался страсбургский паштет, — не в консервах, присланных из-за границы, а свежеприготовленный Федосеичем из самого свежего сливочного масла, трюфелей и гусиных печенок. Крылов делал изумленное лицо и с огорчением обращался к хозяину:

— Друг милый и давнишний, зачем предательство это? Ведь узнаю Федосеича руку! Как было по дружбе не предупредить? А теперь что? Все места заняты!

— Найдется местечко! — утешал хозяин.

— Место-то найдется, но какое? Первые ряды все заняты, партер весь, бельэтаж и все ярусы тоже. Один раек остался. Федосеича — в раек! Ведь это грешно!

— Ничего, помаленьку в партер снизойдет! — посмеивался хозяин.

— Разве что так, — соглашался Крылов и накладывал себе тарелку горою.

За этой горой таяла во рту и другая. Наконец, утомленный работой, Крылов неохотно опускал вилку, а глаза все еще с жадностью следили за лакомым блюдом. Но вот и сладкое... Крылов опять приободрился.

— Ну, что? Найдется еще местечко? — интересовался хозяин.

— Для Федосеича трудов всегда найдется, а не нашлось бы, то и в проходе постоять можно, — отшучивался Крылов.

Водки и вина пил он немного, но сильно налегал на квас. Когда обед кончался, то около места Крылова на полу валялись бумажки и косточки от котлет, которые или мешали ему работать, или нарочно, из стыдливости, направлялись им под стол. Выходить из столовой Крылов не торопился, двигался грузно, пропуская всех вперед. Войдя в кабинет, где пили кофей, он останавливался, деловито осматривался и направлялся к покойному креслу поодаль от других. Он расставлял ноги и, положив локти на ручки кресла, складывал руки на животе. Крылов не спал, не дремал, — он переваривал. Удав удавом. На лице выражалось довольство. От разговора он положительно отказывался. Все это знали и его не тревожили. Но если кто-нибудь неделикатно запрашивал его, — в ответ неслось неопределенное мычание. Кофея выпивал он два стакана со сливками наполовину, а сливки были: воткнешь ложку, — она так и стоит. Чай пили в девятом часу; к этому времени Крылов постепенно отходил. Начинал прислушиваться к разговору и принимать в нем участие. Ужина в этом доме не бывало, и хотя Крылов отлично это знал, но для очистки совести все же, залучив в уголку Емельяна, покорно спрашивал:

— Ведь ужина не будет?

После чая Крылова сдавали на руки Емельяну, он бережно сводил его с лестницы и усаживал в экипаж.

Погиб Крылов на посту: объелся протертыми рябчиками и умер от несварения желудка. Вигель дает ему такую характеристику: «В поступи его и манерах, в росте и дородстве есть нечто медвежье; та же сила, та же спокойная угрюмость, при неуклюжести та же смышленность, затейливость и ловкость. В этом необыкновенном человеке были заложены зародыши всех талантов, всех искусств. Скоро, тяжестию тела как бы прикованный к земле и самым пошлым ее удовольствиям, его ум стал реже и ниже парить. Одного ему дано не было: душевного жара, священного огня, коим согрелась, растопилась бы сия масса. Человек этот никогда не знал ни дружбы, ни любви, никого не удостоивал своего гнева, никого не ненавидел, ни о ком не жалел. Две трети столетия прошел он один сквозь несколько поколений, одинаково равнодушный

как к отцветшим, так и к зреющим. С хозяевами домов, кои по привычке он часто посещал, где ему было весело, где его лелеяли, откармливали, был он очень ласков и любезен; но если печаль какая их постигала, он неохотно ее разделял. Не сыщется ныне человека, который бы более Крылова благоговел перед высоким чином или титулом, в глазах коего сиятельство или звезда имели бы более блеска. Грустно подумать, что на нем выпечатан весь характер русского народа, каким сделали его татарское иго, тиранство Иоанна, крепостное над ним право и железная рука Петра. Если Крылов верное изображение его недостатков, то он же и представитель его великих способностей».

Пушкин часто встречался у знакомых с Крыловым всегда, когда бывал в Петербурге. Как художника он ставил его очень высоко, но, по рассказу Нащокина, нравственных достоинств в нем не уважал. В 1825 г. Пушкин напечатал статью о предисловии Лемонте к французскому переводу басен Крылова, где, между прочим, писал, что Крылов является характерным представителем духа русского народа. По этому поводу Вяземский с негодованием писал Пушкину: «Что такое за представительство Крылова? Как ни говори, а в уме Крылова есть все что-то лакейское: лукавство, брань из-за угла, трусость перед господами, все это перемешано вместе. Может быть, и тут есть черты народные, но, по крайней мере, не нам ими хвастаться перед иностранцами... Представительство Крылова в нравственном, государственном отношении есть преступление, оскорбление нации, тобою совершенное». Пушкин на это отвечал: «Ты уморительно критикуешь Крылова, молчи, то знаю я сама, да эта крыса мне кума. Я назвал его представителем д у х а русского народа, — не ручаюсь, чтоб он отчасти не понял. В старину наш народ назывался «смерд». Дело в том, что Крылов преоригинальная туша».

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ГНЕДИЧ
(1784—1833)

Поэт, переводчик «Илиады» Гомера. Перевод этот отягчен архаическими оборотами и славянизмами, тем не менее, по передаче духа подлинника, является одним из самых замечательных переводов Гомера и стоит несравнимо выше слащавой «Одиссеи» Жуковского, серой «Илиады» Минского и прилизанных немецких фоссовых переводов обеих поэм. Сын небогатого полтавского помещика, очень рано остался круглым сиротою. Оспа еще в детстве изуродовала его лицо и лишила правого глаза. Учился в московском университете. С. П. Жихарев вспоминает: «В университете его называли l'étudiant aux échasses или просто х о-

дульником, потому что он любил говорить свысока и всякому незначительному обстоятельству и случаю придавал какую-то важность. Он замечателен был неутомимым своим прилежанием и терпением, любовью к древним языкам, страстью к Шекспиру и Шиллеру. Он увлекался всем, что выходило из обыкновенного порядка вещей, прочитал три раза «Телемахиду» Тредьяковского от доски до доски и даже находил в ней бесподобные стихи. По окончании курса Гнедич переехал в Петербург. Служил в Публичной библиотеке вместе с Крыловым, с которым находился в тесной дружбе. Выдвинулся как поэт и превосходный декламатор, был близок к театру, под его руководством училароли знаменитая Е. С. Семенова, для нее он перевел «Танкреда» Вольтера и переделал «Лира». В борьбе шишковистов с карамзинистами Гнедич занимал нейтральную позицию. Литературная молодежь относилась к нему с большим уважением. Боратынский в послании своем из Финляндии писал Гнедичу:

Лишенье тягостно беседы мне твоей,
То наставительной, то сладостно-отрадной,
В ней сердцу и уму я пищу находил.
Ты бодро действуешь прекрасные полвека
На поле умственных усилий человека...
С тобой желал бы я беседовать опять,
Муж, дарованьями, душою превосходный,
В стихах возвышенный и в сердце благородный.

И Пушкин писал Гнедичу из Кишинева:

Ты, коему судьба дала
И смелый ум, и дух высокий,
И важным песням обрекла..

И через два года писал брату по поводу стихотворения Гнедича «Тарентинская дева»: «Гнедич у меня перебивает лавочку: «увы, напрасно ждал тебя жених печальный» и проч. — непростительно прелестно. Знал бы своего Гомера, а то и нам не будет места на Парнасе!» Пушкин высоко ценил вкус Гнедича. Задумав в 1825 г. издать собрание своих стихов, он дал полномочия Жуковскому, Плетневу и Гнедичу исключать и марать сплеча все, что им покажется недостойным включения в собрание. Когда Пушкин жил на юге, Гнедич издал его «Кавказского пленника», но заплатил за него Пушкину всего 500 руб. асс. и прислал один экземпляр поэмы; предложил купить у него второе издание «Руслана» и «Пленника», но Пушкин отказался от его услуг и писал Вяземскому, что Гнедич — «приятель невыгодный», очень держащий на счету каждую копейку.

Пушкин с нетерпением ждал выхода гнедичева перевода «Илиады», напечатал в «Литературной газете» восторженное извещение об его выходе; когда перевод вышел в свет, Пушкин, с присущею ему озорною насмешливостью, написал эпиграмму:

Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера,
Боком одним с образцом схож и его перевод.

Видно, слишком соблазнительно было противопоставить кривого Гнедича слепому Гомеру. Но Пушкин устыдился своей эпиграммы и тщательно замазал ее чернилами, а вместо нее написал известное двустишие:

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;
Старца великого тень чую смущенной душой.

К Гнедичу же относят и стихи Пушкина «С Гомером долго ты беседовал один» (1832), но это еще требует подтверждения.

Гнедич, со своей стороны, всегда восторженно относился к творчеству Пушкина. По поводу двухстишия в «Бахчисарайском фонтане» «Твои пленительные очи яснее дня, чернее ночи» Гнедич воскликнул, что за эти два стиха он с удовольствием отдал бы свое последнее око, а сказки Пушкина (о царе Салтане и др.) приветствовал следующим посланием:

Пушкин, Протей
Гибким твоим языком и волшебством твоих песнопений!
Уши закрой от похвал и сравнений
Добрых друзей!
Пой, как поешь ты, родной соловей!
Байрона гений, иль Гете, Шекспира —
Гений их неба, их нравов, их стран.
Ты же, постигнувший таинства русского духа и мира, —
Ты наш баян!
Небом родным вдохновенный,
Ты на Руси наш певец несравненный!

Гнедич, как сказано, был крив, и лицо его было изрыто оспой. Однако держался он как красавец, усердно следовал моде и всегда одевался по последней картинке. Волосы были завиты, шея повязана платком, которого стало бы на три шеи. Был чопорен, величав, речь его звучала несколько декламаторски. «Он, — говорит Сологуб, — кажется, и думал гекзаметрами и относился ко всему с вершины Геликона». Впрочем, это не мешало ему быть иногда забавным рассказчиком и метким на острое слово. Гнедич слыл хорошим чтецом; но в чтении его, как и во всем прочем, было мало простоты и натуральности. Голос, дикция были как будто подавлены платком, который несколько раз обвивал

его шею и горловые органы. Французский язык знал он плохо, но любил на нем говорить, и французская речь его была очень забавна.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ГРИБОЕДОВ
(1795—1829)

Из старинного дворянского рода. Родители были богаты, владели 2 000 душ крестьян, но дела их были очень расстроены вследствие расточительности и обычного неумения хозяйничать. Отец мальчика, секунд-майор, умер рано и был, повидимому, человек незначительный, мать была умна и довольно образована, но очень деспотична, честолюбива и жестока. Мальчик рос в атмосфере дворянской спесивости, преклонения перед знатностью и богатством, почтения к старшим, каковы бы они ни были. Он получил блестящую домашнюю подготовку и одиннадцати лет поступил в московский университет. «Учился страстно» и к 1812 г. прошел три факультета, — словесный, юридический и математический. Он владел французским, немецким, английским и итальянским языками, свободно читал по-латыни и вышел из университета одним из образованнейших людей своего времени. Собирался держать экзамен на доктора прав. Но в это время вторгся в Россию Наполеон. Грибоедов, разделяя общее патриотическое одушевление, бросил занятия и поступил корнетом в гусарский полк. Однако в боях побывать ему не удалось: всю кампанию 1812—1814 гг. ему пришлось провести в тылу за комплектованием кавалерийских резервов. Жил он веселою гусарскою жизнью, кутил, озорничал; однажды в Брест-Литовске взъехал верхом на лошади на второй этаж, на бал, куда его не пригласили; другой раз забрался в польский костел во время богослужения и стал играть на органе; он был прекрасный пианист, играл так, что всех восхитил, и вдруг в самый торжественный момент богослужения, перешел на «камаринскую».

В 1816 г. Грибоедов вышел в отставку, в 1817 определился на службу в Петербурге в коллегию иностранных дел, куда около того же времени поступил, окончивши лицей, и Пушкин. Грибоедов с головою ушел в литературную и театральную жизнь Петербурга, сблизился с кн. А. А. Шаховским, Гречем, Катениным. В то время шла борьба между шишковистами и карамзинистами (см. гл. IV «Арзамас»). Грибоедов тяготел к библейским и церковно-славянским архаизмам, это сближало его с «Беседой», но его отталкивал закоренелый политический консерватизм шишковистов. С «арзамасцами» он тоже во многом расходился. Образовался особый кружок новоархаистов, в который входили Грибоедов, Ка-

тенин, Кюхельбекер, Жандр, С. Н. Бегичев. Грибоедов очень увлекался театром, дружил с Сосницким, Валберховой, Семеновой, стал писать комедии и водевили; некоторые из них, как например, комедия «Молодые супруги», имели успех. Грибоедов жил в кругу золотой молодежи веселою и разгульною жизнью, кутил, озорничал, приобрел славу отъявленного и счастливого волокиты, участвовал в закулисных интрижках. Одна из них повела к двойной дуэли Шереметева с графом Завадовским и А. И. Якубовича с Грибоедовым. Об этой дуэли рассказано в гл. V («Каверин»). Шереметев был смертельно ранен, дуэль между Грибоедовым и Якубовичем была отложена. Якубович, признанный следствием главным виновником дуэли, был переведен из лейб-уланского полка на Кавказ в Нижегородский драгунский полк, Завадовский выслан за границу, Грибоедову ничего не было. Дуэль вызвала в петербургском обществе много разговоров, очень неблагоприятных для Грибоедова. И сам он переживал событие очень тяжело. На него нашла ужасная тоска, он беспрестанно видел перед глазами умирающего Шереметева, пребывание в Петербурге сделалось для него невыносимым. Материальные обстоятельства тоже ухудшились. Расточительная жизнь матери и крупные суммы, которые она посылала сыну в Петербург, окончательно расстроили дела Грибоедовых. Вследствие непомерно увеличившихся поборов крестьяне костромского имения Грибоедовых взбунтовались и были кроваво усмирены воинскою силою. Мать настаивала, чтобы сын избрал более выгодную службу. Грибоедов определился секретарем при поверенном в делах Персии (ныне Иран) и в августе 1818 г. оставил Петербург. Мать напутствовала его письмом, в котором советовала избегать честности и прямоты и следовать примеру одного их родственника: «...он подлец, как ты знаешь, и все вперед идет; а как же иначе? Ведь сам бог, кому мы докучаем молитвами, любит, что перед ним мы беспрестанно кувырк да кувырк».

В Тифлисе Грибоедов встретился с Якубовичем, и у них произошла дуэль, отложенная в Петербурге. Грибоедов был ранен в кисть левой руки, пуля Грибоедова пролетела под затылком Якубовича. Они помирились. Грибоедов провел на юге пять лет — частью на Кавказе, частью в Персии; изучал персидский и арабский языки и начал свою комедию «Горе от ума». В марте 1823 г. он получил четырехмесячный отпуск, затем продолженный. Жил в Москве и усердно посещал все празднества, балы, пикники, набирая материал для своей комедии. Весною следующего года он приехал в Петербург с законченной комедией. Она имела огромный успех. Грибоедова нарасхват приглашали читать ее. Несмотря на большие связи Грибоедова, провести ее сквозь цензуру не удалось. Однако комедия распространилась в десятках тысяч списков. Писаря

зарабатывали огромные деньги, изо дня в день копируя «Горе от ума». Любители собирались кружками и записывали комедию под диктовку. Ни одна книга не разошлась в то время в таком количестве экземпляров, сколько разошлось списков «Горя от ума».

В Петербурге Грибоедов познакомился с членами Тайного общества Рылеевым, А. Бестужевым, кн. А. И. Одоевским и др. По настроению он был очень близок к декабристам. «Горе от ума» целиком отражает ту атмосферу ненависти и отвращения к правящим кругам, в которой жили лучшие люди того времени. Сохранился план драмы «1812 год», которую собирался написать Грибоедов. План этот еще лучше характеризует тогдашнего Грибоедова. Героем драмы должен был быть крепостной человек М. Вот окончание плана. Москва уже во власти французов. «*Село под Москвой.* Является М. Всеобщее ополчение без дворян. Трусость служителей правительства. Зимние сцены преследования неприятеля и ужасных смертей. Подвиги М... *Эпилог. Вильна.* Отличия, искательства; вся поэзия великих подвигов исчезает. М. в пренебрежении у военачальников. Отпускается во-свояси с отеческими наставлениями к покорности и послушанию. *Село или развалины Москвы.* Прежние мерзости. М. возвращается под палку господина. Отчаяние, самоубийство». Так подойти в то время к «славной эпопее двенадцатого года» мог только писатель, настроенный очень революционно. Однако Грибоедов был скептик, на жизнь смотрел пессимистически; разделяя идеалы декабристов, он не видел в России сил, способных при данных условиях на борьбу. Рылеев и Бестужев несколько раз заводили с ним разговор о положении в России и делали намеки о Тайном обществе. Но Грибоедов неохотно вступал в такие разговоры и отвечал, что Россия не созрела для конституции. Известно его насмешливое замечание о сотне прапорщиков, мечтающих изменить государственный строй России. Рылеев и Бестужев не настаивали, жалея подвергать опасности большой талант.

Весною 1825 г. Грибоедов отправился обратно на Кавказ. Уезжал он в очень мрачном настроении, — «не от бурь, — писал он другу, — не от угрызающих скорбей, но решительно от пустоты душевной. Какой мир! Кем населен! И какая дурацкая его история!» И в творчестве он не мог найти убежища от этой душевной пустоты. «Ничего не написал, — сообщал он тому же другу, С. Н. Бегичеву. — Не знаю, не слишком ли я от себя требую? Умею ли писать? Право, для меня все еще загадка. Что у меня с избытком найдется, что сказать, за это я ручаюсь. Отчего же я нем? Нем, как гроб!!» На Кавказе Грибоедов состоял при командующем отдельным кавказским корпусом А. П. Ермолове, который очень его полюбил. После декабрьского восстания Грибое-

дов был арестован в крепости Грозной; Ермолов, получив приказ об аресте, предупредил Грибоедова, и обыск у него был сделан тогда, когда Грибоедов успел уничтожить свои бумаги. С фельдъегерем Грибоедов был отправлен в Петербург. На допросах держался независимо, написал императору Николаю такое письмо, что Дибич не посмел его передать. Улик никаких против Грибоедова не нашлось. 2 мая высочайше было повелено «освободить его с аттестатом, выдать не в зачет годовое жалование и произвесть в следующий чин».

Грибоедов воротился на Кавказ. Ермолова в начальствовании краем сменил Паскевич, женатый на двоюродной сестре Грибоедова. Грибоедов заведывал сношениями с Персией и Турцией, писал безграмотному Паскевичу его реляции, сопровождал его на персидской войне. Паскевич писал матери Грибоедова, что сын ее совсем его не слушается: «...разъезжает себе под пулями, да и только!» Выработка мирных условий с Персией почти целиком была делом Грибоедова, обнаружившего большие дипломатические способности. Персия уступила России Нахичеванское и Эриванское ханства и обязалась уплатить 30 миллионов рублей контрибуции. Для представления императору мирного трактата Паскевич отправил в Петербург Грибоедова и в письме рекомендовал его Николаю «как человека, который был для меня по политическим делам весьма полезен». Дипломатическая служба, однако, тяготила Грибоедова; проездом в Петербург он посетил в Москве своего друга С. Н. Бегичева и говорил ему:

— Я приеду на житье к тебе. Все, чем я до сих пор занимался, для меня дела посторонние, призвание мое кабинетная жизнь, голова моя полна, и я чувствую необходимую потребность писать.

В Петербурге Грибоедов встретил блестящий прием. Ему пожалованы были чин статского советника, орден Анны 2 степени с алмазами и четыре тысячи червонцев. На него смотрели как на восходящую дипломатическую звезду. Но карьера его не прельщала, он был грустен и говорил:

— Я в Персии состарился. Не только загорел, почернел, почти лишился волос на голове, но и в душе не чувствую прежней молодости.

Самая большая тайная боль Грибоедова, о которой он редко говорил, была в том, что ему не писалось. Он оказался типичнейшим «автором одной книги». Все, что он писал не только до, но и после «Горя от ума», не поднималось выше посредственности. Долго и много работал над романтической трагедией «Грузинская ночь», читал ее в Петербурге друзьям, они, так сказать, в кредит, восхищались ею, — но это, судя по дошедшим отрывкам, было совершенно беспомощное, чисто ученическое подражание Шекспиру. Грибоедов, как уже говорено, был прекрас-

ный пианист. Однажды, слушая его импровизации на фортепиано, актер П. А. Каратыгин воскликнул в восхищении:

— Ах, Александр Сергеевич, сколько бог дал вам талантов! Вы поэт, музыкант, были лихой кавалерист и, наконец, отличный лингвист!

Грибоедов горько улыбнулся и ответил: — Поверь, Петруша, у кого много талантов, у того нет ни одного настоящего.

Началась война с Турцией. В Персии, озлобленной позорным миром, необходим был энергичный и знающий дело представитель России. На этот трудный и ответственный пост, — повидимому, не без тайного намерения был назначен Грибоедов. Несмотря на все старания, отделаться от назначения ему не удалось. Он должен был ехать в Персию в качестве русского полномочного министра.

В июне 1828 г. Грибоедов выехал из Петербурга. В Тифлисе он женился на молодой красавице-грузинке, княжне Нине Чавчавадзе и вскоре вместе с нею отправился на место своей службы, в Тавриз, резиденцию наследника престола Аббас-Мирзы. Там Грибоедову пришлось принимать энергичные меры к взысканию еще не выплаченной контрибуции. Он несколько раз писал в Петербург, что персидская казна пуста, страна разорена, что не следует доводить ее до крайности чрезмерными денежными требованиями. Ответ из Петербурга был: взыскивать неукоснительно. С тою же целью получения контрибуции Грибоедов, оставив в Тавризе беременную жену, отправился в Тегеран, резиденцию шаха. Желая поднять достоинство русского имени, Грибоедов нарушал этикет шахского двора, выказывал возможно меньше уважения к шаху. Мы не знаем, насколько действовал тут Грибоедов по собственной инициативе и насколько по предписаниям из Петербурга. Но навряд ли при данных обстоятельствах такое поведение было разумно: Россия была занята войною с Турцией, на реальную силу опереться не могла, и бóльшая мягкость диктовалась элементарными политическими соображениями. Английская дипломатия пользовалась таким положением дел и разжигала в персидских придворных сферах ненависть к русскому послу. Духовенство агитировало в народных массах, будило в них национальный и религиозный фанатизм. Грибоедов дал приют в здании посольства двум армянкам из гарема шахова зятя Алаяр-хана, заклятого своего врага. При этом Грибоедов допустил большую неосторожность: для персиян делом совершенно неслыханным по неприличию было помещение молодых женщин в доме, где жили одни мужчины; притом служащие русского посольства пользовались в городе очень плохой репутацией. Вооруженные толпы народа, воспламененные проповедями духовенства, кинулись к зданию русского посольства. Незначительный казачий конвой не мог оказать серьезного сопротивления, он был перебит,

и толпы ворвались во внутренний двор. Грибоедов и все члены миссии заперлись, заделали окна и двери и решили защищаться до последней капли крови. Луристанские горцы, как кошки, перебрались с соседних домов на плоскую крышу посольства, разобрали потолок и сверху стали стрелять в русских. Одним из первых был убит Грибоедов. Толпа ворвалась и всех перерезала. Труп Грибоедова выволокли наружу и с издевательствами таскали по улицам. Обезображенное тело его было узнано только по сведенному от пули Якубовича мизинцу левой руки.

Грибоедов был среднего роста, с прекрасным лбом и тонкими, насмешливыми губами, очень близорукий, поэтому всегда в очках. Обладал сильной волей; что ставил себе целью, того достигал. Не умел понять, как можно, любя Шекспира, читать его в переводах, а не научиться английскому. В начале персидской войны, когда близ него упало ядро, он испытал страх; тогда, чтобы привыкнуть к опасности, он при первом представившемся случае стал на такое место, куда падали неприятельские ядра, и, не сходя с места, выдержал назначенное им себе число выстрелов; после этого перестал бояться. «Образование и ум его необыкновенны», — писал мало расположенный к нему Н. Н. Муравьев. Обращение Грибоедова отличалось искренностью; слушая его, можно было верить каждому его слову; он не терпел преувеличений и будто мыслил вслух, не скрывая своих чувств. Не мог и не хотел скрывать презрения к самодовольной глупости, искательству, низости. В суждениях и образе мыслей был независим. В общении с близкими людьми пленял милым добродушием. Более же далекие ему люди отмечают самонадеянность Грибоедова, склонность к злословию и неуместным, иногда прямо оскорбительным шуткам. Был желчен, раздражителен и заносчив. Однажды Грибоедов должен был в большом обществе читать свою комедию. Один из гостей, очень плохой драматург В. М. Федоров, благодушно сказал, увидев объемистую тетрадь пьесы:

— Ого, как увесиста! Стоит моих драм!

Грибоедов посмотрел на него поверх очков и ответил сквозь зубы:

— Я пошлостей не пишу.

Федоров примирительно сказал, что он тут больше посмеялся над собой, чем над Грибоедовым, и вовсе не хотел его обидеть.

— Да вы и не можете меня обидеть.

Хозяин и другие гости старались замять неприятный разговор, но Грибоедов заявил:

— Пока этот господин будет здесь, я не стану читать.

Федоров сдержанно заметил:

— Мне остается только уйти, чтобы не лишить других удовольствия слышать ваше сочинение.

— И хорошо сделаете.

Грибоедов и Пушкин встречались еще мальчиками в Москве. Старушка-современница вспоминает: «В 1809 или 1810 г. Пушкины нанимали за Разгуляем просторный и поместительный дом. Я туда ездила со своими девочками на танцовальные уроки, которые они брали с Пушкиной девочкой, с Грибоедовой (сестрой того, что в Персии потом убили...). Мальчик Грибоедов, несколькими годами постарше Пушкина, и другие их товарищи были всегда так чисто, хорошо одеты, а на Пушкине всегда было что-то и неопрятно, и сидело нескладно». Возобновилось их знакомство в Петербурге, по окончании Пушкиным лицея. «Грибоедов, Катенин, Жандр, — рассказывает артистка А. М. Колосова, — ласкали талантливого юношу, но покуда относились к нему, как старшие к младшему: он дорожил их мнением и как бы гордился их приязнью. Понятно, что в их кругу Пушкин не занимал первого места и почти не имел голоса. Изредка, к слову о театре и литературе, будущий гений смешил их остроумной шуткой или справедливым замечанием, обличавшим его тонкий эстетический вкус и далеко не юношескую наблюдательность». Однако близких отношений между Пушкиным и Грибоедовым не завязалось; вероятно, тут играла роль и принадлежность их к разным литературным группировкам: Пушкин был ярым «арзамасцем», Грибоедов тяготел к литературным воззрениям «Беседы». О знакомстве своем с Грибоедовым Пушкин рассказывает: «Я познакомился с ним в 1817 г. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, — все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставались некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем как о человеке необыкновенном... Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда с своею молодостью и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом, с праздною рассеянностью и уехал в Грузию».

С «Горем от ума» Пушкин познакомился в псковской ссылке, в январе 1825 г.; рукопись тогда еще запрещенной комедии привез ему Пущин. Не находя в комедии ни плана, ни главной мысли, не соглашаясь с грибоедовской обрисовкой ряда персонажей, Пушкин все же был от комедии в восторге, находил в ней черты истинно комического гения,

пророчески предсказывал, что половина стихов ее войдет в пословицу, и считал, что комедия поставила Грибоедова наряду с первыми нашими поэтами. Известен острый отзыв Пушкина о Чацком: «Чацкий совсем не умный человек, но Грибоедов очень умен».

В 1828 г., в последний приезд Грибоедова в Петербург, они с Пушкиным виделись часто. Грибоедов был в числе слушателей, когда Пушкин читал у графини Лаваль «Бориса Годунова». Пушкин отзывался о Грибоедове: «Это один из самых умных людей России. Любопытно послушать его». Близко, однако, они не сошлись и теперь. В переписке они никогда не состояли. Уезжая в Персию, Грибоедов был печален и имел странные предчувствия. Пушкин хотел его успокоить. Грибоедов ему сказал:

— Вы не знаете этих людей; увидите, дело дойдет до резни.

Летом 1829 г., по дороге в действующую армию Паскевича, Пушкин проезжал через Армению. Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождало арбу. Пушкин спросил:

— Откуда вы?

— Из Тегерана.

— Что везете?

— Грибоеда.

Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис.

ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ БОРАТЫНСКИЙ
(1800—1844)

Из помещичьей семьи. Сын генерал-адъютанта. Воспитывался в Пажеском корпусе. В 1816 г. попался в очень скверном поступке, на какие способны даже и очень хорошие мальчики в переходном возрасте между 14—16 годами. Сын камергера Приклонского передал Боратынскому и другому своему товарищу подобранный к бюро отца ключ, они украли оттуда пятьсот рублей и прокатали на извозчиках, проели на пирожках и конфетах. Боратынский был исключен из корпуса «за негодное поведение» без права поступления на какую-либо службу, — «разве, если пожелает, рядовым». В 1819 г. Боратынский поступил солдатом в лейб-гвардии Егерский полк в Петербурге. Он сблизился с Жуковским, Пушкиным, Дельвигом. В 1820 г. произведен в унтер-офицеры и переведен в Финляндию. Дружба с Н. В. Путятой, адъютантом финляндского генерал-губернатора Закревского, имела следствием значительное облегчение участи Боратынского. В 1824 г. он был переведен из Кюменя в Гель-

сингфорс. Здесь он сильно увлекался женою Закревского, знаменитою красавицею Аграфеной Федоровной, выведенною им в поэме «Бал» и воспетою во многих стихотворениях. В 1825 г. произведен в офицеры. В 1826 г. вышел в отставку и поселился в Москве; в том же году женился на А. Л. Энгельгардт.

Современник так описывает наружность Боратынского. «Его бледное, задумчивое лицо, оттененное черными волосами, взор, горящий как бы сквозь туман тихим пламенем, придавали ему нечто привлекательное и мечтательное; но легкая черта насмешливости приятно украшала черты его. Все существо его было проникнуто неизъяснимою прелестью». Вяземский о Боратынском писал в 1828 г. А. Тургеневу: «Чем более вижусь с Боратынским, тем более люблю его за чувства, за ум, удивительно тонкий и глубокий, раздробительный. Возьми его врасплох, как хочешь: везде и всегда найдешь его с новою своею мыслью, с собственным воззрением на предмет».

Пушкин сблизился с Боратынским в Петербурге до своей ссылки, часто виделся с ним в свои приезды в Москву. К поэтической деятельности Боратынского он относился восторженно, готов был серьезно рассориться с друзьями, недостаточно высоко ценившими Боратынского. В 1822 г. он писал Вяземскому: «Если впредь Боратынский зашагает так, как шагал до сих пор, то оставим все ему эротическое поприще и кинемся каждый в свою сторону, а то спасенья нет». В 1824 г. А. Бестужеву: «Боратынский — прелесть и чудо; после него никогда не стану печатать своих элегий». ...И так дальше. Не раз поминает его в своих стихах. В «Евгении Онегине», собираясь изложить на русском языке французское письмо Татьяны, он обращается к Боратынскому:

Певец «Пиров» и грусти томной!
Когда б еще ты был со мной,
Я стал бы просьбою нескромной
Тебя тревожить, милый мой,
Чтоб на волшебные напевы
Переложил ты страстной девы
Иноплеменные слова.
Где ты? Приди, — свои права
Передаю тебе с поклоном...
Но посреди печальных скал,
Отвыкнув сердцем от похвал,
Один, под финским небосклоном,
Он бродит, и душа его
Не слышит горя моего.

Не раз Пушкин брал стихи Боратынского эпиграфами к своим произведениям; «Граф Нулин» вышел в 1828 г. в одной книжке с «Балом»

Боратынского. Боратынский, со своей стороны, в целом ряде стихотворений упоминает о Пушкине; в «Пирах»:

Ты, Пушкин, ветреный мудрец,
Наперсник шалости и славы,
Молитву радости запой,
Запой, — соседственные боги,
Сатиры, фавны козлоноги
Сбегутся слушать голос твой,
Певца внимательно обстанут
И, гимн веселый затвердив,
Им оглашать наперерыв
Мои леса не перестанут.

Или:

Ты, Пушкин наш, кому дано
Петь и героев, и вино,
И страсти дикие, и шалость,
Дано с проказливым умом
Быть сердца чудным знатоком
И, что, по-моему, не малость,
Быть прелюбезным за столом.

В послании к Богдановичу:

Пушкин молодой, сей ветреник блестящий,
Все под пером своим шутя животворящий.

В 1825 г. Боратынский писал Пушкину: «Иди, довершай начатое ты, в ком поселился гений. Возведи русскую поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел Россию между державами. Соверши один, что он совершил один». Был в восторге от «Онегина»: «Какая прелесть! Какой слог блестящий, точный и свободный! Это рисовка Рафаэля, живая и непринужденная кисть живописца из живописцев». От «Годунова»: «Чудесное произведение, которое составит эпоху в нашей словесности». Однако с течением времени в отзывах Боратынского начинают звучать и другие ноты. Уже в 1827 г. он обращается к Пушкину с странным стихотворением, к которому никак не мог подать повод Пушкин с его строгим отношением к своему творчеству:

Не бойся едких осуждений,
Но упоительных похвал:
Не раз в чаду их мощный гений
Сном расслабленья засыпал.
Когда, доверясь их измене,
Уже готов у моды ты

Взять на венок своей Камене
Ее тафтяные цветы, —
Прости, я громко негодую;
Прости, наставник и пророк,
Я с укоризной указую
Тебе на лавровый венок[1].

В 1832 г. он писал об оконченном «Евгении Онегине» И. В. Киреевскому: «Характеры бледны. Нет ничего такого, что бы решительно характеризовало наш русский быт. Произведение блестящее, но почти все ученическое, потому что почти все подражательное». О сказках Пушкина тоже отзывался отрицательно. Однако от «Повестей Белкина», как выражается Пушкин, «ржал и бился». А по поводу смерти Пушкина вспоминал слова Феофана Прокоповича о Петре Великом: «Что мы сделали, россияне, и кого погребли!»

Близких, истинно-дружеских личных отношений между Пушкиным и Боратынским, повидимому, не было, а если и были вначале, то постепенно завяли. Как-то не вязалось их знакомство. Боратынский в 1828 г. писал Пушкину из Москвы: «Дельвиг передал мне одну твою фразу, и ею меня несколько опечалил. Ты сказал ему: «Мы нынче не переписываемся с Боратынским, а то бы я уведомил его» — и проч. Неужели, Пушкин, короче прежнего познакомясь в Москве, мы стали с тех пор более чуждыми друг другу?—Я, по крайней мере, люблю в тебе по-старому и человека, и поэта». А по поводу последней встречи с Боратынским в Москве в мае 1836 г. Пушкин писал жене: «Боратынский очень мил. Но мы как-то холодны друг к другу». Некоторые исследователи, в вечном искании «прототипов» к художественным образам, полагают, что в «Моцарте и Сальери» Пушкин под видом Сальери изобразил Боратынского, а под видом Моцарта — себя.

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ЯЗЫКОВ
(1803—1846)

Из богатой симбирской помещичьей семьи (около двадцати тысяч десятин земли). В раннем детстве лишился отца и рос на попечении двух старших братьев, Петра и Александра, к которым на всю жизнь сохранил сыновне-почтительные чувства. В 1814 г. поступил в горный кадетский корпус в Петербурге, не кончил курса, перешел в институт корпуса инженеров путей сообщения; оттуда был исключен за неаккю-

[1] Некоторые, впрочем, считают это стихотворение обращенным не к Пушкину, а к Мицкевичу.

ратное посещение лекций. Жил он в Петербурге вместе с двумя старшими братьями; они оба кончили горный корпус и где-то числились на службе. Все три брата отличались непроходимою, глубокою помещичьею ленью. Целыми днями они лежали в халатах на диванах обширной комнаты, в которой жили втроем. Богатством своим они совершенно не пользовались не из скупости, а из той же лени — не было охоты двинуть пальцем для устройства даже элементарнейшего собственного комфорта. Сонный крепостной слуга Моисей приносил им обед из дрянной соседней харчевни, приносил, что попадется, подавал блюда простывшими, неразогретыми. Платье не чистилось неделями.

В 1822 г. Николай Языков поступил в дерптский университет. Сам он уж и вовсе не умел устраивать своей жизни. Получал из дому колоссальное для студента содержание — по пятьсот рублей в месяц, а деньги плыли меж пальцев, часто не было денег на табак, не было двугривенного на почтовую марку. Весь он был в долгах. Жил Языков в убогой комнате, ходил в поношенном мундирном сюртуке, лето и зиму—в холодном студенческом плаще, шубы не имел; часто не было денег на дрова,—в таких случаях Языков согревался... водкой, которую ему отпускали из клуба в кредит. При нем состоял крепостной человек Иван Чухломский; часто слуга этот пропадал на целый день, оставляя Языкова без обеда и чая, Языков сам чистил себе платье и сапоги, покорно платил кабачные долги Ивана; впоследствии, в Москве, Языков дал своим приятелям обед от радости, что уговорил Чухломского получить вольную и таким образом избавился от него. Языков был свежий, румяный, русокудрый молодой человек с голубыми глазами, «рубаха-парень», очень добродушный и слабохарактерный. Один из университетских товарищей его вспоминает: «Товарищи, из которых многие вовсе не были достойны его короткого знакомства, часто надоедали Языкову, но он никого не мог оттолкнуть, со всеми пировал и братался. Некоторые употребляли во зло его доброту, жили на его счет, и всегда то тот, то другой водили его на помочах». Безудержно-кутежная жизнь дерптских буршей сначала оттолкнула от себя Языкова. Вскоре, однако, он втянулся в эту жизнь и отдался ей с упоением, с восторгом. Студенческие кутежи стали главною красотою его жизни, главным вдохновением его творчества:

Полней стаканы, пейте в лад!
Перед вином благоговенье!
Ему торжественный виват,
Ему коленопреклоненье!
Герой, вином разгорячен,
На смерть отважнее стремится;

Певец поет, как Аполлон,
Умея Бахусу молиться;
Любовник, глядя на стакан,
Измену милой забывает,
И счастлив он, покуда пьян,
Затем, что трезвый он страдает.
Скажу короче: в жизни сей
Без Вакха людям все досада;
Анакреон твердит нам: пей!
А мы прибавим: до упада!

Сам Языков пил, действительно, до упада. В начале пирушек его надобно было уговаривать пить, но, начавши, он упивался до бесчувствия. Разгульные песни Языкова доставили ему огромную популярность среди студенчества. Все его стихи, даже самые ничтожные, выучивались наизусть, песни его клались на музыку и с любовью распевались студенческим хором. Сам Языков не любил читать своих стихов, только на пирушках, сильно подвыпив, соглашался на это. Тогда обыкновенно составлялся вокруг него кружок внимательных и восхищенных слушателей.[1] «В одной рубашке, — вспоминает товарищ, — со стаканом в руке, с разгоревшимися щеками и с блестящими глазами, он был поэтически прекрасен. Казалось, юный бог облагораживал наши оргии и мы поклонялись этому богу». Многие песни Языкова надолго сделались популярными среди всего российского студенчества («Из страны, страны далекой», «Нелюдимо наше море», «Разгульна, светла и любовна» и др.). Время этого бесшабашно студенческого разгула на всю жизнь осталось для Языкова самым сладостным из всех его воспоминаний.

Время студенчества Языкова было насыщено предгрозовым электричеством: надвигалось 14 декабря, оппозиционное настроение и ненависть к самодержавию делились всеми, в ком была жива душа. Не чужд остался этим настроениям и Языков. Он написал несколько стихотворений, даже приписывавшихся Рылееву и печатавшихся за границею Герценом и Огаревым. Такие, например, стихи:

Свободы гордой вдохновенье!
Тебя не слушает народ:
Оно молчит, святое мщенье,
И на царя не восстает.
Пред адской силой самовластья,
Сердца не чувствуют несчастья,
Покорны вечному ярму,
И ум не верует уму.
Я видел рабскую Россию:
Перед святыней алтаря,
Гремя цепьми, склонивши выю,
Она молилась за царя.

Однако это были только очень редкие вспышки у пьянственно-буйной, но политически очень смирной музы Языкова:

Известно всем, что в наши дни
За речи многие страдали:
Напьемся так, чтобы они
Во рту же нашем умирали!

В стихотворении «К халату» Языков рисует себя как «мыслящего студента», подчеркнуто противопоставляя себя «Герострату» — Пушкину:

Окутан авторским халатом,
Смеется он, в восторге дум,
Над современным Геростратом,
Ему не видятся в мечтах
Кинжалы Занда и Лувеля...

В обществе, особенно дамском, Языков был дико-застенчив. В стихах он пламенно воспевал знаменитую «Светлану» А. А. Воейкову, жену журналиста и дерптского профессора А. Ф. Воейкова (см. гл. XVII). Но университетский товарищ и приятель Языкова Алексей Вульф рассказывает: «Бывало, недели в две придет раз и наш дикарь Языков, заберется в угол, промолчит весь вечер, полюбуется Воейковой, выпьет стакан чаю, а потом в стихах и изливает пламенную страсть свою к красавице, с которою и слова-то, бывало, не промолвит». В страстных стихах Языков воспевал еще Лилету и Аделаиду. По словам товарищей, Лилета была немолодая, толстая, хотя еще красивая яблочная торговка, а Аделаида — цирковая наездница, «просто публичная дрянная девка».

Забубенный студенческий образ жизни не целиком отрывал Языкова от работы. Он хорошо знал русскую и западноевропейскую литературу, изучал русскую историю, с беспокойною жаждою дилетанта брался даже за изучение политической экономии и теоретической физики. Но к упорному, систематическому, заказанному себе труду он был совершенно неспособен. Семь лет пробыл в университете, все старался принудить себя засесть за занятия, но так и не сдал нехитрых выпускных экзаменов и уехал из Дерпта «беспатентным» студентом.

Литературная слава досталась Языкову легко. Уже студентом он выдвинулся в первый ряд русских поэтов. Дельвиг приветствовал его восторженным сонетом, его сразу высоко оценили Пушкин, Жуковский, Боратынский. Критики осыпали его похвалами, журналы и альманахи наперерыв добивались его сотрудничества. Всех восхищал «разгульный жар» его стихов, «избыток чувств и сил» в них, «молодое буйство». Он сразу выступил вполне оригинальным поэтом, со своим стилем, с собственными своими словами, и с полным правом говорил о своих стихах:

Им не закон — чужая мода,
В них нет заемной чепухи
И перевода с перевода;
В них неподдельная природа,
Свое добро, свои грехи!

В его смелых словообразованиях была стихийная естественность и убедительность: «самодержавные проказы», «быстроток весенних вод», «помужествуем с бурей», «неподложная вера», «любовался удовольственно», «победоносные глаза» красавицы и т. п. В торжественных стихах он не боялся древних славянизмов; у бездарных нео-архаистов Катенина и Кюхельбекера славянизмы эти пахли церковною книжною пылью, у Языкова дышали жизнью. Рядом с этим, однако, в стихах Языкова чувствовалась какая-то растрепанность, «разгильдяйство», отсутствие чувства меры, строгой взыскательности, а порою и просто вкуса.

Пушкин был в восторге от поэзии Языкова и еще из Одессы писал Дельвигу, что разделяет его надежды на него. Приехав в Михайловское, он усиленно стал через Алексея Вульфа звать Языкова посетить его и первый же обратился к самому Языкову с таким посланием:

Издревле сладостный союз
Поэтов меж собой связует:
Они жрецы единых муз;
Единый пламень их волнует;
Друг другу чужды по судьбе,
Они родня по вдохновенью.
Клянусь Овидиевой тенью:
Языков, близок я тебе...
Услышь, поэт, мое призванье.
Моих надежд не обмани...
Я жду тебя...
Надзор обманем караульный,
Восхвалим вольности дары
И нашей юности разгульной
Пробудим шумные пиры,
Вниманье дружное преклоним
Ко звону рюмок и стихов
И скуку зимних вечеров
Вином и песнями прогоним.

Языков, — как это ни странно для тогдашней писательской молодежи, — относился к творчеству Пушкина холодно. Почти все отзывы его в письмах о Пушкине — отрицательные, часто иронические. По поводу первой главы «Онегина» он пишет: «Я не желал бы сочинить то, что знаю из Онегина. Он мне очень, очень не понравился; думаю, что это самое худое из произведений Пушкина. Мы, русские, меряем слиш-

ком маленьким аршином умственные творения и думаем, что наша мера такая же, как у просвещенных народов. Как мало наше великое в современной литературе!» О «Северных цветах» на 1826 г. Языков пишет: «Стихи вообще плохи: нет ничего, на чем бы остановиться, — разумеется, выключая отрывок из Илиады». А в альманахе этом помещены, между прочим, отрывки из второй главы «Онегина» (характеристика Татьяны и заключительные строфы с знаменитым «Покамест упивайтесь ею, сей легкой жизнью, друзья!») и рассказ старого цыгана об Овидии из «Цыган»! Получив вышеприведенное послание своего прославленного собрата, Языков долго не отвечал Пушкину: все был «не в духе» ответить. Наконец, через полгода ответил очень любезным посланием, в котором писал:

Как тароватому царю
За чин почетный благодарен
Его не стоящий боярин,
Так я тебя благодарю...
Меня твое благоволенье
Предаст в другое поколенье,
И сталь плешивого косца,
Всему ужасная, не скосит
Тобой хранимого певца.
Так камень с низменных полей
Носитель зевсовых огней,
Играя, на гору заносит.

Характерно, что стихотворение было послано Пушкину, повидимому, переписанным рукою Алексея Вульфа, и переписанным довольно небрежно. Пушкин писал Вульфу: «Послание Языкова — прелесть. В нем, после «тобой хранимого певца», стих пропущен. А стих Языкова мне дорог. Перешлите мне его».

Пушкин не уставал звать Языкова приехать, но тот все никак не мог собраться — удерживали и застенчивость, и лень, но и некоторые другие соображения: Языков побаивался ехать к ссыльному Пушкину. Брату он писал: «Пушкин меня зовет к себе, — не знаю, что отвечать на это: ведь с ним вязаться лишь грех, суета». Наконец, летом 1826 г., он собрался и приехал в Тригорское, имение матери Алексея Вульфа. Прожил шесть недель в тесном общении с Пушкиным. Лето было исключительно жаркое. Пушкин, Языков и Вульф все время были вместе — то в Тригорском, то у Пушкина в Михайловском. Спорили, читали стихи, гуляли, купались. После обеда и по вечерам из граненых бокалов прекрасного хрусталя распивали «ёмку», сваренный с сахаром и апельсинами пунш, —

напиток благородный,
Слиянье рому и вина,

Без примеси воды негодной,
В Тригорском жаждою свободной
Открытый в наши времена.
(Пушкин).

Напиток собственноручно приготовляла друзьям «полувоздушная дева», семнадцатилетняя красавица Зина (Евпраксия) Вульф, сестра Алексея, и разливала по стаканам серебряным ковшиком на длинной ручке. «Сестра прекрасно варила жженку, — вспоминает Алексей Вульф. — Сидим, беседуем, распиваем пунш. И что за речи несмолкающие, что за звонкий смех, что за дивные стихи то того, то другого поэта сопровождали нашу дружескую пирушку! Языков был страшно застенчив, но и тот, бывало, разгорячится, и что за стихи говорил он то за чашей пунша, то у ног той же Евпраксии Николаевны!» Были тут еще другие молодые девушки — Анна Вульф, Саша Осипова. Зина Вульф пела приятелям, Саша играла на фортепиано. Бывают в жизни дни, когда вдруг ее ярким солнечным лучом пронижет полная, ничем не затемняемая радость: молодая беззаботность, смех, сверкающая природа, девичьи улыбки, тесное дружеское общение, искрящиеся споры, сладко кружащаяся в пирушках голова, с каждым вдохом груди — живое, переполняющее душу счастие. Таким лучом пронизали жизнь и Пушкина и Языкова шесть недель, проведенные ими вместе.

В 1829 г. Языков, так и не сдавши университетских экзаменов, покинул Дерпт и поселился в Москве. Сблизился с бр. Киреевскими, Боратынским, Погодиным, Шевыревым. Не раз видался с Пушкиным. Весною 1830 г. А. М. Языков писал сестре: «Пушкин у Весселя (семейное прозвище Николая Языкова) часто бывает, он — большой забавник и доставляет нам много удовольствия». В конце января 1831 г. Языков вместе с Пушкиным, Вяземским и Боратынским справляли у Яра тризну по недавно умершем Дельвиге, — «дело обошлось без сильного пьянства», — писал Языков. Через три недели Пушкин накануне своей свадьбы устроил у себя «мальчишник», — прощание с холостою жизнью, — и в числе десяти ближайших друзей пригласил и Языкова. Тут пьянство было «сильное», — Языков, по обыкновению, упился до бесчувствия.

В 1832 г. Языков уехал в Симбирскую губернию и прожил в деревне четыре года. Осенью 1833 г. Пушкин, по дороге в Оренбург, заехал к Языкову, но никого из братьев не застал дома. На обратном пути заехал снова, на этот раз братья были дома. По семейному преданию, Пушкин на первых же порах разбранил их за азиатские привычки, — что они дома ходят в халатах. Больше поэты не виделись. Весною 1836 г. Пушкин, гостя в псковских краях, писал Языкову: «Отгадайте,

откуда пишу к вам? Из той стороны, где ровно тому десять лет пировали мы втроем, — вы, Вульф и я, — где звучали ваши стихи и бокалы с ёмкой, где теперь вспоминаем мы вас — и старину! Поклон вам от холмов Михайловского, от сеней Тригорского, от волн голубой Сороти, от Евпраксии Николаевны, некогда полувоздушной девы, ныне дебелой жены, в пятый раз уже брюхатой, и у которой я в гостях. Алексей Вульф здесь же, отставной студент и гусар, усатый агроном, тверской Ловлас, — попрежнему милый, уже перешагнувший за тридцатый год».

Пушкин до конца жизни продолжал высоко ценить Языкова и питать к нему приязнь, написал к нему несколько посланий, усиленно привлекал к сотрудничеству в журналах, в которых сам сотрудничал, и в собственном своем «Современнике». Что касается отношения Языкова к Пушкину, то после личного знакомства он как будто почувствовал к Пушкину симпатию, в ряде стихотворений с кажущимся чувством вспоминал о нем. К творчеству же его относился далеко не с безусловным восхищением. «Бориса Годунова» признавал «подвигом знаменитым», «Арапа Петра Великого» — «подвигом великим и лучезарным», но к сказкам его отнесся отрицательно, также к «Повестям Белкина», а по поводу стихов Пушкина «К друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю») писал брату: «Стихи — просто дрянь. Этакими стихами никого не выхвалишь, никому не польстишь, и доказательством тонкого вкуса в ныне царствующем государе есть то, что он не позволил их напечатать». Это, конечно, свидетельствует только о самостоятельности суждений Языкова. Но в отзывах его и лично о Пушкине нередко звучит явственная нота скрытого недоброжелательства. Пишет брату, что Пушкин, по собственным его словам, сличил все напечатанные русские народные песни и привел их в порядок, — и прибавляет: «...но он, кажется, хвастает». Пушкин вообще не был хвастуном. и в данном случае говорил Языкову правду. По поводу приезда Пушкина в Москву в декабре 1831 г., после женитьбы, Языков писал брату совершенно в стиле московского почт-директора Булгакова: «Между нами будет сказано, Пушкин приезжал сюда по делам не чисто литературным или, вернее сказать, не за делом, а для картежных сделок, и находился в обществе самом мерзком: между щелкоперами, плутами и обдиралами. Это всегда с ним бывает в Москве. В Петербурге он живет опрятнее. Видно, брат, не права пословица: женится — переменится!» К слову сказать, жизни Пушкина в Петербурге Языков никогда не имел случая наблюдать. В таком отношении Языкова к Пушкину одни исследователи видят проявление глубокой зависти, другие — результат посторонних влияний на «чистую душу» Языкова. Недавно была сделана неудачная попытка «углубить» вопрос и объяснить враж-

дебное отношение Языкова к Пушкину различием «общественно-классовых позиций» обоих поэтов. Позиции эти вовсе не были так уже различны: в 1826 г., в Тригорском, оба одинаково «звали свободу в нашу Русь» и мечтали о вече, а в тридцатых годах такие стихи Пушкина, как «Клеветникам России» и др., должны были совершенно прийтись по сердцу патриоту-националисту Языкову. Мы можем только констатировать факт скрыто-враждебного отношения Языкова к Пушкину, а для объяснения причин его не имеем достаточных данных.

Во второй половине тридцатых годов у Языкова все сильнее стала проявляться болезнь, явившаяся следствием разгульной студенческой жизни и «горячих недугов», полученных в объятиях Лилет и Аделаид,— сухотка спинного мозга. Началось медленное угасание. Языков уехал за границу, там провел пять лет. В 1841 г. на водах в Ганау познакомился с Гоголем. Они настолько понравились друг другу, что решили, по возвращении в Москву, жить вместе на одной квартире. Осень и зиму 1842 г. прожили вместе в Риме. Заграница мало помогла Языкову. В 1843 г. он возвратился в Россию и поселился в Москве. Близко сошелся с славянофильскими кругами, к учению которых тяготел уже давно. В политическом отношении Языков все более подавался вправо,— к охранительству и самому ярому шовинизму. Большого шуму наделали его неистовые, полные ругательств стихи «К не нашим» и «К старому плешаку» (Чаадаеву), возмутившие даже более порядочных из друзей Языкова. Обращаясь к Чаадаеву, он восклицал:

Свое ты все презрел и выдал,
Но ты еще не сокрушен;
Но ты стоишь, плешивый идол
Строптивых душ и слабых жен!
Ты цел еще!..

Поэтическая продуктивность Языкова слабела, писал он все меньше. И дело тут было не только в его болезни: ему больше н е ч е г о было сказать. Весь он исчерпался тем беспредметно-буйным «разгулом сил», который воспевал в студенческую пору. Написал несколько сильных религиозных стихотворений, но и религиозность не залегала глубоко в его душе, а была лишь случайными, минутными настроениями. По существу Языков жил одними завистливыми воспоминаниями о веселой молодости и жалобами на теперешние свои недуги и хилость. Умом он был недалек, душою поверхностен. Современники его — Пушкин, Тютчев, Боратынский, Лермонтов — были глубоки и многогранны, в самых страданиях они крепли, мужали и шире развертывали свои силы. Языков, — в мастерстве, может быть, не уступавший им, — в духовном отношении на всю жизнь остался недорослем, а поэтому остался недо-

рослем и художественным. Рука могуче размахнулась — и бессильно упала.

Умирал он жутко. Пожилой, сорокатрехлетний, изможденный страданиями человек ступает на порог смерти и думает — о чем? О похоронном обеде! Сам тщательно заказал обед, строго приказал, чтоб на нем было побольше вина. Умер. Началась похоронная оргия. Гости за полными стаканами творили поминки по покойнике, вспоминали его стихи:

И пьянствуйте об имени моем!

И пьянствовали самым добросовестным образом. Уже удалились в нижний этаж братья умершего и распорядители. Компания не расходилась. В ней главенствовали друг Пушкина, забубенный П. В. Нащокин, и беллетрист Н. Ф. Павлов. Все вино выпили. Послали вниз за распорядителем, шумно потребовали еще вина и рому, стали варить жженку. Кутили далеко за полночь.

АДАМ МИЦКЕВИЧ
(1799—1855)

Величайший польский поэт, зачинатель польского романтизма. Родился в гор. Новогрудке Минской губернии в семье небогатого адвоката из старинного литовского шляхетского рода. В 1815 г. поступил в виленский университет на филологический факультет, окончил курс в 1819 г. и поступил учителем латинской словесности в гор. Ковне. В 1823 г., за принадлежность к студенческому обществу «Лучистых», в котором Мицкевич, наезжая из Ковна, продолжал принимать участие и по окончании курса, он был арестован, просидел в тюрьме полгода. Расследованием целью общества было признано воспитание молодого поколения «в духе закоснелой ненависти противу России и мечтаний о восстановлении независимости Польши». Мицкевич был передан в министерство народного просвещения для отправления на службу внутри России. Он побывал в Петербурге, где познакомился с Рылеевым и Бестужевым, и был отправлен на службу в Одессу. Из Одессы совершил путешествие по Крыму, результатом чего были его известные «Крымские сонеты». В конце 1825 г. Мицкевич переехал в Москву и был причислен к канцелярии московского генерал-губернатора. Москва приняла его очень радушно. Он сблизился с кн. П. А. Вяземским, братьями Полевыми, Боратынским, Погодиным, Шевыревым, стал постоянным посетителем блестящего литературно-музыкального салона кн. З. А. Волконской. Осенью 1826 г. Пушкин приехал из псковской ссылки в Москву

и вскоре тоже познакомился с Мицкевичем. Мицкевич производил на всех чарующее впечатление. Он был сдержан, корректен, воспитан, чрезвычайно вежлив, держался с какою-то благородною простотою. В нем чувствовался тихо и ярко горящий чистый пламень, всех заставлявший относиться к нему с невольным уважением. И наружностью он был прекрасен. Стройный, с задумчивыми карими глазами, с густыми темными волосами, с доброй, затаенно-грустной улыбкой. Когда одушевлялся разговором, глаза его загорались, и он становился увлекателен, был остроумен, скор на меткие и удачные слова. Изумителен он был, когда импровизировал. Мицкевич обладал редким даром импровизации. Ему задавали тему. Он молчал несколько минут, потом выступал вперед и начинал говорить стихами. Лицо совершенно преображалось, глаза блистали экстазом, слушатели испытывали почти страх, — как будто это не он говорил, а какой-то дух, ниспустившийся на него. Вдохновение не покорялось ему, а целиком владело им. Он не останавливался, не задумывался, не подыскивал стихов, — напротив, они с таким напором кипели в его голове, что он, задыхаясь, еле успевал их выговаривать. Перед русскими слушателями Мицкевич импровизировал прозой на французском языке. На одной из таких импровизаций в Москве Пушкин в восторге сорвался с места, ероша волосы, почти бегал по зале и восклицал:

— Какой гений! Какой священный огонь! Что я в сравнении с ним!

Бросился на шею Мицкевичу, сжал его и стал целовать, как брата.

Мицкевич был многосторонне образован, говорил на многих языках; приехав в Россию, не знал по-русски, но очень скоро научился и говорил без всякого акцента. Ксенофонт Полевой рассказывает: «Пушкин оказывал Мицкевичу величайшее уважение. Любопытно было видеть их вместе. Русский поэт, обыкновенно господствовавший в кругу литераторов, был чрезвычайно скромен в присутствии Мицкевича, больше заставлял его говорить, нежели говорил сам, и обращался со своими мнениями к нему, как бы желая его одобрения. В самом деле, по образованности, по многосторонней учености Мицкевича Пушкин не мог сравнивать себя с ним». Высокое мнение Пушкина о Мицкевиче отразилось в известном анекдоте: Пушкин, столкнувшись в дверях с Мицкевичем, дал ему дорогу и сказал:

— Стой, двойка, туз идет!

Мицкевич ответил:

— Козырная двойка и туза бьет.

В течение 1826—1829 гг. Мицкевич и Пушкин часто виделись и в Москве, и в Петербурге. В Петербурге у Дельвига Мицкевич слушал чтение «Бориса Годунова» и вместе с Дельвигом посоветовал Пушкину

выкинуть сцену Отрепьева с злым чернецом как замедляющую действие. Однажды у Пушкина, в трактире Демута, Мицкевич в блестящей импровизации говорил о любви, которая когда-нибудь свяжет между собою все народы. Вышла поэма Мицкевича «Конрад Валенрод» и вызвала общее восхищение. Жуковский сказал Пушкину:

— Знаешь, брат, ведь он заткнет тебя за пояс.

— Ты не так говоришь, — ответил Пушкин.—Он уже заткнул меня.

Пушкин стал переводить Валенрода на русский язык по рукописному подстрочному переводу, но отказался от этого замысла, потому что, как говорил он, не умеет переводить, т. е. не умеет связывать себя текстом подлинника. Действительно, переводы Пушкина либо стоят неизмеримо выше подлинника, как переводы из Анакреона, Ксенофана или Буниана, либо значительно ниже их, как, например, переводы именно из Мицкевича. Особенно слаб перевод баллады «Воевода», совершенно не передающий силы и выпуклости подлинника.

Странно наблюдать Мицкевича и Пушкина рядом. Один — корректный, глубоко культурный, держащий себя в руках европеец, другой — безудержно переступающий во всем меру русский, с наружною лакировкою культурности, постоянно дающею трещины. Однажды в Петербурге Мицкевич застал Пушкина у общего знакомого за банком. Пушкин, с засученными рукавами рубашки, бросал на сукно золотые монеты и следил за игрою глазами, полными страсти. Увидев Мицкевича, он смутился. Мицкевич взял карту, поставил на нее пять рублей ассигнациями, несколько раз повторил ставку и тихонько ушел. В Москве Мицкевич завтракал с Пушкиным и другими русскими писателями у Погодина. Присутствовавший на завтраке С. Т. Аксаков писал Шевыреву: «Пушкин держал себя ужасно гадко, отратительно, Мицкевич — прекрасно. Посудите, каковы были разговоры, что второй два раза принужден был сказать: «Господа, порядочные люди и наедине, и сами с собою не говорят о таких вещах!» А сам Погодин записал: «Нечего было сказать о разговоре Пушкина и Мицкевича, кроме: предрассудок холоден, а вера горяча... разговор был занимателен, от... до евангелия. Но много было сального, которое не понравилось».

Отношения Мицкевича и Пушкина были дружеские. Повидимому, особенно сблизились поэты в Петербурге. В стихотворении своем «Памятник Петра Великого» Мицкевич вспоминает, как они с Пушкиным стояли однажды перед памятником:

> Вечером, под дождем, стояли двое юношей под одним плащом, взявшись за руки. Один был странник, пришедший с запада, неведомая жертва царского насилия; другой — поэт русского народа, славный пес-

нями на всем севере. Они знали друг друга недолго, но много, и уже несколько дней были друзьями. Их души, поднимаясь выше земных препятствий, были, как два наклонившиеся друг к другу альпийских утеса: их навеки разделила быстрина потока, но утесы едва слышат его враждебный шум, сближая поднебесные свои вершины.

Польский изгнанник молчит, а русский поэт сравнивает стоящий перед ним памятник с римским памятником Марку Аврелию: там — благоволение и мир, чувствуется любимый отец, восторженно приветствуемый народом. Здесь —

Петр бросил повода. Видишь, как он летел, все топча на своем пути. Вскочил на край скалы. Бешеный конь поднял копыта, скрежещет, кусая удила. Ждешь, что он сорвется и разобьется вдребезги. От века он стоит, скачет, — но не срывается, как падающий с гранита водопад, скованный морозом. Однако скоро заблестит солнце свободы, западный ветер согреет страну, — и что тогда станется с водопадом самовластия?

Во взглядах на самовластие Мицкевич и тогдашний Пушкин, может быть, до известной степени еще сходились. Но в основном они все-таки были две вершины, разделенные глубоким, непроходимым потоком. Самое заветное, чем жил Мицкевич, были мечты о политическом освобождении Польши. А Пушкин был таким же русским националистом, как Мицкевич—польским. Во время польского восстания Пушкин писал кн. Вяземскому: «...поляков надобно задушить, и наша медленность мучительна». В Пушкине, как в большинстве своих русских друзей, Мицкевич чувствовал тайных политических врагов, с которыми можно было дружить только, как с филистимлянами.

В 1829 г. хлопотами Пушкина и других Мицкевичу удалось получить заграничный паспорт. Перед отъездом Мицкевич посетил Москву. Московские друзья чествовали его прощальным обедом и поднесли серебряный кубок с надписью на дне: «Не забудь» и с именами участников проводов — Боратынского, бр. Киреевских, Н. Полевого, Соболевского и др. Странно, что в числе подписей нет подписи Пушкина, хотя он в это время был в Москве. 15 мая Мицкевич навсегда уехал из России, увозя в сердце неистовую ненависть к российскому самодержавию. Вскоре произошло польское восстание, кровавое его усмирение. Пушкин и Жуковский радостно отозвались на событие патриотическими одами. В 1832 г. вышла за границей третья часть поэмы Мицкевича «Деды». В ней было помещено следующее стихотворение Мицкевича «К друзьям-москалям»:

Вспоминаете ли вы обо мне? А я, когда думаю о казнях, ссылках, тюрьмах моих друзей, думаю и о вас; ваши лица, лица чужеземцев, имеют право жить в моих грезах.

Где вы теперь? Благородная шея Рылеева, которую я братски обнимал, по царскому приговору стянута гнусною петлею, в позор народам, избивающим своих пророков.

Та рука, которую мне протягивал Бестужев, — поэт и воин, — оторвана от пера и сабли, положена царем на ручку тачки и ныне роется в руднике, скованная с рукою поляка.

Других, может быть, постигла еще более грозная кара: может быть, кто из вас, обесчещенный казенными орденами, навеки продал свободную душу для ласки царя и теперь бьет поклоны на его пороге.

Может быть, оплаченным языком славит его торжество и радуется на мученичество своих друзей; может быть, моет руки в крови моей родины и, как заслугой, хвалится перед царем нашими проклятьями.

Если издалека, из свободных стран, до вас долетят на север эти горькие песни и прозвучат с высоты над страною льдов, пусть они напомнят вам о свободе, как журавлиный крик — о весне.

Вы узнаете меня по голосу. Пока я был в оковах, ползая в молчании, как змея, я таился перед деспотом, но вам я открывал тайны, скрытые в душе, и к вам обращался всегда с голубиною простотою.

Теперь я выливаю наружу эту чашу яда; разъедающей и жгущей силы исполнена горечь моих слов, — горечь, высосанная из крови и слез моей родины; пусть разъедает и жжет — не вас, а ваши оковы.

Если кто из вас останется этим недоволен, для меня его негодование будет лаем собаки, которая так привыкла к своему ошейнику, что готова кусать руку, которая хочет его сорвать.

В этой же книге Мицкевича был помещен еще ряд стихотворений, полных сосредоточенной ненависти и отвращения к русскому самодержавию, забивающему совесть и мысль, порабощающему все свободные человеческие стремления. «Бедный народ! — писал поэт. — Мне жаль твоей судьбы: ты знаешь один только героизм рабства!» Пушкин эту книжку Мицкевича получил в 1833 г. от вернувшегося из-за границы Соболевского. В следующем году он писал о Мицкевиче:

...Он между нами жил,
Средь племени, ему чужого; злобы
В душе своей к нам не питал он; мы
Его любили. Мирный, благосклонный,
Он посещал беседы наши. С ним
Делились мы и чистыми мечтами,
И песнями (он вдохновен был свыше
И с высоты взирал на жизнь). Нередко
Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
Мы жадно слушали поэта. Он
Ушел на запад, — и благословеньем
Его мы проводили. Но теперь
Наш мирный гость нам стал врагом, и ядом
Стихи свои, в угоду черни буйной,
Он наполняет. Издали до нас

Доходит голос злобного поэта.
Знакомый голос!.. Боже! Освяти
В нем сердце правдою твоей и миром.

На другие стихотворения Мицкевича, рисующие неприветный, холодный, обезличенный самовластием Петербург, Пушкин отвечал в «Медном всаднике». Знаменитое описание Петербурга в этой поэме представляет ясно выраженную художественную полемику, по пунктам возражающую на описание Мицкевича. Мицкевич с отвращением рисует русскую столицу, Пушкин начинает свое описание: «Люблю тебя, Петра творенье!» Мицкевич пишет о разностильных, безвкусных зданиях, огороженных, как клетки, решетками, — Пушкин: «Люблю твой строгий, стройный вид, твоих оград узор чугунный...» У Мицкевича люди бегут, гонимые морозом, с измученными лицами, у Пушкина: «Люблю зимы твоей жестокой недвижный воздух и мороз». У Мицкевича дамы — «белые, как снег, румяные, как раки», у Пушкина — «девичьи лица ярче роз». У Мицкевича солдаты — такие похожие друг на друга, такие однообразные, стоящие в ряд, как лошади в стойлах; у Пушкина: «Люблю воинственную живость потешных Марсовых полей, пехотных ратей и коней однообразную красивость» и т. д. И самая идея «Медного всадника» о страшном праве государства давить и уничтожать отдельные личности во имя своих больших целей тоже представляет как будто ответ на идейную установку Мицкевича.

Дальнейшая жизнь Мицкевича была тяжелая и нерадостная. Жил он в бедности. Надежды на политическое восстановление родины рухнули. Он все больше впадал в мистицизм. В основу решения польского вопроса, по его мнению, должно было лечь начало религиозное. Польша в течение всей своей истории служила воплощением христианских начал и пала потому, что эти начала не могли быть примирены с окружавшими ее земными порядками. Могучее религиозное чувство делает Польшу избранным народом, которому назначено богом указать всему миру новый путь, ведущий человечество в царство любви и справедливости. В 1855 г., с началом русско-турецкой войны, Мицкевич отправился в Константинополь, чтобы формировать польские легионы против России, и вскоре умер там от холеры.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ
(1809—1852)

Был представлен Пушкину П. А. Плетневым на вечере у Плетнева, вероятно, в двадцатых числах мая 1831 г., когда Пушкин с молодою же-

ною остановился в Петербурге проездом из Москвы в Царское село. В августе того же года Пушкин писал Воейкову из Царского села: «Сейчас прочел «Вечера близь Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился... Поздравляю публику с истинно веселою книгою, а автору сердечно желаю дальнейших успехов». Это лето Гоголь жил домашним учителем у А. И. Васильчиковой в Павловске неподалеку от Царского села, бывал в Царском селе у Пушкина и приятелю своему А. С. Данилевскому хвастливо писал: «Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я».

Пушкин до самой смерти с большим сочувствием относился к Гоголю, ободрял его, подарил ему сюжеты «Мертвых душ» и «Ревизора». Однако близких личных отношений, тем более дружбы, между ними не было, в этом отношении Пушкин держался по отношению к Гоголю отдаленно. Переписывались они только по житейским и литературно-деловым вопросам, письма Гоголя содержат больше всякого рода просьбы — о ходатайстве перед министром Уваровым, о сюжете для комедии, о критических отметках на полях посылаемых Пушкину его книг (известное письмо «Ревизор сыгран» не было отправлено Пушкину). Однако и то общение, которое между ними было, советы и указания Пушкина — имели для художественного развития Гоголя огромное значение, и до конца жизни Гоголь с волнением и благоговением вспоминал о Пушкине. Смерть его произвела на Гоголя потрясающее впечатление. Он писал Плетневу:

«Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с Пушкиным. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его перед собою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое, — вот что меня только занимало и одушевляло мои силы... Боже! нынешний труд мой («Мертвые души»), внушенный им, его создание, — я не в силах продолжать его. Несколько раз принимался я за перо, и перо падало из рук моих. Невыразимая тоска!»

И Жуковскому писал:

«О Пушкин, Пушкин! Какой прекрасный сон удалось мне видеть в жизни, и как печально было мое пробуждение!»

Таково было для Гоголя обаяние личности Пушкина, что когда, за три месяца до смерти Гоголя, Анненков напомнил ему о Пушкине, лицо Гоголя переменилось, просветлело и оживилось.

ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ ДАВЫДОВ
(1784—1839)

Известный «поэт-партизан». Семнадцати лет поступил в кавалергардский полк. «Малый рост, — рассказывает он про себя, — препятствовал ему вступить в кавалергардский полк без затруднения. Наконец, привязали недоросля нашего к огромному палашу, опустили его в глубокие ботфорты и покрыли святилище его поэтического гения треугольною шляпою». В молодости Давыдов был либерален. Он написал несколько басен резко-политического содержания. Так, в басне «Голова и ноги» он рассказывает, как ноги возмущались самовластием головы, заставляющей их ходить и бегать, куда она прикажет, как голова грозно велит им молчать, так как ей природою дано повелевать ногами. Ноги отвечают:

Коль ты имеешь право управлять,
Так мы имеем право — спотыкаться
И можем иногда, споткнувшись, — как же быть! —
Твое величество об камень расшибить.

За подобные стихи Давыдов в 1804 г. был переведен в армейский гусарский полк. С 1807 г. начинается его боевая деятельность. Он участвовал в целом ряде войн. В 1812 г. первый подал Кутузову мысль о выгодности партизанских действий в тылу неприятеля, сам организовал первый партизанский отряд и бросился с ним на тыловые сообщения наполеоновской армии. По изгнании французов из России партизанский отряд Давыдова был превращен в регулярную часть авангарда русской армии, вступившей в Германию. Давыдов рассказывает: «Крутой поворот от независимых, вдохновенных перелетов напропалую к размеренным переходам по маршрутам, доставляемым мне из корпусного дежурства, запрет покушаться атаковать неприятеля без особого разрешения, кипучая молодость, какая-то безотчетная, удалая и своевольная отвага и, наконец, соблазнительное соседство с неприятелем — были причиною того, что я произвел тот последний наезд, от которого пострадала вся моя заграничная служба и рушилась вся та будущность, которой (не для чего уже теперь жеманиться) я имел полное право не опасаться». Французская армия отступала, Наполеон со свежими силами еще не подошел из-за Рейна, была, по выражению Давыдова, «краткая эпоха мишурного блеска оружия», каждый генерал мечтал о легком захвате какой-нибудь из германских столиц или другого крупного города. Прусский командующий Блюхер и русский — Винценгероде устремились, спеша предупредить друг друга, захватить Дрезден. В это-то время Денис Давыдов с пятьюстами казаков и гусаров очутился перед Дрезде-

ном, увидел, что его легко захватить неожиданным налетом, — и занял город в прямое нарушение приказа Винценгероде, не поняв, что Винценгероде самолично желал овладеть Дрезденом, выставив это овладение славной победой. Винценгероде предал Давыдова военному суду за нарушение дисциплины. Император Александр освободил его, сказав:

— Как бы то ни было, но победителя не судят.

Однако самостоятельной деятельности Давыдова пришел конец, а с тем вместе и его карьере. Как выражается в своих о нем воспоминаниях его сын, «он скитался теперь в действующей армии, как корсар, потерявший свой корабль». В 1814 г. Давыдов командовал регулярным гусарским полком, состоял в армии Блюхера. По окончании войны еще некоторое время служил в военной службе. В 1823 г., в чине генерал-майора, вышел в отставку. Еще два раза поступал опять на военную службу, чтобы принять участие в персидской войне 1827 г. и подавлении польского восстания. В мирное время жил в своем симбирском имении Верхней Мазе, хозяйничал, занимался литературной работой, писал воспоминания. Там же и умер пятидесяти пяти лет от роду.

Стихов Денис Давыдов написал немного. До нас дошло всего около восьмидесяти его стихотворений. Сам он говорит о себе:

Я не поэт, я партизан, казак;
Я иногда бывал на Пинде, но наскоком,
И беззаботно, кое-как,
Раскидывал перед Кастальским током
Мой независимый бивак.

Это, однако, не совсем так. Давыдов писал свои стихи не «беззаботно, кое-как», а работал над ними тщательно и упорно. Он — поэт вполне оригинальный, с определенным, собственным стилем. Стиль этот — лихой, залихватский, шапка набекрень. Оригинальность давыдовского стиля высоко ценил Пушкин и говорил, что Денис Давыдов дал ему почувствовать еще в лицее возможность быть оригинальным, не поддаваясь влиянию Батюшкова и Жуковского. Содержанием наиболее популярных «гусарских» песен Давыдова являются попойки гусаров, их удаль и лихие забавы. Он с восторгом описывает настоящих, коренных гусаров, —

Испивающих ковшами
И сидящих вкруг огня
С красносизыми носами.
На затылке кивера,
Доломаны до колена,
Сабли, ташки у бедра,
И диваном — кипа сена.
Ни полслова. Дым столбом.

Ни полслова. Все мертвецки
Пьют и, преклонясь челом,
Засыпают молодецки.

Любимый, прославленный Давыдовым герой — гусар-забулдыга А. П. Бурцев, —

Бурцев ёра, забияка,
Собутыльник дорогой...

Он мил Давыдову даже, —

Когда в борделе окаянном
Он лупит девок по щекам.

Курьезно, что в стихах «поэта-партизана» Давыдова совершенно не отразилось партизанство и те настроения, которыми оно вдохновлялось. Был немецкий поэт-партизан, австрийский офицер Теодор Кернер, — высоко одаренный юноша, в 1813 г. убитый двадцати двух лет в схватке с французами. Сборник стихов его «Лира и меч» — произведение, действительно, поэта-партизана. Отразились в нем, между прочим, и попойки офицерские, но стихи горят воинским пылом и патриотическим одушевлением, через них мы воспринимаем и дела, и дух, и настроения тогдашнего партизанства. Воинственные песни Кернера рисовали перед немецкою молодежью идеал восторженного борца за освобождение родины. Герой же песен Давыдова — только шатающийся, пьяный офицер с кивером на затылке, глубоко презирающий всех, кто «о водке ни полслова». Партизанству Давыдовым посвящен один единственный коротенький отрывок «Партизан», да и тот написан только в 1826 г. Давыдов интересен и в любовной своей лирике, и в сатирах («Современная песня»), — везде настроения свои, оригинальные. Оригинален он и в прозаических своих статьях, — по нескольким строчкам сразу можно узнать, что писаны они Давыдовым.

Денис Давыдов был очень небольшого роста, курносый, черноволосый, с прядью ярко-седых волос на лбу; он эту прядь закрашивал, но когда Языков в послании к нему сказал:

Ты, боец чернокудрявый
С белым локоном на лбу, —

Денис перестал краситься. Был он чудесный рассказчик и остроумный собеседник, всех заражал увлекательною, молодою веселостью. «Буйная и умная голова», — отзывался о нем Грибоедов. Голос Давыдова был несколько хриплый, иногда переходивший в тоненькую фистулу, что придавало его речи особую оригинальность. Он непрочь был при слу-

чае осушить бутылку-другую вина, но в общем этот певец веселых попоек и картежной игры был насчет вина очень скромен и воздержан, а в карты совсем не играл. Давыдов производил впечатление беспечного, лихого рубаки, душа которого все время носится где-то там, далеко от обыденной жизни, в кровавых схватках и сечах. В действительности это был человек расчетливый и с большою хитрецою. Партизанство было коротким эпизодом в его жизни. Но Денис Давыдов сумел сшить себе из него блестящий наряд, в котором щеголял всю жизнь. «Поэт-партизан», — так называл он себя сам, так называли его друзья, так называют справочные словари, как будто партизанство было постоянной профессией Дениса Давыдова и постояннейшим содержанием его поэзии. Он умел устраивать себе славу. Еще при жизни его появились восторженнейшие биографии Дениса Давыдова, и выяснилось, что писал их — он сам. Бестужев-Марлинский отозвался о нем: «Денис Давыдов более в ы п и с а л, чем в ы р у б и л себе славу храбреца». И Плетнев писал Гроту, что Давыдов, «не трогая его талант, был мелкий хвастун». Умел Давыдов устраивать себе славу, умел и вообще устраивать свои дела. Вот, например, маленькая история, по откровенности своей для более поздних литературных нравов просто изумительная. В середине тридцатых годов Давыдов поселился в Москве, купил большой каменный дом на Пречистенке, против пожарного депо. Но вскоре ему не стало житья —

От соседства шумной тучи
Благочиний саранчи,
И торчащей каланчи,
И пожарных труб и крючий.

Вздумал он отделаться от дома. Узнал, что казна подыскивает дом для обер-полицмейстера. И вот Давыдов обращается в стихотворной «Челобитной» к начальнику московской комиссии строений А. А. Башилову и откровеннейшим образом пишет в ней:

Помоги в казну продать
За сто тысяч[1] дом богатый,
Величавые палаты,
Мой пречистенский дворец!

Мотив:

Тесен он для партизана.
Сотоварищ урагана,
Я люблю, казак-боец,
Дом без окон, без крылец,

[1] Курсив в подлиннике.

Без дверей и стен кирпичных,
Где могу гостей моих
Принимать картечью в ухо,
Пулей в лоб иль пикой в брюхо!
Друг, вот истинный мой дом...
Вникни в просьбу казака
И уважь его моленье!

Стихи эти Давыдов послал Пушкину для напечатания в «Современнике» и писал при этом: Главное дело в том, чтобы моя челобитная достигла не столько поэтической, сколько положительной цели; пусть она сперва подействует на Башилова, понудив его купить мой дом за сто тысяч рублей». И Пушкин — напечатал это стихотворенье! Мы можем им любоваться в третьей книжке «Современника» за 1836 г.

Лично Пушкин познакомился с Давыдовым либо в Петербурге до ссылки, либо в Каменке, киевском имении родственников Давыдова. Был он с ним в близких, приятельских отношениях. Денис Давыдов присутствовал на «мальчишнике», который Пушкин устроил перед своей свадьбой для интимных друзей. Давыдову Пушкин посвятил целый ряд посланий, в которых с изумительным мастерством подделывался под стиль Давыдова. Он очень дорожил сотрудничеством Давыдова в его «Современнике». Восхищался оригинальным слогом его статей. Когда узнал, что Сенковский в своей «Библиотеке для чтения» исправлял, по своему обыкновению, и слог Давыдова, он писал в негодовании, что Сенковскому учить русскому языку Дениса Давыдова все равно, что евнуху учить Потемкина. По поводу предстоявшего посещения лекции проф. И. И. Давыдова Пушкин писал жене: «...я ни до каких Давыдовых, кроме Дениса, не охотник». Все это, однако, не помешало Пушкину дать, по слухам, следующий острый отзыв о Денисе: «Военные уверены, что он отличный писатель, а писатели про него думают, что он отличный генерал».

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ПОДОЛИНСКИЙ
(1806—1886)

Поэт пушкинской поры. Уроженец Киева, воспитание получил в петербургском университетском Благородном пансионе. В начале августа 1824 г. по окончании курса он ехал к родным в Киев. В Чернигове ночевал в гостинице. Утром, войдя в залу, он увидел в соседней буфетной комнате шагавшего вдоль стойки молодого человека. Вид его был очень непредставительным: желтые нанковые шаровары, цветная измятая русская рубаха, подвязанная вытертым черным шейным платком, растрепанные курчавые волосы. По виду Подолинский принял его за полового. Вдруг молодой человек быстро подошел к Подолинскому и спросил:

— Вы из царскосельского лицея?

На Подолинском был еще казенный сюртук, по форме одинаковый с лицейским. Такая фамильярность со стороны полового не понравилась Подолинскому, и он сухо ответил:

— Нет, из Благородного пансиона.

— А, так вы были вместе с моим братом! — воскликнул молодой человек.

Подолинский смутился и уже вежливо спросил собеседника, как его фамилия.

— Я — Пушкин. Брат мой Лев был в вашем пансионе.

Вся молодежь того времени благоговела перед Пушкиным. Подолинский очень обрадовался и сконфузился за свою невежливость. Разговорились. Пушкин сообщил, что едет из Одессы в деревню, что усмирение его не совсем еще кончено, и, смеясь, показал свою подорожную, где по порядку были прописаны все города, на какие именно он должен был ехать. Потом он попросил Подолинского передать в Киеве записку генералу Раевскому и тут же ее написал. Печати при нем не оказалось. Подолинский с тайной радостью предложил свою, на которой тоже были буквы А. П. Втихомолку Подолинский уже пописывал стихи и в совпадении инициалов увидел счастливое для себя предзнаменование.

Во второй половине двадцатых годов, уже получив известность как поэт, Подолинский нередко встречался с Пушкиным на вечерах у Дельвига. Пушкин был с ним приветлив, любезно хвалил его стихи. Особенно нравился ему «Портрет»:

Когда стройна и светлоока,
Передо мной стоит она,
Я мыслю: Гурия пророка
С небес на землю сведена.

Однако в общем относился к его поэзии холодно и в 1831 г., по поводу другого молодого поэта, Деларю, писал Плетневу: «Деларю слишком гладко, слишком правильно, слишком чопорно пишет для молодого лицеиста. В нем не вижу я ни капли творчества, а много искусства. Это второй том Подолинского». Подолинский служил в почтовом ведомстве, в пятидесятых годах вышел в отставку, поселился в своем родовом киевском имении, умер в глубокой старости.

МИХАИЛ ДАНИЛОВИЧ ДЕЛАРЮ
(1811—1868)

Второстепенный поэт. Пушкин о нем, как мы видели, отзывался: «Деларю слишком гладко, слишком правильно, слишком чопорно пи-

шет. В нем не вижу я ни капли творчества, а много искусства». Окончил царскосельский лицей, был близок к Дельвигу, печатался в его изданиях. В 1834 г. в «Библиотеке для чтения» был помещен его перевод стихотворения В. Гюго «Красавице». В нем поэт говорит, что если бы он был царем, то всю власть он отдал бы за единый взгляд красавицы:

И если б богом был, — селеньями святыми
Клянусь, — я отдал бы прохладу райских струй,
И сонмы ангелов с их песнями живыми,
Гармонию миров и власть мою над ними
За твой единый поцелуй!

Пушкин по поводу этих стихов писал в дневнике: «Крылов сказал очень хорошо:

Мой друг, когда бы был ты бог,
То глупости такой сказать бы ты не мог.

Это все равно, — заметил он мне, — что я бы написал: «Когда б я был архиерей, то пошел бы во всем облачении плясать французский кадриль». Писатель Андрей Муравьев (см.) обратил на стихотворение Деларю внимание петербургского митрополита Серафима; тот испросил аудиенцию у царя и умолял его оградить церковь и веру от поругания поэзии. Цензор Никитенко был посажен на гауптвахту, а Деларю уволен со службы в канцелярии военного министерства. Впоследствии был инспектором одесского ришельевского лицея.

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ КОНШИН
(1793—1859)

Плохой поэт. Был ротным командиром в Нейшлотском полку в Финляндии в то время, когда Боратынский был в том же полку солдатом; они сошлись, хотя особенной дружбы между ними не было. Коншину Боратынский посвятил три стихотворения, а Коншин начал свою литературную деятельность напечатанием стихотворения «Боратынскому». В 1830 г. Коншин вместе с бар. Е. Ф. Розеном издал альманах «Царское Село». Впоследствии служил по учебной части, был директором тверских училищ и т. п. Пушкин в 1825 г. писал Жуковскому: «...согласен, что жизнь моя сбивалась иногда на эпиграмму, но вообще она была элегией в роде Коншина», — имея в виду тягучую унылость коншинских элегий. Есть воспоминания Коншина о посещении им Пушкина утром в день его дуэли, по своей вздорности не заслуживающие никакого доверия.

ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ ГЛИНКА
(1786—1880)

Поэт, преимущественно на религиозные темы. Был военным, участвовал в наполеоновских войнах. С 1819 г., в чине гвардии полковника, состоял для поручений при петербургском генерал-губернаторе Милорадовиче. С Пушкиным он познакомился очень скоро после выпуска Пушкина из лицея. «Я очень его любил как Пушкина, — рассказывает Глинка, — и уважал как в высшей степени талантливого поэта. Кажется, и он это чувствовал и потому дозволял мне говорить ему прямо-на-прямо насчет тогдашней его разгульной жизни. Мне удалось даже отвести его от одной дуэли».

Однажды, весною 1820 г., Глинка встретился на улице с Пушкиным. Пушкин был бледен и серьезен.

— Я шел к вам посоветоваться, — сказал он. — Вот видите: слух о моих и не моих пьесах, разбежавшихся по рукам, дошел до правительства. Вчера, когда я возвратился поздно домой, мой старый дядька объявил, что приходил в квартиру какой-то неизвестный человек и давал ему пятьдесят рублей, прося дать ему почитать моих сочинений и уверяя, что скоро принесет их назад. Но мой верный старик не согласился, а я взял да и сжег все мои бумаги... Теперь меня требуют к Милорадовичу. Я не знаю, как и что будет, и с чего с ним взяться. Вот я и шел посоветоваться с вами.

Они долго обсуждали дело. В конце концов Глинка посоветовал:

— Идите прямо к Милорадовичу, не смущаясь и без всякого опасения. Положитесь безусловно на благородство его души: он не употребит во зло вашей доверенности.

Пушкин так и сделал. Явился к Милорадовичу и в его присутствии сам написал все свои нелегальные стихи, чем привел Милорадовича в восторг.

После высылки Пушкина Глинка напечатал в «Сыне отечества» приветственные стихи к опальному поэту:

О, Пушкин, Пушкин, кто тебя
Учил пленять в стихах чудесных?
Какой из жителей небесных
Тебя младенцем полюбил?..
Судьбы и времени седого
Не бойся, молодой певец!
Следы исчезнут поколений,
Но жив талант, бессмертен гений!

Пушкин ответил Глинке из Кишинева благодарным посланием:

Когда средь оргий жизни шумной
Меня постигнул остракизм,
Увидел я толпы безумной
Презренный, робкий эгоизм;
Без слез оставил я с досадой
Венки пиров и блеск Афин,
Но голос твой мне был отрадой,
Великодушный гражданин!
Пускай судьба определила
Гоненья грозные мне вновь,
Пускай мне дружба изменила,
Как изменила мне любовь, —
В моем изгнаньи позабуду
Несправедливость их обид:
Они ничтожны, если буду
Тобой оправдан, Аристид!

Глинка был масон, состоял в «Союзе благоденствия», но с переформированием Тайного общества отстал от него. Был членом общества «Зеленой Лампы». После 14 декабря просидел три месяца в Петропавловской крепости и сослан в Петрозаводск с определением на службу по гражданской части. Был советником олонецкого губернского правления, потом на той же должности в Твери и Орле. В 1835 г. вышел в отставку и поселился в Москве. В 1830 г. Пушкин с Вяземским заезжали к Глинке в Тверь, — вот все, что мы знаем о позднейших встречах Глинки с Пушкиным.

Глинка был большой добряк. «Я не встречал подобного энтузиазма ко всему доброму, — сообщает современник. — Расскажите при нем о каком-нибудь благородном поступке, — тотчас цвет лица его переменится, и вид его, обыкновенно мрачный, сделается веселым. Он жил в бедности, но, невзирая на то, послал однажды заключенным в тюрьме сто горшков цветов. Людей он не знал». Этот благороднейший и добрейший человек был вместе с тем суетен и тщеславен в высшей степени. Под старость он весь ушел в чинопочитание и в мелочное самообожание. Был он маленький, черненький, сморщенный старичок с очень добродушным личиком; всегда носил все имевшиеся у него ордена; поэт Щербина называл его ходячим иконостасом и уверял, что бабы к нему прикладываются. Остряки утверждали, что Глинка даже купается, не снимая орденов. Жена его Авдотья Павловна тоже была поэтесса и тоже писала на божественные темы. Они были влюблены в стихи друг друга и представляли курьезную парочку. Иногда они устраивали у себя чтение «Таинственной капли» — сборника мистических стихов Глинки. Это было настоящим священнодействием. Приглашались только достойные. В зале устраивалось возвышенное место, на

нем ставился стол и два стула рядом; на столе зажигались свечи и ставилась сахарная вода, и самыми восторженными поклонницами с таинственною осторожностью раскладывались фолианты рукописи. Для слушателей ставились кресла полукругом; все рассаживались заблаговременно. Вдруг все смолкали, и автор с женою восходили на трибуну. За сим неукоснительно происходил следующий разговор:

— Ma chère, кто начнет?

— Ты, конечно, mon cher.

— Уверяю тебя, ma chère, ты гораздо лучше меня читаешь.

Наконец, кто-нибудь начинал; и муж, и жена читали совершенно одинаково: патетично, певуче, монотонно. «Никогда не забуду мучений, которые доставляли мне эти чтения!» — с ужасом вспоминает Ек. Ф. Юнге.

Стихи Глинки были не лишены своеобразного дарования. Ему, между прочим, принадлежат слова распространенной песни «Вот мчится тройка удалая». Любимым его жанром, как уже сказано, были стихотворения религиозные. Пушкин признавал Глинку оригинальным поэтом, со своим, ни на кого не похожим лицом, с поэтическим воображением, теплотою чувств и свежестью живописи, но в то же время небрежным в рифмах и слоге, однообразным в мыслях, с простотой, переходящей в изысканность, с оборотами то смелыми, то прозаическими. Смелые обороты эти не раз веселили Пушкина. Например, в «Северных цветах» за 1831 г. было помещено стихотворение Глинки «Бедность и утешение»:

Не плачь, жена! Мы здесь земные постояльцы;
Я верю, где-то есть и нам приютный дом!
Под час вздохну я, сидя за пером,
Слезы роняешь ты на пяльцы;
Ты все о будущем полна заботных дум:
Бог даст детей?.. Ну, что ж! — пусть Он наш будет Кум!

Пушкин по этому поводу писал Плетневу: «Бедный Глинка работает, как батрак, а проку все нет. Кажется мне, он с горя рехнулся. Кого вздумал просить себе в кумовья! Вообрази, в какое положение приведет он и священника, и дьячка, и куму, и бабку, да и самого кума, которого заставят же отрекаться от дьявола, плевать, дуть, сочетаться и прочие творить проделки. Нащокин уверяет, что всех избаловал покойник царь, который у всех крестил ребят. Я до сих пор от дерзости Глинкиной опомниться не могу. Странная вещь, непонятная вещь!» А в 1834 г. Пушкин писал в дневнике: «Цензор Никитенко на гауптвахте под арестом и вот по какому случаю: Деларю напечатал перевод оды Гюго, в которой находится следующая глубокая мысль: если де

я был бы богом, то я бы отдал свой рай и своих ангелов за поцелуй Милены или Хлои (см. Деларю)... А все виноват Глинка. После его ухарского псалма, где он заставил бога говорить языком Дениса Давыдова, цензор подумал, что Он пустился во все тяжкое... Псалом Глинки уморительно смешон». В псалме этом господь-Адонаи обращается к мечу с такою речью:

Сверкай, мой меч! играй, мой меч!
Лети, губи, как змей крылатый!
Цируй, гуляй в раздолье сеч!
Щиты их в прах! В осколки латы!

Пушкин не раз задевал Глинку в эпиграммах. В «Собрании насекомых» он назвал его «Божией коровкой». Эпиграмма на Глинку:

Наш друг Фита, Кутейкин в эполетах,
Бормочет нам растянутый псалом;
Поэт Фита, не становись фертóм!
Дьячек Фита, ты ижица в поэтах!

Посылая в 1825 г. эту эпиграмму Вяземскому, Пушкин писал: «Не выдавай меня, милый; не показывай этого никому: Фита бо друг сердца моего, муж благ, незлобив, удаляйся от всякия скверны».

Барон ЕГОР ФЕДОРОВИЧ РОЗЕН
(1800—1860)

Посредственный поэт и драматург. Родился в Эстляндии, получил прекрасное домашнее образование. В 1819 г. поступил в Елизаветградский гусарский полк. До этого он очень слабо знал русский язык и, по собственному признанию, «научился русскому языку в манеже и на службе». В 1835 г., по рекомендации Жуковского, был назначен личным секретарем наследника вел. кн. Александра Николаевича. В 1840 г. вышел в отставку. Был очень плодовитый писатель, сотрудничал без разбора в самых разнообразных изданиях, вплоть до булгаринских. Жуковский и Пушкин ценили его, несомненно, выше, чем он заслуживал. Пушкин, например, писал в дневнике: «Ни Кукольник, ни Хомяков не напишут хорошей трагедии. Барон Розен имеет более таланта». Сам Розен был о себе самого высокого мнения. Он был уверен, что он глубокий и единственный знаток драматического искусства и величайший драматический поэт. Ему, между прочим, принадлежит либретто оперы «Жизнь за царя». Успех оперы Розен с полнейшим убеждением приписывал своим стихам. М. И. Глинка рассказывает в своих «Записках»:

«Большая часть не только тем оперы, но и разработка пьесы была уже сделана, и Розену надлежало подделывать слова под музыку. Барон Розен был на это молодец: закажешь столько-то стихов такого-то размера, — ему все равно, придешь через день, и уже готово... Каждый свой стих он защищал со стоическим героизмом; так например, мне показались не совсем ловкими стихи из квартета:

Так ты для земного житья
Грядущая женка моя.

Меня неприятно поражали слова «грядущая» — библейское и простонародное «женка»; долго, но тщетно бился я с упорным бароном, убедить его возможности не было, он много говорил с жаром, причем тощее и бледное лицо его мало-помалу вспыхивало ярким румянцем. Прение наше окончил он следующим образом: «Ви не понимает, это сама лутший поэзия!» Головачева-Панаева сообщает: «Когда Глинка стоял возле барона Розена, то выходил сильный контраст. Глинка был маленького роста, смуглый, живой, с хохолком на лбу, а барон Розен, тип немца, высокий, неподвижный, с маленькой головой, с прилизанными светлыми волосами и светлыми голубоватыми глазами, имевшими какое-то умильное выражение».

НЕСТОР ВАСИЛЬЕВИЧ КУКОЛЬНИК
(1809—1868)

Знаменитейший в свое время драматург. Учился в нежинской гимназии вместе с Гоголем, подавал блестящие надежды, и в глазах товарищей Гоголь не шел ни в какое сравнение с Кукольником. Был учителем русского языка в виленской гимназии, позже служил в Петербурге в министерстве финансов. Обратил на себя внимание драматической фантазией «Торквато Тассо», вышедшей в 1833 г. В следующем году была поставлена на сцене его патриотическая драма из эпохи Смутного времени «Рука всевышнего отечество спасла». Она имела огромный успех, автор был представлен императору Николаю и получил от него в награду перстень. В «Московском телеграфе», лучшем журнале того времени, появилась на драму уничтожающая рецензия, написанная редактором журнала Н. А. Полевым. Журнал за это был запрещен. Ходила эпиграмма:

Рука всевышнего три чуда совершила:
Отечество спасла,
Поэту ход дала
И Полевого утопила.

Следующая драма Кукольника «Князь Скопин-Шуйский» окончательно утвердила среди большой публики славу Кукольника как первого драматурга своего времени. Его восторженно выхваляли Булгарин и Греч, Сенковский ставил его на одну доску с Шекспиром и Гете. Но люди со вкусом относились с полным отрицанием к трескучей, напыщенной и риторической поэзии Кукольника. Сам он был о себе самого высокого мнения. Вокруг него теснился кружок восторженных поклонников, и среди них Кукольник не уставал с энтузиазмом проповедывать о святыне искусства. Направление, данное русской литературе Пушкиным и Гоголем, он глубоко презирал, считал себя главою русского романтизма и носился с мыслью о создании грандиозных типов. Любил выпить и в пьяном виде провозглашал:

— Кукольник велик!

— Кукольника потомство оценит!

Или вдруг заявлял, что русская публика не доросла до понимания его произведений и высказывал намерение писать по-итальянски или по-французски. Почитатели приходили в ужас и начинали умолять его не покидать русской литературы. Кукольник долго молчал и, наконец, растроганно заявлял:

— Благодарю вас! Не за себя благодарю, а за искусство, великое дело которого вы так горячо принимаете к сердцу... Да, я буду писать по-русски, я должен писать по-русски, уж по одному тому, что я нахожу таких русских, как вы!..

Кукольник был очень высокого роста, с узкими плечами, и держал голову нагнувши; лицо было длинное, узкое, с крупными, неправильными чертами; глаза маленькие, с насупленными бровями; уши огромные, тем более бросавшиеся в глаза, что голова была слишком мала по его росту. Он был веселый и остроумный собеседник, добродушен, часто по-детски весел. Тонко понимал музыку, недурно сам играл и импровизировал на фортепиано. Был в большой дружбе с композитором М. И. Глинкой и живописцем К. Брюлловым и придавал большое значение этому единению гениальных представителей трех искусств. Триада, с теперешней точки зрения, была курьезная: гениальный, для всякого времени нужный Глинка, талантливый, нужный для своего времени Брюллов и ни для какого времени не нужный Кукольник. За свою жизнь Кукольник написал несчетное количество драм, романов, повестей, стихотворений, издавал «Художественную газету» (1836—1842), посвященную вопросам искусства. Популярность его так же быстро начала падать, как быстро возникла. Журналы все неохотнее стали принимать его произведения. Он умер в конце шестидесятых годов, всеми забытый.

Пушкин относился к Кукольнику совершенно отрицательно, находил, что у него жар не поэзии, а лихорадки, не считал его способным написать хорошую трагедию и даже барона Розена считал талантливее. В письме к жене весною 1834 г. он, описывая съезд на один большой бал, сообщает: «...передо мною весь город проехал в каретах, кроме поэта Кукольника, который проехал в каком-то старом фургоне, с каким-то оборванным мальчиком на запятках, что было истинно поэтическое явление». 10 января 1836 г. Никитенко писал в дневнике: «Однажды у Плетнева зашла речь о Кукольнике. Пушкин, по обыкновению грызя ногти или яблоко, — не помню, — сказал: «А что, ведь у Кукольника есть хорошие стихи? Говорят, что у него есть и мысли». Это было сказано тоном двойного аристократа: аристократа природы и положения в свете».

Кукольник в день смерти Пушкина записал в своем дневнике: «Пушкин умер... Мне бы следовало радоваться, — он был злейший мой враг: сколько обид, сколько незаслуженных оскорблений он мне нанес — и за что? Я никогда не подавал ему ни малейшего повода. Я, напротив, избегал его, как избегаю вообще аристократии: а он непрестанно меня преследовал... Но в сию минуту забываю все и, как русский, скорблю душевно об утрате столь замечательного таланта».

Есть у Кукольника «драматическая фантазия» «Доменикино». В ней выведен известный итальянский художник возрождения Доменикино Цампиери, много пострадавший в жизни от завистников и даже, по преданию, отравленный ими. В драме Кукольника Доменикино — идеальный образ художника, равнодушного к благам мира и к ложной славе, всею душою живущего в искусстве. А вокруг него — клеветы, зависть, интриги. Во главе завистников стоит художник Ланфранко, который сам о себе говорит:

Я только славу мертвых уважал,
Я только им великое прощал,
За то в живых я славу ненавидел!

Он полон злобы к Доменикино, всячески преследует его, разбивает всю его жизнь. Доменикино в отчаянии восклицает:

Куда укрыть невинные глаза
От злобных взоров зависти бесстыдной?

Знаменитый старый художник Аннибал Караччи с негодованием говорит завистнику Ланфранко:

Ланфранко! Есть потомство! Эта зависть
На памяти твоей, как рана, ляжет.
Пока потоп иль преставление света
Не уничтожат памяти Цампиери,
До той поры, при каждом лоскутке,
Рукой страдальца освященном, люди
Врагов его с презрением воспомнят!

Из дневника Кукольника мы узнаем, что драма эта носит глубоко-автобиографический характер. Под именем Доменикино Кукольник выводит себя, а под именем Ланфранко... Пушкина!! В дневнике читаем (1—8 июня 1836 г.): «Не хотел бы я жить ужасною жизнью Цампиери... но, если того требуют судьбы искусства: да будет! Уже в большой мере наша судьба сходствует: нам не удалось найти почитателей наших талантов, а только приятелей, любящих в нас людей, с тайною холодностью к нашим способностям; вражда сохудожников с примесью клеветы; и у меня есть свой Ланфранко — Пушкин... Забавные сближения. но они по чувству моему справедливы».

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ БЕНЕДИКТОВ
(1807—1873)

В 1835 г. выпустил книжку стихов, привлекшую общее внимание. От нее в восторге были Жуковский, Вяземский. Один Пушкин, по рассказу Панаева, остался хладнокровным и на вопросы, какого он мнения о новом поэте? — отвечал, что у него есть превосходное сравнение неба с опрокинутой чашей; к этому он ничего не прибавил более. Белинский, вразрез с общим мнением, поместил в «Телескопе» рецензию, поставившую Бенедиктова на должное место. Признав Бенедиктова «превосходным версификатором и удачным описателем», Белинский отказывался видеть поэта в том, у кого нехватает фантазии на 20—40 строк стихотворения, кто со стихами вдохновенными мешает стихи деланые; отмечал в его стихах «риторическую шумиху» и предсказывал, что через несколько лет его совершенно забудут. Предсказание Белинского сбылось: слава Бенедиктова так же быстро погасла, как быстро засияла.

Можно сказать, что Бенедиктов был Бальмонтом 30—40-х годов: та же риторическая напыщенность, то же безвкусие. и та же исключительная «напевность». Такие, например, стихи:

Взгляните, как льется, как вьется она —
Красивая, злая, крутая волна!
Это мчится Ореллана,
Широка и глубока,

Шибче, шибче — и близка
К черной бездне океана.

Наружность Бенедиктова совершенно не соответствовала бурнопламенной его поэзии и сильно разочаровывала поклонников, представлявших себе его с огненными, вдохновенными глазами и черными кудрями до плеч. Был он плохо сложен, с длинным туловищем и короткими ногами, роста ниже среднего; белокуро-рыжеватые, примазанные волосы с зачесанными на висках крупными закорючками; лицо рябоватое, бледно-геморроидального цвета, с красноватыми пятнами; беловатые, светло-серые глаза, окруженные плойкой морщинок. Постоянно в форменном фраке министерства финансов, с орденами на шее и в левой петлице, при широком и неуклюжем черном атласном галстуке. Принадлежал, конечно, к кружку Кукольника. Однако посещал и субботы Жуковского, там встречался с Пушкиным. Вот как вспоминает он об этих встречах у Жуковского:

Помню я собранья
Под его гостеприимным кровом, —
Вечера субботние: рекою
Наплывали гости, и являлся
Он, — чернокудрявый, огнеокий,
Пламенный Онегина создатель,
И его веселый, громкий хохот
Часто был шагов его предтечей;
Меткий ум сверкал в его рассказе,
Быстродвижные черты лица
Изменялись непрерывно; губы,
И в молчаньи, жизненным движеньем
Обличали вечную кипучесть
Зоркой мысли. Часто едкой злостью
Острие играющего слова
Оправлял он; но и этой злости
Было прямодушие основой, —
Благородство творческой души,
Мучимой, тревожимой, язвимой
Низкими явленьями сей жизни.

ЭДУАРД ИВАНОВИЧ ГУБЕР
(1814—1847)

Сын немецкого пастора. До десяти лет не знал русского языка. В 1834 г. окончил институт корпуса путей сообщения и был произведен в офицеры. Работал в журналах, одно время был помощником Сенковского в редактировании «Библиотеки для чтения». Перевел первую

часть «Фауста» Гете; цензура его запретила, и огорченный Губер уничтожил свой труд. Пушкин ободрил его, убедил вторично взяться за перевод, читал его с ним, исправлял. Перевод вышел в свет уже после смерти Пушкина, с целыми страницами многоточий вместо стихов, не пропущенных цензурою. В посвящении памяти Пушкина Губер писал:

Когда меня на подвиг трудный
Ты улыбаясь вызывал,
Я верил силе безрассудной
И труд могучий обещал.
С тех пор один, вдали от света,
От праздной неги бытия,
Благословением поэта
В ночных трудах крепился я.
И грозный образ исполина
Явился пламенным мечтам,
И вскрылась дивная картина
Моим испуганным очам...
Ты разбудил немые силы,
Ты завещал мне новый свет,—
И я к дверям твоей могилы
Несу незрелый, бледный цвет.
Простой листок в венке лавровом,
Простая дань души простой
Не поразит могучим словом
И не богата красотой.
Но над могилою кровавой
Я брошу блеклый мой листок,
Пока сплетет на гробе славы
Другой певец — другой венок.

В 1838 г. Н. А. Полевой писал своему брату Ксенофонту: «К тебе явится с письмом моим офицер, с большими бакенбардами и холодною наружностью, — это Губер, переводчик «Фауста» и единственный человек, которого о сю пору отыскал я в Петербурге: поэт в душе, благороден, умен, учен, немец головою, русский душою». По общим отзывам всех, знавших Губера, это был человек редкой душевной чистоты.

ЛУКЬЯН АНДРЕЕВИЧ ЯКУБОВИЧ
(1805—1839)

Посредственный поэт. Веселый, разбитной малый, круглолицый, румяный, кудрявый, отставной офицер. Наивный и беззаботный, всегда начиненный журнальными новостями и сплетнями. Сильно пил. От литературы он не получал ничего, потому что тогда не только за стихи,

но и за прозу платили только избранным. Жил уроками русского языка. Говорят, что, когда он умирал на чердаке в коморке в Семеновском полку, к нему пришло известие, что умер его дядя, оставивший ему в наследство более трехсот душ.

Пушкин очень любил Якубовича. «Дружба у них была неразрывная», — рассказывает И. П. Сахаров. За три дня до дуэли Якубович и Сахаров были у Пушкина. Пушкин горячо спорил с Якубовичем. Он был очень сердит и беспрестанно бранил Полевого за его «Историю»; ходил скоро взад и вперед по кабинету, хватал с полки какой-нибудь том «Истории» и читал из него выдержки. В пушкинском «Современнике» напечатано стихотворение Якубовича «Предназначение». Приводим его для характеристики поэта:

Вы слыхали ль в отдалении
Звуки песни родной?
Что мечталось вам при пении
Соловья в глуши лесной?
Много чувств, воспоминания,
В звуках тех сохранено!
Много искр, любви, страдания
В песни той утаено!
Раб минутного желания,
И поэт, как соловей,
Он поет вам без сознания,
Без расчетливых затей.
Льется ль струйкой серебристою,
Водопадом ли гремит
Или молнией огнистою
В небе сумрачном горит;
Иль летит орлом над тучею,
Вьется ль резвым мотыльком:
Силой тайной и могучею
Все куда-то он влеком.
Безотчетный, бессознательный,
Самому себе тиран,
Так певец — орган страдательный,
Бога высшего орган!

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОЛЬЦОВ
(1808—1842)

Широкоплечий, сутуловатый паренек небольшого роста, некрасивый; одна сторона лица была больше другой и казалась распухшею от зубной боли. Сидел в уголку, смотрел исподлобья, изредка покашливал, торопливо поднося руку ко рту; одет был в длинный до пят сюртук,

шейный платочек бантом, по жилету — голубая бисерная часовая цепочка. Когда с ним заговаривали, он напряженно улыбался, отвечал застенчиво, не глядя собеседнику в глаза. Литераторы держались с ним покровительственно и не замечали тайной насмешки, прятавшейся в его умных и хитрых глазах. В литературных салонах глядели на него как на диковинку. Это был «поэт-самоучка» Кольцов, «поэт-прасол», полуграмотный человек «из народа», писавший, однако, совсем недурные стихи. Были, впрочем, люди, высоко ценившие оригинальную поэзию Кольцова безотносительно к тому, самоучка он или нет. К нему дружески относились Станкевич, В. П. Боткин, Катков, его очень любил Белинский, холил его, воспитывал и направлял. С ними Кольцов оживлялся, застенчивость и угрюмость исчезали, умные глаза загорались, и можно было долгие часы с интересом разговаривать с этим полуграмотным человеком. «Экая богатая и благородная натура! — в восторге писал Белинский.—Я точно очутился в обществе нескольких чудеснейших людей!» Кольцов жадно глотал мысли и знания, получаемые от друзей, но очень было ему трудно: нельзя разрешить основных вопросов жизни без немецкой философии, друзья его свободно парили в туманных высях этой философии, и никак он не мог угнаться за ними. Главное — времени было мало, редко он с ними виделся; подольше бы пожить с этакими друзьями, — и вся истина целиком была бы в его обладании. В 1838 г. он писал Белинскому: «За эти два месяца жизни с вами я много разрешил темных вопросов, много разгадал неразгаданных прежде истин. Жалею об одном, что нельзя было жить еще месяц с вами, а то есть кой-какие вопросы темные. Субъект и объект я немножко понимаю, а абсолюта ни крошечки, а если и понимаю, то весьма худо». Трудно было ему овладеть и языком ученых своих друзей. В письмах он говорит о своих «антипатических обстоятельствах», Белинский для него — «человек, который в полных идеях здравого смысла выводит священные истины и отдает их целому миру», фанатик — это «старинный почитатель одних призрачных правил без чувства души». Подобные выражения беспомощными мухами барахтаются в чистом и крепком настое чудеснейшего народного языка кольцовских писем: «За ночью день уж должен быть, а если захочет ночь его скушать, — подавится!» «Желанью сенца не подложишь: оно насильно требует, что ему надобно». «Русь, раз покажи хороший калач из-за пазухи, долго будет совать руку за ним по старой привычке».

Бескрайные воронежские степи. На лихом донском коне скачет парень в барашковой шапке, в чекмене, затянутом ременным поясом с серебряными украшениями; настоящий джигит: не задумываясь, перемахивает через овраги, через плетни; на всем скаку захватит с дороги

горсть пыли и швырнет в проходящую молодку. На степи отгуливаются купленные весною гурты волов, ватаги овец. Парень наблюдает за пастухами, по-хозяйски покрикивает на них. Вечером заедет в деревню, — бойкий на слово, веселый. Ходит в хороводе, пляшет и поет, балуется с девками. Везде, где появится, — смех и веселье. Мастер и кутнуть с мужиками. Ночью тихонько крадется к хате молодой вдовы или солдатской жены. В этом ухаре-парне столичные друзья с трудом узнали бы застенчивого, торопливо кашляющего в руку Кольцова. И уж совсем бы не поверили глазам, увидев его за торговыми его делами. Он продает в городе кожи, сало, дрова, закупает у крестьян скот, сговаривается на аренду пастбищ, торгуется за рощу на сруб. С ним держи ухо востро. Клянется, божится, выхваляет продаваемый товар, всячески хает покупаемый. Он хорошо усвоил все основы купеческой премудрости: «не обманешь, — не продашь», «на то и щука в море, чтоб карась не дремал». Особенно разгорается в нем душа, когда перед ним человек неопытный,— тут он уж прямо за честь почитает надуть его самым бессовестным образом. О своих торговых проделках Кольцов с ухарством рассказывал даже столичным своим друзьям, — как ловко он надувает имеющих с ним дело простаков.

— Уж если торгуешь, все норовишь похитрее дело обделать: руки чешутся.

Белинский с горестным изумлением спрашивал:

— Ну, а если бы вы, Алексей Васильевич, с нами имели дело, — и нас бы надули?

— И вас. Ей-богу, надул бы. Может быть, и вдвое потом бы назад отдал, а не утерпел бы. Надул-с!

Торговал Кольцов не от себя. Он состоял при отце Василии Петровиче — старом, матером волке, искушенном во всех тонкостях старозаветного русского торгашества. Василий Петрович скупал и откармливал скот, покупал на сруб леса, торговал кожей, овчиной, шерстью, дровами. Окладистая русая борода, подстрижен в скобку. Был он старик умный, суровый и властный, противоречий не терпел, для своих целей не останавливался перед самыми крутыми мерами. Лет семнадцати Кольцов-сын полюбил хорошенькую девушку Дуняшу, вступил с нею в связь, она от него, кажется, забеременела. Девушка была крепостною его отца. Кольцовы были мещане, владеть крепостными не имели права; но запрещение это можно было обходить очень легко: записывали людей на имя знакомого помещика либо фиктивно «нанимали» их у него. Кольцов хотел жениться на Дуняше. Отец отослал его из города по торговым делам и, в отсутствие сына, продал девушку в донскую казачью станицу. Сын был так этим потрясен, что заболел. Оправившись, кинул-

ся на Дон отыскивать Дуняшу, но все поиски были тщетны. Василий Петрович умел хорошо делать дела.

Кольцов вполне зависел от отца. Он был сметлив, практичен, отец постепенно передал ему все дела, но держал сына в ежовых рукавицах, требовал строгой отчетности; собственных денег у Кольцова никогда не было; любой приказчик по найму был независимее и богаче этого хозяйского сына. По поручению Кольцову случалось ездить в столицы— продавать гурты скота, хлопотать по судебным делам, которых у старика было несчетное количество, особенно с крестьянами по аренде земель. Тут в первый раз старик почувствовал, что пустяковые стишки, которые кропал чудак-сын, дело не безвыгодное. Стишки доставили сыну знакомство с сановными особами, очень полезными при ведении судебных дел. По просьбе сына, Жуковский, кн. Вяземский, кн. Одоевский писали письма воронежским властям и в судебные инстанции и тем много способствовали удачному исходу целого ряда кольцовских процессов. Однако процессов этих было так много, просить покровителей приходилось так часто, что даже благодушный Жуковский, наконец, стал принимать Кольцова холодно и избегать с ним встреч.

Поездки в столицы были для Кольцова светлыми, освежающими дух полосами в темной, обывательской жизни, какую ему приходилось вести в Воронеже. В эти-то поездки он и виделся с своими учеными друзьями, посещал литераторские сборища. В 1836 г. познакомился с Пушкиным. Узнав о приезде Кольцова, Пушкин просил его к себе. Хлопоты по делам отца и застенчивость мешали Кольцову отозваться на приглашение. Получив второе приглашение, Кольцов набрался смелости и пошел. Вид Пушкина его поразил: худой, черный, с впалыми глазами и с всклокоченными волосами, он работал в своем кабинете. Множество книг и горы рукописей лежали перед ним. Кольцов назвал свое имя. Пушкин крепко пожал его руку и сказал:

— Здравствуй, любезный друг, я давно желал тебя видеть.

«В обхождении Пушкина, — рассказывает Анненков, — была какая-то удивительная простота, выпрямлявшая человека и с первого раза установлявшая самые благородные отношения между собеседниками. Кольцов был поражен дружелюбною откровенностью приема, сделанного ему Пушкиным. С робостью явился он к знаменитому поэту и не встретил ни тени величавого благоволения, ни тени покровительственного тона». Кольцов просидел у Пушкина довольно долго и потом был еще несколько раз. Он вручил Пушкину для его «Современника» кипу тетрадок со стихами. Из них в «Современнике» появился только «Урожай». По словам Краевского, Пушкин заметил, что не все стихи Кольцова можно печатать, и при этом высказался о нем как о «человеке

с большим талантом, с широким кругозором, но бедном образованием, отчего эта ширь рассыпается более во фразы».

Через год Пушкин погиб. В известном стихотворении «Лес», посвященном его памяти, Кольцов писал:

Не осилили
Тебя сильные,
Так подрезала
Осень черная.
С богатырских плеч
Сняли голову —
Не большой горой,
А соломенкой.

Жить Кольцову в Воронеже становилось все тяжелее. После широкой литературной и художественной столичной жизни вялая жизнь глухого городка мало удовлетворяла. Торговля становилась все противнее. «Нет голоса в душе быть купцом». «Мне скучно жить в Воронеже, — писал Кольцов Белинскому; — живу-страдаю, — людей нет, одиночество, жутко, дела грязны и время берут почти все сутки... Тесен мой круг, грязен мой мир; горько жить мне в нем. И я не знаю, как я еще не потерялся в нем давно». И с ужасом чувствовал, как засасывает его житейское болото. «Сидя в болоте, не полетишь орлом; будь и крылья, — да глупая грязь их так сплющит, что и на ногах не устоишь, а уж куда лететь! — хоть бы глупые ребятишки не закидали камнями!» Отношения Кольцова с отцом начали портиться, и что дальше, то больше. В 1841 г., воротившись из деловой поездки в Москву, Кольцов писал Белинскому: «Из Москвы я домой приехал, как чужой. Отец принял другой характер, потому что его дрянные дела все кончены; и какие остались, те ему полицией не грозят, и он очень рад бы был, если бы я никогда не приезжал. У нас с ним пошли отношения самые сухие. Он хотел, чтобы я был мальчик, его лошадь, без гривенника в кармане, — я не согласился». Долго они препирались. Наконец, сговорились на том, что Кольцов на год останется при отце, достроит новый дом, который должен был давать доходу семь тысяч, а потом отец предоставит ему жить, где хочет, и будет давать в год по тысяче рублей. Кольцов хорошо знал жульническую натуру отца и хотел формально закрепить эти условия. Отец ответил:

— Не хочешь ли печеного рака?

Всю жизнь работая на отца, Кольцов на четвертом десятке лет остался без всяких средств, без определенного положения, во всем завися от крутого и самовластного отца. Обычная картина старозаветной купеческой семьи: работай, во всем угождай батюшке, после его смерти

сам станешь хозяином, — конечно, если ничем его не прогневишь, и он не лишит тебя наследства. Друзья уговаривали Кольцова разорвать с отцом, открыть в Петербурге книжную лавку или взять на себя заведывание конторою «Отечественных записок». Но Кольцов был натура инертная, он неспособен был смело разорвать путы и броситься в новую жизнь, не зная, что она ему даст. И был он человек практичный. Открыть книжную торговлю А деньги где? Притом торговать—значит плутовать, а что он за звезда, что один между плутами будет честен? Заведывать конторой? Из мальчика предлагают итти в работники: удачная перемена!.. И он продолжал жить в опостылевшем Воронеже.

В 1841 г. серая жизнь Кольцова неожиданно осветилась ярким счастьем. Он полюбил заезжую купеческую вдову Варв. Григ. Лебедеву. Она отнеслась к его любви благосклонно. «Чудо! — писал Кольцов Белинскому. — Брюнетка, стройна до невероятности, хороша чертовски, умна, образована порядочно, много читала, думала, страдала, кипела в страстях». Но счастье продолжалось всего два месяца. Красавица оказалась дамою весьма легких нравов. Наградив Кольцова сифилисом, она бросила его и уехала из Воронежа с офицером. Последний год жизни Кольцова был очень грустен. К полученной болезни присоединилась чахотка, он сильно кашлял, по ночам исходил испариной, развилось воспаление почек. Отец требовал, чтобы сын женился на богатой невесте, которую он укажет. Кольцов отказался. Отец стал беспощаден к непочтительному сыну. У Кольцова часто не было денег на лекарства, на чай и сахар, на свечи. Он жил в мезонине отцовского дома. Отец потребовал, чтоб он перешел вниз, и запретил отапливать мезонин. Пришлось перебраться вниз. Больной жил в проходной комнате, ему не было ни минуты покою. Сестру его выдавали замуж. То и дело мыли полы, а сырость была для больного убийственна. Вечеринки каждый день, шум, беготня, танцы. Кольцов просил не курить, — курили еще больше. Раз в соседней комнате гости сестры затеяли игру: поставили на середину комнаты стол, положили на него девушку, накрыли простынею и начали хором петь вечную память рабу божию Алексею.

20 октября 1842 г. Кольцов-отец зашел в Гостиный двор в лавку своего приятеля Мелентьева, выбирал парчу, кисею, бахрому, рассказывал, как он весело кутил вчера в трактире, какую выгодную сделку заключил с помещиками. Приятель спросил:

— А кому это ты парчу покупаешь?

— Сыну... Алексей-то — помер вчерась.

Когда Кольцову, еще мальчику, в первый раз попала в руки книга со стихами (Дмитриева), он в восторге побежал в сад и начал петь

стихи: он думал, что стихи, как песни, надо петь. Безымянные народные поэты, равно как и поэты древности, например, эллинские, были в то же время композиторами, стихи у них рождались вместе с мелодией и были неразрывно связаны с нею. Мы ничего не знаем о процессе творчества Кольцова, но позволительно догадываться, что он, и сочиняя собственные стихи, пел их. Как бывают «песни без слов», так песни Кольцова в нанесенном на бумагу виде — «песни без музыки». В этом их сила: они сами просятся на музыку, и ни у одного из русских поэтов не положено на музыку столько стихотворений, как у Кольцова. В этом же и их слабость: в них чего-то нехватает, они естественно и настоятельно требуют музыкального дополнения. У Пушкина же стихи уже диференцировались от музыки, они — музыка сама по себе и легко обходятся без сопроводительной музыки; в них композитор не сопутствует поэту, а борется с ним и почти всегда оказывается побежденным.

Кольцова называют народным поэтом. Это правильно в отношении к тематике его стихов, к кругу и характеру его переживаний. Песни Кольцова — это не фальшивые ложно-народные песенки Нелединского-Мелецкого, Мерзлякова, Дельвига, Цыганова, в них чувствуется подлинный народный стиль. Но чувствуется также, что Кольцов был только близок к народу, а не был плотью от его плоти. Поэтому он так легко прошел мимо крепостного права, которое так больно ощущал подлинный народ, которое вызывало такие неистовые проклятья и ненависть в подлинных народных поэтах вроде Шевченки. Для Кольцова есть счастливые богатые мужики, есть несчастные бедные мужики, но причина бедности в них самих, в их лености и беспечности: «Что ты спишь, мужичок? Ведь весна на дворе; ведь соседи твои работают давно. Встань, проснись, подымись...» Однако, прошедши мимо основных болей народа, Кольцов тонко сумел подметить основные его радости, — не только собственнические и желудочные радости от полных закромов, от пирогов и ветчины, но и изначальную радость самого труда земледельческого, живущую в душе коренного крестьянина. Передаю перо Глебу Успенскому. «В русской литературе есть писатель, которого невозможно иначе назвать, как поэтом земледельческого труда — исключительно. Это — Кольцов. Никто, не исключая и самого Пушкина, не трогал таких поэтических струн народного миросозерцания, воспитанного исключительно в условиях земледельческого труда, как это мы находим у Кольцова. Спрашиваем, что могло бы вдохновить хотя бы и Пушкина при виде пашущего мужика, его сохи и клячи? Пушкин мог бы только скорбеть об этом труженике, «влачащемся по браздам», об ярме, которое он несет, и т. д. Придет ли ему в голову, что этот раб, влачащийся по браздам, босиком бредущий за своей кляченкой, чтобы

он мог чувствовать в минуту этого тяжкого труда что-либо, кроме сознания его тяжести? А мужик, изображаемый Кольцовым, хотя и влачится по браздам, находит возможным говорить своей кляче такие речи: «Весело (!) на пашне, я сам-друг с тобою, слуга и хозяин. Весело (!) я лажу борону и соху...» А косарь того же Кольцова, который, получая на своих харчах 50 коп. в сутки, находит возможность говорить такие речи: «Ах, ты степь моя, степь привольная!.. В гости я к тебе не один пришел, я пришел сам-друг с косой вострою... Мне давно гулять (это за 50 коп. в сутки!) по траве степной, вдоль и поперек, с ней хотелося. Раззудись плечо, размахнись рука, ты пахни в лицо ветер с полудня, освежи, взволнуй степь просторную, зажужжи, коса, засверкай кругом!» Тут что ни слово, то тайна крестьянского миросозерцания; все это — прелести, ни для кого, кроме крестьянина, недоступные».

Графиня ЕВДОКИЯ ПЕТРОВНА РОСТОПЧИНА
(1811—1858)

Рожденная Сушкова, жена гр. А. Ф. Ростопчина, сына московского главнокомандующего. Талантливая поэтесса. К ней благоволил Жуковский, писал стихи Лермонтов («Я верю, под одной звездою мы с вами были рождены»). Один современник так ее описывает: «Графиня Ростопчина была жива и умна; ее разговор походил на блистательный фейерверк. Блеск ее ума мог соперничать разве с блеском ее обыкновенно задумчивых и томных глаз, когда она хотела кому-нибудь нравиться. Небольшого роста, брюнетка, с очень правильными и тонкими чертами, при смуглом цвете лица, с большими глазами и длинными темными ресницами, она была очень близорука и постоянно должна была носить лорнетку, которая заслоняла и мешала видеть всю прелесть ее глаз. Одаренная необыкновенною памятью, она знала иностранные литературы, как свою собственную». Брак ее с Ростопчиным был неудачен, совместная жизнь их была тяжелая.

В стихотворении «Две встречи» Ростопчина вспоминает о своих встречах с Пушкиным. Первая — в Москве, на Новинском гулянии, по-видимому, в 1826—1827 гг.:

Вдруг все стеснилось, и с волненьем,
Одним стремительным движеньем
Толпа рванулася вперед...
И мне сказали: «он идет!
Он, наш поэт, он, наша слава,
Любимец общий!» Величавый,
Но смелый, ловкий и живой,
Прошел он быстро предо мной.

И глубоко в воображеньи
Напечатлелось выраженье
Его высокого чела...

Вторая встреча произошла в Москве же, зимою 1828 г., когда Ростопчиной исполнилось семнадцать лет:

Я помню, я помню другое свиданье:
На бале блестящем, в кипящем собранье,
Гордясь кавалером и об руку с ним,
Вмешалась я в танцы, и счастьем моим
В тот вечер прекрасный весь мир озлащался.
Он с нежным приветом ко мне обращался;
Он дружбой без лести меня ободрял;
Он дум моих тайну разведать желал.
Ему рассказала молва городская,
Что, душу высокой мечтою питая,
Поэзии чары постигла и я,—
И он, с любопытством смотря на меня,
Песнь женского сердца, песнь женских страданий,
Всю повесть простую младых упований
Из уст моих робких услышать хотел.
Он выманить скоро доверье умел...
Вниманьем поэта в душе дорожа,
Под говор музыки, украдкой, дрожа,
Стихи без искусства ему я шептала
И взор снисхожденья с восторгом встречала.
Но он, вдохновенный, с какой добротой
Он исповедь слушал души молодой!
Как с кротким участьем, с улыбкою друга,
От ранних страданий, от злого недуга,
От мрачных предчувствий он сердце лечил
И жить его в мире с судьбою учил!
Он пылкостью прежней тогда оживлялся,
Он к юности знойной своей возвращался,
О ней говорил мне, ее вспоминал...

Осенью 1836 г. Ростопчина переехала на жительство в Петербург. Зимою у нее на обедах собирались Жуковский, Пушкин, кн. Вяземский, А. И. Тургенев, Плетнев, кн. Одоевский, Виельгорский и др. Бартенев, со слов мужа Ростопчиной, рассказывает, что Пушкин обедал у Ростопчиной накануне своей дуэли. До обеда и после него он убегал в умывальную комнату и мочил себе голову холодною водой, — до того мучил его жар в голове.

НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА ДУРОВА
(1783—1866)

Знаменитая «девица-кавалерист», оригинальная фигура женщины, в начале прошлого века сумевшей вырваться из круга зависимого и уз-

кого женского существования. Дочь армейского гусарского офицера. Мать страстно желала иметь сына, возненавидела дочь и попечение о ней всецело предоставила гусару-денщику. «Седло, — рассказывает Дурова, — было моею первою колыбелью, лошадь, оружие и полковая музыка — первыми детскими игрушками и забавами». Семья отца с каждым годом увеличивалась, он вышел в отставку и поступил на статскую службу городничим в гор. Сарапул Вятской губернии. У девочки были грубые манеры, она ходила, говорила и держалась по-мужски, была непокорна и самостоятельна. Мать засаживала ее за шитье, за вязанье, — девочка убегала в сад и там стреляла из лука, выделывала артикулы старым, заржавленным ружьем. Ее били, наказывали, но ничего не помогало. Отец купил дикого черкесского коня Алкида. Девочка-подросток приучила его, по ночам, когда все спали, выводила из дому и до утренней зари носилась на неоседланном жеребце по пригородным полям. Мать постоянно твердила девочке, что женщина — существо слабое и ни к чему не способное, что ее судьба с колыбели до могилы — неволя и угнетение. «Я решила, — рассказывает Дурова, — хотя бы это стоило мне жизни, — отделиться от пола, находящегося, как я думала, под проклятием божиим». Отец очень любил девочку. Когда она подросла, он подарил ей Алкида, сам учил ее верховой езде и дивился бесстрашию девушки. Ездила она по-мужски, в казачьем чекмене.

Восемнадцати лет Дурова была выдана за мелкого чиновника Чернова, имела от него сына Ивана. Не ужилась с мужем, ушла и воротилась в Сарапул к родителям. Вышли большие семейные неприятности. Вскоре Дурова сошлась с есаулом казачьего полка, стоявшего в городе для борьбы с разбоями. Осенью 1806 г. полк ушел из города. Через два дня, в день своих именин, Дурова сбросила женское платье, остригла волосы, надела казацкую форму и тайно ускакала ночью на своем Алкиде вслед за полком. Некоторое время жила с есаулом под видом его денщика. Весною 1807 г. в гор. Гродно она определилась охотником под именем Александра Соколова в конно-польский уланский полк. Началась тяжелая школа воинского обучения. Часто Дуровой приходилось очень круто; особенно трудно было ей привыкнуть к тяжелым уланским сапогам, которые она называла кандалами. Понемножку привыкла. Стала образцовым солдатом, научилась владеть саблей и пикой. Очень также тяжело было ей, женщине, жить с солдатами в общей казарме, скрывая свой пол.

Началась война с Наполеоном. Полк выступил в Пруссию. Под Гутштадтом произошел бой с французами. Шум битвы и гул канонады увлекли Дурову до самозабвения. Неприятельский драгун выбил из седла русского офицера и хотел зарубить его саблей. Дурова, с пикой

наперевес, помчалась на него и обратила в бегство. Раненого офицера на своем Алкиде она отправила на перевязку, а сама осталась пешей. В одном из следующих боев она бросилась спасать русского кавалериста, который, обезумев от раны в голову, без толку носился под пулями по полю сражения; Дурова получила от начальства выговор за такое неуместное мягкосердечие. Участвовала она и в кровопролитном сражении под Фридландом. Везде обращала на себя внимание храбростью.

Война кончилась. Заключен был Тильзитский мир. Полк возвратился в Россию. Началась тягостная и скучная мирная солдатская служба. Вдруг в полк пришел приказ: явиться Александру Соколову в Петербург к императору. Дурова поехала. Ее ввели в кабинет к Александру I. Император взял ее за руку, подвел к столу и, глядя в глаза, спросил:

— Я слышал, что вы не мужчина; правда это?

Дурова растерялась и молчала; наконец, ответила:

— Да, ваше величество, правда.

Он стал подробно расспрашивать о причинах, побудивших ее поступить на военную службу (узнал он о Дуровой, повидимому, из прошения ее отца, ходатайствовавшего о принятии мер к возвращению дочери домой.) Император сообщил Дуровой, что все начальники с великою похвалою отозвались об ее беспримерной храбрости, и сказал, что желает наградить ее и с честью возвратить в дом отцовский. Дурова вскрикнула от ужаса, упала к ногам Александра и стала молить оставить ее на военной службе. Царь поколебался, наконец, сказал:

— Если вы полагаете, что одно только позволение носить мундир и оружие может быть вашею наградою, то вы будете иметь ее. И будете называться по моему имени Александровым.

Он был осведомлен и о спасении Дуровою офицера.

— За спасение жизни офицера полагается георгиевский крест, — сказал он, взял со стола крест и приколол его к груди Дуровой.

Она была произведена в корнеты, определена в Мариупольский гусарский полк и получила две тысячи рублей на обмундирование. Новый полк Дуровой стоял в Луцке. Офицеры полка оказались хорошими товарищами, людьми образованными и деликатными. Дурова втянулась в полковую жизнь, обучалась воинским приемам и команде, посещала с товарищами богатые дома, танцовала на балах. Лицом она была ряба, с неправильными чертами, но бела и румяна, с черными бровями, тонкая и стройная. Случалось, иные девушки и женщины засматривались на молодого гусара, Дуровой приходилось отклонять их ухаживания. Она съездила в отпуск к отцу в Сарапул (мать ее уже умерла), всех ди-

вила там шитым золотом гусарским мундиром, но в тихой семейной обстановке вскоре почувствовала скуку и тоску по кругу товарищей-офицеров и воротилась в полк. В нее влюбилась дочь командира полка. Дурова, под предлогом дороговизны жизни в гусарском полку, перевелась в Литовский уланский полк, стоявший в Домбровице. Это было в 1811 г. Пошла та же веселая офицерская жизнь с балами и разными развлечениями.

В марте 1812 г. вдруг в полк пришел приказ: выступить в двадцать четыре часа. Готовилась война с Наполеоном. В июне французская армия вторглась в Россию. Русская армия медленно отступала. Полк, в котором служила Дурова, находился в арьергарде. Пикеты, ночные разъезды в холоде, под дождем, переходы в течение нескольких дней и ночей без сна и пищи. Дурова в отчаянии писала: «Я не знаю, что мне делать; смертельно боюсь изнемочь; впоследствии это припишут не чрезмерности стольких трудов, но слабости моего пола». И тем не менее именно теперь она жила полно и ярко. «Какая жизнь! — писала она. — Какая полная, радостная, деятельная жизнь! Как сравнить ее с тою, какую вела я в Домбровице. Теперь каждый день, каждый час я живу и чувствую, что живу. О, в тысячу, в тысячу раз превосходнее теперешний образ жизни». Армия продолжала отступать. Дуровой не раз приходилось участвовать в арьергардных стычках с французской кавалерией. С нею в это время встречался знаменитый Денис Давыдов. «Полк, в котором она служила, — рассказывает он, — был всегда в арьергарде вместе с нашим Ахтырским гусарским полком. Я помню, что тогда поговаривали, что Александров — женщина, но так, слегка. Она очень уединенна была и избегала общества столько, сколько можно было избегать его на биваках. Мне случилось однажды на привале войти в избу вместе с офицером того полка, в котором служил Александров, именно с Волковым. Нам хотелось напиться молока в избе. Там нашли мы молодого уланского офицера, который, только что меня увидел, встал, поклонился, взял кивер и вышел вон. Волков сказал мне: «Это Александров, который, говорят, женщина». Я бросился на крыльцо, — но он уже скакал далеко». Однажды, когда Дурова с отрядом уланов отправлялась на фуражировку, эскадронный командир попросил ее раздобыть для него гуся. В покинутой деревне им попался гусь. Дурова саблей срубила ему голову. Курьезно, что это была первая кровь, которую пролила она за всю свою боевую деятельность. «Воспоминание об этой крови тяготит мою совесть», — с содроганием записывает Дурова.

В двадцатых числах августа русская армия остановилась. Готовился генеральный бой под Бородином. У Дуровой не было теплой шинели, всю ночь перед боем она без сна мерзла в легком шалаше под хо-

лодным ветром. Во время битвы полк Дуровой несколько раз ходил в атаку; перчаток у нее тоже не было, и она еле держала саблю окоченевшими пальцами. Ядром ее контузило в ногу. Нога распухла и ломила нестерпимо. Дурова думала, что получить контузию не значит быть раненой, и, не видя крови, осталась в строю. Но уже не было сил держаться в седле от боли в ноге, от холода и изнеможения. Полежав в лазарете несколько дней в тепле и сытости, Дурова вернулась в полк. Армия продолжала отступать. В Москву вступили французы. Эскадрон Дуровой стоял в нескольких верстах за Москвою, и на ее глазах Москва запылала. Дуровой удалось добраться до Кутузова, она попросилась к нему в ординарцы, сказала, что в прусскую кампанию все командиры хвалили ее за храбрость. Кутузов удивился.

— Разве вы тогда служили? Сколько вам лет? Я полагал, что вам не больше шестнадцати лет.

Дурова ответила, что ей двадцать третий год и что в прусскую кампанию она служила в конно-польском полку. Кутузов быстро спросил:

— Как ваша фамилия?

— Александров.

Он встал и обнял ее.

— Как я рад, что имею, наконец, удовольствие знать вас лично. Я давно уже слышал об вас.

И оставил ее при себе ординарцем. Она носилась с поручениями от одного полка к другому, иногда от одного крыла армии к другому. Незалеченная нога разбаливалась все больше, мучила лихорадка, Дурова дошла до полного изнеможения. Кутузов обратил внимание на ее бледность и худобу, узнал о контуженной ноге и отправил на излечение домой к отцу.

Дома Дурова пробыла до мая 1813 г. и выехала на фронт, когда наши войска были уже в Пруссии. Участвовала еще в нескольких сражениях. Она замечала, что носится какой-то глухой, невнятный слух о ее пребывании в армии. Многие рассказывали ей ее историю со всевозможными искажениями: один описывал ее красавицей, другой уродом, третий старухой, четвертый давал ей гигантский рост и зверскую наружность. Сообщали, что служила она в военной службе только для того, чтоб не разлучаться со своим любовником-офицером. Товарищи по полку удивлялись, что у нее нет усов, считали ее не старше восемнадцати лет, спрашивали: «Когда, брат, у тебя вырастут усы?» Но иногда приметная вежливость в их обращении и скромность в словах показывали Дуровой, что они подозревают ее пол.

Война кончилась. Старик-отец звал Дурову домой, писал, что он

стар, что ему нужен покой, что он не в силах вести хозяйство. Дурова записывает: «Нечего делать. Надобно сказать всему прости. Все затихнет, как не бывало. Минувшее счастие, слава, опасность, шум, блеск, жизнь, кипящая деятельностью, — прощайте!» В 1816 г. она вышла в отставку с чином штаб-ротмистра и с небольшим пенсионом и поселилась с отцом в Сарапуле. Курьезно было ее юридическое положение. Все знали, что Дурова женщина, а в послужном списке она официально именовалась штаб-ротмистром Александром Александровым. После смерти отца городничим сарапульским стал сын его, брат Дуровой, Василий Андреевич, — с ним в 1829 г. познакомился Пушкин на кавказских водах (см. гл. XIX). В начале тридцатых годов В. А. Дуров был назначен городничим в Елабугу. Туда же с ним переехала и Дурова. Но жила она всегда на отдельной от него квартире. На досуге Дурова стала писать свои воспоминания. В них она многого не договаривала. Свои годы убавила на семь лет, ничего не сообщала о замужестве и романе с казацким есаулом. Выходило, что на военную службу она поступила юною шестнадцатилетнею девушкою, тогда как в действительности она была тогда двадцатитрехлетней женщиной. Летом 1835 г. В. А. Дуров написал Пушкину письмо, где сообщал о записках сестры. Пушкин очень заинтересовался записками и ответил Дурову: «Если автор записок согласится поручить их мне, то с охотою берусь хлопотать об их издании. Если думает он их продать в рукописи, то пусть назначит сам им цену. Если книгопродавцы не согласятся, то, вероятно, я их куплю. За успех, кажется, можно ручаться. Судьба автора так любопытна, так известна и так таинственна, что разрешение загадки должно произвести сильное, общее впечатление. Что касается до слога, то чем он проще, тем будет лучше. Главное: истина, искренность. Предмет сам по себе так занимателен, что никаких украшений не требует. Они даже повредили бы ему». Весною 1836 г. Пушкин получил «Записки» и писал Дурову: «Прелесть! Живо, оригинально, слог прекрасный. Успех несомнителен. Братец ваш (!) пишет, что летом будет в Петербурге. Ожидаю его с нетерпением. Прошу за меня поцеловать ручку храброго Александрова». В мае 1836 г. Дурова приехала в Петербург, остановилась в дешевеньком номере гостиницы Демут на четвертом этаже и записочкой известила Пушкина о своем приезде. Он поспешил явиться. Осыпал похвалами ее записки, восхитил Дурову своею любезностью и приветливостью. Каждый раз он приходил в приметное замешательство, когда Дурова, рассказывая о себе, говорила: «был», «пришел», «увидел». Прощаясь, Пушкин поблагодарил Дурову за честь, которую она ему делает, избирая его издателем ее записок, и поцеловал ей руку. Она поспешно выхватила ее, покраснела и сказала:

— Ах, боже мой, я так давно отвык от этого!

Дурова несколько раз была у Пушкина на его каменноостровской даче, он еще несколько раз был у нее и совершенно очаровал своею деликатностью и отзывчивостью. Большой отрывок из ее записок он напечатал в своем «Современнике» с очень лестным предисловием, взялся издать записки целиком. Но за Пушкина вступился его друг Плетнев. Он объяснил Дуровой, что Пушкин из любезности взялся за издание ее записок, но что он завален делами по горло, у него совершенно нет времени заниматься ее делами. Дурова поручила издание книги своему племяннику.

А. Я. Головачева-Панаева, видевшая Дурову приблизительно в это время, описывает ее так: «Она уже была пожилая и поразила меня своею некрасивою наружностью. Она была среднего роста, худая, лицо земляного цвета, кожа рябоватая и в морщинах; форма лица длинная, черты некрасивые; она щурила глаза, и без того небольшие. Костюм ее был оригинальный: на ее плоской фигуре надет был черный суконный казакин с стоячим воротником и черная юбка. Волосы были коротко острижены и причесаны, как у мужчин. Манеры у нее были мужские; она села на диван, положив одну ногу на другую, уперла одну руку в колено, а в другой держала длинный чубук и покуривала». Дурова стала в Петербурге героиней дня, ее всюду приглашали нарасхват, желая увидеть воочию таинственную «девицу-кавалериста», о которой давно уже шло так много рассказов. Пребывание свое в Петербурге Дурова описала в курьезной книжке «Год жизни в Петербурге или невыгоды третьего посещения» (1838). Повидимому, в непосредственном общении Дурова была очень неинтересна и сера. Она рассказывает в книжке, как ее радушно приглашали в самые знатные дома. В первое посещение она была в центре общего внимания, во второй раз ее встречали довольно холодно, в третий — либо высылали сказать, что хозяев нет дома, либо, приняв, настолько не обращали на нее никакого внимания, что она в негодовании уходила. И с горечью она пишет в книжке: «После третьего посещения я никому ни на что не надобна, и все решительно охладевают ко мне, совершенно и навсегда». Записки Дуровой под заглавием «Кавалерист-девица» вышли в 1836 г. и имели большой успех, вполне заслуженный. Написаны они ярко и талантливо, с подкупающей простотой и тонкой приметливостью; например: «бал был, как все другие балы, — очень весел на деле и очень скучен в описании». Дурова написала еще целый ряд повестей и романов. Они в свое время имели успех и были благоприятно встречены критикой.

Дурова прожила очень долго — до 83 лет. Ходила в полумужском или мужском костюме, в мужской шляпе, говорила о себе в мужском

роде и терпеть не могла, когда ее называли женским ее именем. Сын ее Иван Чернов, засватав невесту, просил у матери благословения и назвал ее в письме «маменькой». Дурова разорвала письмо и ничего не ответила. Брат ее надоумил племянника, он написал матери второе письмо в строго деловом тоне и получил благословение. Почти до конца жизни она любила ездить верхом; садилась в седло как мужчина, — «встала в стремя и полетела!» Страстно любила животных, квартира ее была приютом для всех бездомных собак и кошек. Была очень добра и к людям; совершенно не вникая в дело, усердно хлопотала за каждого просителя перед своим другом, елабужским городничим Ерличем, сменившим ее брата: «Вот эта бабочка просит и плачет, что будто бы ее мужу подкинули шлею какую-то. Будьте к ней милостивы». Или: «Не сделаете ли вы милость для этой солдатки, дать ей какую-то квартиру? Она называет ее «денежною». Ей-богу, я не понимаю, что это значит, а только прошу вас, если можно, дать ей эту квартиру». Денег беречь не умела. После ее смерти остался всего один рубль.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ НИКИТЕНКО
(1805—1877)

Из крепостных крестьян графов Шереметевых. Окончил воронежское уездное училище, но в гимназию как крепостной попасть не мог. В 1820 г. мальчик написал письмо своего барину, молодому кавалергардскому поручику графу Д. Н. Шереметеву; писал, как ему хочется дальше учиться, и просил дать ему вольную. После вторичного письма ему было объявлено через вотчинное правление, что графом на его письме положена резолюция: «Оставить без уважения». Этот граф был человек ограниченный и вялый, владел колоссальным состоянием (полтораста тысяч душ крестьян) и бросал на своих любовниц сотни тысяч рублей. Помещиков, владеющих пятью тысячами душ, он называл мелкопоместными и искренно удивлялся, как они могут жить. Это тот самый Шереметев, по поводу выздоровления которого Пушкин написал свою сатиру на Уварова «На выздоровление Лукулла». Надежды Никитенки на свободу и возможность дальнейшего учения рухнули. Не раз мальчик задумывался о самоубийстве и утешался только своим девизом: «терпение есть мудрость». Жил он уроками в уездном городе Острогожске, получал десять рублей в месяц, занимаясь по пять часов в день. Своею талантливостью и развитием он обращал на себя общее внимание; когда в городе было основано отделение «Библейского общества», Никитенко был выбран его секретарем. На первом общем собрании он

произнес речь о высоком значении религиозных истин, открытых евангелием. Речь, сказанная с искренним, молодым увлечением, вызвала общий энтузиазм, была переслана в Петербург и привела в восторг президента Библейского общества, министра кн. А. Н. Голицына. Он запросил об авторе и об его общественном положении, принял в Никитенке горячее участие, лично обратился к графу Шереметеву с ходатайством о поддержке молодого человека. Никитенко был вызван в Петербург. Но тем временем кн. Голицын впал в немилость и покинул пост министра. Шереметев сначала отказал Никитенко в разрешении пойти к Голицыну, потом процедил сквозь зубы:

— Пусть идет! — и прибавил с усмешкой: — Князю теперь не до него!

Но Голицын с прежним участием отнесся к Никитенке и написал горячее письмо Шереметеву, убеждая его отпустить Никитенко на волю и дать ему возможность продолжать образование. Шереметев оставил письмо без ответа, а Никитенку решил сослать в деревню. Между тем Никитенко познакомился с К. Ф. Рылеевым (будущим декабристом). Он также принял в нем большое участие и натравил на Шереметева его товарищей-кавалергардов, членов Тайного общества — З. Г. Чернышева, А. М. Муравьева, И. Анненкова и др. Они не давали проходу Шереметеву, убеждая его отпустить на волю Никитенку. Знатные дамы на вечерах обращались к нему с теми же просьбами.

Скрепя сердце, Шереметев, наконец, подписал вольную, но при этом заметил:

— Однако этому молодому человеку все-таки надо хорошенько намылить голову за то, что он наделал столько шуму. Будто я не мог сам по себе сделать того, что теперь делаю из уважения к другим.

Это было осенью 1824 г. Никитенко стал свободным человеком и поступил в университет. Кончил в 1828 г. по историко-философскому факультету. В 1832 г. стал адъюнктом по кафедре русской словесности, в 1834 — профессором.

Кроме того, с 1833 г. состоял цензором. Впоследствии был выбран в академики.

Как критик и историк литературы Никитенко мало значителен. Как цензор старался, в пределах возможности, поменьше теснить писателей, несколько раз сидел за это на гауптвахте, при обсуждениях цензурного устава отстаивал возможно большую свободу печати. В общем, однако, был только смиренным, исполнительным и добросовестным чиновником. Тяжелые условия молодости навсегда поселили в нем «привычки рабской тишины». К нему вполне приложимо то, что пишет он про своего

отца: «Нет, пусть ищут героев, где хотят, но не в русском крепостном человеке, для которого каждое преимущество его натуры являлось новым бичом, новым поводом к падению!»

С Пушкиным Никитенко познакомился еще студентом, в 1827 г., у Анны Петровны Керн, в которую Никитенко был влюблен. Впоследствии не раз встречался с ним у Плетнева. Когда Никитенко стал цензором, у него с Пушкиным произошло несколько неприятностей, навсегда расстроивших их добрые отношения. Никитенко, по приказанию министра Уварова, вычеркнул несколько стихов в поэме Пушкина «Анджело», что очень рассердило Пушкина. После этого Пушкин стал относиться к Никитенке холодно, в письмах к друзьям называл его осленком, находил, что он глупее даже Бирукова, цензора, прославившегося своею глупостью. Никитенко предпочел не иметь с ним дел, и когда его хотели в 1836 г. назначить цензором основанного Пушкиным журнала «Современник», то отказался.

ИВАН ПЕТРОВИЧ САХАРОВ
(1807—1863)

Сын тульского священника; окончил медицинский факультет московского университета, был врачом почтового департамента; но медицины не любил, а с увлечением занимался археологией и этнографией. Главный его труд — «Сказания русского народа». Книга страдает отсутствием исторической критики, приводимые тексты часто неточны, а иногда и фальсифицированы, однако в свое время «Сказания» сыграли свою положительную роль в науке. Сахаров был ярый патриот-националист, поклонялся «основным русским началам», считал великим историческим событием провозглашенный Николаем лозунг: «Самодержавие, православие, народность». Панаев рассказывает про его посещения вечеров кн. В. Ф. Одоевского: «Особенное внимание великосветских госпож и господ обращал на себя Сахаров, появлявшийся всегда на вечерах кн. Одоевского в длиннополом гороховом сюртуке. Сахаров, впрочем, русский человек себе на уме, хитро посматривал на все из-под навеса своих густых белокурых бровей и не смущался бросаемыми на него взглядами и возбуждаемыми им улыбочками. Он даже, кажется, нарочно облекался в свой гороховый сюртук, отправляясь на вечера Одоевского... «Пусть их таращат на меня глаза, — говорил он, — мне наплевать, меня не испугают». Князь Одоевский, кажется, познакомил Сахарова с Пушкиным. Сохранилась записочка Пушкина от конца декабря 1836 г., где он сообщает Одоевскому, что ждет его к себе с г. Сахаровым.

МИХАИЛ ЕВСТАФЬЕВИЧ ЛОБАНОВ
(1787—1846)

Бездарный писатель-старовер, автор од на торжественные события, переводчик Расина, биограф Крылова. Служил в Публичной библиотеке, был членом российской академии, а с 1845 г. — ординарным академиком Академии наук. Никитенко пишет о нем: «Это, что называется, академик-парик и плохой поэт. Старая литература для него святыня, новая— ересь и сплошь мерзость. «Каждая новая идея, — говорит он, — заблуждение; французы подлецы, немецкая философия глупость, а все вместе — либерализм». Если бы послушать Лобанова, то цензура ничего не пропускала бы, кроме его сочинений, благонамеренных и солидных». В начале 1836 г. Лобанов выступил на заседании академии с речью «о духе словесности», где громил новую европейскую и русскую литературу, зараженную, по его мнению, ядом безверия и разврата, и приглашал каждого из академиков доносить обо всем, что он найдет в печати неблагонамеренного. Пушкин в «Современнике» ответил на эту речь статьею, где сдержанно опровергал Лобанова по всем пунктам и заключил пожеланием, чтобы академия, награждая достойных писателей покровительством, «недостойных наказывала одним невниманием». По поводу статьи Пушкина А. И. Тургенев писал Вяземскому: «От Лобанова я ничего иного и не ожидал, особливо со времен всех оподляющего Уварова. Спасибо за скромный ответ, но сила в самом воздержании».

Барон ФРАНСУА АДОЛЬФ ЛЕВЕ-ВЕЙМАР
(1801—1854)

Французский писатель и дипломат, сотрудничал в лучших французских журналах, писал фельетоны в газете «Temps». В 1836 г. ездил в Россию с поручением министра-президента Тьера. В это время встречался с Пушкиным, посещал его на каменноостровской даче; Пушкин для Леве-Веймара перевел на французский язык несколько русских песен. Впоследствии Леве-Веймар был французским консулом в Багдаде (с 1838 по 1848 г.), а затем в Южной Америке. Был он небольшого роста, худощавый и изящный, на аристократически-белых руках ногти были тщательно отполированы, голубые глаза смотрели проницательно, на нежном, почти женском лице играл румянец, который, повидимому, больше был произведением искусства, чем натуры; старательно напомаженные белокурые волосы скудно прикрывали лысину. Гейне говорит, что самыми выдающимися качествами Леве-Веймара были щедрость и

любезность. Помогая Гейне переводить его статьи на французский язык, Леве-Веймар, — говорит Гейне, — «хвалил мое близкое знакомство с духом французского языка так серьезно, с таким, повидимому, изумлением, что я, наконец, поневоле поверил, что, действительно, перевел все сам, тем более, что Леве-Веймар, знавший немецкий язык не хуже меня, уверял, что знает его очень слабо».

АЛЬФОНС ЖОБАР
(Род. в 1793 г.)

Французский подданный, профессор французской, латинской и греческой словесности в казанском университете. После ревизии астраханской гимназии, где Жобар обнаружил вопиющие злоупотребления, он начал упорную борьбу сначала с попечителем казанского учебного округа Магницким, а потом с министром народного просвещения Уваровым, старавшимися замять поднятое Жобаром дело. Но добиться ничего не мог. Уваров попытался устроить так, чтобы Жобар был признан сумасшедшим, но Жобар сумел настоять на освидетельствовании, которое признало его «совершенно в здравом состоянии рассудка». Когда появилась сатира Пушкина на Уварова «На выздоровление Лукулла» (1836), Жобар перевел ее на французский язык и послал Уварову с ироническим письмом, где писал: «Твердо решившись познакомить Европу с этим необыкновенным произведением, я предполагаю послать в Брюссель этот перевод с примечаниями, каких может потребовать уразумение текста; но прежде, чем это сделать, я счел долгом подвергнуть мой перевод суждению вашего превосходительства и испросить на это вашего разрешения». Копию с письма и перевода Жобар послал Пушкину и распространил в публике. Денис Давыдов писал Пушкину: «Читая письмо, я хохотал, как дурак. Этот Жобар — злая бестия, ловко доклевавший журавля, подбитого соколом». Но Пушкин уже достаточно неприятностей перенес из-за своей сатиры и, рассыпавшись в комплиментах Жобару за его перевод, настойчиво просил его «не воскрешать своим талантом произведения, которое само по себе впадет в заслуженное забвение». Жобар перевода своего не напечатал. По настоянию Уварова, Жобар немедленно был выслан из России. Уезжая, он оставлял у знакомых свою визитную карточку, на которой под его фамилией было напечатано: «высланный из России».

VI

ЖУРНАЛИСТЫ

МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ КАЧЕНОВСКИЙ
(1775—1842)

По происхождению нежинский грек, первоначальная фамилия — Качиони. В 1806 г. получил степень доктора философии и изящных искусств, долгие годы состоял профессором московского университета, занимая самые разнообразные кафедры: теории изящных искусств и археологии, русской истории, русской словесности, всеобщей истории, истории славянских литератур и наречий. С 1805 по 1830 г. стоял во главе журнала «Вестник Европы», принятого им от Карамзина. В истории русского самосознания Каченовский занимает свое определенное место как историк — основатель и главный представитель «скептического направления», как последователь Нибура, боровшийся против царившей в его время наивной некритичности в отношении к историческим источникам. Один из его биографов говорит: «С необычайной научной осторожностью, с решимостью предпочитать скептически-отрицательный вывод произвольному ответу, Каченовский, при современной ему разработке исторических источников, не мог найти надежного с его точки зрения материала для построения русской истории. Заслуга его не в печатных трудах, — его собственных и учеников, — а в той школе, какую проходили студенты в его аудитории». О Каченовском с очень теплым чувством отзывается целый ряд его слушателей, впоследствии

выдвинувшихся на разных поприщах, — Кавелин, Редкин, Герцен, Ив. А. Гончаров. Все они в главную заслугу Каченовскому ставят его умение будить критическую мысль, приучать слушателей ничего не принимать на веру и стоять на собственных ногах. С. М. Соловьев рассказывает: «Любопытно было видеть этого маленького старичка с пергаментным лицом на кафедре: обыкновенно читал он медленно, однообразно, утомительно; но как скоро явится возможность подвергнуть сомнению какое-нибудь известие, старичок вдруг оживится, и засверкают карие глаза под седыми бровями, составлявшие единственную красоту у невзрачного старика». Курьезно, что этот неистовый отрицатель в области науки — в области политической, религиозной, литературной и житейской был чрезвычайно консервативен и робок. Перед авторитетом царствующего императора Каченовский благоговел. Доказывая подложность надписи на тмутараканском камне, он заявлял на лекции:

— Да вот и государь император Николай Павлович, как взглянул на надпись, так и сказал: это, должно быть, подложная надпись!

Ужасно боялся всякой ответственности; никогда, например, не брал на дом книг из университетской библиотеки, — вдруг они у него пропадут! В бытность секретарем, деканом и ректором университета каждую бумагу встречал возражением: «Да как же это так? Да зачем же это так?» В журнале своем «Вестник Европы» он выступал крайним литературным старовером и консерватором вплоть до отстаивания в русском алфавите букв «фита» и «ижица». К молодой русской литературе и специально к Пушкину относился отрицательно.

«Руслана и Людмилу» встретил с возмущением. «Возможно ли, — писал он, — просвещенному человеку терпеть, когда ему предлагают поэму, писанную в подражание «Еруслану Лазаревичу»? Чтобы лучше выразить всю прелесть старинного нашего песнословия, поэт и в выражениях уподобился Еруслановому рассказчику, например: «Шутите вы с мною, — всех у д а в л ю я бородою!» Каково? Далее: чихнула голова, за нею и эхо ч и х а е т... Вот что говорит рыцарь: «Я еду, еду, не свищу, а как наеду, не спущу». Потом витязь ударяет голову в щ е к у тяжкой р у к а в и ц е й... Но увольте меня от подробностей и позвольте спросить: если бы в московское Благородное собрание как-нибудь втерся (предполагают невозможное возможным) гость с бородою, в армяке, в лаптях, и закричал бы зычным голосом: «Здорово, ребята!» — неужели стали бы таким проказником любоваться?.. Зачем допускать, чтобы плоские шутки старины снова появлялись между нами! Шутка грубая, не одобряемая вкусом просвещенным, отвратительна, а нимало не смешна и не забавна». И все время из «Вестника Европы» на Пушкина сыпались самые ядовитые и злые нападки. Пушкин не оставался в долгу

и клеймил Каченовского эпиграммами, наименее изящными из всех его эпиграмм, представляющими просто набор грубых ругательств, в таком, например, роде:

Клеветник без дарованья,
Палок ищет он чутьем,
А дневного пропитанья
Ежемесячным враньем...

и т. п.

ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ СВИНЬИН
(1787—1839)

Журналист и археолог. В молодости провел несколько лет за границей, состоял секретарем русского генерального консула в Филадельфии. С 1818 по 1830 г. издавал журнал «Отечественные записки», наполнявшийся по большей части его собственными статьями по русской истории, географии, археологии. Выпустил несколько книжек этнографического и археологического содержания. Свои работы Свиньин посвящал изображению России и русского народа, особенно в лице его исторических героев, самоучек и самородков. Был также большим любителем русской старины и русского искусства, собрал обширный художественно-археологический музей; рядом с предметами вздорными и неподлинными в музее было много ценнейших рукописей, грамот, старинных книг. Свиньин собирал также картины русских художников и первый заговорил о «русской школе» в живописи, о необходимости беречь ее и поддерживать. В собрании его были картины Венецианова, Егорова, Шебуева, Щедрина и др. Весь свой музей Свиньин, нуждаясь в деньгах, распродал в 1834 г. с аукциона.

В жизни и в писаниях своих Свиньин был феноменальным врале и форменным Хлестаковым. А. Е. Измайлов написал на него сказку, которая начиналась: «Павлушка, медный лоб (приличное прозванье!). имел ко лжи большое дарованье». Пушкин вывел его в сказочке «Маленький лжец», где высмеивал страсть Свиньина к сомнительным древностям и к открытию всякого рода самородков. «Павлуша был опрятный, добрый, примерный мальчик, но имел большой порок, — он не мог сказать трех слов, чтобы не солгать. Папенька в его именины подарил ему деревянную лошадку. Павлуша уверял, что его лошадка принадлежала Карлу XII и была та самая, на которой он ускакал из Полтавского сражения. Павлуша уверял, что в доме его родителей находится поваренок-астроном, форрейтер-историк, и что птичник Прошка сочиняет стихи лучше Ломоносова. Сначала все товарищи ему верили, но

скоро догадались и никто уже не хотел ему верить даже и тогда, когда случалось сказать ему и правду». Посланный с каким-то поручением в Бессарабию, Свиньин выдал себя там за важного чиновника и, только уже зашедши далеко (стал принимать прошения от колодников), был остановлен. В 1828 г. Пушкин, когда его посетил Свиньин вместе с Ксенофонтом Полевым, стал допекать Свиньина расспросами о его бессарабской командировке, от которых Свиньин корчился, как береста на огне. Пушкин невинно спрашивал:

— С чего же взяли, что будто вы въезжали в Яссы с торжественной процессией, верхом, с многочисленною свитою, и внушили такое почтение молдавским боярам, что они поднесли вам сто тысяч серебряных рублей?

— Сказки, м и в ы й Александр Сергеевич! Сказки! Ну, стоит ли повторять такой вздор! — восклицал Свиньин; в приятельском разговоре ко всякому своему знакомому он прилагал слово «мивый» (милый).

— Ну, а ведь шубы вам подарили? — настаивал Пушкин.

Представляясь любопытствующим, Пушкин долго изводил Свиньина подобными вопросами, зная, что речь о бессарабских приключениях была для Свиньина — нож острый!

Когда книгопродавец Смирдин задумал в 1834 г. издавать журнал «Библиотека для чтения», к нему явился Свиньин и объявил, что министр Уваров назначил его редактором смирдинского журнала. Через несколько дней Смирдину понадобилось быть у министра. Уваров спросил, кто будет редактором его журнала. Смирдин назвал Свиньина. Уваров изумился.

— Неужели ты хочешь вверить свой журнал этому подлецу и лжецу? Журнал твой умрет не родясь, как только публика узнает, что редактором его избран Свиньин.

К счастью, контракт еще не был подписан, с чем Свиньин очень торопил Смирдина.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ ВОЕЙКОВ
(1778—1839)

Журналист и стихотворец. Вместе с Жуковским воспитывался в московском университетском Благородном пансионе, в 1806 г. выступил в печати со стихами «Послание к Сперанскому об истинном благоденстве», — выдвинувшими его как поэта. В 1812 г., во время так называемой Отечественной войны, был на военной службе. В 1815 г. женился на племяннице Жуковского, Александре Андреевне Протасовой. Это

была исключительно обаятельная девушка, красавица, умница, талантливая, очень веселая и жизнерадостная. Жуковский посвятил ей свою балладу «Светлана», и это имя «Светлана» навсегда осталось за нею. Непонятно, чем мог прельстить восемнадцатилетнюю девушку пожилой, истасканный, некрасивый и мало симпатичный Воейков, но она полюбила его. Мать ее Воейков уверил, что у него имеется две тысячи душ, и она охотно дала согласие на их брак. Поженились. Оказалось, никаких двух тысяч душ у Воейкова нет. Жуковскому удалось выхлопотать для него кафедру русской словесности в дерптском университете, к чему по знаниям своим Воейков совершенно не годился. Молодые поселились в Дерпте. Воейков был человек очень грубый, злой и подлый, пьяница, развратник. Над женою он издевался и всячески ее притеснял, жизнь ее превратилась в сплошной ад, она в одиночку переживала свое горе, скрывая его от всех. Среди товарищей-профессоров Воейков не пользовался уважением, они все больше начинали его сторониться. И не без причины. В 1820 г. приехал в Дерпт вновь назначенный попечитель университета, кн. К. А. Ливен. Профессора явились представиться ему. Каждому из представлявшихся он передавал по какой-то бумаге, приговаривая:

— Вот донос на вас.

Подошел Воейков. Ливен побледнел и закричал:

— Вон отсюда! Господа, все эти гнусные доносы написаны этим мерзавцем. Убирайся!

Обиженный Воейков подал в отставку и писал Жуковскому: «Как благородный человек, я не смог снести гласного оскорбления и принужден выйти. Я писал не доносы, а благонамеренные советы».

Жуковский устроил Воейкова в Петербурге — сотрудником гречевского журнала «Сын отечества», с жалованием в 6 000 руб. Устроили ему еще и казенную службу. Все это делалось из-за его жены. К прекрасной и несчастной этой женщине с горячей симпатией, кроме Жуковского, относились В. А. Перовский, А. И. Тургенев. Последний, кажется, по-настоящему любил ее. Мужу ее он доставил место в своем департаменте. Греч рассказывает: «Воейков обязан был всем своим существованием несравненной жене своей, бывшей его мученицею и жертвою. Всяк, кто знал ее, кто только приближался к ней, становился ее чтителем и другом. Воейков торговал и промышлял не прелестями, а кротостью своей жены. Например, приедет Александр Тургенев и идет, по обычаю, в ее кабинет. Двери заперты. — «Что это?» — спрашивает он у Воейкова. — «Она заперлась, — отвечает Воейков, — плачет». — «Плачет! О чем?» — «Как о чем? В доме копейки нет, не на что обедать завтра. Заплачешь с горя... Дай пятьсот рублей». — «Возьми!» Отпирают

дверь кабинета. Тургенев находит Александру Андреевну, действительно, в слезах, но вследствие огорчений, претерпенных ею от мужа».

С Гречем Воейков вскоре рассорился и ушел из «Сына отечества». Редактировал «Русский инвалид», потом еще некоторые издания, но успеха они не имели. В 1829 г. умерла от чахотки его жена. Прежние друзья от него отвернулись. Он все больше озлоблялся от неудач и подлел. Был он среднего роста, сутуловат, голова покрыта густыми, вьющимися черными волосами; на носу огромные черепаховые очки. Прихрамывал и потому всегда ходил с палкой. Обыкновенный костюм его был темно-серый сюртук с голубой ленточкой в петличке от медали 12-го года. Говорил немного в нос. И. С. Тургенев характеризует его так: «Хромоногое и как бы искалеченное, полуразрушенное существо, с повадкой старинного подьячего, желтым, припухлым лицом и недобрым взглядом черных крошечных глаз». Слабый критик и публицист, плохой поэт, Воейков пользовался большою известностью у современников и вошел в историю русской литературы как автор сатиры «Сумасшедший дом», в которой он едко, зло и часто очень остроумно вывел всех современных ему писателей, включая и самого себя. Например:

Вот на розовой цепочке
Спичка Шаликов в слезах,
Разрумяненный, в веночке,
В ярко бланжевых чулках,
Прижимает веник страстно,
Кличет граций здешних мест
И, мяуча сладострастно,
Размазню без масла ест.
Вот Жуковский: в саван длинный
Скутан, лапочки крестом,
Ноги вытянуты чинно,
Чорта дразнит языком;
Видеть ведьму воображает;
То глазком ей подмигнет,
И кадит, и отпевает,
И трезвонит, и ревет.
— Ты ль, Хвостов, — к нему вошедши,
Вскрикнул я, — тебе ль здесь быть?
Ты — дурак, не сумасшедший,
Не с чего тебе сходить!..
и т. д.

Пушкин относился к Воейкову без уважения за его бесцеремонность, наглость и литературное мародерство, считал его способным на всякую гадость; в качестве наибольшего порицания Булгарину писал, что «Булгарин хуже Воейкова»; о рецензиях Воейкова отзывался, что при чтении их ему кажется, будто он подслушивает у калитки литера-

турные толки девиц из веселого дома. Постепенно, однако, Пушкин стал относиться к Воейкову мягче, поместил в его журналах целый ряд своих произведений, с большим сочувствием отзывался о полемических статьях Воейкова, об их «оригинальной веселости»; в журнале своем «Современник» дал место статье, где писалось, что Воейков оставил на полемическом поприще следы неизгладимые и что ряд его статей является «в своем роде классическими». В войне, поднятой вокруг «Литературной газеты» против «литературной аристократии», Воейков выступал в защиту пушкинского кружка против журнальных своих врагов — Полевого, Булгарина и др. Он же сочувственно приветствовал выход «Современника» Пушкина и писал по этому поводу: «Журнал Пушкина — чистое золото. Спешите, любезные соотечественники, спешите на него подписываться!»

ФАДДЕЙ ВЕНЕДИКТОВИЧ БУЛГАРИН
(1789—1859)

Гнуснейшая фигура русской журналистики, имя, ставшее нарицательным для журнальной рептилии, доносчика и шантажиста. Жизнь его, как и жизнь Чичикова, можно уподобить как бы барке какой-нибудь среди свирепых волн. Чего не потерпел он? Поляк. Кончил курс в петербургском кадетском корпусе, выпущен корнетом в уланский полк. Кутил и буйствовал, как полагается корнету. Участвовал в походах 1805—1807 гг. Долголетний его журнальный соратник Греч сообщает: «Хотя впоследствии он рассказывал мне о своих геройских подвигах, но, по словам тогдашних его сослуживцев, храбрость не была в числе его добродетелей: частенько, когда наклевывалось сражение, он старался быть дежурным по конюшне. Однако он был сильно ранен в живот при Фридланде». Через три-четыре года мы находим Булгарина в Ревеле. Из военной службы его за дурное поведение выгнали. Опухший от пьянства, оборванный, он на городском бульваре подходил к гуляющим и в вычурных литературных оборотах просил милостыни, — иногда даже в стихах: «Кто бедным милости творит...» Однажды у приятеля своего, камердинера одного полковника, он стянул шинель и спустил в кабаке. Еще года два прошло. Булгарин — солдат французской армии. Под наполеоновскими орлами сражается в Испании, потом с великой армией вступает в Россию, уже в чине капитана; в корпусе маршала Удино действует против Витгенштейна. Вместе с отступающей французской армией докатился до Франции и в 1814 г. был взят в плен прусскими партизанами. По окончании войны вернулся в Россию.

В 1820 г. явился к Гречу человек лет тридцати, тучный, широкоплечий, толстоносый губан, порядочно одетый, и на сквернейшем французском языке начал:

— Excusez, mcnsieur, si je vous dèrange...

Это был Булгарин. Произошло знакомство, на долгие годы соединившее в совместной журнальной деятельности этих двух гиен русской журналистики. Свирепые волны вокруг жизненной барки Булгарина улеглись, и началось благополучное плавание по спокойной глади жизненных успехов и материальной обеспеченности.

У Булгарина оказался несомненный талант бойкого, легко читающегося фельетониста. Недурны были и его беллетристические вещи, их охотно печатали в лучших тогдашних альманахах, включая «Полярную звезду» Рылеева и «Северные цветы» Дельвига. Булгарин познакомился с рядом тогдашних писателей — Грибоедовым, Рылеевым, бр. Бестужевыми, бр. Тургеневыми и др. Он производил впечатление малого умного, любезного, веселого и гостеприимного, способного к дружбе и искавшего дружбы людей порядочных. Однако не пренебрегал знакомством и милостями людей влиятельных: сошелся с Магницким, Руничем, с приближенными Аракчеева, пролез и к нему самому. Разразилось 14 декабря. Булгарин сильно перетрусил: он водил знакомство со многими из декабристов — Рылеевым, братьями Бестужевыми, Кюхельбекером. Все меры стал принимать, чтобы доказать свою непричастность. На запрос полиции описал приметы бежавшего Кюхельбекера «так умно и метко», что по ним узнали и арестовали беглеца. Донес на племянника своего, молодого офицера Демьяна Искрицкого. Явился к нему журналист Орест Сомов, заявил, что бежал из Петропавловской крепости, и просил спасти. Булгарин запер его на ключ у себя в кабинете, помчался в полицию и сообщил о своем госте. Оказалось, однако, что Сомов просто подшутил над Булгариным. Он, действительно, был арестован и сидел в крепости, но выпущен «без последствий». За такую шутку Сомов отсидел три дня в крепости.

В начале двадцатых годов Булгарин издавал журналы «Литературные листки» и «Северный архив», впоследствии слившийся с «Сыном отечества» Греча. С 1825 г. Булгарин и Греч стали издавать газету «Северная пчела», — в течение десятилетий бывшую единственною газетою, которую принужден был читать русский читатель. Обсуждать в печати вопросы внешней, а тем более внутренней политики в то время не разрешалось. Передовых статей в газете не было; политические известия сообщались в урезанном, часто даже в искаженном виде, исключительно с фактической стороны. Правительственные сообщения печатались без всяких комментариев, их не полагалось не только критико-

вать, но и хвалить. Внутренние известия состояли из сообщений о пожарах, о редких явлениях природы, о двухголовых младенцах и т. п. Иногда, однако, в «Северной пчеле» появлялись и руководящие статьи, — все они писались по заказу Третьего отделения или прямо доставлялись им в готовом виде для напечатания. Булгарин вел в газете фельетоны, где писал о литературе, театре, музыке, сводил счеты с литературными врагами, выхвалял произведения свои и своих друзей, рекомендовал публике магазины, рестораны и предприятия, дававшие ему взятки, и всячески опорочивал те, которые взяток давать не хотели. Не брезговал и доносительством, но большею частью избирал для этого более прямой путь: просто писал доносы в Третье отделение. Служба его правительству была многообразна. Он вообще состоял осведомителем Третьего отделения касательно литературы и литераторов, писал в нужных случаях для правительства даже официальные воззвания. О заслугах своих сам Булгарин писал однажды Дубельту так: «Во время восстания Польши все (правительственные) воззвания к польскому народу и войску, все письма к магнатам польским писаны мною, на польском языке. После 14 декабря, в турецкую войну и во время холеры, когда умы были в волнении, я писал и печатал статьи по указанию и воле графа А. Х. Бенкендорфа для успокоения умов, и гр. Бенкендорф не однажды повторял мне, что я из всей польской нации примерный подданный». Граф Бенкендорф, после него граф Орлов и Дубельт вообще очень благоволили к Булгарину, защищали его перед самим царем, но относились к нему с презрением. Как позволял Булгарин обращаться с собою начальству, показывает такой случай. В 1846 г. он напечатал в «Северной пчеле» стихотворение графини Е. П. Ростопчиной «Насильный брак»: старый рыцарь-барон просит вассалов рассудить его с молодою его женою, обвиняет ее в холодности и ненависти к нему, а она отвечает:

Раба ли я или подруга,
То знает бог; я ль избрала
Себе жестокого супруга,
Сама ли клятву я дала?
Жила я вольно и счастливо,
Свою любила волю я,
Но победил, пленил меня
Соседей злых набег хищливый.
Я предана, я продана,
Я враг ему, а не жена!

Булгарин не доглядел, напечатал. И все поняли, что тут изображены отношения между Николаем и Польшей. Шеф жандармов Орлов призвал Булгарина для объяснений. Булгарин, — ко всему, ведь еще

и сам поляк, — страшно перетрусил, в оправдание приводил срочную газетную работу и несколько раз плачевным голосом повторил:

— Мы школьники!

— Так ты школьник?

Орлов схватил его за ухо, поставил у печки на колени, сам сел писать и продержал Булгарина на коленях более часа. Потом отпустил и сказал:

— Помни, школьникам бывает и другого рода наказание.

Сообщивший этот рассказ жандармский полковник Стогов прибавляет: «Когда Орлов рассказал государю сцену с Булгариным, государь много смеялся и сказал Орлову: «Ты, чудак, не стареешься!» Нужно еще заметить, что рассказ Стогова, видимо, сильно смягчен и сокращен цензурой. В «Русской старине» за 1886 г., где помещены воспоминания Стогова, листок, где был этот рассказ в первоначальном виде, вырезан и вместо него вклеен другой, напечатанный разгонисто.

Главными началами, руководившими Булгариным в его журнальной деятельности, были, как сообщает Греч, тщеславие и алчность. Булгарин был и романист, выпустил несколько романов — «Иван Выжигин», «Дмитрий Самозванец» и др. Кто отрицательно отзывался об его романах, становился его врагом, и Булгарин с бешенством обрушивался на него инсинуациями, клеветою, бранью, доносами. Всего же больше любил он деньги, и, когда что-нибудь грозило его карману, он развивал деятельность самую энергичную. Появление всякой новой газеты грозило конкуренцией его газете, монопольно властвовавшей в журналистике. Поэтому Булгарин немедленно начинал кампанию против конкурента, засыпал Третье отделение доносами на его неблагонадежность, опорочивал всячески в своей газете. Не без участия Булгарина погибла «Литературная газета» Дельвига. Как выгодна была для Булгарина и Греча их монополия, показывают доходы их с газеты. В 1855 г., например, каждый из совладельцев получил на свою долю по 24 000 руб. серебром.

«В Булгарине, — рассказывает Греч, — скрывалась исключительная жадность к деньгам, имевшая целью не столько накопление богатства, сколько удовлетворение тщеславия; с каждым годом увеличивалось в нем чувство зависти, жадности и своекорыстия. В основе его характера было что-то невольно дикое и зверское. Он ни с кем не умел ужиться, был очень подозрителен и щекотлив и при первом слове, при первом намеке бросался на того, кто казался ему противником, со всею силою злобы и мщения. Иногда по самому ничтожному поводу он впадал в какое-то исступление, сердился, бранился, обижал встречного и поперечного, доходил до бешенства. В таких случаях он пускал себе кровь, ослабевал и приходил в нормальное состояние». Был он тучен, с брюш-

ком; гнойные, воспаленные глаза, огромный рот и вся фигура производили неприятное впечатление. Голос был грубый, отрывистый, говорил нескладно, как бы заикался на словах. В своей семейной жизни Булгарин был точно чужой; как хозяин дома он не имел никакого значения. Домом, детьми, деньгами распоряжались по своему произволу его женанемка Елена Ивановна и ее тетка, знаменитая «танта», — гнусная, злая баба, которую Булгарин ненавидел всей душой. Она хорошо была известна в литературных кругах как домашний бич Булгарина. У Рылеева есть стихотворение: «Ах где те острова, где растет трын-трава, братцы?» В нем поминается и «танта»:

Где с зари до зари
Не играют цари —
В фанты;
Где Булгарин Фаддей
Не боится когтей —
Танты.

Жена Булгарина была бывшая проститутка, взятая им из дома терпимости. На это намекает Пушкин в «Моей родословной», отвечая Булгарину, назвавшему его мещанином во дворянстве: «Решил Фиглярин вдохновенный: я во дворянстве мещанин. Что ж он в семье своей почтенной? Он?.. Он в Мещанской дворянин (на Мещанской улице в Петербурге помещались дома терпимости)». Жена Булгарина и «танта» давали ему ничтожную сумму на карманные расходы, а все доходы от газеты отбирали. Булгарин тщательно скрывал от жены мелкие доходцы от фруктовых магазинов и винных погребов, восхваляемых им в своей газете. Под Дерптом у Булгарина было поместье Карлова, куда он ездил летом отдыхать.

В начале издательской деятельности Булгарина Пушкин относился к нему очень терпимо, помещал в его «Литературных листках» и «Северной пчеле» свои стихи, хотя в частных письмах называл Булгарина с Гречем «грачами-разбойниками», «сволочью нашей литературы» и т. п. Булгарин, со своей стороны, очень дорожа сотрудничеством Пушкина, неизменно восхвалял его, называл первым современным поэтом русским, восторженно приветствовал каждую новую поэму Пушкина и каждую новую главу «Онегина». В 1827 г., по приезде Пушкина в Петербург, они с Булгариным познакомились лично, Пушкин вместе с Дельвигом даже обедал у Булгарина, что очень возмутило Вяземского. Кружок Пушкина, Дельвига и Вяземского в 1830 г. стал издавать «Литературную газету»; цель была—дать серьезный литературный орган и начать борьбу с духом пошлости, прислужничества и беспринципности, пронизавшим грече-булгаринские органы. Булгарин, всегда боявшийся кон-

куренции, начал яростную травлю газеты, сначала не задевая самого Пушкина. В это время Булгарин напечатал роман «Дмитрий Самозванец», в котором целый ряд сцен позаимствовал из «Бориса Годунова»,— еще ненапечатанного, но уже широко распространившегося в публике. До Булгарина дошло, что Пушкин обвиняет его в плагиате. В «Литературной газете» появился неблагоприятный разбор «Дмитрия Самозванца», написанный Дельвигом. Но Булгарин решил, что статью написал Пушкин. Когда не хвалили его творений, Булгарин терял голову от бешенства. В «Северной пчеле» он поместил статейку под заглавием «Анекдот», написанный поистине «слюною бешеной собаки». В прозрачном образе якобы французского поэта выводился Пушкин, которому давалась такая характеристика: «Служит усерднее Бахусу и Плутусу (вину и богатству), нежели музам; сердце его — холодное и немое существо, как устрица, а голова — род побрякушки, набитой гремучими рифмами, где не зародилась ни одна идея; бросает рифмами во все священное, чванится перед чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтоб позволили ему нарядиться в шитый кафтан; марает белые листы на продажу, чтобы спустить деньги на крапленых листах; одно у него господствующее чувство — суетность». Вслед за тем Булгарин напечатал уничтожающую статью о только что вышедшей седьмой главе «Онегина», в которой провозгласил полное падение Пушкина. Началась открытая война. Пушкин поместил в «Литературной газете» статью якобы о записках парижского сыщика Видока. Но все сразу в образе Видока узнали Булгарина. Пушкин писал: «Представьте себе человека без имени и пристанища, живущего ежедневными донесениями, женатого на одной из тех несчастных, за которыми по своему званию обязан он иметь присмотр, отъявленного плута, столь же бесстыдного, как и гнусного, и потом вообразите себе, если можете, что̀ должны быть нравственные сочинения такого человека» и т. д. Статья произвела сенсацию. В книжной лавке Сленина Булгарин, взбешенный статьею, крестился и низко кланялся перед иконою, хотя был католик, — божась, что между ним и Видоком нет ничего общего.

— Неужели в этой статье хотели представить меня? — спрашивал он.

Книгопродавец Лисенков выпустил портрет Булгарина с подписью «Видок», портреты брались нарасхват. За Булгариным утвердилась кличка «Видок», присоединенная к прежней его кличке «Фиглярин», так он теперь и стал фигурировать во всех эпиграммах — «Видок Фиглярин». Года два продолжалась беспощадная война между Пушкиным и Булгариным. Булгарин обливал грязью Пушкина, Пушкин высмеивал бездарные романы Булгарина, стрелял в него эпиграммами и не гну-

шался, подобно Булгарину, задевать и личную жизнь противника — например, намеками на его жену, бывшую проститутку. Под влиянием Греча Булгарин понял невыгодность борьбы с Пушкиным, прекратил свои нападки, опять стал восторженно хвалить его произведения. «Грачи-разбойники» не теряли надежды вступить в союз с Пушкиным. Но, конечно, надежды эти не осуществились. До конца жизни Пушкин не переставал мечтать о журнале, который бы дал отпор гнусному господству в журналистике этих беспринципных рептилий, и в первой же книжке своего «Современника» поместил статью Гоголя «О движении журнальной литературы», дававшую достойную оценку журналам Булгарина и Греча.

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ГРЕЧ
(1787—1867)

Журналист и педагог. Сын онемечившегося чеха, протестант. Окончил курс в петербургском педагогическом институте. Был преподавателем в учебных заведениях, издал ряд книг и учебников по русской грамматике и словесности, в свое время пользовавшихся большим распространением. Писал романы — «Черная женщина» и др. Но главное значение он имел как журналист — как редактор журнала «Сын отечества» и соредактор Булгарина по газете «Северная пчела». В истории русской журналистики имя Греча по праву ставится рядом с именем Булгарина, как такой же беспринципной рептилии и такого же угодливого поборника православия, самодержавия и народности. Однако Греч был образованнее и культурнее Булгарина, держался более корректно, не позволял себе таких неприличных выходок, какие вызывали к Булгарину всеобщее отвращение. Греч, сколько возможно, старался отмежевываться от Булгарина, называл его за глаза «польским псом», но связи с ним не разрывал. «От него, — сознается он в своих воспоминаниях, — зависело благосостояние моего семейства. Я сносил с терпением все его причуды, подозрения и оскорбления». В конце концов однако, — это было уже в пятидесятых годах, — между ними произошел разрыв, и в воспоминаниях своих Греч без стеснения изобразил Булгарина во всей его непривлекательности.

Отношение Пушкина к Гречу было в общем отрицательное. Он и Булгарин были для него «грачи-разбойники», борьбу с обоими Пушкин считал долгом всякого честного журналиста, в полемических статьях своих наносил Гречу очень жестокие удары, высмеивал «утешительный пример согласия Н. И. Греча и Ф. В. Булгарина, основанного на взаимном уважении, сходстве душ и занятий гражданских и литературных»;

писал, имея в виду Греча, о «китайском журналисте, который, потакая своему товарищу и в глаза выхваляя его бредни, говорит на ухо всякому: «Этот пачкун и мерзавец ссорит меня со всеми порядочными людьми, марает меня своим товариществом; но что делать? Он человек деловой и расторопный!» Пушкин очень осторожно держался в вопросе о сотрудничестве в «Энциклопедическом словаре» Плюшара ввиду того, что редактором словаря состоял Греч. Все это, однако, не помешало Пушкину в начале тридцатых годов обращаться к Гречу с предложениями, справедливо вызывающими недоумение исследователей. В то время у Пушкина явилась надежда получить разрешение на издание собственной газеты, — и он попытался переманить в нее Греча, потом предлагал Гречу передать его журнал «Сын отечества» ему, Пушкину, с тем, что редактором останется Греч. Греч нашел невыгодным разрывать с Булгариным и вежливо отклонил предложения Пушкина. Личные отношения Пушкина с Гречем носили внешне дружелюбный характер. Умирая от раны, Пушкин вспомнил о Грече, у которого в это время умер сын-студент, талантливый, симпатичный юноша, и просил передать отцу свое соболезнование. Греч, со своей стороны, относился к Пушкину с неизменною почтительностью, хвалил в печати его произведения. Он, между прочим, один из первых отметил исключительный талант Пушкина и еще в 1821 г. в своем «Опыте краткой истории русской литературы» в числе наиболее выдающихся современных писателей назвал и двадцатидвухлетнего Пушкина.

ОСИП ИВАНОВИЧ СЕНКОВСКИЙ
(1800—1858)

Поляк, сын когда-то богатого, промотавшегося помещика. В 1819 г. окончил виленский университет. Еще студентом обратил на себя внимание переводом с арабского языка басен полумифического арабского мудреца Локмана. По окончании университета был отправлен на Восток для усовершенствования в восточных языках. В Сирии, Египте и Нубии он пробыл более двух лет. С пачкой книг за плечами переходил с места на место, в маронитских монастырях изучал и списывал арабские рукописи, спал по три, по четыре часа в сутки на голых плитах, подложив под голову вместо подушки словарь; учился у друзов и бедуинов чистому произношению арабского языка и достиг в этом отношении такого совершенства, что туземцы не хотели верить, что он «франк» (европеец), а не «ибн-эль-араб» (арабский сын). За это же время изучил еще языки турецкий, персидский, сирский, новогреческий

и итальянский. Близко познакомился с мусульманским востоком в его рукописях и живом быте. По возвращении в Россию приехал в Петербург. Лучшие ориенталисты дали об его познаниях самые блестящие отзывы, и в 1822 г. двадцатидвухлетний Сенковский был определен в петербургский университет прямо ординарным профессором по кафедре арабского и турецкого языков. Лекции его были блестящи. В университете, недавно опустошенном помощником попечителя округа Руничем, среди тусклых профессорских бездарностей Сенковский, как яркая звезда, блистал глубиною и разносторонностью познаний, увлекательностью речи, уменьем будить в слушателях интерес к читаемому предмету. Печатавшиеся им научные труды вызывали самую лестную оценку первоклассных европейских специалистов, как Сильвестр де-Саси и Карл Риттер. Сенковский изучил еще языки татарский, китайский, монгольский, знал все европейские языки. В одной повести Марлинского герой говорит: «Ведь я не Сенковский, чтобы знать все в мире языки!» При этом Сенковский не был узким специалистом-лингвистом. Познания его решительно во всех областях науки были изумительны. Историю, археологию, этнографию, философию, естествознание, астрономию, медицину, политическую экономию, — все он знал, и знал не как дилетант, умел по ним спорить с самыми основательными специалистами. Впоследствии знаменитый хирург Н. И. Пирогов с увлечением беседовал с Сенковским на медицинские темы. Сенковский обладал еще и беллетристическим талантом; повести его написаны увлекательно и брызжут остроумием. Несколько цитат наудачу: «Автор какой-нибудь книги есть тот необыкновенный человек, который, один на всем земном шаре, прочитал ее трижды, не задремав ни разу». «Я стал писателем. Любители чтения меня читали; любители словесности меня преследовали: все было, как должно быть, и было очень весело». Красавица упала в обморок, случайно оказавшийся тут молодой человек поддержал ее. Муж принял его за любовника красавицы и зарезал. «Итак, я убил его понапрасну? Очень сожалею!.. Не обнимай чужой жены, если ты ей не любовник!»

В 1834 г. книгопродавец А. Ф. Смирдин стал издавать журнал «Библиотека для чтения» и редактором пригласил Сенковского с жалованием в 15 тыс. руб. И на журнальном поприще Сенковский проявил способности изумительные. С первого же года «Библиотека для чтения» имела неслыханный успех, — подписка достигла пяти тысяч экземпляров, для того времени вещь небывалая: обычный тираж журналов был 500—1 000. В журнале сотрудничали самые лучшие писатели, вместо обещанных пятнадцати листов он давал книжки в тридцать листов, знакомил читателей с текущей русской и иностранной литературой, со всеми новейшими научными открытиями и достижениями. Статьи по

самым сухим, специальным вопросам написаны были так, что с захватывающим интересом читались даже людьми совершенно неподготовленными. Сенковский неутомимо писал во всех отделах под разнообразнейшими псевдонимами: «Барон Брамбеус», «Тютюнджю-оглу» и мн. др. Литературную летопись с обзором текущих книг вел с таким блеском и остроумием, что она читалась, как завлекательный роман. Редакторская работа Сенковского была огромна. Несмотря на слабое здоровье, он дни и ночи проводил за письменным столом. Ни одной статьи он не оставлял без переделки. Сухая статья, по которой прошлась рука Сенковского, начинала гореть жизнью. Он самым диктаторским образом переделывал и доставляемые в журнал повести, особенно писателей второстепенных; понравится ему, например, повесть по сюжету, — он, не дочитав ее, отдирал конец рукописи и приделывал свой. Сам выбирал для перевода все иностранные статьи, сжимал их, выкидывал лишнее, связывал оставшееся собственными вставками на том же языке, на котором написана была статья, — английском, немецком, французском, итальянском. Старался приблизить литературный язык к разговорному, вел беспощадную борьбу с устарелыми языковыми формами — «сей», «оный», «упомянутый», «таковой», «младой», «глас» и т. п. После едких насмешек Сенковского слова эти совершенно исчезли из журнального обихода.

И однако, несмотря на все изумительные и необыкновенные в своем разнообразии дарования, Сенковский прошел через жизнь без всякой для нее пользы, и истории русской культуры нечем помянуть его.

Что же ты любишь, дитя маловерное?
Где же твой идол стоит?

Язвительный скептик и желчный насмешник, Сенковский ничего не любил, не было у него никаких ни идолов, ни идеалов. Поляк по происхождению, в молодости друг польского революционера Лелевеля, он после польского восстания в нашумевшей статье «Большой выход сатаны» так издевался над залитой кровью родиной: дух восстаний и мятежей Астарот докладывает верховному сатане о своих подвигах, — как он увлек благополучно живший народ, вскружил ему голову и заставил погибать десятками тысяч при полном неведении, за что он дрался и чего хотел. И с гордостью показывает сатане рану, которую получил под хвостом от пики донского казака, когда вместе с разбитыми поляками удирал за австрийскую границу. Знаменитая «Библиотека для чтения» была не больше, как великолепно поставленным промышленным предприятием, и Сенковский был талантливейшим директором этого предприятия. Предприятие давало хозяину прекрасный доход, — чего

же еще требовать от промышленного предприятия и его директора? Жил на востоке могущественный султан Люблик-Султан-Багадур, и был у него приближенный капанджи-баша Брамбеус-Ага-Тютюнджю-оглу-Багадур. Султан жестоко скучал. зевал, страдал бессонницей и в раздражении каждое утро казнил красавицу, с которой проводил ночь. Повторилась история «1001 ночи». Брамбеус-Ага-Багадур, по требованию умной своей дочери Критикзады, предоставил ее на ночь султану, младшая ее сестра Иронизада приютилась у подножия султанского ложа, и Критикзада еженощными рассказами своими о текущей русской литературе вполне угодила султану — рассеивала его скуку, забавляла и погружала в сладчайший сон. В такой остроумной форме Сенковский около года вел в своем журнале обозрение текущих литературных новинок. Султан Люблик-Багадур — публика, его приспешник Брамбеус-Ага — Сенковский. Вот его задача: забавлять скучающего, державного владыку-публику. И литературный капанджи-баша с успехом исполнял задачу — смешил публику остроумными статьями, высмеивал все направо и налево, в критических отзывах руководился минутным настроением, смеялся над тем, что вчера выхвалял: то, например, объявлял Кукольника русским Гете и соперником Байрона, то заявлял, что он просто забавлялся и, сидя у окна, вздумал бросить венок славы на голову первого прохожего, и прохожим этим оказался Кукольник. Подавалось все это остро, едко, и публика была очень довольна. Герцен рассказывает: «Ракеты, искры, треск, бенгальский огонь, свистки, шум, веселый тон, развязный смех привлекли всех к его журналу. Но — посмотрели-посмотрели, похохотали и разошлись мало-помалу по домам. Сенковский был забыт, как бывает забыт на фоминой неделе покрытый блестками акробат, занимавший на святой весь город, в балагане которого не было места, у дверей которого была давка». В самый блестящий период деятельности Сенковского выросла в Москве и вступала в литературно-общественную жизнь группа писателей самых разнообразных направлений — Белинский, Герцен, Бакунин, К. Аксаков, бр. Киреевские. Были они очень разные, но одно у них было общее — то, что Герцен сказал о своем идейном враге К. Аксакове: «Он за свою веру пошел бы на площадь, пошел бы на плаху, а когда это чувствуешь за словами, они становятся страшно убедительны». Такой убедительности не было и следа во всех писаниях Сенковского. Среди петербургских журналистов он был безусловно самым культурным и корректным из всех, пользуясь выражением Бальзака, «торговцев фразами». Новейшие исследователи не без основания восстают против включения Сенковского, совместно с Булгариным и Гречем, в никогда не существовавший «журнальный триумвират»: Сенковский был гораздо порядочнее этих рептилий-донос-

чиков, и уже Чернышевский, при всем своем отрицательном отношении к Сенковскому, восставал против помещения его на одну доску с Булгариным и Гречем. Но все-таки Сенковский был «торговец фразами» — и больше ничего. Однако, кто знает? В другое время, — прийдись его журнальная деятельность, например, на шестидесятые годы, — Сенковский оставил бы в русской журналистике глубокий и плодотворный след. Будь он соратником Чернышевского, Добролюбова или Писарева, его мефистофельский ум, едкая насмешливость, отвращение к авторитетам, колоссальная образованность, — вся его голо-разрушительная деятельность била бы в ту же точку, в которую била разрушительно-созидательная деятельность упомянутых руководителей тогдашней радикальной журналистики. Их он, конечно, не смог бы заменить, — но был бы на десять голов выше и в десять раз полезнее Антоновича, Варфоломея Зайцева или Благосветлова.

В сороковых годах журнальная деятельность Сенковского стала ослабевать, писал он все водянистее и тупее, энергия его упала, упал и интерес к своему журналу, появились многочисленные болезни, следствие чрезмерных трудов и перенесенной холеры. Сенковский стал простым сотрудником журнала, в котором раньше был вдохновителем, журнал падал, явились на смену другие журналы, отражавшие более серьезные интересы, которыми стало жить общество. В последние годы жизни Сенковский писал мало, увлекался фотографией, гальванопластикой, музыкой, изобретал какой-то колоссальный оркестрион, соорудил скрипку с пятью струнами, придумал особого устройства печь. Умер, давно уже став покойником.

Был он очень некрасив, к тому же лицо его было жестоко изуродовано оспой; черные волосы, большие черные глаза, широкий рот. Одевался изысканно и даже франтовато, с драгоценными булавками в галстуках. Всегда был переутомлен, поэтому нервен и болезненно раздражителен; знакомств с писателями избегал, жил особняком, в тесном кружке был, однако, говорлив и блестяще остроумен. Никитенко характеризует его так: «Сенковский весьма замечательный человек. Немного людей, одаренных умом столь метким и острым. Но характер портит все, что есть замечательного в уме его. Нельзя сказать, чтобы он был совсем дурной человек, но он точно рожден для того, чтобы на все и на всех нападать, — и это не с целью причинить зло, а просто чтобы, так сказать, выполнить предназначение своего ума, чтобы удовлетворить непреодолимому какому-то влечению. Естественно, он нелюбим. на что сам, однако, смотрит без негодования, как бы уверенный, что между людьми нет других отношений. кроме беспрестанной борьбы, и он с своей стороны воюет с ними не за добычу, а как бы отправляя какую-то обя-

занность или ремесло. В обращении он жесток и грубоват, но говорит остроумно, хотя и резко. Нельзя сказать, чтобы разговор его был приятен, но он любопытен и увлекателен». А Полевой писал брату Ксенофонту о Сенковском: «...вокруг него какая-то адская атмосфера и страшно пахнет серою, хоть он беспрестанно курит лучшие сигарки».

Об одном из первых литературных дебютов молодого Сенковского Пушкин отозвался с большой похвалой. Он писал Бестужеву, издателю «Полярной звезды», где была помещена сказка Сенковского «Витязь буланого коня»: «Арабская сказка прелесть; советую тебе держать за ворот этого Сенковского». С основанием «Библиотеки для чтения» Пушкин поместил в ней ряд крупнейших своих произведений — «Пиковую даму», «Песни западных славян» и др. Однако к журнальной деятельности Сенковского относился отрицательно, считал ее такою же растлевающею, как деятельность Булгарина и Греча, а о самом Сенковском отзывался как о «бестии, с которой связываться невозможно», «свинье и мерзавце». В первом же номере своего «Современника» поместил статью Гоголя «О движении журнальной литературы», главным образом направленную против Сенковского. Гоголь спрашивал: «Что это такое? Что заставляло писать этого человека? Мы видим человека, который берет деньги вовсе не даром, трудится до поту лица. Для чего же вся эта деятельность?» К творчеству Пушкина Сенковский относился с восторгом, расхваливал в своем журнале его произведения. Но вот Пушкин вздумал издавать собственный журнал «Современник»: литературный журнал с широкой программой, с участием крупнейших писателей. Тут сразу дело повернулось иначе: являлся конкурент, грозивший подрывом «Библиотеке для чтения». И Сенковский открыл яростную кампанию против «Современника» и Пушкина, не дождавшись даже выхода первой книжки. И пользовался каждым предлогом, чтобы нанести конкуренту лишний удар.

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ПОЛЕВОЙ
(1796—1846)

Выдающийся русский журналист. Сын купца, родился в Иркутске. Рано научился грамоте. В школе не обучался, но жадно читал все, попадавшееся в руки. С десятилетнего возраста писал стихи, драмы, издавал рукописные журналы. В 1811 г. отец его со всем семейством переселился в Курск, там открыл водочный завод. Сын принужден был помогать ему в торговых его делах, все дни проводил в конторе и читал по ночам, тайно от отца, при свете огарка. Стал систематически зани-

маться самообразованием, самоучкой изучил немецкий, французский, греческий и латинский языки. В 1820 г., по поручению отца, приехал в Москву, чтобы устроить депо для оптовой продажи водочных изделий отцовского завода. В 1822 г. отец умер. Полевой всецело отдался литературе, сблизился с рядом писателей. В 1825 г. стал издавать журнал «Московский телеграф», сыгравший очень крупную роль в истории русской журналистики. Белинский так характеризует эту роль: «Московский телеграф» был явлением необыкновенным во всех отношениях. Человек, почти вовсе не известный в литературе, нигде не учившийся, купец званием, берется за издание журнала, — и его журнал, с первой же книжки, изумляет всех живостью, свежестью, новостью, разнообразием, вкусом, хорошим языком, наконец, верностью однажды принятому и резко выразившемуся направлению. Среди мертвой, вялой, бесцветной, жалкой журналистики того времени он был изумительным явлением. И с первой до последней книжки своей издавался он, в течение почти десяти лет, с тем неослабеваемым стремлением к улучшению, которых источником может быть только призвание и страсть. Первая мысль, которую тотчас же начал он развивать с энергией и талантом, была мысль о необходимости умственного движения, о необходимости следовать за успехами времени, улучшаться, итти вперед, избегать неподвижности и застоя... Критика «Московского телеграфа» высказывала свои мнения прямо, несмотря ни на какие авторитеты; и нет возможности пересчитать, сколько их было уничтожено ею. Многим сказал «Телеграф», что их сочинения, в свое время, могли иметь относительную ценность, но что время их прошло, и что теперь мальчики пишут лучше их, заслуженных и знаменитых авторов. Полевой показал п е р в ы й, что литература — не игра в фанты, не детская забава, что искание истины есть главный ее предмет, и что истина — не такая безделица, которою можно было бы жертвовать условным приличиям и приязненным отношениям. Изъявить публично такой образ мыслей в то время значило сделать страшную дерзость и выказать себя человеком «беспокойным», т. е. хуже, чем безнравственным. В «Телеграфе» было много силы, энергии, жару, стремления, беспокойства, тревожности; вместо с тем все в нем было неопределенно, часто смутно, а иногда и противоречиво и ошибочно. Но он жил и действовал: кто спит, тот, разумеется, не грешит, особенно если спит так крепко, что и во сне ничего не видит». Не в борьбе за романтизм, ярым приверженцем которого являлся Полевой, не в проводившейся им сборной философии Кузена, не в защите вообще каких-либо конкретных литературных или политических идей была главная заслуга Полевого, а именно в том, что он был, как отмечает Белинский, «беспокойный человек», что он шевелил в читателе мысль

и дерзость. Министр Уваров говорил: «Если Полевой напишет даже Отче наш, то и это будет возмутительно». Первые годы в «Телеграфе» принимал очень близкое участие кн. Вяземский, привлек к сотрудничеству Пушкина и других своих литературных друзей, но вскоре с негодованием отошел от журнала, признав Полевого «низвергателем законных литературных властей». Общее возмущение вызвал Полевой резким выступлением против Карамзина и выпущенною им «Историей русского народа» в противовес карамзинской «Истории государства российского». «История» Полевого — произведение дилетанта, в ней много научных недостатков. Однако и в то уже время люди независимые отмечали главное ее достоинство — попытку поставить в центр изучения историческую жизнь именно народа. Никитенко писал: «Т. наз. патриоты, почитатели доброго Карамзина, не понимают, как можно осмелиться писать историю после Карамзина; в простоте сердца они веруют, что Карамзин, действительно, написал историю русского народа, а не историю русских князей и царей».

В 1834 г. Никитенко встретился с Полевым на вечере у Смирдина и так описывает его: «Это иссохший, бледный человек, с физиономией сумрачной, но энергической. В наружности его есть что-то фанатическое. Говорил он нехорошо. Однако в речах его — ум и какая-то судорожная сила. Как бы ни судили об этом человеке его недоброжелатели, которых у него тьма, но он принадлежит к людям необыкновенным. Он себе одному обязан своим образованием, а это что-нибудь да значит. Притом он одарен сильным характером, который твердо держится в своих правилах, несмотря ни на соблазны, ни на вражду сильных. Его могут притеснять, но он, кажется, мало об этом заботится». И министр Уваров с возмущением отзывался о нем: «Полевой, — я знаю его: это фанатик. Он готов претерпеть все за идею. Для него нужны решительные меры». В действительности Полевой вовсе не был фанатиком и непреклонным борцом за идею. Уже в последние годы издания своего журнала он стал сближаться с Булгариным и Гречем, против которых раньше боролся; оберегая журнал, шел на самые непристойные компромиссы и умел найти себе защитников в московском жандармском генерале А. А. Волкове и в самом Бенкендорфе; все время они относились к нему с совершенно для нас непонятною мягкостью. Министру народного просвещения Уварову пришлось положить много усилий и борьбы, чтобы сломить их заступничество и расправиться с журналом. Повод вскоре представился. В Петербурге поставлена была на сцену трескучая патриотическая драма Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла»; она удостоилась самого восторженного одобрения императора. Полевой, не зная этого, поместил в своем журнале резко-отрицательный разбор

драмы. Его вытребовали для объяснения в Петербург, и журнал был запрещен. Полевой испугался, — испугался раз навсегда, на всю жизнь. Началось головокружительное нравственное его падение. Он окончательно сошелся с Булгариным и Гречем, преисполнился самой благонамеренной готовности, начал писать драмы, дышавшие тем «квасным патриотизмом», против которого он раньше страстно боролся. Произведения его теперь удостоивались самого лестного одобрения власти. В 1838 г. помощник Бенкендорфа Дубельт вызвал Полевого к себе для вручения бриллиантового перстня, высочайше пожалованного ему за пьесу «Дедушка русского флота».

— Вот вы теперь стоите на хорошей дороге, — сказал Дубельт. — Это гораздо лучше, чем попусту либеральничать.

Полевой, низко кланяясь, ответил:

— Ваше превосходительство! Я написал еще одну пьесу, в которой еще больше верноподданнических чувств. Надеюсь, вы ею тоже будете довольны.

Заваленный работой, опутанный долгами, обремененный многочисленным семейством, Полевой теперь писал только для заработка, писал, не перечитывая написанного, писал драмы, повести, историю, критику. Прежние его приверженцы теперь его презирали, а одобряли те, кого он раньше презирал. Панаев, в это время с ним познакомившийся, так описывает его: «Я воображал Полевого человеком смелым и гордым, горячо и открыто высказывающим свои убеждения, — и увидел какого-то робкого, вялого, забитого господина, с уклончивыми ужимками, всем низко кланявшегося, со всеми соглашавшегося, не имевшего ни малейшего чувства достоинства, даже как-то оскорбительно, для почитавших его, унижавшегося перед всеми».

— Я здесь уж совсем не тот-с, — говорил он Панаеву. — Я вот должен хвалить романы какого-нибудь Штевена, а ведь эти романы галиматья-с.

— Да кто же вас заставляет хвалить их? — с удивлением спросил Панаев.

— Нельзя-с, помилуйте, ведь он частный пристав!

— Что ж такое? Что вам за дело до этого?

— Как что за дело-с? Разбери я его, как следует, — он, пожалуй, подкинет мне в сарай какую-нибудь вещь, да и обвинит меня в краже. Меня и поведут по улицам на веревке-с, а ведь я отец семейства!

В минуты откровенности Полевой сознавался, что ему следовало замолчать еще в 1834 г., и что вся его дальнейшая деятельность была игрою ва-банк на литературную известность. Смерть Полевого прими-

рила с ним его противников. Белинский, страстно с ним боровшийся в последние годы, посвятил его памяти горячую статью, — мы выше приводили из нее выдержки. А Чернышевский через десять лет, во имя заслуг Полевого, мягким словом прощения помянул его последующую деятельность.

Пушкина привлек к сотрудничеству в «Московском телеграфе» Вяземский в 1825 г., Пушкин в это время находился в псковской ссылке. В течение нескольких лет он давал в журнал лирические свои стихи, эпиграммы, статьи. Однако относился к журналу равнодушно и считал его для себя чужим. По приезде в Москву осенью 1826 г. он примкнул к вновь образовавшемуся журналу «Московский вестник» и еще больше отошел от «Телеграфа». В Москве Пушкин и Полевой познакомились лично, и Полевой очень был огорчен холодным, церемонным приемом Пушкина. Пушкин, однако, продолжал изредка давать кое-какие безделки в «Телеграф». В 1830 г. стала выходить «Литературная газета» Дельвига, в которой ближайшее участие принимал Пушкин. К этому времени вышла «История русского народа» Полевого, возмутившая Пушкина своим отношением к Карамзину, начались нападки Полевого, Греча и Булгарина на «литературную аристократию», орган которой они видели в «Литературной газете». Пушкин поместил ряд очень неблагосклонных статей об «Истории русского народа», а по поводу нападок на «литературную аристократию» писал: «Пренебрегать своими предками из опасения шуток гг. Полевого, Греча и Булгарина — непохвально, а не дорожить своими правами и преимуществами — глупо. Шутки не-дворян, позволяющих себе насмешки насчет русского дворянства, достойны порицания. Эпиграммы демократических писателей XVIII столетия приуготовили крики: «аристократов к фонарю!» и ничуть не забавные куплеты с припевом: «повесим их, повесим!» Avis au lecteur (к сведению читателя)». Полевой отвечал на это в «Телеграфе»: «И издатели «Литературной газеты» не стыдятся своего «avis au lecteur»! Как назвать такие средства защиты?» Борьба дерзкого разночинца с правевшим Пушкиным все больше обострялась. Послание «К вельможе» вызвало со стороны Полевого резкие издевательства по адресу Пушкина (см. Юсупов Б. Н.). Он упрекал его в низкопоклонстве и лести. Напечатал пародию на пушкинское стихотворение «Чернь», оканчивавшуюся так: поэт —

Ударил в струны золотые,
С земли далеко улетел,
В передней у вельможи сел
И песни дивные, живые
В восторге радости запел.

Запрещение «Телеграфа» в 1834 г. вызвало у «литературной аристократии» чувство удовлетворения, смешанное, впрочем, с стыдливым сожалением о чрезмерной крутости расправы. Вяземский писал: «Признаюсь, существование «Телеграфа» в том виде, как он был, может быть сочтено за неприличность не только литературную, но и политическую; а все жаль, что должны были прибегнуть к усиленной мере запрещения, когда должны были действовать законные меры воздержания». Жуковский говорил: «Я рад, что «Телеграф» запрещен, хотя жалею, что его запретили». А Пушкин записал в дневнике: «Телеграф» достоин был участи своей; мудрено с большею наглостью проповедывать якобинизм перед носом правительства; но Полевой был баловень полиции. Он умел уверить ее, что его либерализм пустая только маска».

КСЕНОФОНТ АЛЕКСЕЕВИЧ ПОЛЕВОЙ
(1801—1867)

Младший брат Н. А. Полевого. Систематического образования не получил, читал под руководством брата Николая. В 1825 г. сделался усердным помощником брата по редактированию «Московского телеграфа», сам сотрудничал в нем, преимущественно в отделе критики и библиографии. Кажется, роль его в этой области была гораздо крупнее, чем обыкновенно думают. По запрещении журнала занимался книжной торговлей, изданием переводов, выпустил биографический роман «Ломоносов», очень похваленный Белинским, редактировал журнал «Живописное обозрение». Оказывал большую материальную помощь брату, совершенно запутавшемуся в долгах, так что расстроил свои собственные дела. По смерти брата материальное его положение улучшилось. Продолжал заниматься переводами, сотрудничал в журналах. Умер в своем имении под Вязьмой. Оставил «Записки», в которых прославляет брата и страстно защищает от сыпавшихся на него нападок; воспоминания вообще во многом пристрастны, но ценны по обилию сведений, характеризующих тогдашние литературные отношения.

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ НАДЕЖДИН
(1804—1856)

Критик, журналист, выдающийся ученый. Сын рязанского сельского священника. С детства поражал всех умом и начитанностью. Десяти лет был принят в высший класс рязанского духовного училища, пят-

надцати лет, не кончив еще полного курса семинарии, был как лучший ученик отправлен в московскую духовную академию. Двадцати лет получил степень магистра богословских наук. В течение двух лет преподавал русскую и латинскую словесность в рязанской семинарии, вышел в отставку и уехал обратно в Москву. Там поступил в семью богатого помещика Федора Самарина домашним учителем его сыновей, в числе которых был впоследствии известный славянофил Юрий Самарин. В доме была превосходная библиотека, все свободное от занятий время Надеждин проводил за книгами, изучал философию, историю, русскую и иностранную художественную литературу и стал одним из ученейших и образованнейших людей своего времени. Около 1828 г. сблизился с издателем «Вестника Европы» профессором М. Т. Каченовским (см.) и выступил в его журнале с рядом критических статей. Статьи были подписаны: «Екс-студент Никодим Надоумко. Писано между студенства и вступления в службу, на Патриарших Прудах». Первая же статья — «Литературные опасения за будущий год» —вызвала большой шум, не меньший шум вызвали и следующие — «Сонмище нигилистов» и др. В статьях этих Надеждин с яростью обрушивался на современную ему «романтическую» литературу и доказывал, что новый романтизм столь же мало похож на подлинный романтизм средних веков, как французский псевдоклассицизм — на классицизм эллинский; восставал против взгляда на самодовлеющее значение искусства, требовал гармонического слияния интересов эстетического, умственного и нравственного, возмущался кровавыми убийствами и нравственною грязью, которыми полны произведения Байрона и его русских подражателей с Пушкиным во главе. «О, бедная, бедная наша поэзия! — восклицал он. — Долго ли будет ей скитаться по нерчинским острогам, цыганским шатрам и разбойническим вертепам? Неужели к области ее исключительно принадлежат одни мрачные сцены распутства, ожесточения и злодейства? Что за решительная антипатия ко всему доброму, светлому, мелодическому, — радующему и возвышающему душу? Не так думал великий Гораций...» «Светлый мир сотворен не для того, чтобы мы им брезговали и ругались, а для того, чтобы им любоваться и наслаждаться». Иллюстрировались эти положения так. Приводит Надоумко место из «Графа Нулина», где Наталья Павловна смотрит из окна на двор:

...печально под окном
Индейки с криком выступали
Вослед за мокрым петухом;
Три утки полоскались в луже.
Шла баба через грязный двор
Белье повесить на забор...

«Здесь изображена природа во всей наготе своей! — ехидничал Надоумко. — Жаль только, что сия мастерская картина не совсем дописана. Неужели в широкой раме черного двора не уместились бы две-три хавроньи, кои, разметавшись по-султански на пышных диванах топучей грязи, в блаженном самодовольствии и совершенно эпикурейской беззаботности могли бы даже сообщить нечто занимательное изображенному зрелищу? Почему поэт, представляя бабу, идущую через грязный двор, позабыл изобразить, как она, со всем деревенским жеманством, приподымала подол своей понявы? Это едва извинительно в живописце великом и всеобъемлющем!» Главным предметом нападок Надоумки был Пушкин как глава новой школы да еще Полевой как ее защитник и проповедник. Нападки эти представляют высочайшие вершины художественного тупоумия. «Поэзия Пушкина есть просто — пародия, его можно назвать по всем правилам гением — на карикатуры». «Полтава есть настоящая Полтава для Пушкина: ему назначено было здесь испытать судьбу Карла XII». «Для гения не довольно смастерить Евгения!» «Граф Нулин» и «Бал» Боратынского — «это суть прыщики на лице вдовствующей нашей литературы! Они и красны, и пухлы, и зрелы!» «Бориса Годунова» Надоумко рекомендовал Пушкину сжечь, а вообще признавал Пушкина главою современного литературного нигилизма, «покушающегося ниспровергнуть до основания священный оплот общественного порядка и благоустройства». Несмотря на бесспорность некоторых общих положений, статьи Надоумки по существу своему являлись типичнейшим продолжением того же старческого брюзжания Каченовского на колебание старых литературных канонов, на склонность изображать «грязь» жизни, на «соблазнительность» любовных сцен и на разрушение общественных устоев общества. Статьи писаны и обычною орфографией Каченовского, с фитою, ижицей, с десятеричным *и* в словах с иностранного, — писаны пошло-развязным стилем и чванливо уснащены бесчисленными цитатами на греческом, латинском, французском, немецком, английском, итальянском языках, даже без перевода на русский; в каждой строчке сквозит самодовольный педант, щеголяющий глубиною своей учености. Такое, например, сравнение: «...непонятны, как священные песни fratrum Ambarvalium для современников цицероновых».

Чернышевский в «Очерках Гоголевского периода» чрезвычайно высоко поставил Надеждина как критика, называл его учителем Белинского, находил, что критикой своей Надеждин подготовил возможность дальнейшего развития нашей литературы и т. п. Такое отношение Чернышевского к Надеждину справедливо вызывает у позднейших исследователей полное недоумение. Самую лучшую, очень тонкую характери-

стику критической деятельности Надеждина дал его якобы ученик Белинский. «Статьи Надоумка, — пишет он, — отличались особенною журнальною формою, оригинальностию, но еще чаще странностью языка, бойкостью и резкостью суждений. В них можно было заметить, что противник романтизма понимал романтизм лучше его защитников и был не совсем искренним поборником классицизма так же, как и не совсем искренним врагом романтизма. Г. Надеждин первый сказал и развил истину, что поэзия нашего времени не должна быть ни классическою (ибо мы не греки), ни романтическою (ибо мы не паладины средних веков), но что в ней должны примириться обе эти стороны и произвести новую поэзию. Мысль справедливая и глубокая, — г. Надеждин даже хорошо и развил ее. Но тем не менее, она немногих убедила и не вошла в общее сознание. Много причин было этому, а главные из них: какая-то неискренность и непрямота в доказательствах, свойственная докторанту, а не доктору, и явное противоречие между воззрениями г. Надеждина и их приложением... Это противоречие едва ли не было умышленно, во уважение неверных отношений докторанта, желающего быть доктором, и потому, по мере возможности, не желающего противоречить закоренелым предубеждениям докторов. По этой уважительной причине г. Надеждин вооружился против Пушкина всеми аргументами своей учености, всем остроумием своих «надоумочных» или, — как говорили тогда его противники, — «недоумочных» статей... Сделавшись доктором и получив кафедру, г. Надеждин совершенно изменил свои литературные взгляды и даже орфографию: вместо «эсфетический» и «энфузиазм» стал писать «эстетический» и «энтузиазм»; разбирая «Бориса Годунова», заговорил о Пушкине уже другим тоном, хотя и осторожно, чтобы не слишком резко противоречить своим «надоумочным» и «эсфетическим» статьям».

Здесь Белинский, между прочим, ясно указывает на причины виляющей позиции Надеждина в его критических статьях, — желание докторанта подделаться к закорузлым взглядам докторов: как раз в это время Надеждин писал свою докторскую диссертацию о романтизме, и от влиятельного в академических сферах Каченовского много зависела дальнейшая ученая карьера Надеждина. В 1830 г. Надеждин блестяще защитил диссертацию. Она была написана на прекрасном латинском языке, обнаруживала огромную ученость — и столь же огромное холопство: диссертант скорбел об отсутствии в наши дни христианского смирения, призывал российскую музу «никогда не изменять своей наследственной благочестивой любви к богу, отчизне и человечеству, под благодатною сению Августейшего монарха, объемлющего равною отеческою попечительностью все ветви жизни своей великой державы», негодовал,

что «ни один из певунов, толпящихся между нами, не подумал и пошевелить губ своих», чтобы воспеть турецкие победы Дибича, уверял, что Россия не овладела Константинополем только потому, что «смилостивилась над поверженным врагом и победила самое себя христианским смирением и человеколюбием». В 1832 г. Надеждин был назначен ординарным профессором теории изящных искусств, археологии и логики. Лекции его, не отличаясь глубиною, были блестящими импровизациями, сильно захватывавшими слушателей; о них с удовольствием вспоминали и впоследствии К. Аксаков, Ив. Гончаров, Буслаев.

В 1831 г. Надеждин основал журнал «Телескоп» с приложением листка «Молва». В журнале этом Надеждин совершенно порвал с своим благонамеренным прошлым и выступил талантливым застрельщиком боевого разночинного радикализма. Журнал сыграл крупную роль в истории русской журналистики и был лучшим после «Московского телеграфа» журналом того времени по разносторонности и серьезности даваемого материала и по блестящему составу сотрудников; в нем, между прочим, начал свою критическую деятельность Белинский, вскоре поднявший критический отдел журнала на большую высоту. В 1835 г. «Телескоп» был запрещен за помещенное в нем «Философическое письмо» Чаадаева. Надеждина вытребовали для допроса в Петербург. На допросах он каялся, доказывал, что все его статьи исполнены чистейшей преданности к великому государю и отечеству и проникнуты глубочайшим негодованием «против так называемого европейского губительного просвещения». Его сослали в Устьсысольск. Через год с небольшим он был прощен, вскоре принят на службу в министерство внутренних дел и назначен редактором «Журнала министерства внутренних дел». Получал от министра Л. А. Перовского ряд научно-практических поручений по изучению раскола. Человек умный и знающий, Надеждин дал очень ценные исследования по расколу, но все его заключения вели к подтверждению официальной точки зрения о крайней вредности раскола и необходимости самого решительного его обуздания. Начальник штаба корпуса жандармов, знаменитый Дубельт, писал с полным правом: «Могу смело сказать, что Полевого и Надеждина я переродил». За все время службы своей Надеждин много работал по этнографии, географии и археологии. издал ряд трудов большой научной ценности. К концу жизни был действительным статским советником, кавалером ордена Владимира 3 степени и владельцем имения в Крыму.

Наружность Надеждина была мало привлекательна. Он был среднего роста, худой, чернявый, с вдавленною грудью, в очках, с резкими чертами лица; у него был длинный красный нос, рот почти до ушей, раскрывался он не только при смехе, но даже при улыбке, обнаружи-

вая не зубы только, но и десны. Манеры его были неуклюжи и аляповаты, голос криклив. В минуты одушевления он издавал звуки, похожие на рычание, и дикие восклицания вроде: а-га-га-га! Читая лекцию, Надеждин зажмуривал глаза, точно слепой, и беспрерывно качался, махая головою сверху вниз, будто клал поясные поклоны, и это размахивание гармонировало с его размашистою речью, бойкою, рьяною и цветистою. Однако, несмотря на безобразие и вульгарные манеры, Надеждин привлекал к себе людей умом и знаниями. «Если бы этот ум и знания, — говорил Панаев, — соединились в нем с твердостью воли, он, вероятно, оставил бы по себе прочную память или в летописях московского университета, или в истории русской литературы. Но он всю жизнь вертелся, как флюгер, по прихоти случайностей; без сожаления покидал одно поприще для другого и нигде не оставлял по себе глубокого следа. Он был человек вполне просвещенный и свободомыслящий, но не имел твердых убеждений, которые заставляют человека итти непоколебимо по избранному пути, не отклоняясь в стороны».

На нападки «Вестника Европы» Пушкин отвечал едкими эпиграммами и по адресу «седого зоила» Каченовского и его подголоска — Надоумки. Свой ругательный разбор «Полтавы» Надоумко закончил так: «Что будет, то будет! Утешаюсь, по крайней мере, тою мыслию, что, ежели певцу «Полтавы» вздумается швырнуть в меня эпиграммой, то это будет для меня незаслуженное удовольствие». Пушкин на это ответил эпиграммой:

Надеясь на мое презренье,
Седой Зоил меня ругал,
Но, потеряв уже терпенье,
Я эпиграммой отвечал.
И, возгоря желаньем славы,
Теперь, надеясь на ответ,
Журнальный шут, холоп лукавый,
Ругать бы также стал... О, нет!
Пусть он, как бес перед обедней,
Себе покоя не дает;
Лакей сиди себе в передней,
А будет с барином расчет.

К Надеждину относятся еще эпиграммы Пушкина «Мальчишка Фебу гимн поднес» и «Притча». Лично Пушкин встретился однажды с Надеждиным у Погодина и записал: «Он показался мне весьма простонародным, vulgar, скучен, заносчив и без всякого приличия. Например, он поднял платок, мною уроненный. Критики его были очень глупо написаны, но с живостью, а иногда и с красноречием. В них не было мыслей, но было движение; шутки были плоски». Впоследствии Пушкин

сотрудничал в надеждинском «Телескопе» и поместил там, за подписью «Феофилакт Косичкин», свои знаменитые памфлеты на Булгарина.

ОРЕСТ МИХАЙЛОВИЧ СОМОВ
(1793—1833)

Журналист и беллетрист (псевдоним — Порфирий Байский). Сын капитана, воспитывался в харьковском университете. Поселившись в Петербурге, сотрудничал в журналах. С 1824 г. по 1826 г. состоял столоначальником в правлении Российско-Американской компании, где правителем канцелярии был Рылеев. Был близко знаком с Рылеевым, А. Бестужевым, Грибоедовым, Дельвигом. По подозрению в прикосновенности к декабрьскому восстанию был арестован 19 декабря и заключен в Алексеевский равелин, но 7 января 1826 г. освобожден. На государственной службе никогда не служил и был одним из первых писателей-профессионалов, живущих литературным трудом. В 1823 г. в своем послании к Гнедичу Боратынский назвал его «Сомов безмундирный». Это возмутило Пушкина, и он писал Дельвигу из Одессы: «Сомов безмундирный — непростительно. Просвещенному ли человеку, русскому ли сатирику смеяться над независимостью писателя?» Сомов долго работал в изданиях Булгарина, который ценил его как человека полезного, но, зная, как он нуждается, обходился с ним дурно и даже обсчитывал его. Греч рассказывает: «Булгарин брал и отставлял, привлекал и выгонял своих сотрудников беспрерывно и обыкновенно оканчивал дело с ними громким разрывом, сопровождавшимся непримиримою враждою. Он трактовал их, как польский магнат служащих ему шляхтичей: то пирует, кутит, кохается с ними, то обижает их словесно и письменно, как наемников, питающихся от крох его трапезы. В числе этих несчастных илотов был Сомов. Нрава был он доброго и кроткого, человек честный и благородный, но совершенно недостаточный. По сотрудничеству в «Пчеле» получал он по четыре тысячи рублей асс. в год за составление фельетонов, смеси и т. д. Вдруг Булгарин за что-то прогневался на него и завопил: «Вон Сомыча! Вон его!». И, действительно, объявил ему отставку. Лишенный средств к существованию, Сомов предложил свои услуги Дельвигу». Дельвиг издавал альманахи «Северные цветы», но сам был очень ленив, беспечен и неспособен входить в практические мелочи дела. Он охотно принял предложение Сомова. «Появление Сомова, — рассказывает племянник Дельвига, — было очень неприятно встречено в обществе Дельвига. Наружность Сомова также была не в его пользу. Вообще постоянно чего-то опасающийся, с красными, точно

заплаканными глазами, он не внушал доверия. Пушкин выговаривал Дельвигу, что тот приблизил к себе такого неблагонадежного и мало способного человека. Плетнев и все молодые литераторы были того же мнения. Между тем все ошибались насчет Сомова. Он был самый добродушный человек, всею душою предавшийся Дельвигу и всему его кружку и весьма для него полезный в издании альманаха «Северные цветы» и впоследствии «Литературной газеты». Дельвиг не мог бы сам издавать «Северные цветы», что прежде исполнялось книгопродавцем Слениным, а тем менее «Литературную газету». Вскоре однако же все переменили мнение о Сомове. Он сделался ежедневным постителем Дельвига или за обедом или по вечерам. Все его общество очень полюбило Сомова. Только Пушкин продолжал обращаться с ним с некоторою надменностью».

БОРИС МИХАЙЛОВИЧ ФЕДОРОВ
(1794—1875)

Поэт, драматург, беллетрист, детский писатель, публицист, критик — во всем глубоко бездарный. В начале двадцатых годов служил секретарем при директоре департамента духовных дел А. И. Тургеневе, затем был театральным цензором, позже помощником заведующего картинами в Эрмитаже. Литературную его деятельность Белинский характеризует так: «Никто не доставлял в своих сочинениях так много торжеств добродетели, никто столько раз не казнил в них порока, как доблестный Б. М. Федоров; он делал то и другое по крайней мере тысячу раз, — и если свет не сделался лучше, то уже конечно не от недостатка деятельности сего сочинителя, а оттого, что свет был чрезвычайно испорчен прежде, нежели сочинитель сей начал действовать».

В 1828 г., в единственной вышедшей книге своего журнала «С. Петербургский зритель» Федоров поместил разбор четвертой и пятой глав «Онегина». Об этом разборе Пушкин писал: «Г-н Б. Федоров, разбирая довольно благосклонно четвертую и пятую главу «Онегина», заметил однако ж мне, что в описании осени несколько стихов сряду начинаются у меня частицею уж, что и называл он ужами, а что в риторике зовется единоначатием. Осудил он также слово «корова» и выговорил мне за то, что я барышень благородных и, вероятно, чиновных, назвал девчонками (что, конечно, неучтиво), между тем как простую деревенскую девку называл девою: В избушке, распевая, дева прядет...» По поводу того же разбора Вяземский писал А. Тургеневу: «Твой Федоров в своем журнале критикует Пушкина, а пуще всего требует от него нравственности. После того встретились они у меня, и Пушкин насме-

шил меня с ним: «Отчего не описываете вы картин семейного счастия?» и тому подобное говорил ему нравоучитель, а тот отвечал ему по-своему».

Пушкин издевался над Федоровым, но в конце двадцатых годов виделся с ним нередко; по агентурным сведениям, Федоров был одним из наиболее частых посетителей Пушкина в гостинице Демута, где в то время жил Пушкин. Однажды, весною 1828 г., Пушкин гулял в Летнем саду с Вяземским и Плетневым. Повстречался им Федоров, и на прогулку выходивший с имевшимся у него орденом. Пушкин взял его под руку.

— Походите с нами.

Сказал, насмешливо указывая на орден:

— Вы здесь гуляете в качестве чиновника, а не в качестве наблюдателя и поэта.

И еще сказал:

— У меня нет детей, а все выблядки. Не присылайте мне вашего журнала. (Федоров в это время издавал детский журнал «Новая детская библиотека».)

О Федорове — эпиграмма Дельвига или Соболевского:

Федорова Борьки
Мадригалы горьки,
Эпиграммы сладки,
А доносы гадки

VII

АРТИСТЫ И ХУДОЖНИКИ

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ГЛИНКА
(1804—1857)

Гениальный композитор, творец русской оперы. Сын состоятельного смоленского помещика, капитана в отставке. Детство провел в деревне. Учился в петербургском Благородном пансионе, где товарищами его были Соболевский, Лев Пушкин, Н. Мельгунов. Окончил курс в 1822 г. Брал у специалистов уроки музыки. С 18 лет принялся сочинять, — «писал ощупью», как выражался сам Глинка. Теории композиции он еще не изучал. Романсы его начинали пользоваться популярностью. В 1828 г. Глинка через М. Л. Яковлева познакомился с Дельвигом, стал посетителем его литературных вечеров, часто встречался там с Пушкиным; импровизировал, играл на фортепиано, пел, приводя всех в восторг. В 1830 г. уехал за границу; в Берлине занимался теорией композиции у известного теоретика Дена, в Италии учился пению. Воротился в Россию в 1834 г. и принялся за писание оперы. Сюжет — об Иване Сусанине — дал Жуковский, хотел даже сам писать либретто, но за недосугом передал барону Е. Ф. Розену (см.). Вскоре Глинка познакомился с молоденькой девушкой редкой красоты, Марьей Петровной Ивановой, влюбился в нее и женился. Любовь, счастливая семейная жизнь благоприятно действовали на его вдохновение, он работал с большою интенсивностью, и в 1836 г. опера «Жизнь за царя» была готова. 27 ноя-

бря 1836 г. было первое представление. опера имела блистательный успех. Автор был позван в императорскую ложу, царь благодарил его, пожаловал ему дорогой перстень. В середине декабря Глинку чествовали на интимном обеде у А. В. Всеволожского, где Пушкин, Вяземский, Жуковский и гр. Виельгорский общими усилиями сочинили песенку в честь Глинки, которую тут же положили на музыку Глинка и кн. Одоевский. Куплет Пушкина:

Пой в восторге, русский хор,
Вышла новая новинка.
Веселися, Русь! Наш Глинка
Уж не глинка, а фарфор!

Глинка был назначен капельмейстером придворной певческой капеллы, с хорошим жалованием, с прекрасной казенной квартирой. Слава, успех, материальное благополучие. Но в семейной жизни его было очень неблагополучно. Глинка не разглядел в жене своей того, что друзья его видели в ней с самого начала, — глупости, некультурности и глубочайшего мещанства. «После пресыщения материальным счастием сожития с молоденькою женою, — рассказывает Ю. К. Арнольд, — стала все больше выясняться дисгармония между их натурами». Для Марьи Петровны наряды, балы, экипажи, лошади, ливреи были все. Музыкой она совершенно не интересовалась; проживая в год до десяти тысяч рублей, жаловалась, что муж ее много денег тратит на нотную бумагу. Требовала, чтоб у них была четверка лошадей, отказывалась ездить на паре и кричала мужу:

— Разве я купчиха, чтоб ездить на паре?

Пользовалась каретой и четверкой лошадей, а муж должен был ходить пешком или ездить на дрянном извозчике. Кукольник писал в дневнике: «Миша бедный! Горько ему дома, и нет семейного счастия... Какая она ему жена? И что она из него сделала? Этого милого, чудесного ребенка надо беречь и лелеять, а она его злит и поминутно раздражает». Глинка стал пропадать из дому и целые дни проводить у Кукольника, с которым сближался все больше. Около этого времени он стал писать «Руслана и Людмилу» — гениальнейшую из русских опер, мыслей, эмоций и мелодий которой хватило бы оперы на четыре обычных. В незабываемую заслугу Кукольнику надо поставить, что он все время упорно и энергично поддерживал Глинку в его работе над «Русланом», ободрял его, рассеивал сомнения и колебания. Кукольник был человек музыкально одаренный, с тонким слухом и вкусом, хорошо посвященный даже в «сухие таинства контрапункта», и в этом отношении общение с ним было для Глинки полезно. Но он же все сильнее втяги-

вал Глинку в пьяную, беспутную жизнь, которую вел он сам и группировавшийся вокруг него кружок литературной и артистической богемы — так называемая «братия». Ю. К. Арнольд пишет: «Я не боюсь указать на «братию», а прежде всего на братьев Кукольников, как на тех, которые расстраивали здоровье Глинки и тем подготовляли преждевременную его кончину; пользуясь его слабохарактерностью, они втянули его в непосильные его слабому телосложению дебоши, которыми тешилась их грубая и мощная натура». В 1839 г. Глинка получил несомненные доказательства неверности жены, разъехался с нею и начал дело о разводе. В этом же году он отказался от должности капельмейстера придворной капеллы. Работал над «Русланом», беспутничал в кукольниковской компании, пил коньяк, как воду. Увлекался некоторое время Екатериной Ермолаевной Керн, дочерью А. П. Керн.

Осенью 1842 г. «Руслан» был поставлен на сцену. Успех, однако, был слабый: до понимания грандиозной этой оперы публика еще не доросла. Даже такой тонкий знаток музыки, как гр. М. Ю. Виельгорский, считал оперу неудавшейся, а вел. князь Михаил Павлович очень удивлялся, что Лист считает Глинку гениальным композитором, и уверял его, что он провинившихся офицеров вместо гауптвахты посылает в театр слушать оперу Глинки. Вскоре в Петербурге водворилась итальянская опера, а русская была изгнана со сцены. Все это было большим ударом для Глинки и имело очень неблагоприятное влияние на его дальнейшую композиторскую деятельность. В 1844 г. Глинка уехал за границу. Жил в Париже, в Испании. Возвращался в Россию, жил в Петербурге, в Варшаве, в Смоленске. Умер в Берлине.

Глинка был очень небольшого роста, в молодости худощав; бледно-смуглое, серьезное лицо было окаймлено узкими, черными, как смоль, бакенбардами; волосы черные, невьющиеся, на правой стороне лба — несокрушимый вихор, бородавка на левом виске. Голову держал немного назад, а грудь выпячивал вперед; эта характерная для Глинки петушиная поза метко схвачена в многочисленных карикатурах Степанова. Ходил Глинка, слегка приподнимаясь на носки, движения были резкие, как бы судорожные. Одевался просто, но опрятно, всегда был застегнут на все пуговицы. Был он очень болезнен, постоянно хворал, лечился то у аллопатов, то у гомеопатов; врачи находили у него «целую кадриль болезней»; страдал, между прочим, сифилисом и последствиями алкоголизма, под конец жизни обрюзг и сильно растолстел. Был крайне нервен, с легко меняющимися настроениями, сам он за свою нервную чувствительность называл себя мимозой. Музыка была его душа. Так сам Глинка говорил про себя. Он принадлежал к тому роду гениальных натур, которые совершенно неспособны жить во все стороны, брать

жизнь во всем разнообразии ее проявлений, подобно Гёте или Толстому. Глинка весь жил в музыке и творчестве, реальная жизнь проходила перед ним нереальными тенями, вне музыки ничего его не захватывало сколько-нибудь глубоко, ничего серьезно не интересовало. Симпатии его тяготели только к людям, понимавшим музыку. Этим, вероятно, объясняется, что Глинка не сошелся с Пушкиным, как известно, в музыке понимавшим очень мало, и дружил с Кукольником, большим знатоком музыки. К общественным вопросам он был глубоко равнодушен. «Калоши, зонтики и политику посетители должны были оставлять за дверями»,— пишет про него один современник. Жизнь его прошла серо и неинтересно. В мелочах жизни был он совершенно беспомощен, нуждался в заботливом уходе. Его старик-слуга Яков Ульяныч заведывал всем его хозяйством, сам Глинка ничего не знал о своем платье, белье, обуви, деньги тоже были у Ульяныча; уезжая со двора, Глинка брал у него несколько мелкой монеты. Настоящей, глубокой и одухотворенной любви к женщине он не знал, увлечения были чисто физиологические. В России и за границей он обыкновенно заводил себе для постельных надобностей временных любовниц. В таком, например, роде: летом 1848 г., в Варшаве, «мне приглянулась в одной кофейне, — рассказывает Глинка, — статная и довольно миловидная девушка по имени Аньеля. Я сманил ее к себе, и она жила у меня в качестве хозяйки. Так как она была ловка, весела и расторопна, то жилось очень хорошо». Единственное более глубокое увлечение Екатериной Ермолаевной Керн как-то очень быстро погасло вследствие незначительнейших недоразумений.

Помимо композиторского и исполнительского на фортепиано дара Глинка был еще замечательный певец, и это было тем более замечательно, что голос у него был плоховатый и слабый, — сиплый, несколько в нос и неопределенный, — ни тенор, ни баритон. П. М. Ковалевский пишет:

«Носовой разбитый тенор Глинки, за который его не взяли бы и в хористы, рассыпал такие чары выражения, после которых самые сладкозвучные певцы не смели петь того, что им было спето. Хотя ария «Любви роскошная звезда» (из «Руслана») писана для женского голоса, но после Глинки невозможно было ее слушать, какая бы певица ни пела».

В песне из нескольких куплетов с одной и той же музыкой Глинка пел так, что казалось, будто к каждому куплету музыка совсем другая. Совершенно исключительную силу экспрессии в пении Глинки с изумлением и восторгом отмечают такие знатоки, как музыкальный критик В. В. Стасов и композитор А. Н. Серов.

КАРЛ ПАВЛОВИЧ БРЮЛЛОВ

(1799—1852)

Рожденный Брюлло (Brulleau), сын онемечившегося француза — скульптора и живописца-миниатюриста. С малых лет выказал исключительные способности к рисованию, блестяще окончил Академию художеств, в 1822 г. послан для усовершенствования за границу; при этом, по высочайшему повелению, его фамилия «Брюлло» была изменена на «Брюллов». Пробыл за границей, преимущественно в Италии, до 1835 г. В 1833 г. выставил в Риме картину «Последний день Помпеи». В настоящее время знаменитая картина эта мало кого способна удовлетворить— при внешней эффектности, она мелодраматична и лишена жизни, ни в лицах, ни в движениях совершенно не чувствуется подлинного ужаса нагрянувшей гибели: актеры старательно, но без особого вдохновения изображают охваченных страхом людей. Однако в свое время картина произвела на всех впечатление колоссальное. Вальтер-Скотт назвал ее «эпопеей», Торвальдсен был от нее в восторге. Газеты ставили Брюллова на одну доску с Микель-Анджело и Рафаэлем, он стал самым популярным человеком в Италии. На улицах встречные снимали перед ним шляпы, в театре при его входе зрители, прерывая представление, приветствовали его рукоплесканиями, в честь его устраивались празднества и процессии. Осенью 1834 г. картина была выставлена в Петербурге и вызвала также общий восторг. Пушкин посвятил картине (неоконченное) стихотворение: «Везувий зев открыл...», Гоголь признал картину «одним из ярких явлений XIX в.», «светлым воскресением живописи, пребывавшей долгое время в каком-то полулетаргическом состоянии».

В конце 1835 г. Брюллов через Грецию и Константинополь воротился в Россию. Приехал в Москву. Встретила его Москва подлинною Москвою. Брюллов остановился в гостинице и сейчас же отправился к товарищу своему по академии, художнику Дурнову. Тем временем богач и меценат А. А. Перовский, — он же писатель Антоний Погорельский,— приехал в гостиницу, забрал, без ведома Брюллова, все его вещи и собственнолично перевез их к себе на квартиру в доме Олсуфьева на Тверской. Брюллов согласился жить у него и договорился за хорошую цену написать портреты Перовского, его сестры графини Толстой и сына ее гр. А. К. Толстого (будущего известного поэта). Брюллов энергично взялся за работу. Написал превосходный портрет молодого Толстого, начал портрет самого Перовского, набросал эскиз давно задуманной картины «Нашествие Гензериха в Рим». Москва устроила Брюллову тор-

жественный обед. известный певец Лавров пел на нем экспромт Боратынского:

Принес ты мирные трофеи
С собой в отеческую сень,—
И был последний день Помпеи
Для русской кисти первый день!

Обед следовал за обедом. Брюллов все больше стал маскировать работой, пропадал у приятелей, кутил, у него все время толклись друзья-художники: Тропинин, Витали, Дурнов и др. Перовскому это очень не нравилось. он велел отказывать гостям, спрашивавшим Брюллова. Брюллов узнал об этом и сбежал от Перовского. оставив у него свои чемоданы, не захватив даже белья. Поселился у скульптора Витали. Витали съездил к Перовскому и забрал чемоданы Брюллова. Пушкин впоследствии писал жене: «Перовский его было заполонил; перевез к себе, запер под ключ и заставил работать. Брюллов насилу от него уехал». На одном из обедов познакомился с Брюлловым приятель Пушкина П. В. Нащокин и писал Пушкину: «Уже давно, т. е. так давно, что даже не помню, не встречал я такого ловкого, образованного и умного человека. Тебя, т. е. творение, он понимает и удивляется равнодушию русских относительно к тебе. Очень желает с тобою познакомиться и просил у меня к тебе рекомендательного письма. Каково тебе покажется! Знать, его хорошо у нас приняли, что он боялся к тебе быть, не упредив тебя. Извинить его можно, он заметил вообще здесь большое чинопочитание, сам же он чину мелкого, даже не коллежский асессор. Что он гений, это нам ни по чем, в Москве гений не диковинка; не знаю как у вас. Их у нас столько, сколько в Питере весною разносчиков с мессинскими апельсинами... Италию он боготворит».

В начале мая в Москву приехал Пушкин и сейчас же посетил Брюллова в мастерской Витали. Ему Брюллов тоже очень понравился. Брюллов жаловался на хандру, выражал боязнь перед русским холодом «и прочим», недовольство свое Москвою, желание уехать в Италию. Пушкин предложил Брюллову сюжет из жизни Петра Великого, но Брюллов объяснил ему им самим избранный сюжет из жизни Петра и объяснил,—рассказывает современник,—так, что просто написал картину словами. Пушкин был поражен огненною речью художника. Они, повидимому, виделись не раз. Пушкин сказал Брюллову:

— У меня, брат, такая красавица-жена, что будешь стоять на коленях и просить снять с нее портрет.

Был Пушкин, между прочим, и у Перовского. Перовский показывал ему неоконченные работы Брюллова, его эскиз взятия Рима Гензерихом и приговаривал:

— Заметь, как прекрасно подлец этот нарисовал этого всадника, мошенник этакой! Как он умел, эта свинья, выразить свою канальскую, гениальную мысль, мерзавец он, бестия! Как нарисовал он эту группу, пьяница он!

В конце мая Брюллов приехал в Петербург, где ему опять было устроено торжественное чествование. Он много в Петербурге работал. Между прочим, написал для петропавловской лютеранской церкви картину «Распятие». Глядя на картину, бывший учитель Брюллова проф. Егоров воскликнул:

— Карл, ты кистью бога хвалишь!

На выставке около картины были поставлены часовые для предупреждения тесноты от толпы. Это вызвало негодующее стихотворение Пушкина «Мирская власть»:

К чему, скажите мне, хранительная стража?
Или распятие — казенная поклажа,
И вы боитеся воров или мышей?
Иль мните важности придать царю царей?
Иль опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила
Того, чья казнь весь род Адамов искупила,
И, чтоб не потеснить гуляющих господ,
Сюда не велено пускать простой народ![1]

Пушкин в это время, повидимому, нередко виделся с Брюлловым. Однажды осенью, вечером, Пушкин пришел к Брюллову и звал к себе ужинать. Брюллов был не в духе, не хотел итти и долго отнекивался, но Пушкин его переупрямил и утащил с собою. Дети его уже спали. Он их будил и выносил к Брюллову поодиночке на руках. Это не шло к нему, было грустно и рисовало перед Брюлловым картину натянутого семейного счастья. Брюллов не утерпел и спросил:

— На кой чорт ты женился?

Пушкин ответил:

— Я хотел ехать за границу, а меня не пустили, я попал в такое положение, что не знал, что делать, и женился.

В последний раз Пушкин виделся с Брюлловым 25 января 1837 г. за два дня до дуэли. Он и Жуковский приехали в его мастерскую. Брюллов стал показывать им свои рисунки. «Весело было смотреть, как они любовались и восхищались этими рисунками, — рассказывает один из учеников Брюллова. — Но когда он показал им недавно оконченный рисунок «Съезд на бал к австрийскому посланнику в Смирне», то восторг их выразился криком и смехом. Да и можно ли глядеть без смеха

[1] По новейшим данным, стихи Пушкина вызваны не картиною Брюллова, которая была выставлена уже после смерти Пушкина.

на этот прелестный, забавный рисунок? Смирнский полицмейстер, спящий посреди улицы на ковре и подушке, такая комическая фигура, что на нее нельзя глядеть равнодушно. Позади него за подушкой, в тени, видны двое полицейских стражей: один сидит на корточках, другой лежит, упершись локтями в подбородок и болтая босыми ногами, обнаженными выше колен; эти ноги, как две кочерги, принадлежащие тощей фигуре стража, еще более выдвигают полноту и округлость форм спящего полицмейстера, который, будучи изображен в ракурс, кажется оттого толще и шире. Пушкин не мог расстаться с этим рисунком, хохотал до слез и просил Брюллова подарить ему это сокровище; но рисунок принадлежал уже княгине Салтыковой, и Карл Павлович, уверяя его, что не может отдать, обещал нарисовать ему другой. Пушкин был безутешен; он, с рисунком в руках, стал перед Брюлловым на колени и начал умолять его: «Отдай, голубчик! Ведь другого ты не нарисуешь для меня; отдай мне этот». Не отдал Брюллов рисунка, а обещал нарисовать другой».

Через четыре дня Пушкин лежал в гробу.

Брюллов прожил в Петербурге до 1849 г. Много работал и как художник и как профессор Академии, в которую был назначен немедленно по приезде. Сошелся с композитором Глинкой и писателем Кукольником. Они были неразлучны, и все трое пили жестоко. Брюллов был невысокого роста, коротконогий; чтоб казаться выше, носил высокие каблуки; на плотном туловище с выступавшим брюшком сидела прекрасная античная голова, напоминавшая голову Аполлона Бельведерского; Брюллов и прическу себе делал, как у Аполлона. Много читал, был образован, говорил остроумно и ярко. О Рембрандте, например, отзывался, что он «похитил солнечный луч»; об одной англичанке-портретистике: «Талант есть, но в портретах ее нет костей: одно мясо». О комто выразился: «Он очень слезлив, но когда и плачет, то кажется, что из глаз слюнки текут». По поводу заказанной ему Николаем картины «Осада Пскова» с раздражением говорил: «Ну, что я поделаю с этими русскими дураками в армяках? Только на колени могу их поставить!» Поправляя этюд ученика, Брюллов в нескольких местах чуть тронул его, и плохой, мертвый этюд вдруг ожил. «Вот чуть-чуть тронули, и все изменилось» — сказал ученик. — «Искусство начинается там, где начинается чуть-чуть», — ответил Брюллов. Любил показывать свою силу и крепость. В веселые минуты изумлял звукоподражательною и мимическою способностями. Например, представлял целый фейерверк с ракетами, рассыпающимися звездочками, римскими свечами, бураками и фонтанами; изображал движениями лица восхождение солнца, закрытие его тучами, потом гром и молнию и доводил собеседников

до истерического хохота. Был скупенек, к концу жизни накопил большой капитал. Своих знакомых, даже таких, как Глинка и Пушкин, норовил принимать по утрам, так как вечером нужно было хоть чай подать. Ученику своему Михайлову поручил сделать заказанную ему самому копию с Доменикино, деньги получил, но Михайлову ничего не дал и сказал:

— Ты, Гриша, прспьешь.

Выражался цинично. Уже сильно поживший, обрюзгший от пьянства и сифилиса, женился на хорошенькой восемнадцатилетней немке. Знакомя сестру свою с невестой, говорил:

— Посмотри, сестра, что это за прелесть! Совершенный идеальчик. Только этот идеальчик надо поскорее под одеяльчик.

В 1849 г. Брюллов уехал лечиться на о. Мадеру. Умер в Италии в местечке Марчиано около Рима.

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ТРОПИНИН
(1776—1857)

Один из самых выдающихся русских портретистов первой половины XIX в. Был крепостным графа Ир. Ив. Моркова, суворовского генерала. По уверению известного генеалога кн. П. В. Долгорукова, генерал этот имел «благороднейшее сердце, характер прямой, бескорыстный и был истинным витязем без страха и упрека». Тропинин с детства обнаружил блестящие способности к рисованию. Друзья генерала советовали ему послать мальчика учиться. Генерал и послал его в Петербург, но учиться — кондитерскому ремеслу. Позднее, однако, определил его посторонним учеником в Академию художеств. Там Тропинин быстро выдвинулся, получил золотую медаль. выставленная им картина понравилась президенту Академии и императрице. Тогда граф Морков поспешил вызвать Тропинина к себе в могилевскую деревню. В деревне Тропинин писал портреты и образа, учил живописи графских детей, расписывал кареты и заборы; однако во время обеда должен был стоять в качестве лакея за стулом графа. У того же графа Моркова был другой крепостной, блестяще начавший врачебную карьеру, — барин тоже возвратил его в положение дворового, он спился. Тропинин был стойче; при самых неблагоприятных условиях он продолжал упорно работать. Многие ходатайствовали перед графом об освобождении Тропинина, но граф упрямо отказывал. Только в 1823 г., когда Тропинину было уже 47 лет, он, наконец, получил свободу, но личную, — сын его оставался крепостным. В 1824 г. Тропинин приехал в Петербург и получил звание академика.

Петербург, однако, ему не понравился, и он переселился в Москву, где безвыездно прожил остальную жизнь. Скоро он стал самым видным московским портретистом. Брюллов, гостивший в Москве в 1836 г., очень высоко ценил Тропинина, отказывался писать портреты москвичей и говорил: «У вас есть собственный превосходный художник».

Крепостная неволя наложила на Тропинина пожизненную печать. Был он терпелив, безропотен и удивительно скромен; не любил подписывать своих произведений, считая это «дерзким», и делал это лишь по настойчивой просьбе заказчиков. Вместе с тем был очень упорен и колоссально трудолюбив. И через всю жизнь пронес ясное благодушие. Жил он в небольшой квартире на Ленивке со старухой-женой. Художник П. П. Соколов описывает свое посещение Тропинина. Прошедши без доклада две комнаты, он увидел в третьей супругов-Тропининых: они сидели на корточках перед большим тазом; в тазу кишмя-кишели тараканы. Старик и старуха сыпали туда какую-то кашу и сосредоточенно наблюдали, как тараканы ели. Тропинин без всякого смущения повернул голову в сторону гостя и добродушно улыбнулся. И объяснил гостю свое занятие:

— Мы, знаете, со старухой давно соблюдаем этот старинный обычай. Насекомое безобидное, а имеет все же влияние на судьбу человека: где оно водится, там деньги и счастье тоже не переводятся. А умное насекомое таракан! Как восемь часов, так и собираются к нам в эту самую комнату, как по сигналу; наедятся, напьются, и на покой, и не видать их больше до следующего утра, не беспокоят.

В 1855 г. умерла жена Тропинина. Эта смерть подкосила его силы. Он съехал с квартиры, где прожил долгую дружную жизнь со своею старухою. В новом собственном его домике в Замоскворечье на Полянке сын старался создать ему уют, заполнил комнаты цветами и канарейками, но ничего не могло рассеять старика. Через два года он умер.

Друг Пушкина Соболевский был недоволен прилизанными и припомаженными портретами Пушкина, какие тогда появлялись. Ему хотелось сохранить изображение Пушкина, каким он бывал обыкновенно, и заказал Тропинину написать Пушкина в домашнем халате, растрепанного, с известным перстнем на большом пальце и с длинным ногтем. Рассказывают, что по этому ногтю Тропинин заключил, что Пушкин масон и сделал ему условный знак; Пушкин на знак не ответил и погрозил Тропинину пальцем.

Тропининский портрет Пушкина имеет свою историю, сложную и до сих пор не выясненную. Повидимому, дело произошло так. Портрет долго висел в великолепной золотой раме у Соболевского. Выезжая в 1836 г. за границу, Соболевский оставил портрет вместе со своей би-

блиотекой И. В. Киреевскому. Киреевский, сдавая свой дом внаймы, передал библиотеку и портрет Шевыреву. У которого-то из них крепостной живописец выпросил портрет для снятия копии и возвратил не портрет, а копию. В 50-х гг. подлинный портрет поступил в продажу в лавке менялы Волкова, и его купил кн. М. А. Оболенский, директор архива министерства иностранных дел. Тропинин приходил смотреть портрет и засвидетельствовал его подлинность. В 1909 г. портрет был приобретен Третьяковской галлереей, где теперь и находится.

ОРЕСТ АДАМОВИЧ КИПРЕНСКИЙ
(1783—1836)

Первоклассный русский портретист. Сын крепостного человека Адама Швальбе. Крещен в местечке Копорье Ораниенбаумского уезда, откуда получил прозвище «Копорский», потом измененное в фамилию «Кипренский». С детства обнаружил исключительные способности к рисованию; его хозяин, бригадир Диаконов, отпустил мальчика на волю и определил в Академию художеств. Кипренский блестяще кончил курс, получил золотую медаль, в 1812 г. произведен в академики. В 1816 г. уехал для усовершенствования за границу, где пробыл семь лет. В Италии он быстро выдвинулся. Между прочим, он представил в неаполитанскую академию два портрета — своего отца и римской девочки. Академики пришли в негодование, что иностранец пытается обмануть их, приписав себе картины знаменитых мастеров: портрет отца Кипренского они признали одним из неизвестных портретов кисти Рубенса, другой портрет — работой старого итальянского мастера, и Кипренскому пришлось доказывать, что эти картины писаны им. Вскоре Кипренский приобрел своими портретами такую известность в Италии, что его автопортрет был помещен в флорентийской галлерее Уффици, в знаменитом зале портретов выдающихся художников. Во время писания картины «Пляска вакханки с сатиром» Кипренский нашел для модели молоденькой вакханки одну бедную девочку по имени Мариучча, дочь женщины подозрительного поведения; он несколько раз откупал у матери девочку, наконец, вырвал ее окончательно формальным актом и поместил ее для получения образования в одно из римских женских учебных заведений. В 1823 г. Кипренский воротился в Петербург, прожил там пять лет и в 1828 г. снова уехал в Италию, куда его влекла любовь к Мариучче. В 1836 г. он женился на ней, но через три месяца умер.

Кипренский не знал оседлости и не имел постоянной квартиры;

его картины, материалы и вещи были рассеяны повсюду, где случалось ему жить. Он был среднего роста, довольно строен и пригож, но еще более любил «делать себя красивым»: рядился, завивался, даже румянился; учился петь и играть на гитаре, хотя пел очень плохо. Женщин страстно любил до конца жизни. Один застенчивый приятель сознался ему, что боится женщин. Кипренский ответил:

— Да, правда, беда с ними познакомиться, кто не Кипренский.

Кисти Кипренского принадлежит один из самых известных портретов Пушкина (писан в 1827 г.). Наружность Пушкина прикрашена, что отметил и сам Пушкин в неоконченном стихотворении, обращенном к Кипренскому:

Любимец моды легкокрылой,
Хоть не британец, не француз,
Ты вновь создал, волшебник милый,
Меня, питомца чистых муз, —
И я смеюся над могилой,
Ушед навек от смертных уз.
Себя, как в зеркале, я вижу,
Но это зеркало мне льстит.
Так Риму, Дрездену, Парижу
Известен впредь мой будет вид.
Оно гласит, что не унижу
Пристрастья важных Аонид...

АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ ЕСАУЛОВ

Побочный сын помещика Есаулова. Талантливый композитор. Служил в полках капельмейстером, был человек капризный и неуживчивый. Ссорясь с начальством, переходил из полка в полк, наконец, без места и без средств к жизни, в 1832—1833 г. явился в Москву к Нащокину. Нащокин его приютил и способствовал определению в театральный оркестр в Петербурге. Однако Есаулов вскоре и оттуда ушел. Весною 1834 г. Пушкин писал Нащокину: «Андрей Петрович (Есаулов) в ужасном положении. Он умирал с голоду и сходил с ума. Соболевский и я помогали ему деньгами — скупо, увещаниями — щедро. Теперь думаю отправить его в полк капельмейстером. Он художник в душе и привычках, т. е. беспечен, нерешителен, ленив, горд и легкомыслен; предпочитает всему независимость. Но ведь и нищий независимее поденщика. Я ему ставлю в пример немецких гениев, преодолевших столько горя, дабы добиться славы и куска хлеба». Пушкин познакомился с Есауловым еще до женитьбы, в Москве; летом 1831 г. из Цар-

ского села передавал ему через Нащокина поклон, усиленно просил Нащокина выслать ему второе исправленное издание какого-то есауловского романса: «...мы бы его в моду пустили между фрейлинами». Анненков сообщает: «Замечательным способностям Есаулова отдают справедливость все знавшие его коротко. Пушкин принимал в нем живейшее участие, и мы думаем, что он для Есаулова начал свою «Русалку». Он хотел вывести в люди неизвестного композитора». Есаулов написал несколько романсов на слова Пушкина, но из светских его композиций до нас ничего не дошло. Дошли только духовные сочинения: «Свете тихий», «Херувимская» и др.

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ КАРАТЫГИН
(1802—1853)

Выдающийся трагический актер первой половины XIX в. Сначала играл в «классической» трагедии, потом романтических драмах, наконец, перешел к Шекспиру. По силе игры уступал гениальному своему современнику Мочалову, но превосходил его выдержанностью и совершенством техники. Герцен пишет о Каратыгине: «Этот лейб-гвардейский трагик был далеко не безталанен, но у него все было до того заучено, выштудировано и приведено в строй, что он по темпам закипал страстью, знал церемониальный марш отчаяния и, правильно убивши кого надобно, мастерски делал на погребение. Каратыгин удивительно шел николаевскому времени и военной столице его».

Два раза Каратыгин пытался выступить в драматических произведениях Пушкина. В первый раз он хотел сыграть с женою своею Каратыгиной-Колосовой сцену у фонтана из «Бориса Годунова» (Дмитрия и Марины), но Бенкендорф не разрешил постановки. Во второй раз он взял для бенефиса маленькую трагедию Пушкина «Скупой рыцарь», спектакль был назначен на 1 февраля 1837 г. Но как раз перед этим умер Пушкин, и правительство, боясь «излишнего энтузиазма» публики, запретило уже разрешенную было пьесу. К творчеству Пушкина Каратыгин относился в общем без восторга. По поводу «Полтавы» он в 1829 г. писал Катенину: «Что за стишонки! В разговоре Мазепы с Марией я так и вижу Шаховского: «благоволил помочь», «творец!..» С каким носом остались безусловные хвалители Пушкина! Трубили, кричали, — и гора родила мышь. Она решительно не понравилась, и Пушкин в бешенстве, зовет нас дураками». «Бориса Годунова» Каратыгин находил «галиматьей в шекспировском роде».

МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ ЩЕПКИН
(1788—1863)

Один из величайших русских актеров-комиков, артист московского театра. Сын дворового-крепостного графов Волькенштейнов. Будучи крепостным, кончил четырехклассное губернское училище в Курске и, с разрешения своих господ, поступил актером сначала в курский, потом в полтавский театр. Там на его талант обратил внимание генерал-губернатор кн. Н. Г. Репнин, по его инициативе была сделана подписка, и тридцатилетний Щепкин был выкуплен из крепостной зависимости за десять тысяч рублей. Артистическая деятельность Щепкина протекла в Москве. Герцен рассказывает: «Его все любили без ума. Его появление вносило покой, его добродушный упрек останавливал злые споры, его кроткая улыбка любящего старика заставляла улыбаться, его безграничная способность извинять другого, находить облегчающие причины была школой гуманности. И притом он был великий артист, он создал п р а в д у на русской сцене, он первый стал н е т е а т р а л е н на театре». Щепкин был умен и образован, находился в дружбе с Белинским, Герценом, Гоголем, Грановским. Пушкин был с ним знаком, не раз слушал его увлекательные рассказы, убедил его писать записки о своей жизни и собственноручно вписал в тетрадь начальные фразы: «(17 мая 1836 г. Москва). Записки актера Щепкина. Я родился в Курской губернии, Обоянского уезда, в селе Красном, что на речке Пенке...».

ВАРВАРА НИКОЛАЕВНА АСЕНКОВА
(1817—1841)

Одна из популярнейших артисток тридцатых годов. С изящными манерами, с приятным голосом, с прекрасной мимикой. Играла роли первых любовниц в драмах, комедиях и водевилях. Особенно была очаровательна в ролях мальчиков. Была прекрасный товарищ, чуждалась театральных сплетен и интриг, отвергала ухаживания поклонников. Один офицер, обозленный ее отказом, бросил в ее карету зажженную шутиху, к счастью, только легко обжегшую руки Асенковой. Умерла от чахотки двадцати четырех лет, в самом начале своего блестящего пути. Сам император Николай пытался удостоить ее своею благосклонностью, очень в те времена для актрисы лестной и выгодной, но Асенкова решительно отвергла и его домогательства. После этого ее стали притеснять в театре, подняли на нее травлю, стали распространять клеветы, что значительно ускорило ее смерть. Гроб Асенковой

провожали несметные толпы, похороны получили характер демонстрации, громко назывался главный виновник ее смерти. Некрасов, вспоминая об Асенковой, писал:

Я бескорыстней и светлей
Не видывал созданья.
Блестящ и краток был твой путь...
Я помню, занавес взвилась,
Толпа угомонилась,
И ты на сцену в первый раз,
Как светлый день, явилась.
Театр гремел. И дилетант,
И скептик хладнокровный
Твое искусство, твой талант
Почтили данью ровной.
И точно, мало я видал
Красивее головок;
Твой голос ласково звучал,
Твой каждый шаг был ловок;
Дышали милые черты
Счастливым детским смехом..
Но лучше б воротилась ты
Со сцены с неуспехом.
Увы, наивна ты была,
Вступая за кулисы;
Ты благородно поняла
Призвание актрисы.
Ты всех отвергла. Заперлась
Ты феей недоступной
И вся искусству предалась
Душою неподкупной...
Переходя из уст в уста
Коварна и бесчестна,
Крылатым змеем клевета
Носилась повсеместно.
Душа твоя была нежна,
Прекрасна, как и тело;
Клевет не вынесла она,
Врагов не одолела!..
... Твой закат
Был странен и прекрасен:
Горел огнем глубокий взгляд,
Пронзителен и ясен;
Пылали щеки; голос стал
Богаче страстью нежной.
Увы, театр рукоплескал
С тоскою безнадежной!
Сама ты знала свой удел,
Но до конца, как прежде,
Твой голос, погасая, пел
О счастье и надежде.

Пушкин не разделял общего восторга, который вызывала к себе Асенкова. Незадолго до смерти он сидел в Александринском театре рядом с двумя молодыми людьми, восторженно аплодировавшими Асенковой. Пушкин же выказывал полнейшее равнодушие. Молодые люди начали шептаться и довольно громко сказали:

— Вот дурак!

Пушкин обратился к ним:

— Вы, господа, назвали меня дураком. Я — Пушкин и дал бы теперь же каждому из вас по оплеухе, да не хочу: Асенкова подумает, что я ей аплодирую.

VIII

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗЕРУМ

1 мая 1829 г. Пушкин выехал из Москвы на Кавказ. Через Орел, Новочеркасск и Владикавказ он по военно-грузинской дороге в конце мая приехал в Тифлис. Получив от Паскевича разрешение посетить действующую армию, он через Карс прибыл 13 июня на фронт и проделал с армией поход, закончившийся 27 июня взятием Арзерума. 21 июля Пушкин выехал из Арзерума обратно в Тифлис, откуда проехал на Минеральные воды и 8 сентября отправился в Россию.

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ЕРМОЛОВ
(1772—1861)

Начал военную службу под начальством Суворова. Известный боевой генерал эпохи войн с Наполеоном. За самостоятельность и оппозиционное отношение к политике Александра I пользовался большою популярностью среди радикальной части общества и офицерства. Желание удалить его из Петербурга было одною из причин назначения его в 1817 г. главноуправляющим в Грузии и командиром отдельного кавказского корпуса. Когда в 1821 г. ожидалась война с Турцией за освобождение Греции, общественное мнение называло главнокомандующим Ермолова, Рылеев обращался к нему с такими стихами:

Ермолов, поспеши спасать сынов Эллады,
Ты, гений северных дружин!..
И, цепи сбросивши невольничьего страха,
Как феникс молодой,
Воскреснет Греция из праха
И с древней доблестью ударит за тобой!

На Кавказе Ермолов значительно продвинул вперед дело завоевания края, действуя с большою жестокостью, присоединил к русским владениям ряд областей, ввел много административных улучшений в управление. В связи с неожиданным вторжением в русские пределы персидских полчищ, — о возможности чего Ермолов предупреждал Петербург и требовал подкреплений, — Николай, и вообще недовольный Ермоловым за его подозреваемые связи с декабристами, послал, как бы в помощь ему, Паскевича. Получилось двоевластие, совершенно неприемлемое для Ермолова, и в марте 1827 г. он подал в отставку. С тех пор он жил в Москве не у дел, как и многие другие крупные люди, осужденные николаевщиной на бездеятельность, — Мих. Орлов, Чаадаев,— пользуясь огромною популярностью и почетом. Вигель так характеризует его: «Ермолов горд, властолюбив, хитер, иногда жесток и неумолим, но храбр, умен и искусен». У него, действительно, были черты хитрости, лукавства, была склонность к двойной игре. Пушкин в своем дневнике (1834 г.) называет его «великим шарлатаном», но очень интересовался личностью Ермолова и даже собирался писать его биографию. Отправляясь в 1829 г. на Кавказ, Пушкин сделал двести верст лишних и заехал в Орел специально для того, чтобы увидеть Ермолова. Вот как он его описывает: «Лицо круглое, огненные серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что неестественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен. Он был в зеленом черкесском чекмене. На стенах кабинета висели шашки и кинжалы — памятники его владычества на Кавказе. Он, повидимому, нетерпеливо сносит свое бездействие. Несколько раз принимался он говорить о Паскевиче и всегда язвительно: говоря о легкости его побед, он сравнивал его с Навином, пред которым стены падали от трубного звука, и называл графа Эриванского — графом Эрихонским». После посещения Пушкина Ермолов писал Денису Давыдову: «Был у меня Пушкин. Я в первый раз видел его и, как можешь себе сообразить, смотрел на него с живейшим любопытством. В первый раз не знакомятся коротко, но какая власть высокого таланта! Я нашел в себе чувство, кроме невольного уважения».

В пятидесятых годах Ермолова имел случай встречать в Москве кн. В. М. Голицын. В неизданных своих записках он рассказывает: «Ер-

молов жил совершенным затворником и никогда почти не появлялся на глазах публики. Москва в нем ценила как героя Отечественной войны и Кавказа, так еще более жертву Петербурга и его высоких сфер, умышленно державших его в стороне от какой-либо активной роли. В то время рассказывали, что приезжавшие в Москву более или менее высокопоставленные военные чины считали долгом своим посетить Ермолова, но делали это потихоньку, украдкой, из опасения, чтобы «там» как-нибудь об этом не узнали. Когда в последний год жизни Николая I, глубоко ненавидевшего Ермолова и его боявшегося, созвано было ополчение, Москва единодушно выбрала его начальником губернской дружины, подчеркнув демонстративный смысл этого избрания, но он отказался по старости лет».

ИВАН ФЕДОРОВИЧ ПАСКЕВИЧ
(1782—1856)

Сын полтавского мещанина, разбогатевшего на поставках соли в казну. Боевую службу начал с 1806 г. на турецкой войне, в 1812—1814 гг. участвовал в наполеоновских войнах. В начале двадцатых годов командовал первой гвардейской пехотной дивизией, бригадами которой командовали великие князья Николай и Михаил Павловичи. С этой поры Паскевич стал любимцем Николая; уже будучи царем, Николай не иначе называл его, как «отец-командир». В 1826 г. Паскевич был членом верховного суда над декабристами. В том же году был послан на Кавказ для командования войсками против персиян совместно с Ермоловым, имея при себе секретный указ — заместить Ермолова, если найдет это нужным. За овладение Эриванью и присоединение к России двух персидских областей получил титул «графа Эриванского» и миллион рублей денег. В 1828—1829 гг. руководил на азиатском фронте военными действиями против турок, занял Арзерум и произведен в генерал-фельдмаршалы. В 1831 г., после смерти Дибича, назначен главнокомандующим войск в Польше. За взятие Варшавы получил титул «светлейшего князя Варшавского» и назначен наместником Царства Польского. В 1849 г. командовал войсками, подавившими венгерское восстание. За это ему было предоставлено право пользоваться воинскими почестями, воздаваемыми императору. В 1854 г. был назначен главнокомандующим армией, действовавшей против турок на Дунае.

Формуляр ослепительный. Подобным формуляром мог похвалиться только еще гениальный Суворов. Льстецы восхваляли и Паскевича как

гения. На это отец его, полтавский хохол, лукаво посмеивался в усы и говорил:

— Що гений, то не гений, а що везе, — то везе!

И правда: блистательный формуляр Паскевича прикрывает фигуру ловкого и удачливого карьериста, мало способного и нерешительного военачальника, умевшего писать пышные реляции с приписыванием всех заслуг одному себе. По поводу его легких персидских побед ходила острота, что умному человеку оставалось только действовать похуже Паскевича, чтобы отличиться от него. Победы его над бездарными турецкими военачальниками вызвали насмешливый отзыв Ермолова:

— Пускай нападет он на пашу не умного, не искусного, но только упрямого, — и Паскевич пропал.

В польскую кампанию, хотя главная польская армия была еще до Паскевича совершенно разбита под Остроленкой, он проявил совершенно исключительную медлительность и осторожность. Крайне нерешительно вел он военные действия и в венгерскую кампанию, что намного удлинило войну. Командование армией, действовавшей против Турции в 1854 г., окончательно выявило бездарность и нерешительность Паскевича, систематически упускавшего все случаи к победе над неприятелем.

Паскевич был очень вспыльчив, очень груб. Из всех достоинств полководца он обладал только одним — личною храбростью. В решительные моменты он совершенно терялся, хватался то за одно, то за другое средство, давал противоречивые и увилистые приказания, которые можно было понять в любом смысле. Доходило до того, что он начинал жаловаться окружающим:

— Нет, я уже чувствую себя неспособным к военному делу. Даже турки начинают меня бить. Если бог даст мне благополучно кончить это дело, то я удалюсь в свою деревню и буду жить в уединении.

Кончалось тем, что кто-нибудь из подчиненных брал на себя инициативу и действовал. Если дело кончалось успехом, Паскевич приписывал его себе; если была неудача, — он обрушивался на виновника. Мелко-самолюбивый, мнительный, он окружал себя льстецами-карьеристами, а талантливых помощников терпел только до тех пор, пока они были ему нужны. И всегда был полон ревнивою боязнью, чтоб на них не перешла хоть частица славы. Начальником его штаба в турецкую войну 1829 г. состоял барон Д. Е. Остен-Сакен, дельный и способный генерал. Однажды, при разборе почты, Сакену попалась французская газета, в которой писалось, что Паскевич — человек самых обыкновенных способностей, успех же персидской и турецкой кампаний следует приписать искусству его начальника штаба и сосланных на Кавказ

декабристов. Сакен не счел возможным скрыть газету от Паскевича и показал ему ее как пример того, до чего доходят завистники главнокомандующего. Паскевич промолчал, но с тех пор отношение его к Сакену стало холодным и натянутым. В бою под Ахалцыхом, после поражения турок, Паскевич послал Сакена с кавалерией преследовать неприятеля. Кавалерия была сильно истощена боем. Сакен, пройдя верст десять и забрав несколько сотен пленных, вынужден был остановиться и донес Паскевичу, что остановился по невозможности двигаться вперед на изнемогающих лошадях и думает, что выгоднее сохранить кавалерию, чем набрать тысячу или две пленных, составляющих тягость для армии. Паскевич пришел в бешенство, отдал Сакена под суд и велел судить его в двадцать четыре часа. Сакену вынесено было строгое осуждение за небуквальное исполнение приказа главнокомандующего и вялое преследование неприятеля. Он был отрешен от должности начальника штаба и подвергнут домашнему аресту.

Пушкин, получив через Раевского разрешение Паскевича, приехал в действующую армию 13 июня 1829 г. В тот же день вечером он был представлен Паскевичу. «Я нашел графа дома, — рассказывает Пушкин, — перед бивачным огнем, окруженного своим штабом. Он был весел и принял меня ласково». И в дальнейшем относился к Пушкину очень ласково. Приказал ставить на стоянках палатку Пушкина рядом со своею, приглашал обедать, старался держать при себе. Но Пушкин предпочитал общество старых своих товарищей, Раевского и Вольховского, и целыми днями пропадал в их палатках. Кроме того, он водил знакомство с разжалованными декабристами — гр. Зах. Г. Чернышевым, М. И. Пущиным и др. Все это очень не нравилось Паскевичу. И вообще отношения их ладились плохо.

Упоенный своими победами, Паскевич только о них и говорил. Между тем он имел все основания подозревать, что его помощники рисуют его Пушкину в свете далеко не блистательном. Надежда, что Пушкин станет воспевать его подвиги, слабела все больше. Один современник со слов Вольховского рассказывает, что в Арзеруме Паскевич призвал к себе Пушкина и резко объявил:

— Господин Пушкин! Мне вас жаль, жизнь ваша дорога для России; вам здесь делать нечего, а потому я советую немедленно уехать из армии обратно, и я уже велел приготовить для вас благонадежный конвой.

Пушкин порывисто поклонился, выбежал из палатки и в тот же день уехал.

В Тифлисе он говорил местному журналисту Санковскому: «Ужасно мне надоело вечное хождение на помочах этих опекунов, дядек; мне

крайне было жаль расстаться с моими друзьями, но я вынужден был покинуть их. Паскевич надоел мне своими любезностями. Он не понял меня и старался выпроводить из армии». В «Путешествии в Арзерум», напечатанном при жизни Пушкина, он о расставании своем с Паскевичем рассказывает иначе:

«19 июля пришел я проститься с графом Паскевичем. Он предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий, но я спешил в Россию... Граф подарил мне на память турецкую саблю. Она хранится у меня памятником моего странствования вослед блестящего героя по завоеванным пустыням Армении». Этот эпитет в применении к Паскевичу — единственный отклик Пушкина на турецкие подвиги Паскевича. Тайная надежда Паскевича увидеть себя воспетым в стихах Пушкина не осуществилась.

По поводу смерти Пушкина Паскевич писал в частном письме императору Николаю: «Жаль Пушкина, как литератора, в то время, когда его талант созревал; но человек он был дурной».

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ ВОЛЬХОВСКИЙ
(1798—1841)

Лицейский товарищ Пушкина. О лицейских его годах см. в гл. III. Как знаем, в течение всей школьной жизни он настойчиво и систематически готовил себя к военной деятельности. Окончив курс первым, с большою золотою медалью, Вольховский определился в Гвардейский генеральный штаб. Участвовал в экспедициях в Хиву и Бухару. Был принят Пущиным в «Союз благоденствия», но вскоре вышел из него. По делу 14 декабря был арестован, вскоре выпущен на свободу без дальнейших последствий. Однако в знаменитом «Алфавите декабристов», всегда находившемся для справок под рукой у Николая, о Вольховском было сказано: «Из показаний многих членов видно, что Вольховский участвовал в совещаниях, бывших у Пущина и других членов. Совещания сии заключались в учреждении Думы и в положении стараться изыскивать средства ко введению конституции».

Вольховский был переведен на Кавказ и назначен состоять при генерале Паскевиче. В персидскую войну он участвовал в целом ряде боев, выдвинулся храбростью и распорядительностью, получил Анну второй степени с алмазами, был произведен в полковники. Принимал участие в ведении мирных переговоров с Персией и взыскании с нее контрибуции. Министр иностранных дел Нессельроде в официальном

отношении обращал внимание Дибича на особенные заслуги Вольховского, «который своим благоразумием и твердостью должен почесться главным виновником блистательного и выгодного для нас мира». В последовавшей турецкой войне Вольховский опять все время находился в боях. При взятии штурмом Карса он с двадцатью гренадерами под картечным огнем овладел одним из угловых бастионов крепости и немедленно обратил неприятельские орудия во фланг трех прилегающих башен. За это дело Вольховский получил георгиевский крест.

Он занимал в армии пост обер-квартирмейстера. В чем заключались его обязанности и как он их исполнял, мы можем видеть из записок генерала Н. Н. Муравьева. «Во время следования колонн, — рассказывает Муравьев, — заботливостью Вольховского присылались к нам описания дорог, по коим нам итти. Точность сих описаний была разительна, и мы всегда знали наперед о всякой канаве, которая могла остановить движение колонны, и брали заблаговременно меры для поправления дороги; знали, где есть корм подножный, вода, где обозы могли строиться в несколько линий или итти поодиночке; где могла быть в теснине продолжительная остановка, во время коей батальоны могли бы не дожидаться в ружье, а расположиться на привал. Словом, все было придумано и приспособлено к порядливому движению войск». Дело в руках Вольховского кипело. Он обладал железным трудолюбием, добросовестен был до крайности. Дружеское замечание Вольховского действовало на подчиненных сильнее, чем самые грозные распекания других начальников. К себе Вольховский относился с неумолимою строгостью. Заваленный делами, он положил себе тратить на сон не более шести часов в сутки. Каждый раз, когда ему приходилось от усталости задремать, он эти минуты дремоты вычитал из ночного сна. Был очень скромен, в реляциях совершенно умалчивал о собственных своих заслугах.

Пушкин, приехав в действующую армию, представился Паскевичу. «Здесь, — рассказывает он, — увидел я нашего Вольховского, запыленного с ног до головы, обросшего бородой, изнуренного заботами. Он нашел, однако, время побеседовать со мною, как старый товарищ».

Арзерум был взят. Кампания приходила к концу. Вольховский был уже не нужен Паскевичу. А Паскевич его давно ненавидел. До него дошли слухи, что некоторые из успехов военных действий приписываются Вольховскому. Кроме того, Вольховский был постоянным свидетелем отнюдь не наполеоновского поведения Паскевича в решительные моменты боя. Барон А. Е. Розен по этому поводу замечает в своих «Записках»: «Всегда беда подчиненному, который бывает свидетелем промахов тщеславного начальника». Ненависть Паскевича к Вольховскому, равно как

и к Остен-Сакену, была так велика, что еще через двадцать лет, когда Вольховский уже умер, Паскевич говорил с яростным сожалением:

— Одну я сделал глупость в жизни, — что на Кавказе не велел повесить Сакена и Вольховского.

Эта ненависть Паскевича, пользовавшегося личною дружбою царя, в связи с отзывом о Вольховском «Алфавита декабристов», преследовала Вольховского всю его жизнь и навсегда подрезала блестяще начатую карьеру дельного и способного человека. Ему пришлось покинуть Кавказ. В 1830 г. он, в распоряжении главнокомандующего в Польше графа Дибича, выдвигается опять как храбрый и способный офицер, за отличие производится в генерал-майоры. Но Дибич умирает, и на его место назначается Паскевич. Вольховский вынужден удалиться от участия в делах. В середине тридцатых годов он состоял начальником штаба отдельного кавказского корпуса, при командующем бар. Г. В. Розене. Опала, постигшая последнего, отозвалась и на Вольховском. Он был переведен бригадным командиром в Западный край и попал снова под начальство Паскевича, бывшего наместником Польши. Вольховскому пришлось выйти в отставку. Он поселился в харьковском имении своей жены (сестры лицейского его товарища Малиновского) и там прожил до смерти.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ МУРАВЬЕВ (КАРСКИЙ)
(1794—1866)

Брат М. Н. Муравьева-Виленского («Вешателя») и религиозного писателя А. Н. Муравьева. С отличием участвовал в войнах 1812—1814 гг., затем, под начальством Паскевича, в персидской и турецкой войнах, где отличился при штурме Карса. Когда Пушкин приехал в действующую армию, Муравьев командовал гренадерской дивизией. Был он генерал умный и образованный, но педант до кончика ногтей, в обращении тяжел и неприятен. Строгий к себе, был так же строг и к подчиненным; на награды был скуп, полагая, что исполнение служащим своего долга не есть что-либо особенное. В педантически-строгом исполнении дела не отступал ни перед какими соображениями. Однажды, уже позднее, ему пришлось командовать на красносельских маневрах армией против армии, которою командовал сам император Николай. Муравьев добросовестнейшим образом окружил императора и загнал его в болото. За это Николай долго питал к нему скрытую злобу. В другой раз, будучи кавказским наместником, он получил письмо фрейлины с запросом от имени императрицы Александры Федоровны; Муравьев не счел

возможным нарушить порядок и ответил императрице в порядке очереди, заставив ее довольно долго ждать ответа.

Во время одной из лагерных стоянок Пушкин в палатке Раевского стал читать друзьям тогда еще не напечатанного «Бориса Годунова». В числе слушателей был и Муравьев. Во время сцены, когда самозванец признается Марине, что он не настоящий Дмитрий, Муравьев остановил Пушкина:

— Позвольте, Александр Сергеевич! Как же такая неосторожность со стороны самозванца? Ну, а если она его выдаст?

Пушкин с досадой ответил:

— Подождите, увидите, что не выдаст.

После этого объявил решительно, что при Муравьеве ничего больше читать не станет. Когда потом Пушкин собрался читать «Онегина», то поставлены были маховые, чтобы дать знать, если будет итти Муравьев. Когда он появился вдали, дан был сигнал, и все разбежались из палатки Раевского. Муравьев пришел, нашел палатку пустою и воротился к себе. Тогда все собрались опять, и чтение состоялось.

В пятидесятых годах Муравьев был наместником Кавказа и главнокомандующим тамошних войск, в войну 1854—1855 гг. овладел почти неприступным Карсом, за что получил к фамилии прибавку «Карский».

Граф ЗАХАР ГРИГОРЬЕВИЧ ЧЕРНЫШЕВ
(1796—1862)

Декабрист, внук фельдмаршала гр. И. Г. Чернышева. Был арестован, будучи ротмистром кавалергардского полка. Деятельного участия в Тайном обществе не принимал, ни на одном из совещаний не присутствовал и в день 14 декабря даже не был в Петербурге. Но он обладал колоссальным состоянием в двадцать тысяч душ. Его отдаленный родственник, член следственной комиссии по делу декабристов, генерал-адъютант А. И. Чернышев (будущий военный министр), приложил все силы, чтобы обвинить арестованного, рассчитывая стать его наследником. Закатать Захара Чернышева в каторгу ему удалось, но наследства, ввиду отдаленности родства, получить не пришлось. Отбыв каторгу в Нерчинских рудниках, Захар Чернышев в 1829 г. был переведен на Кавказ рядовым в Нижегородский драгунский полк, которым командовал Раевский. Здесь с ним нередко виделся Пушкин. Однажды в палатке брата своего Льва и уланского офицера Юзефовича Пушкин с одушевлением переводил им с английского Шекспира. В чтении Пушкина английское произношение было до того уродливо, что Юзефович запо-

дозрил его знание языка. На следующий день он зазвал к себе в палатку Захара Чернышева, знавшего английский язык, как свой родной, и попросил Пушкина опять почитать им Шекспира. При первых же словах, прочитанных Пушкиным по-английски, Чернышев расхохотался и спросил:

— Ты скажи прежде, — на каком языке ты читаешь?

Пушкин тоже расхохотался и объяснил, что выучился английскому языку самоучкой, а потому читает английскую грамоту, как латинскую. Но самый перевод его Чернышев нашел совершенно правильным и понимание языка безукоризненным.

В 1830 г. Чернышев был ранен пулею в грудь навылет, в 1833 г. произведен в офицеры. В 1856 г. амнистирован с восстановлением в прежних правах и с возвращением графского титула.

ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ СУХОРУКОВ
(1795—1841)

Историк донского казачества. Донской казак. По окончании харьковского университета поступил на войсковую службу с чином хорунжего. В Новочеркасске на его познания и трудолюбие обратил внимание будущий военный министр генерал А. И. Чернышев, председатель комитета об устройстве войска донского, и привлек его к работам в комитете, а также к собиранию материалов для истории и описания войска донского. Сухоруков обследовал большой ряд архивов, сделал до пяти тысяч листов выписок и извлечений из старинных бумаг, извлек множество ценнейших документов, касающихся истории донского казачества. Чернышев взял его с собою в Петербург, перевел в лейб-гвардии казачий полк, зачислил в канцелярию главного штаба и дал возможность продолжать архивные работы в Петербурге и в Москве. По этой работе Сухоруков сблизился с Карамзиным, Калайдовичем, Корниловичем и другими историками, помогал Карамзину материалами по истории Дона. За «прикосновенность к делу о злоумышленном тайном обществе», т. е. к декабристам, Сухоруков был переведен из гвардии на Кавказ в один из донских полков и отдан под секретный надзор. По другим сведениям, ссылка была вызвана его расхождением во взглядах с Чернышевым при составлении положения об управлении донского войска. Все собранные Сухоруковым материалы были у него отобраны. Повидимому, существовало опасение, чтобы документов о прежних вольностях казачества, отменявшихся новым положением, Сухоруков не исцользовал для возбуждения неудовольствия среди казаков. На Кавказе Сухорукова как

человека образованного и владеющего пером Паскевич прикомандировал к своему штабу для письменных занятий и очень остался доволен его умением составлять пышные реляции. За боевые отличия, — а вернее предположить, просто за эти реляции, — Сухоруков получил владимирский крест с бантом и золотую саблю с надписью «за храбрость». В Арзеруме Пушкин проводил вечера с Сухоруковым, которого он называет «умным и любезным», очень горевал об отобранных у него материалах. По возвращении в Россию Пушкин написал Бенкендорфу письмо с просьбою ходатайствовать перед военным министром Чернышевым о дозволении Сухорукову хотя бы снять копии с отобранных у него исторических материалов, на собирание которых он употребил пять лет и которые необходимы ему для предпринятой им работы по истории донского казачества. Бенкендорф передал Пушкину ответ Чернышева, что упоминаемые акты собраны Сухоруковым в архивах по приказанию Чернышева, Сухорукову не принадлежат и «что, наконец, граф Чернышев находит со стороны сотника Сухорукова не только неосновательным, но даже дерзким обременять правительство требованием того, что ему не принадлежало и принадлежать не может».

Паскевич поручил Сухорукову написать историю войны 1828—1829 гг. В 1830 г. у Сухорукова был сделан обыск, и Паскевичу пришлось давать объяснения Чернышеву, каким образом у поднадзорного Сухорукова могли оказаться материалы, касающиеся войны. Сухоруков был отправлен в казачий полк, стоявший в Финляндии. Через несколько лет его перевели обратно на Кавказ. В 1836 г. Пушкин обращался к нему с просьбою сотрудничать в «Современнике».

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ПУЩИН
(1800—1869)

Брат лицейского товарища Пушкина, декабриста И. И. Пущина, тоже декабрист. С 1824 г. командовал гвардейским конно-пионерным эскадроном в чине капитана. По делу декабристов, «за то, что знал о приготовлении к мятежу, но не донес», был лишен чинов, дворянства, разжалован в солдаты без выслуги и сослан в Сибирь. Вскоре был переведен на Кавказ. Во время персидской (1827 г.) и последовавшей за нею турецкой (1828—1829 гг.) войн выделился исключительными способностями, военными знаниями и храбростью. Паскевич так был им доволен, что прикомандировал к своему штабу и дал полный простор инициативе и энергии Пущина. Получилось положение очень оригинальное: в своей солдатской шинели, Пущин переводил генералов и офицеров

с их частями войск с места на место по своему усмотрению; в той же солдатской шинели присутствовал на военных советах у главнокомандующего, где его мнения почти всегда одерживали верх. При штурме Ахалцыха 15 августа 1828 г. Пущин был ранен пулею в грудь навылет. Однако летом 1829 г. он опять уже был на фронте. Пушкин, приехав в армию и представляясь Паскевичу, встретил в его свите Пущина. «Он любим и уважаем, как славный товарищ и храбрый солдат», — записал Пушкин.

По занятии Арзерума Пущин стал проситься у Паскевича в отпуск для лечения раны. Паскевич согласился, но с условием, чтобы он раньше выработал проект укрепления Арзерума. Пущин представил проект, и Паскевич его отпустил; при прощании был очень любезен и сказал Пущину, чтобы он писал ему, если в чем встретится нужда. Перед отъездом Пущин зашел к опальному Остен-Сакену, палатка которого всеми теперь избегалась, как зачумленная. Пробыл там довольно долго, пока Остен-Сакен писал письмо жене. Выходя из палатки, Пущин увидел, что Паскевич издалека наблюдает за ним. Злопамятный и мелко-мстительный Паскевич запомнил этот продолжительный визит к его врагу. Пущин облегченно вздохнул, вырвавшись из атмосферы холопства, зависти и предательства, которую создавал вокруг себя главнокомандующий.

Пущин поехал на кавказские минеральные воды. Во Владикавказе его нагнал возвращавшийся из действующей армии Пушкин с офицером Дороховым. Они выехали с «оказией», т. е. с партией путников и обозов, конвоировавшихся от нападений горцев отрядом солдат при пушке. Ехали втроем в коляске. Иногда Пушкин садился на казачью лошадь и вскачь уезжал от отряда, ища приключений или встречи с горцами; он рассчитывал, привлекши на себя погоню горцев, навести их на орудие и на конвой, но ни приключений, ни горцев он во всю дорогу не нашел. Беря с собою Пушкина и Дорохова, Пущин поставил им условием: Пушкину — не играть в дороге в карты, драчуну Дорохову — не бить своего денщика. Тяжело было обоим во время привалов и ночлегов: один не смел бить денщика, другой не смел заикнуться о картах. Пушкин несколько раз заговаривал о сложении этого тягостного для него запрета, но Пущин оставался непоколебим. Приехали в Пятигорск. Пушкин хотел здесь отдохнуть несколько дней, Пущин же спешил в Кисловодск и решил выехать на следующий день. Вечером, возвратясь на свою квартиру, Пущин застал Пушкина, упоенно после дорожного запрета игравшего в банк с Дороховым и с каким-то офицером Павловского полка Астафьевым. Выигравшие Астафьев и Пушкин кончили игру в веселом расположении духа, проигравшийся Дорохов отошел от

стола угрюмо. Когда Астафьев ушел, Пущин спросил Пушкина, как очутился у них никому не знакомый Астафьев.

— Очень просто! — ответил Пушкин. — Мы, как ты ушел, послали за картами и начали играть с Дороховым; Астафьев, проходя мимо, зашел познакомиться; мы ему предложили поставить карточку, и оказалось, что он — добрый малый и любит в карты поиграть.

— Как бы я желал, Пушкин, чтобы ты скорее приехал в Кисловодск и дал мне обещание с Астафьевым не играть.

— Нет, брат, дудки! Обещания не даю, Астафьева не боюсь и в Кисловодск приеду скорее, чем ты думаешь.

Однако больше недели не являлся в Кисловодск. Наконец, приехал вместе с Дороховым, — оба продувшиеся до копейки. Пушкин проиграл тысячу червонцев, взятых им на дорогу у Раевского. Приехал он в Кисловодск с твердым намерением вести жизнь правильную и много работать. Каждый день он уезжал кататься на лошади Пущина и вскоре стал пропадать целыми днями. Пущин ему сказал однажды, что он слишком много гоняет лошадь, которая на подножном корму. Тогда Пушкин сознался, что ездит он совсем недалеко, в Солдатскую слободку, и играет там с Астафьевым, перебравшимся тоже в Кисловодск.

— Я его теперь бью мелким огнем и каждый день отыгрываю по несколько своих червонцев.

Пущин ему предсказывал, что весь свой выигрыш он в один прекрасный день опять оставит у Астафьева. Так и случилось: через день-другой Пушкин попросил у Пущина взаймы пятьдесят червонцев на дорогу...

Когда четырехмесячный отпуск Пущина приходил к концу, он написал Паскевичу, напомнил его разрешение писать ему и просил продолжить отпуск еще на четыре месяца. Ответа не последовало. Пущин написал знакомому и просил напомнить о нем Паскевичу. Паскевич ответил:

— По письмам в службе ничего не делается.

Тогда Пущин послал прошение на высочайшее имя, в Петербурге у него была протекция, и Пущину высочайше был разрешен бессрочный отпуск до излечения раны. Одновременно с этим пришел официальный ответ Паскевича, что он не считает возможным ходатайствовать о Пущине как о злоумышленнике 14 декабря. Вскоре Паскевич поехал в Петербург и по дороге заехал на минеральные воды. Наивный Пущин счел долгом явиться к Паскевичу, чтобы проститься с человеком, с которым он так долго работал бок-о-бок на фронте и которому был так полезен. Паскевич на приеме прошел мимо Пущина, как будто его не заметив. Кончив прием, он прошел в дальнюю комнату, Пущин последовал за

ним, чтобы выяснить, за что гневается на него фельдмаршал. Паскевич стоял перед зеркалом, распечатывая пакеты. Он в зеркале видел стоявшего у двери Пущина, но не обернулся. Однако в том же зеркале прекрасно увидел шедшего к нему по анфиладе комнат кн. Яшвиля и мимо Пущина приветливо пошел ему навстречу. Так Пущину и не удалось объясниться с Паскевичем. Он поехал в Россию. В Егорлыке его неожиданно задержали, чтобы отбыть карантин. Карантину подвергались лица, ехавшие из Тифлиса, а не из Минеральных вод. Оказалось, проехавший Паскевич дал специальный приказ задержать в карантине Пущина. Так отозвалось на Пущине его посещение в Арзеруме опального Остен-Сакена.

По окончании войны Пущин был произведен в поручики. В 1831 г. он оставил Кавказ и военную службу. Впоследствии находился на службе гражданской. В 1865 г. переименован в генерал-майоры и умер комендантом Бобруйской крепости.

РУФИН ИВАНОВИЧ ДОРОХОВ

Сын известного партизана двенадцатого года, генерала И. С. Дорохова. Воспитывался в Пажеском корпусе, в 1819 г. был выпущен прапорщиком в учебный карабинерный полк в Петербурге. Был человек буйный и несдержанный до дикости. Однажды в театре он поссорился с каким-то статским советником за то, что тот в антракте занял на балконе ненумерованное место, которое перед тем занимал Дорохов. Дорохов «сел статскому советнику на плечи и хлестал его по голове». Вскоре потом убил на дуэли офицера. «За буйство в театре, поединок и ношение партикулярной одежды» Дорохов был разжалован в рядовые. С началом персидской войны переведен на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк, которым командовал Н. Н. Раевский. В персидской и последовавшей за нею турецкой войнах Дорохов проявил бешеную храбрость, был ранен, произведен в офицеры, получил золотую саблю за храбрость и анненский темляк.

В августе 1829 г. Дорохов получил отпуск и поехал на кавказские минеральные воды для лечения ран. В Тифлисе встретился с ехавшим туда же М. И. Пущиным и предложил ехать вместе. Пущин, видимо, хорошо зная Дорохова, поставил условием, чтобы он в дороге никого не бил. Дорохов согласился. Но уже в Душете избил своего денщика и пущинского человека. Пущин бросил его и дальше поехал один. Во Владикавказе Пущина нагнал Пушкин. Пущин очень ему обрадовался и предложил остановиться у него. Но Пушкин отказался, потому что

приехал вместе с Дороховым, который боялся итти к Пущину. Пушкин просил простить Дорохова и ручался, что он больше не будет нарушать условия.

— Между тем, — сказал Пушкин, — в нем так много цинической грации, что сообщество его очень будет для нас приятно.

На этот раз Дорохов сдержал слово и в течение всей дороги не давал воли рукам.

В 1833 г. Дорохов за ранами был уволен в отставку с чином поручика и поселился в Москве с женою, дочерью А. А. Плещеева, «арзамасца», друга Жуковского. По уверению жены, Дорохов был добр, великодушен, но очень вспыльчив, во хмелю — бесшабашен и буен. Жестоко бил и жену. Она вынуждена была бежать из дому с малолетнею дочерью и в конце концов развелась с ним. Современник, встречавшийся с Дороховым в Москве, характеризует его так: «Лев тогдашней молодежи, но фанфарон и хвастун. Впрочем, был весьма приятный в обществе господин и с хорошими манерами». В 1838 г. Дорохов в припадке гнева исколол кинжалом отставного ротмистра Сверчкова, опять был разжалован в солдаты, хотя от раны в ногу сильно хромал, и отправлен на Кавказ. Там опять выдавался отчаянною храбростью, опять выслужился в офицеры. Четырнадцать лет он провел в непрерывных боях, несколько раз еще был ранен и в 1852 г. погиб от чеченской пули во время истребления мятежных аулов.

Лев Толстой в «Войне и мире» при обрисовке Долохова воспользовался некоторыми внешними чертами жизни Дорохова, но, конечно, Долохов в романе гораздо сложнее и оригинальнее элементарного, импульсивного буяна-мордобойца Дорохова.

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ДУРОВ
(Род. в 1799 г.)

Брат «девицы-кавалериста» Н. А. Дуровой. Служил в гвардии, вышел в отставку штабс-капитаном. В 1826 г. назначен был городничим в Сарапул. Пушкин познакомился с ним в 1829 г., в Кисловодске, где Дуров «лечился от какой-то удивительной болезни, вроде каталепсии, и играл с утра до ночи в карты». Цинизм Дурова восхищал и удивлял Пушкина; он постоянно заставлял Дурова что-нибудь рассказывать из своих приключений и хохотал от души. С утра он отыскивал Дурова и поздно вечером расставался с ним. Вместе они выехали и из Кисловодска в Россию. Интересна запись Пушкина о Дурове как свидетельство, чем привлекал он любопытство Пушкина. Дуров всегда готов был

биться об заклад, и о чем бы то ни было. Говорили ли о женщине, — «Хотите со мной биться об заклад, — прерывал Дуров, — что через три дня она меня полюбит?» Стреляли ли в цель из пистолета, — Дуров предлагал стать в двадцати пяти шагах и бился о 1 000 рублей, что вы в него не попадете. «Страсть его к женщинам была также замечательна, — рассказывает Пушкин. — Бывши городничим, влюбился он в одну рыжую бабу, осужденную к кнуту, в ту самую минуту, как она уже была привязана к столбу, а он по должности своей присутствовал при ее казни. Он шепнул палачу, чтоб он ее поберег и не трогал ее прелестей, белых и жирных, что и было исполнено; после чего Дуров жил несколько дней с прекрасной каторжницею». Дуров помешан был на одном проекте: ему непременно хотелось иметь сто тысяч рублей. В дороге Дуров часто будил ночью Пушкина:

— Александр Сергеевич, Александр Сергеевич! Как бы, думаете вы, достать мне сто тысяч?

Однажды Пушкин ему сказал, что на его месте он бы их украл.

— Я об этом думал.

— Ну, что же?

— Мудрено: не у всякого в кармане можно найти сто тысяч, а зарезать или обокрасть человека за безделицу не хочу, у меня есть совесть.

— Ну, так украдьте полковую казну.

— Я об этом думал.

— Что же?

— Это можно сделать летом, когда полк в лагере, а фура с казною стоит у палатки полкового командира. Можно накинуть на дышло длинную веревку и припрячь издали лошадей, а там на ней и ускакать: часовой, увидя, что фура скачет без лошадей, вероятно, испугается и не будет знать, что делать; в двух или трех верстах можно разбить фуру, а с казною бежать. Но тут много также неудобств.

Нельзя было придумать несообразности и нелепости, о которой бы Дуров не подумал. Последний его проект был такой: выманить эти деньги у англичан, подстрекнув их народное самолюбие и в надежде на их любовь к странностям. Он хотел обратиться к ним со следующим письмом: «Гг. англичане! Я бился об заклад об 10 000 рублей, что вы не откажетесь мне дать взаймы 100 000 рублей. Гг. англичане, избавьте меня от проигрыша, на который навязался я, в надежде на ваше всему свету известное великодушие». Дуров просил Пушкина похлопотать об этом в Петербурге через английского посланника, взяв с Пушкина честное слово, что сам он не воспользуется его проектом.

По возвращении с Кавказа Дуров за обнаруженные большие упу-

щения в полиции был уволен от должности, но года через два, по ходатайству Пушкина перед губернатором, назначен был городничим в Елабугу. Там в 1834 г. он попал под суд за неправильные действия при рекрутском наборе. В 1839 г., по протекции в Петербурге, его опять назначили городничим в Сарапул. Был он, по отзывам обывателей, барин «простой»: «десяток яиц брал». С каждого нищего полагался у него оброк — 5 рублей, и ходи год. Подозрительные люди также вносили надлежащий налог.

IX

ПОЕЗДКА НА ВОСТОК

Задумав писать о Пугачеве, Пушкин в августе 1833 г. выехал в путешествие, имевшее целью посетить места, в которых протекала деятельность Пугачева. Он посетил Казань, Симбирск, Оренбург и Уральск. К 1 октября был уже у себя в Болдине.

КАРЛ ФЕДОРОВИЧ ФУКС
(1776—1846)

Старик-немец, профессор казанского университета, доктор медицины геттингенского университета. Приехал в Россию в 1800 г., служил полковым врачом. В 1805 г. был назначен профессором «натуральной истории» в только что открытый казанский университет. Это было еще время, когда начальство говорило профессорам «ты», не подавало им руки и не разрешало в своем присутствии садиться. В течение долголетней своей службы в университете Фукс читал лекции по самым разнообразным естественно-научным и медицинским предметам, был деканом медицинского факультета, ректором университета. Энциклопедичность его знаний и интересов была изумительна. Он много сделал в области медико-санитарного, этнографического, археологического, исторического, ботанического, метеорологического изучения Поволожья. Напечатал ряд трудов. При проезде через Казань его посещали самые выдающиеся

ученые с европейскими именами — Александр Гумбольдт, Гакстгаузен, Кастрен и др. Фукс занимался также врачебною практикою и был одним из популярнейших казанских врачей.

Преподавал он с увлечением, умел заинтересовать слушателей своим предметом. С. Т. Аксаков вспоминает, как любовно учил его Фукс технике накалывания бабочек на булавку. Был человек добрейшей души, лечил бедных бесплатно, помогал им; встретив на улице нищего, совал ему в руку первую попавшуюся в кармане ассигнацию. Но воля начальства, даже самая беззаконная, была для него нерушимым законом. При нем попечитель казанского учебного округа, знаменитый М. Л. Магницкий, произвел полный разгром университета; уволил за вольнодумство одиннадцать профессоров, всеми способами искоренял в университете вольный дух, требовал, чтобы все науки, даже медицинские, основывались на священном писании. Фукс, бывший в это время ректором, покорно сочинял по указанию Магницкого соответственные инструкции преподавателям, предлагал Аракчеева в почетные члены университета, даже покрывал денежные растраты Магницкого. Когда эти растраты были обнаружены ревизией и Магницкий уволен от должности, Фукс в присутствии совета получил выговор министра за действия в ущерб казне по денежным расчетам с Магницким. Впоследствии Фукс председательствовал в комитете, скандально изгнавшем из университета профессора Жобара (см. гл. V «Жобар»).

В 1821 г., сорока пяти лет, профессор Фукс женился на шестнадцатилетней девушке-сироте А. А. Апехтиной. Венчание происходило в деревне под Казанью. В день свадьбы профессор отправился с утра в лес ловить бабочек и совершенно забыл о предстоящем торжестве. Гости были в тревоге, невеста в отчаянии. Разосланная во все концы прислуга отыскала в лесу жениха и привела его домой. Брак оказался очень счастливым, супруги жили душа в душу.

Приехав в Казань, Пушкин поспешил познакомиться с Фуксом как с знатоком местного края. Фукс возил его к купцу Крупенникову, который юношею был захвачен в плен Пугачевым, сообщил и сам много ценных сведений. По словам жены Фукса, Пушкин горячо благодарил профессора и сказал:

— Как вы добры, Карл Федорович, как дружелюбно и приветливо принимаете нас, путешественников. Для чего вы это делаете? Вы теряете вашу приветливость понапрасну: вам из нас никто этим не заплатит. Мы так не поступаем, мы в Петербурге живем только для себя.

При этом он так сжал руку профессора, что своими щегольскими полувершковыми ногтями оставил на ней следы, не сходившие несколько дней. Жене своей Пушкин сообщил: «Фукс одолжил меня очень, и я

рад, что с ним познакомился». А в одном из примечаний к «Истории пугачевского бунта» писал: «Профессору К. Ф. Фуксу, человеку столь же ученому, как и любезному и снисходительному, обязан я многими любопытными сведениями касательно эпохи и стороны, здесь описанных». Уезжая из Казани, Пушкин просил Фукса собирать материалы, касающиеся пребывания Пугачева в Казани. Четыре года Фукс с неусыпным старанием собирал все рукописные и изустные сказания казанских старожилов, очевидцев тогдашних происшествий. Но Пушкин умер, и послать ему собранный материал Фуксу не пришлось.

АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА ФУКС
(1805—1853)

Поэтесса. Жена К. Ф. Фукса. Рожденная Апехтина, дочь казанского городничего, рано оставшаяся круглой сиротой. Несмотря на почти тридцатилетнюю разницу в возрастах, брак ее с профессором Фуксом был редкий по своей хорошей и серьезной гармоничности. Александра Андреевна так писала в стихотворном обращении к мужу:

Покой с тобою мы вкушаем
Под сенью кротких, мудрых муз;
Блаженства выше мы не знаем,—
И крепок с ними наш союз.

Каждый из супругов сумел приобщить другого к кругу своих интересов. Профессор, дотоле совершенно чуждый литературе, стал ею интересоваться, восхищался талантом жены, давал сюжеты для ее исторических поэм и рассказов, снабжал их учеными примечаниями. Жена, со своей стороны, заразилась от мужа любовью к этнографии и истории, предпринимала по его просьбе этнографические поездки, часто дававшиеся ей очень нелегко; напечатала ряд исследований о быте чувашей, черемисов, вотяков. Дом Фуксов в течение двадцати пяти лет являлся культурнейшим центром Казани, у них находили радушнейший прием все, интересовавшиеся наукой и литературой. На воскресных литературных вечерах Фуксов можно было встретить и местного профессора, и заезжего знаменитого ученого, и старого поэта державинской школы Г. Н. Городчанинова, и молодого поклонника тогда у нас запрещенного Гейне, местных литераторов И. А. и Н. И. Второвых, поэтов М. Д. Деларю, Д. П. Ознобишина. Проездом в свои деревни бывали Н. М. Языков и Е. А. Боратынский. Поэты самым восторженным образом воспевали хозяйку. Языков, например, писал:

Завиден жребий ваш: от обольщений света,
От суетных забав, бездушных дел и слов
На волю вы ушли, в священный мир поэта,
В мир гармонических трудов.
Божественным огнем красноречив и ясен
Пленительный ваш взор, трепещет ваша грудь,
И вдохновенными заботами прекрасен
Открытый жизненный ваш путь...
и т. д.

И Боратынский:

Вы ль дочерь Евы, как другая:
Вы ль, перед зеркалом своим
Власы роскошные вседневно убирая,
Их блеском шелковым любуясь перед ним,
Любуясь ясными очами,
Обворожительным лицом,
Блестящей Грации, пред вами
Живописуемой услужливым стеклом, —
Вы ль угадать могли свое предназначенье!
Как, вместо женской суеты,
В душе довольной красоты
Затрепетало вдохновенье?
Прекрасный, дивный миг! Возликовал Парнас,
Хариту, как сестру. Камены окружили...
и т. д.

Не следует, однако, думать, что подобные стихи были непосредственным проявлением чувства поэтов, очарованных творчеством и красотою г-жи Фукс. Дамам того времени поэты по долгу вежливости подносили хвалебные стихи, как коробку конфет, и дамы умели выманивать у них такие подарки. По поводу г-жи Фукс Боратынский писал из Казани И. Киреевскому: «Прошу Языкова пожалеть обо мне: одна из здешних дам, женщина степенных лет, не потерявшая еще притязаний на красоту, написала мне послание в стихах без меры, на которое я должен отвечать». Языкову не было оснований жалеть Боратынского: сам он оказался совершенно в таком же положении.

Г-жа Фукс, судя по дошедшему портрету, была собою недурна, но стихи ее очень посредственны, серы и неинтересны. Жить она любила широко, к чему давали возможность большие заработки мужа, в доме было тридцать человек прислуги, что очень не нравилось скромному профессору. В доме главенствовала жена. Зная привычку мужа совать на улице в руку нищего первую попавшуюся в кармане ассигнацию, она дала кучеру строгий приказ не останавливать в таких случаях лошади, а по приезде мужа ревизовала его карманы и конфисковала деньги, полученные им от врачебной практики. Профессор добродушнейшим

образом наблюдал эти операции жены. Единственное свое свободное время после обеда Карл Федорович любил с трубочкой в зубах посидеть у жены, поговорить о новостях дня, о литературе и литературных занятиях Александры Андреевны, а потом отправлялся лечь отдохнуть. Александра Андреевна умела держаться независимо. Вскоре после выхода ее замуж за нею попытался приволокнуться попечитель округа, всемогущий М. Л. Магницкий, большой ловелас. Он приехал к ней на дачу в отсутствие мужа, выражал удивление, что многие порядочные женщины выходят замуж за негодных людей, называл Фукса извергом-эгоистом, который не думает о жене и заботится только о собственных удовольствиях. Александра Андреевна выгнала его вон и отказала от дома.

Посетив профессора Фукса, Пушкин познакомился и с его женою. Он дружески пожал ей руку и ласково сказал:

— Нам не нужно с вами рекомендоваться; музы нас познакомили заочно, а Боратынский еще более.

(Боратынский только в этот день уехал, и Пушкин жил в Казани вместе с ним.) Пушкин провел у Фуксов вечер. Профессора позвали к больному, и г-жа Фукс осталась с Пушкиным наедине. Застенчивая провинциалка смутилась, но Пушкин своею приветливою любезностью заставил ее с ним говорить, как с коротким знакомым. Они сидели в кабинете г-жи Фукс. Пушкин читал стихи, писанные к ней Языковым, Боратынским, Ознобишиным, очень хвалил стихи Языкова. Потом заставил хозяйку читать собственные ее стихи, несколько раз останавливал чтение похвалами, а иные стихи просил повторить и прочитывал сам. Потом хорошо разговорились. Пушкин расспрашивал Александру Андреевну о ее семье, о детстве, сам много говорил о духе времени, о его влиянии на литературу, о современных поэтах. Воротился профессор. Сели ужинать. За ужином Пушкин говорил о магнетизме, о суевериях, рассказал о давнем предсказании петербургской гадалки, что его ждет насильственная смерть. Он просидел у Фуксов до часу ночи и простился как со старыми знакомыми. Приглашал г-жу Фукс приехать в Петербург.

На следующий день Пушкин еще до света покинул Казань, оставив г-же Фукс такую записку: «С сердечною благодарностью посылаю вам мой адрес и надеюсь, что обещание ваше приехать в Петербург не есть одно любезное приветствие. Примите, милостивая государыня, изъявление моей глубокой признательности за ласковый прием путешественнику, которому долго памятно будет минутное пребывание его в Казани». А жене своей Пушкин через четыре дня писал с дороги: «В Казани таскался я по окрестностям, по полям, по кабакам и попал на

вечер к одному синему чулку, сорокалетней несносной бабе с вощеными зубами и с ногтями в грязи. Она развернула тетрадь и прочла мне стихов с двести, как ни в чем не бывало. Боратынский написал ей стихи и с удивительным бесстыдством расхваливал ее красоту и гений. Я так и ждал, что принужден буду ей написать в альбом, но бог помиловал; однако она взяла мой адрес и стращает меня перепискою и приездом в Петербург, с чем тебя и поздравляю. Муж ее, умный и ученый немец, в нее влюблен и в изумлении от ее гения». Пушкин неправильно называет г-жу Фукс «сорокалетней бабой»: ей в то время было всего двадцать восемь лет. Впрочем, — и Боратынский за год перед тем, как мы видели, писал о ней как о «женщине степенных лет, не потерявшей еще притязаний на красоту». Году рождения дамы не всегда можно доверять. Многих изумляет несоответствие письма Пушкина к жене с тем, что он говорил и писал самой г-же Фукс. Но Пушкин о своих знакомствах с дамами обычно писал ревнивой жене именно в таком стиле, с самими же дамами считал себя обязанным быть изысканно-любезным и осыпать их комплиментами.

Г-жа Фукс по отъезде Пушкина написала очень длинное и очень плохое стихотворение «На проезд А. С. Пушкина через Казань». Во сне к ней является «какой-то чудный гений» с Парнаса и «торопливо» говорит ей:

Как должна ты быть счастлива:
Кто же посетил твой дом?
Тот поэт, чье посещение
Праздник славный и у нас:
Мы в тот день все в восхищеньи,
И ликует весь Парнас.
С поздравительным приветом
От богов к тебе лечу
И таинственным их светом
Озарить тебя хочу.

И рассказывает, как на Геликоне в честь Пушкина Аполлон давал пир, сам угощал гостей и разносил бокалы, и все гости запели восторженный гимн в честь Пушкина. В следующем году г-жа Фукс послала Пушкину только что вышедшую книжку своих стихов, где были и эти стихи. В сопроводительном письме она писала, что «ласкает себя надеждою иметь удовольствие читать ответ» на ее стихотворение о Пушкине. Пушкин ответил очень любезно: «С жадностью прочел я прелестные ваши стихотворения, и между ними послание ваше ко мне, недостойному поклоннику вашей музы». Однако от ответных стихов уклонился. «В обмен вымыслов, исполненных прелести, ума и чувствительности,— писал он,— надеюсь наднях доставить вам отвратительно ужас-

ную историю Пугачева. Не браните меня. Поэзия, кажется, для меня иссякла. Я весь в прозе». Впоследствии Пушкин обращался к г-же Фукс с просьбой «украсить произведениями ее пера» его журнал «Современник». Г-жа Фукс поспешила послать пачку своих стихов, но в «Современнике» они не появились.

ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ПЕРОВСКИЙ
(1794—1857)

Оренбургский генерал-губернатор. Побочный сын графа А. К. Разумовского от М. М. Соболевской; фамилию получил от подмосковного села Перова, имения Разумовского. Окончил курс в московском университете, был военным, ранен при Бородине, во время занятия Москвы французами попал к ним в плен и получил свободу после взятия Парижа в 1814 г. Состоял адъютантом при вел. князе Николае Павловиче, неотступно находился при нем в день 14 декабря и был здесь ранен. В турецкую войну снова был тяжело ранен в грудь, получил Георгия 4 степени. В 1833 г. назначен оренбургским военным губернатором, проявил незаурядные организаторские и административные дарования; однако предпринятый им в 1839 г. поход на Хиву кончился неудачей. Перовский был близок со многими писателями — Пушкиным, Карамзиным, Жуковским, Вяземским, Гоголем. Был он человек образованный, с цельным, самостоятельным характером, энергичный и деятельный. Остро чувствовал свое «незаконное» происхождение, — в опасении унижений и насмешек был в этом отношении очень горд и обидчив. Необыкновено нравился женщинам и имел у них большой успех. Убранство его комнат было оригинальное: рабочий стол был обставлен рыцарями в стальных латах, стены увешаны мечами, ружьями и пистолетами; рядом — комната, устланная богатыми коврами, с широкими турецкими диванами, на полу — богатый кальян, в стене — огромное зеркало, представлявшее скрытую дверь. Перовский говорил: «Здесь покоюсь я в объятиях Морфея, когда мне отказывают в других». С некоторым перерывом он управлял оренбургским краем до 1856 г., — устроил в степи многочисленные укрепления от набегов кочевников, учредил пароходство на Аральском море, взял штурмом кокандскую крепость Ак-мечеть и заключил с хивинским ханом выгодный для России договор. В 1855 г. возведен в графское достоинство.

С Пушкиным Перовский находился в приятельских отношениях, они были на «ты». Приехав в Оренбург, Пушкин остановился у Перовского. Засиделись до поздней ночи. Утром Пушкина разбудил громкий

хохот. Перовский держал в руках письмо и хохотал. В письме нижегородский губернатор М. П. Бутурлин приятельски предупреждал Перовского, что в Нижнем был Пушкин и отправился в Оренбург, яко бы с целью собирания материалов для истории пугачевского бунта; но, вероятно, это — только предлог, а действительная цель — секретная ревизия действий оренбургских чиновников, о чем он, Бутурлин, и считает своим дружеским долгом предупредить Перовского. Перовский оказал Пушкину всяческое содействие в собирании нужных Пушкину материалов по Пугачеву. 20 сентября Пушкин уехал из Оренбурга. В этот же только день начала из Петербурга медленное свое плавание секретная бумага петербургского обер-полицмейстера, сообщавшая, что Пушкин намерен посетить казанскую и оренбургскую губернии, а как он состоит под секретным полицейским надзором, то и предлагается подлежащим властям учинить секретный надзор за образом жизни и поведением его. 9 октября тот же нижегородский губернатор Бутурлин уже в официальной секретной бумаге уведомил Перовского об этом отношении петербургского обер-полицмейстера. Перовский получил бумагу 23 октября и сделал на ней пометку: «Отвечать, что сие отношение получено через месяц по отбытии г. Пушкина отсюда, а потому, хотя во время кратковременного его в Оренбурге пребывания и не было за ним полицейского надзора, но как он останавливался в моем доме, то я тем лучше могу удостоверить, что поездка его в Оренбургский край не имела другого предмета, кроме нужных ему исторических изысканий».

КОНСТАНТИН ДЕМЬЯНОВИЧ АРТЮХОВ

Инженер-капитан, директор оренбургского Неплюевского военного училища. Записной охотник. Был очень популярен и любим в Оренбурге как умный и веселый собеседник, не унывавший никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах. Самые пустые остроты умел говорить так, что все хохотали. Он стрелял вальдшнепа «по сарафану», утку «по салопу»; зайцу «задавал прыску вдогонку», а, убив, никогда не забывал отдать ему последнюю честь, приложив руку к козырьку.

Когда Пушкин приехал в Оренбург, ему захотелось сходить в баню. В. И. Даль рассказывает: «Я свел его в прекрасную баню к инженер-капитану Артюхову, добрейшему, умному, веселому и чрезвычайно забавному собеседнику. В предбаннике расписаны были картины охоты, любимой забавы хозяина. Пушкин тешился этими картинами, когда веселый хозяин, круглолицый, голубоглазый, в золотых кудрях, вошел, упрашивая Пушкина ради первого знакомства откушать пива или меду.

Пушкин старался быть крайне любезным со своим хозяином и, глядя на расписной предбанник, завел речь об охоте. «Вы охотитесь, стреляете?» — «Как же-с, понемножку занимаемся и этим; не одному долгоносому довелось успокоиться в нашей сумке». — «Что же вы стреляете, уток? — «Уто-ок-с?» — спросил тот, вытянувшись и бросив какой-то сострадательный взгляд. — «Что же? Разве уток не стреляете?» — «Помилуйте-с, кто будет стрелять эту падаль! Это какая-то гадкая старуха, валяется в грязи — ударишь ее по загривку, она свалится боком, как топор с полки, бьется, валяется в грязи, кувыркается... тьфу!» — «Так что же вы стреляете?» — «Нет-с, не уток. Вот как выйдешь в чистую рощицу, как запустишь своего Фингала, — а он нюх-нюх направо — нюх налево — и стойку: вытянулся, как на пружине, — одеревянел, окаменел! Пиль, Фингал! Как свечка загорелся, столбом взвился»... — «Кто, кто?» — перебил Пушкин с величайшим вниманием и участием. — «Кто-с? Разумеется кто: слука, вальдшнеп. Тут царап его по сарафану... А он (продолжал Артюхов, раскинув руки врозь, как на кресте), — а он только раскинет крылья, головку набок, — замрет в воздухе, умирая, как Брут!»

Пушкин расхохотался. Через год он прислал Артюхову свою «Историю пугачевского бунта» и, забыв, с кем сравнивал Артюхов умирающего вальдшнепа, написал на книге: «Тому офицеру, который сравнивает вальдшнепа с Валенштейном». Умер Артюхов в 1840 г.

X

ЖЕНА И ЕЕ РОДСТВЕННИКИ

АФАНАСИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГОНЧАРОВ
(1760—1832)

Дед жены Пушкина. В восемнадцатом веке широко славились промышленные предприятия энергичных калужских купцов Афанасия Абрамовича Гончарова и сына его Николая. Бумага, вырабатывавшаяся на их бумажной фабрике, считалась лучшею в России, производимые ими парусные полотна вошли в такую славу, что из Англии требовали полотен именно гончаровской фабрики. Гончаровы стали миллионерами, получили дворянство, владели несколькими тысячами душ крестьян. Сын Николая, Афанасий, уродился не в деда и отца. Он быстро стал растрачивать доставшееся ему колоссальное состояние. Жизнь свою он превратил в сплошной праздник, в имении «Полотняный завод» выстроил огромный дворец, обставленный с безумною роскошью; всегда толпы гостей, пиры, балы, концерты, охоты без перерыва и без конца; деньги разбрасывал без счета. К концу его жизни на имуществе Гончаровых лежало долгу около полутора миллионов рублей.

Когда Пушкин стал женихом Натальи Николаевны, он обратился к Афанасию Николаевичу с следующим письмом: «Милостивый Государь Афанасий Николаевич! С чувством сердечного благоговения обращаюсь к вам, как главе семейства, которому отныне принадлежу. Благословив Наталию Николаевну, благословили вы и меня. Вам обязан я больше

нежели чем жизнью. Щастие вашей внучки будет священная, единственная моя цель и все чем могу воздать вам за ваше благодеяние. С глубочайшим уважением, преданностью и благодарностью честь имею быть, милостивый государь, вашим покорнейшим слугою». В мае 1830 г. Пушкин гостил несколько дней в «Полотняном заводе» и лично познакомился с Афанасием Николаевичем. Гончаров поспешил использовать благодарность Пушкина за его «благодеяние» и решил через жениха внучки несколько поправить пошатнувшиеся свои дела. В подвалах его имения лежала колоссальная статуя Екатерины II, когда-то заказанная его отцом в Берлине для постановки в «Полотняном заводе» в память посещения завода Екатериной. Ввиду будто бы неудачного исполнения статуи Гончаров поручил Пушкину похлопотать о разрешении продать статую на металл, уверяя, что ему за нее дают сорок тысяч рублей. Пушкин, преодолевая неохоту, написал Бенкендорфу; разрешение было дано. Но тогда оказалось, что статуя стоит всего семь тысяч рублей. «В таком случае,—заявил дедушка,—не для чего ее тревожить в ее уединении». Гончаров имел сильно преувеличенное мнение о степени влияния Пушкина в высших сферах. Он его попросил еще похлопотать о «временном вспоможении» ему тысяч в двести-триста. Пушкин с скрытым раздражением писал из Петербурга невесте: «...вы не можете себе представить, как это меня затрудняет. Я не имею кредита, который ваш дедушка мне приписывает». Тем не менее Пушкин виделся по этому делу и с Бенкендорфом, и с министром финансов Канкриным, однако безрезультатно. Афанасий Николаевич сердился, обвинял Пушкина в недостатке усердия, настаивал, чтобы он обратился лично к императору. Пушкин почтительно отвечал уже из Болдина, в сентябре 1830 г.: «Примите, сделайте милость, мое оправдание. Не осмелился я взять на себя быть ходатаем по вашему делу единственно потому, что опасался получить отказ, не впору приступая с просьбою к государю или министрам. Сношения мои с правительством подобны весенней погоде: поминутно то дождь, то солнце. А теперь нашла тучка...»

НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ ГОНЧАРОВ
(1788—1861)

Отец Н. Н. Гончаровой-Пушкиной. Воспитывался в роскоши и безделье, проживая то в Москве, то в богатом калужском поместье Гончаровых «Полотняном заводе». В 1807 г. женился на Н. И. Загряжской. Вскоре ему пришлось убедиться в полном расстройстве дел отца. Н. А-ч обладал энергией своих дедов; он уговорил отца уехать за границу, а сам

в несколько лет успел значительно поправить пошатнувшиеся дела. Но воротился отец, отстранил его от дел и снова принялся за свои причуды. В 1814 г. Н. А. упал с лошади, ушиб голову. После этого у него стали обнаруживаться признаки умопомешательства, склонность к которому была у него наследственной от душевно-больной матери. В 1823 г. он совсем сошел с ума. Болезнь его гнетом лежала на всей семье. Н. А. жил с семьею, нередко впадал в буйство и тогда гонялся за женою с ножом.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА ГОНЧАРОВА
(1785—1848)

Теща Пушкина. Генерал-лейтенант Ив. Ал. Загряжский, любимец Потемкина, очень богатый помещик, имел жену, несколько человек детей. Он поехал за границу и в Париже, при первой живой жене, женился на француженке. С нею он прижил дочь — Наталью Ивановну. С новой женою и дочерью Загряжский приехал к прежней жене и детям. К удивлению, все обошлось благополучно. Обе жены очень подружились, а его прогнали. Первая жена не отличала Наталью Ивановну от своих детей и дала ей долю в наследстве. Она с детьми жила в Петербурге, муж основался на холостую ногу в Москве, жил пышно и весело. Загряжские были приняты при дворе. Красавица Наталья Ивановна сделалась участницей дворцовой любовной истории: в нее влюбился офицер Охотников, любовник императрицы Елизаветы Алексеевны, жены Александра I. Императрица ее приревновала. В начале 1807 г. Наталья Ивановна вышла в Петербурге за Ник. Аф. Гончарова.

В конце двадцатых годов, когда Пушкин познакомился с Гончаровыми, Наталье Ивановне шел пятый десяток. Гончаровы жили в Москве в собственном доме на углу Б. Никитской и Скарятинского пер. Имущественные дела их были сильно расстроены. Свекор Афанасий Николаевич безумно расточал свои богатства, сумасшедший муж ни во что не мешался. В собственном имении Натальи Ивановны Ярополче Волоколамского уезда было около двух тысяч душ, но хозяйство велось бестолково, и доходов поступало мало. У Натальи Ивановны никогда не было денег, часто нуждались в самом необходимом. Когда Пушкин, женихом, приезжал к ним в дом, Наталья Ивановна старалась выпроводить его до обеда или завтрака. Детей она держала в большой строгости, требовала, чтобы на все они глядели из ее рук. Была деспотична, самодурна и большая ханжа. В доме была особенная молельня со множеством икон и лампадок, местный приходской священник по субботам и канунам праздников служил в ней всенощную. Наталью Ивановну постоянно

окружали монахини и странницы, они льстили ей, вели душеспасительные беседы и пересыпали их сплетнями и наговорами на детей и слуг, не сумевших им угодить. Тогда следовала грозная расправа. Современница вспоминает: «Наталья Ивановна была довольно умна и несколько начитана, но имела дурные, грубые манеры и какую-то пошлость в правилах».

Мы не знаем, по каким мотивам Наталья Ивановна в конце концов дала согласие на брак дочери с Пушкиным, но симпатий между нею и Пушкиным не было. Ей не нравилось его религиозное вольнодумство, его отрицательное отношение к Александру I, перед которым сама она благоговела; больше всего не нравилось, что Пушкин не чиновен, не богат, и что дочь ее делает карьеру очень не блестящую. Стычки, колкости, неприятности посыпались на Пушкина задолго до того, как Наталья Ивановна сделалась его официальной тещей. Несколько раз свадьба висела на волоске. Перед отъездом Пушкина в Болдино в августе 1830 г. мать невесты устроила ему совершенно дикую сцену, осыпала его самыми оскорбительными обвинениями. «Московские сплетни, — писал Пушкин Плетневу, — доходят до ушей невесты и ее матери, отселе размолвки, колкие обиняки, ненадежные примирения...» Когда Пушкин жил в Болдине, Наталья Ивановна не позволяла дочери самой писать к нему письма, а диктовала ей наставления, чтобы Пушкин соблюдал посты, молился богу и т. п., даже заставляла писать жениху колкости. Но дочь все это помещала в постскриптуме к письмам самым нежным, так что Пушкин уже понимал, откуда эти приписки. Воротившись зимою в Москву, Пушкин нашел тещу опять за что-то на него озлобленною. «Насилу с нею сладил, — писал он Плетневу, — но, слава богу, сладил». Но стычки и колкости продолжались. Наталья Ивановна говорила Пушкину:

— Вы должны помнить, что вступаете в наше семейство.

Пушкин на это отвечал:

— Это дело вашей дочери, — я на ней хочу жениться, а не на вас.

Пушкин настаивал, чтобы свадьба была поскорее, но Наталья Ивановна тянула время и, наконец, объявила, что у нее нет денег на приданое. Пушкин заявил, что готов взять ее дочь и без приданого, но на это Наталья Ивановна не согласилась. Тогда Пушкин дал ей взаймы одиннадцать тысяч рублей на приданое, хорошо, конечно, зная, что назад он их не получит. Много из этих денег пошло на разные пустяки и на собственные наряды Натальи Ивановны. Она преподнесла дочери залоговые квитанции на драгоценные уборы — бриллианты и жемчуга, предоставляя Пушкину самому выкупить их. Настал день свадьбы. Вдруг Наталья Ивановна дала знать Пушкину, что свадьбу надо еще отло-

жить, что у нее нет денег — на карету. Пушкин опять послал денег.

Он рассчитывал жить с женою в Москве, нанял квартиру на Арбате, во втором этаже. Дом этот сохранился до сих пор: № 53, против почты, недалеко от Денежного переулка. Однако Наталья Ивановна очень скоро сделала Пушкину пребывание в Москве совершенно нестерпимым. Она наговаривала на него дочери, изображала ей его как человека ненавистного, жадного, презренного ростовщика (!), говорила ей: «С твоей стороны глупо позволять мужу...» и т. п. Пушкин переехал с женою в Петербург.

Наталья Ивановна с двумя незамужними дочерьми, Екатериной и Александрой, поселилась в своем имении Яполче. С каждым годом она все опускалась. Пьянствовала с утра до вечера, жила со всеми своими лакеями. С дочерьми обращалась сурово и придирчиво. Жизнь девушек стала совсем невыносимой. В 1834 г. Наталья Николаевна, несмотря на видимое нежелание Пушкина, пригласила сестер переехать к ней в Петербург. Сестры поселились с Пушкиными на одной квартире (платя за свое помещение и содержание). Отношения всех дочерей с Натальей Ивановной были, видимо, очень далекие. После смерти Пушкина Наталья Николаевна с детьми и сестрою Александрой поселилась не у матери в Яполче, а у старшего брата в «Полотняном заводе».

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ПУШКИНА
(1812—1863)

Жена поэта. Рожденная Гончарова. Детство было нерадостное. Сумасшедший отец, взбалмошная и деспотическая ханжа-мать. В самом строгом монастыре послушниц не держали в таком слепом повиновении, как сестер Гончаровых. Если, случалось, какую-либо из них призывали в неурочное время к матери, то сердце у призванной замирало, а рука перед дверью творила крестное знамение. Наталья Ивановна строго наблюдала, чтобы дочери никогда не подавали и не возвышали голоса, не пускались с гостями ни в какие серьезные рассуждения, а, когда заговорят старшие, молчали бы и слушали. Вставать они должны были с зарею, ложиться в десять вечера; каждую субботу ходили ко всенощной, каждое воскресение — к обедне. Читать книги с мало-мальски романическим содержанием строжайше запрещалось. За провинности мать била дочерей по щекам. В основу их образования было положено тщательное изучение танцев и знание французского языка лучше своего родного.

Наталья Николаевна была младшею из трех дочерей. Красоты она была исключительной. Когда ей исполнилось шестнадцать лет, и девушку, по обычаю, стали вывозить в свет, — гул восхищения прокатился по всем гостиным. Среди московских красавиц она сразу выдвинулась на первое место, рядом с блестящей Алябьевой. В Алябьевой видели олицетворение красоты классической, в Гончаровой — красоты романтической. Пушкин увидел Наталью Николаевну на балу в первый же год появления ее в московском свете, в 1828 г. Она была в белом воздушном платье, с золотым обручем на голове. Пушкин был ей представлен и тогда же сказал, что участь его будет навеки связана с нею. Граф Ф. И. Толстой-Американец, старинный знакомый Гончаровых, по просьбе Пушкина съездил к ним и испросил позволения привезти Пушкина. Пушкин стал бывать у Гончаровых. Мы не знаем, какой носило характер его общение с Натальей Николаевной. В это же время Пушкин часто посещал в Москве семейство Ушаковых; там, с двумя дочерьми, у него происходило живое общение на почве литературных и музыкальных интересов, ему там восторженно поклонялись как поэту, он был блестящ, весел, шаловлив. Наталья же Николаевна, по некоторым сообщениям, в то время совсем еще даже не читала Пушкина, вообще же всю жизнь была к поэзии совершенно равнодушна. И какое могло быть духовное общение между Пушкиным и малообразованной шестнадцатилетней девочкой, обученной только танцам и уменью болтать по-французски? Он созерцал ее, «благоговея богомольно перед святыней красоты», горел любовью, но чувствовал, что она к нему равнодушна, что ему нечем ее заинтересовать и увлечь. И был с нею застенчив, робок, как в первый раз влюбленный мальчик. «Карс», — так он называл ее у Ушаковых — по имени турецкой крепости, признававшейся неприступной. И вообще в семье Гончаровых он ощущал холод и стеснение. Матери он не нравился. Несмотря на все это, в конце апреля 1829 г. Пушкин, через того же Толстого-Американца, посватался за Наталью Николаевну. Напрямик ему не отказали, но отозвались, что надо подождать и посмотреть, что Наташа еще слишком молода и т. п. Пушкин в ту же ночь уехал на Кавказ в действующую армию. «Спросите, — зачем? — писал он впоследствии Гончаровой-матери. — Клянусь, сам не умею сказать; но тоска непроизвольная гнала меня из Москвы; я бы не мог в ней вынести присутствия вашего и ее».

Осенью Пушкин возвратился с Кавказа в Москву. Было утро. У Гончаровых дети сидели в столовой за чаем, мать еще спала. Вдруг стук на крыльце, и вслед затем в самую столовую влетела из прихожей калоша. Это Пушкин так торопливо раздевался. Вошел и тотчас же спросил Наталью Николаевну. Но она не посмела выйти без разре-

шения матери. Разбудили Наталью Ивановну. Она приняла Пушкина в постели, — приняла молчаливо и очень холодно. С Наташей ему удалось увидеться, но она отнеслась к нему тоже холодно и невнимательно. Пушкин оробел, у него нехватило решимости объясниться с нею, он уехал в Петербург, по его словам, «со смертью в душе». С болью и досадою сознавалось, что он был смешон в своей робкой застенчивости, что в людях его лет молодой девушке может нравиться никак не робость. В Петербурге Пушкин тосковал, кутил, безудержно играл в карты, порывался уехать куда-нибудь подальше, просился во Францию, в Италию; если туда нельзя, то в Китай с отправлявшеюся туда русскою миссией. И писал:

Поедем, я готов: куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать, надменной убегая:
К подножию ль стены далекого Китая,
В кипящий ли Париж, туда ли, наконец,
Где Тасса не поет уже ночной гребец,
Где древних городов под пеплом дремлют мощи,
Где кипарисные благоухают рощи, —
Повсюду я готов. Поедем... Но, друзья,
Скажите: в странствиях умрет ли страсть моя?
Забуду ль гордую, мучительную деву,
Или к ее ногам, ее младому гневу,
Как дань привычную, любовь я принесу?..

В выезде за границу Пушкину было отказано.

Раннею весною 1830 г., в Москве, кн. Вяземский увидел на балу у генерал-губернатора Наталью Николаевну и поручил своему знакомому И. Д. Лужину, который должен был танцовать с Гончаровой, заговорить как бы мимоходом с нею и ее матерью о Пушкине. Мать и дочь отозвались о Пушкине благосклонно и просили ему кланяться. Лужин, приехав в Петербург, передал Пушкину у Карамзиных этот поклон. Пушкин ожил духом, мигом собрался и покатил в Москву. Прямо из кибитки попал на концерт. Первая знакомая, которая ему там встретилась, была Наталья Николаевна. Он посетил Гончаровых. Мать приняла его ласково. Пушкин опять стал бывать у них и в день светлого воскресения, 6 апреля 1830 г., вторично сделал предложение. Почему изменилось у Гончаровых отношение к Пушкину, почему так торопились выдать замуж семнадцатилетнюю блестящую красавицу с самыми заманчивыми возможностями впереди, — мы не знаем. Но предложение Пушкина было принято.

Свершилось то, чего с такою пылкостью и тоскою добивался Пушкин в течение полутора лет. Но в душе у него было смутно и нера-

достно. Прежде всего он ясно сознавал, что невеста вовсе его не любит. Он писал: «Только привычка и продолжительная близость могут доставить мне ее привязанность; я могу надеяться со временем привязать ее к себе, но во мне нет ничего, что могло бы ей нравиться. В ее согласии отдать мне свою руку я могу видеть только свидетельство спокойного равнодушия ее сердца». Одним словом — «стерпится — слюбится». А если не слюбится? Пушкин с тревогой задавал себе вопросы: сохранит ли его жена свое «спокойное равнодушие» среди окружающего красавицу удивления, поклонения, искушений? Ей станут говорить, что только несчастная случайность помешала ей вступить в другой союз, более равный, более блестящий, более достойный ее. Не явится ли у нее сожаление? Не будет ли она смотреть на него, Пушкина, как на препятствие, как на человека, обманом ее захватившего? Не почувствует ли она к нему отвращения? И ко всему, Пушкин не мог не сознавать, что они с Гончаровой вовсе не пара, что ее совершенно не интересует все, чем он живет. И все-таки он неотрывно тянулся к ней. Ослепительная красота, молодость и чистота только что расцветшей девушки пьянили душу сладострастною жаждою обладания и оттесняли в сторону все вставшие сомнения и колебания. С шутливо-циничною откровенностью Пушкин писал княгине Вяземской: «Первая любовь всегда есть дело чувства. Вторая — дело сладострастия. Натали — моя сто тринадцатая любовь». Порою Пушкина охватывал страх перед тем, на что он идет, и у многих друзей было впечатление, что он рад был бы, если бы свадьба расстроилась. Но машина уже катилась по рельсам, красота девушки продолжала будить желания, а в душе была усталость от беспутной холостой жизни, жажда тишины, семейного уюта. Поворачивать было поздно. И Пушкин как зачарованный шел к роковой цели. За неделю до свадьбы он писал другу: «Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и противу женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния, мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было. «Счастье — только на избитых тропах». Мне за тридцать лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся, — я поступаю, как люди, и вероятно не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входили в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью». Последние недели перед свадьбой в душе Пушкина была большая грусть и большая тоска. У друга его Нащокина как-то собрались цыганки, пели; Пушкин попросил цыганку Таню спеть ему что-нибудь на счастье; но у той было свое

сердечное горе, она не подумала и спела хоть и подблюдную, но грустную песню, и в пение вложила всю свою печаль. Пушкин схватился рукою за голову и зарыдал. И сказал:

— Ах, эта ее песня все во мне перевернула, она мне не радость, а большую потерю предвещает!

И уехал, ни с кем не простившись. Накануне свадьбы Пушкин устроил у себя «мальчишник» для ближайших друзей, но был так грустен, что всем стало неловко: веселое прощание с молодостью больше походило на похороны.

18 февраля 1831 г. произошла свадьба в церкви Большого Вознесения на Большой Никитской. Пушкин, в противоположность последним дням, был очень радостен, весел, смеялся, был любезен с друзьями. Но во время обряда, при обмене колец, кольцо Пушкина упало на пол. Потом у него потухла свечка. Он побледнел и сказал:

— Всё — плохие предзнаменования!

Вечером был большой свадебный ужин в новонанятой квартире Пушкина на Арбате. А на следующий день Пушкин встал с постели — да так весь день жены и не видел. К нему пришли приятели, он с ними заговорился, забыл про жену и пришел к ней только к обеду. Она очутилась одна в чужом доме и заливалась слезами.

Началась совместная супружеская жизнь. Сомнительно, чтоб Наталья Николаевна обрела в ней много радостей. «Спокойное равнодушие сердца», — этого слишком мало, чтобы получить удовлетворение и счастие в неистово-страстных объятиях человека, получившего над девушкой права мужа. Как добрая жена Наталья Николаевна исполняла свой супружеский долг, покорно отдавалась мужу. Но... Вот что писал Пушкин:

О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склонясь на долгие моленья,
Ты предаешься мне нежна, без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему,
И разгораешься потом все боле, боле —
И делишь, наконец, мой пламень поневоле.

Познанная таким образом любовь трудно переживается женщиной и накладывает на ее душу печать страдания. Графиня Фикельмон, видевшая супругов через три месяца после свадьбы, писала: «Физиономия мужа и жены не предсказывает ни спокойствия, ни тихой радости в будущем: у Пушкина видны все порывы страстей, у жены — вся меланхолия отречения от себя». И ее поражало «страдальческое выражение лба» молодой жены Пушкина.

О внутренней жизни Натальи Николаевны, об ее переживаниях в сожительстве с Пушкиным мы решительно ничего не знаем. До нас дошло всего два-три письма Натальи Николаевны чисто делового содержания, и то уже после-пушкинской поры ее жизни, мы не знаем ни одного ее письма к жениху и мужу, почти не встречаем указаний на ее переживания в воспоминаниях друзей, кроме лживых, тенденциозных сообщений дочери ее от второго брака А. П. Араповой, — сообщений, в которых нельзя верить ни одному слову. Но можно, во всяком случае, думать, что Наталье Николаевне приходилось переживать много тяжелого. Пушкин жену любил, это несомненно: письма его к ней полны самой нежной заботливости. Но с эгоизмом человека, всею душою живущего в другом деле, он старался по возможности оградить себя от всяких лишних семейных волнений. Нащокин рассказывал о Пушкине— «плакал при первых родах и говорил, что убежит от вторых». И правда, — стал систематически бегать от последующих родов жены. Весною 1835 г., без всякой видимой нужды, ко всеобщему удивлению, он вдруг уехал в деревню, собирался возвратиться «прежде десяти дней, чтобы поспеть к родам Наташи», но — опоздал и приехал, когда жена уже родила. Через год жена должна была опять родить, — опять Пушкин задержался в Москве у Нащокина и по возвращении писал ему: «...я приехал к себе в полночь, и на пороге узнал, что Наталья Николаевна благополучно родила дочь за несколько часов до моего приезда». Эти постоянные его опаздывания обратили на себя внимание и посторонних. Е. Н. Вревская писала мужу: «Наталья Николаевна родила, и Александр Сергеевич приехал опять несколько часов позже». Тяжкое и мучительное для женщины дело — роды, и в это время незаменимо ценны помощь и ласка близкого человека и горько его равнодушное отсутствие. По поводу первого опоздания Пушкина мать его писала дочери: «...радость свидания с мужем так расстроила Наташу, что проболела весь день». Радость ли расстроила родильницу или какое другое чувство, навряд ли это могла знать Надежда Осиповна. Много тяжелых минут приходилось переживать Наталье Николаевне и от ревности. Пушкин не был однолюбом. Он всегда был готов страстно увлечься всякою новою понравившеюся ему женщиной. Женитьба в этом отношении нисколько его не изменила. Дочь историка С. Н. Карамзина в 1834 г. писала: «Жена Пушкина часто и преискренно страдает мучениями ревности, потому что посредственная красота и посредственный ум других женщин не перестают кружить поэтическую голову ее мужа». Однажды, на балу у австрийского посла Фикельмона, Пушкин усердно ухаживал за приехавшей из Мюнхена белокурой красавицей баронессой Крюднер. Жена это заметила и сейчас же уехала. Пушкин хватился жены и поспешил

домой. Наталья Николаевна стояла перед зеркалом и снимала с себя уборы.

— Что с тобою? Отчего ты уехала?

Вместо ответа Наталья Николаевна дала мужу полновесную пощечину. Пушкин так и покатился со смеху. Он забавлялся и радовался тому, что жена его ревнует, и со смехом сообщал Вяземскому, что «у его мадонны рука тяжеленька». Ревность и подозрения Натальи Николаевны были очень не лишены оснований. У Пушкина за время его женатой жизни был целый ряд увлечений: графиня Н. Л. Сологуб, А. О. Смирнова, графиня Д. Ф. Фикельмон. За время одной из беременностей жены он интимно сошелся с девушкой-сестрой ее Александриной Гончаровой.

В напряженной творческой и умственной жизни мужа Наталья Николаевна неспособна была принимать никакого участия. Все его интересы попрежнему оставались для нее глубоко чуждыми. Пушкин в ее присутствии зевал и искал общества более интересного. Это, естественно, обижало и оскорбляло Наталью Николаевну. Но естественно было и отношение к ней Пушкина. Полный еще творческого волнения, он приходил к ней прочесть новые свои стихи, а она восклицала:

— Господи, до чего ты мне надоел со своими стихами, Пушкин!

К поэзии и литературе она вообще была глубоко равнодушна. Однажды поэт Боратынский спросил, не помешает ли он ей, если в ее присутствии прочтет Пушкину новые свои стихи. Наталья Николаевна любезно ответила:

— Читайте, пожалуйста! Я не слушаю.

В семейной жизни, повидимому, мало что было привлекательного для Натальи Николаевны. Зато очень скоро после замужества перед нею широко распахнулись двери в мир, заливший душу маленькой женщины блеском, счастьем и утехами удовлетворенного тщеславия. Наталья Николаевна была хороша поразительно. Высокого роста (значительно выше Пушкина), стройная, с узкой талией и красивым бюстом, с необыкновенно свежим цветом лица; глаза ее были чуть-чуть косые, и это придавало ее взгляду некоторую неопределенность, очень к ней шедшую. Пушкин называл ее «моя косая мадонна». Люди, впервые встречаясь с Натальей Николаевной, останавливались в изумлении, друзья предупреждали друзей: «Не годится слишком на нее засматриваться!» Один немец-путешественник видел ее на Островах едущею верхом по аллее и писал: «Это было, как идеальное видение, как картина, выступавшая из пределов действительности и возможная разве в «Обероне» Виланда». В первый же год замужества, когда Пушкины поселились на лето в Царском селе, красота Натальи Николаевны привлекла

к себе внимание самых высших сфер. Императрица выражала желание, чтоб Наталья Николаевна была при дворе. С переездом осенью в Петербург Наталья Николаевна, через тетку свою, уважаемую при дворе фрейлину Е. И. Загряжскую, перезнакомилась со всею знатью. «Свет» принял ее с распростертыми объятиями. В ноябре 1831 г. сестра Пушкина писала своему мужу: «Моя невестка — женщина наиболее здесь модная; она вращается в самом высшем свете, и говорят вообще, что она— первая красавица; ее прозвали Психеей». Все были влюблены в Наталью Николаевну. Император Николай садился на ужинах рядом с нею; тринадцатилетний мальчик Петенька Бутурлин на балу родителей, краснея и заикаясь, спешил объясниться ей в любви, пока его еще не прогнали спать. Жизнь Натальи Николаевны проходила в непрерывных увеселениях, празднествах и балах. Возвращалась домой часов в четыре-пять утра, вставала поздно; обедали в восемь вечера; встав из-за стола, Наталья Николаевна переодевалась и опять уезжала. Ее сопровождал муж. Давно уже для Пушкина отошла пора, когда он сам увлекался танцами. Но нельзя же было жене выезжать одной. И все вечера Пушкин проводил на балах: стоял у стены, вяло глядел на танцующих, ел мороженое и зевал. Однажды он со вздохом сказал своей знакомой:

Неволя, неволя, боярский двор:
Стоя наешься, сидя наспишься!

Друзья с горестью наблюдали, в каких ужасных для творчества условиях жил Пушкин. Гоголь писал: «Его нигде не встретишь, как только на балах. Так он протранжирит всю жизнь свою». И Плетнев: «Пушкин ничего не делает, как только утром перебирает в гадком сундуке своем старые к себе письма, а вечером возит жену по балам». И сам Пушкин с грустью писал Нащокину: «Заботы о жизни мешают мне скучать. Но нет у меня досуга вольной холостой жизни, необходимой для писания. Кружусь в свете, жена моя в большой моде, — все это требует денег, деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения...» И вот еще — эти деньги. Светской женщине-красавице необходимы элегантные наряды, приличный выезд, поместительная квартира, дача на модных островах. Бюджет получился совершенно фантастический. По расчетам Пушкина, ему необходимо было иметь в год двадцать пять, тридцать тысяч доходу. Где было взять такие деньги? Пушкин метался по кредиторам, должал друзьям и малознакомым, должал тысячами в магазины, закладывал у ростовщиков не только свои вещи, но и вещи близких (Соболевского, Александры Гончаровой). За первые четыре года женитьбы он сделал долгов на 60 000 руб. Еще через два года, ко времени смерти Пушкина, долгов оказалось уже на 120 000.

Наталья Николаевна нисколько об этом не печалилась и продолжала наслаждаться жизнью. Пушкин с горечью писал ей: «Какие вы помощницы или работницы? Вы работаете только ножками на балах и помогаете мужьям мотать».

Мы, в сущности, знаем очень мало о Наталье Николаевне и ее взаимоотношениях с мужем, не имеем никакого представления об ее характере, нам неизвестны силы, какими она властвовала над мужем и заставляла его исполнять свои хотенья, но заставляла она его с неизменным успехом. Все делалось, как желала Наталья Николаевна. Пушкин страстно порывался оставить Петербург и уехать в деревню — «обитель дальнюю трудов и чистых нег». «Поля, сад, крестьяне, книги, — мечтательно записывал он, — труды поэтические, — семья, любовь etc. — религия, смерть». Но Наталья Николаевна и слышать не хотела об отъезде из Петербурга; не хотела даже лето проводить в деревне, а желала жить на даче под Петербургом; за все время жизни Пушкина она даже ни разу не побывала ни в Михайловском, ни в Болдине. Вздумала Наталья Николаевна поселить у себя живших в деревне двух своих сестер. Пушкин был против этого. Но сделалось, конечно, по желанию Натальи Николаевны. Домашним хозяйством она совершенно не занималась, также и детьми. Балы, обеды, портнихи и модные магазины занимали все ее время. Пушкин жил дома беспризорно, без заботливого женского глаза. Один наблюдатель рассказывает, как резало ему глаза на прогулках по Невскому, что на старенькой бекеше Пушкина сзади на талии недоставало пуговки. «Отсутствие этой пуговки, — сообщает он, — меня каждый раз смущало, когда я встречал Пушкина и видел это. Ясно, что около него не было ухода».

Успехи Натальи Николаевны в свете непрерывно шли в гору. Очень скоро уже не Пушкин стал освещать ее своею славою, а она, первейшая, всех собою восхищавшая красавица, — его, скромного титулярного советника и с-о-ч-и-н-и-т-е-л-я. Анна Вульф писала сестре из Петербурга: «Я здесь меньше о Пушкине слышу, чем в Тригорском даже; об жене его гораздо больше говорят еще, чем об нем; от время до времени я постоянно слышу, как кто-нибудь кричит об ее красоте». Из-за Натальи Николаевны Пушкин был произведен в камер-юнкеры. «Двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцовала в Аничкове», — записал Пушкин в дневнике. Двору — это, конечно, значит: царю. В Аничковом дворце устраивались интимные царские вечера, куда принято было приглашать только лиц с придворными званиями. Пожалованием Пушкина в камер-юнкеры царь сразу достиг двух целей: сделал для себя возможными частые встречи с Натальей Николаевной, за которой ухаживал, и глубоко унизил Пушкина, которого ненавидел, — камер-юнкеры были обык-

новенно очень еще молодые люди, и тридцатипятилетний, уже седеющий Пушкин должен был производить в их толпе очень смешное впечатление. Пушкин был в бешенстве, а Наталья Николаевна — в восхищении, что ей открылся доступ в Аничков дворец. Царь открыто за нею ухаживал. Письма Пушкина к жене полны намеков на эти ухаживания. «Не кокетничай с царем», — пишет он ей из Болдина. Подшучивает, что «кого-то» она довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостью, что он завел себе в утешение гарем из театральных воспитанниц. Уже серьезно пишет: «...побереги меня; к хлопотам, неразлучным с жизнью мужчины, не прибавляй беспокойств семейственных, ревности и т. д.».

А поводов к ревности было достаточно. Пушкин рассказывал Нащокину, что Николай, как офицеришка, ухаживает за его женою, нарочно по утрам по нескольку раз проезжает мимо ее окон, а ввечеру, на балах, спрашивает, отчего у нее всегда шторы опущены. На ужинах царь неизменно сидел рядом с Натальей Николаевной. Для самодержца всероссийского пожелать — значило получить желаемое. Француз А. Галле-де-Кюльтюр, долго живший в России в качестве секретаря у одного знатного богача, рассказывает: «Царь — самодержец в своих любовных историях, как и в остальных поступках; если он отличает женщину на прогулке, в театре, в свете, он говорит одно слово дежурному адъютанту. Предупреждают супруга, если она замужем; родителей, если она девушка, — о чести, которая им выпала. Нет примеров, чтобы это отличие было принято иначе, как с изъявлением почтительнейшей признательности. Равным образом нет еще примеров, чтобы обесчещенные мужья или отцы не извлекали прибыли из своего бесчестия. — «Неужели же царь никогда не встречает сопротивления со стороны самой жертвы его прихоти?» — спросил я даму любезную, умную и добродетельную, которая сообщила мне эти подробности. — «Никогда! — ответила она с выражением крайнего изумления. — Как это возможно?» — «Но берегитесь, ваш ответ дает мне право обратить вопрос к вам». — «Объяснение затруднит меня гораздо меньше, чем вы думаете; я поступлю, как все. Сверх того, мой муж никогда не простил бы мне, если бы я ответила отказом». По всем данным судя, Наталья Николаевна не нашла бы никаких препятствий поступить, «как все», если бы муж ее был хоть сколько-нибудь подобен мужу собеседницы Галле-де-Кюльтюра. Но Пушкин и мысли не мог допустить, чтоб жена его стала царской наложницей. Вероятно, он сумел и ее заразить сознанием чудовищной позорности и совершенной моральной невозможности такого положения. Наталья Николаевна держала императора в должных границах, так что ему ничего больше не оставалось, как изображать добродетельно-попечи-

тельного отца и давать Наталье Николаевне благожелательные советы держаться в свете поосторожнее, беречь свою репутацию и не давать повода к сплетням.

Так-то вот блистала Наталья Николаевна. Но собственное ее сердце оставалось свободным. Мужу она была «доброй женой», добросовестно рожала ему детей чуть не каждый год, но как женщина относилась к нему равнодушно. Пришла, однако, пора, — настоящую любовь узнала и сама Наталья Николаевна. Приехал в Петербург молодой француз барон Дантес, — легитимист, не пожелавший после июльской революции оставаться во Франции. Он был принят прямо офицером в первейший из всех гвардейских кавалерийских полков — кавалергардский. В высшем свете он сразу занял очень заметное положение. Высокого роста, красавец, с дерзкими, выпуклыми глазами, самоуверенный, живой, веселый, остроумный, везде желанный гость. Дамы носили его на руках. И вот— сошлись две встречных дорожки. Наталья Николаевна познакомилась с Дантесом. Она его очаровала. Ей тоже все больше с каждым разом начинал нравиться этот статный красавец с нежными, дерзко-почтительными глазами, тайно сулящими острые, никогда ею не испытанные радости. В дневнике современника находим мимолетную запись о наблюдавшейся им встрече Дантеса с Натальей Николаевной на балу у итальянского посланника: «В толпе я заметил Дантеса. Мне показалось, что глаза его выражали тревогу,—он искал кого-то взглядом и, внезапно устремившись к одной из дверей, исчез в соседней зале. Через минуту он появился вновь, но уже под руку с г-жою Пушкиною. До моего слуха долетело: «Уехать — думаете ли вы об этом — я этому не верю — вы этого не намеревались сделать...» Выражение, с которым произнесены были эти слова, не оставляло сомнения насчет правильности наблюдений, сделанных мною ранее, — они безумно влюблены друг в друга! Пробыв на балу не более получаса, мы направились к выходу: барон танцовал мазурку с г-жою Пушкиной... Как счастливы они казались в эту минуту!»

Над головою Пушкина все назойливее, как влипчивая осенняя муха, начинало мелькать ужасное слово «рогоносец». На одном балу молодой негодяй, косолапый князь П. В. Долгоруков, подмигивая приятелям на Дантеса, поднимал сзади головы Пушкина пальцы, расставленные, как рога. Рогоносец! Что может быть смешнее и презреннее этой породы людей в глазах «света»? В свое время и сам Пушкин в достаточной мере поработал над их осмеянием. В «Гаврилиаде», например, он писал:

...дни бегут, и время сединою
Мою главу тишком осеребрит,
И важный брак с любезною женою

Пред алтарем меня соединит.
Иосифа прекрасный утешитель!
Молю тебя, колена преклоня.
О, рогачей заступник и хранитель,
Молю, — тогда благослови меня,
Даруй ты мне беспечность и смиренье,
Молю тебя, пошли мне вновь и вновь
Спокойный сон, в супруге уверенье,
В семействе мир и к ближнему любовь!

Драма назревала быстро. Как-то молодой кн. Павел Вяземский шел по Невскому с Натальей Николаевной, ее сестрой Екатериной и Дантесом. «В это время, — рассказывает он, — Пушкин промчался мимо нас, как вихрь, не оглядываясь, и мгновенно исчез в толпе гуляющих. Выражение лица его было страшно. Для меня это был первый признак разразившейся драмы». Анонимные пасквили. Первый вызов. Женитьба Дантеса на Екатерине Гончаровой. Знала ли Наталья Николаевна о вызове, посланном Пушкиным, знала ли о причинах, заставивших Дантеса жениться на ее сестре? Кажется, ничего не знала. Дантес сделался родственником Пушкиных и еще с большею настойчивостью, доходившей до наглости, стал ухаживать за Натальей Николаевной. Бешенство Пушкина его, видимо, забавляло, и он при нем ухаживал за нею с особенным усердием, на ужинах громогласно пил за ее здоровье. Отпускал шуточки в таком роде: на разъезде с одного бала, подавая руку своей жене, сказал так, чтобы Пушкин слышал: «Пойдем, моя з а к о н н а я!» — давая всем понять, что у него есть еще другая, не «законная». Пушкин перед пустоголовым болваном в кавалергардском мундире все время оказывался в самом смешном и жалком положении и не мог этого не сознавать. И кипел злобой. Однажды на вечере у Вяземских, когда Дантес с обычной неприкрытостью увивался вокруг Натальи Николаевны, графиня Наталья Викторовна Строганова говорила княгине Вяземской, что у Пушкина такой страшный вид, что, будь она его женой, она не решилась бы вернуться с ним домой. Пушкин дошел почти до сумасшествия. Постоянно получались новые анонимки. Пушкин целыми днями разъезжал по городу, загонял несколько парных месячных извозчиков, — либо, запершись в кабинете, бегал из угла в угол и кусал ногти. При звонке в прихожей выбегал туда и кричал прислуге: «Если письмо по городской почте, — не принимать!» — а сам, вырвав письмо из рук слуги, бросался опять в кабинет и там громко кричал что-то по-французски. Дочь Карамзина, княгиня Ек. Ник. Мещерская, приехав в Петербург в декабре 1836 г., была поражена лихорадочным состоянием Пушкина и судорожными движениями, которые начинались в его лице и во всем теле при появлении будущего

его убийцы. Близкие, дальние, прислуга, — все видели, что с Пушкиным творится что-то чудовищное. Одна Наталья Николаевна ничего не замечала и совершенно не ощущала надвигавшейся грозы. Она могла быть равнодушна к Пушкину, могла его не любить, могла до полного самозабвения увлечься Дантесом, однако заметить-то творившееся с Пушкиным — могла же! Была она не только неумна, но в ней совершенно отсутствовала та женская интуиция, которая чутко схватывает на лету и соображает всякое положение. Княгиня В. Ф. Вяземская старалась указать Наталье Николаевне на истинное положение дела, говорила ей:

— Я люблю вас, как свою дочь. Подумайте, чем все это может кончиться.

Наталья Николаевна беззаботно отвечала:

— Мне с ним весело. Он мне просто нравится. Будет то, что было два года сряду.

Настолько ничего не понимала, что простодушнейшим образом передавала мужу все пошлости и двусмысленные каламбуры, которыми ее увеселял Дантес.

Был ясный и морозный, ветреный январский день. Наталья Николаевна днем каталась по Дворцовой набережной. В четыре часа заехала за детьми, бывшими у княгини Е. Н. Мещерской, и воротилась домой. Стол уже был накрыт к обеду. В ожидании Пушкина Наталья Николаевна сидела в своем будуаре с сестрой Александриной. Вдруг, без доклада и не стучась, вошел полковник Данзас, лицейский товарищ Пушкина. Бледный, стараясь быть спокойным, он сообщил, что Пушкин сейчас стрелялся с Дантесом и ранен, — впрочем, легко. Наталья Николаевна кинулась в переднюю; в нее уже вносили на руках раненого Пушкина. Увидев жену, он сказал, что рана его вовсе не опасна, и попросил ее не входить к нему, пока его не уложат.

Когда с близким человеком случается беда, иные женщины, даже совсем как будто слабые и беспомощные, вдруг исполняются невероятной силы, энергии и, забыв совершенно себя, целиком уходят в помощь близкому. Есть другие женщины: при беде с близким человеком они сами становятся беспомощными, падают в обмороки, бьются в судорогах, не только не помогают окружающим, но отвлекают на уход за собою силы, нужные для близкого. Наталья Николаевна принадлежала ко второго рода женщинам. В тяжкие предсмертные дни Пушкина ей было совсем не до ухода за умирающим; напротив, всем приходилось ухаживать за нею, все заботились о ней, и в первую голову — сам умиравший. Пушкин до последней возможности удерживался от стонов, чтоб не расстраивать жену, просил пойти сказать, что все, слава богу,

идет хорошо, — «а то ей там, пожалуй, наговорят!» И все время твердил ей, что она совершенно неповинна в случившемся.

Наталья Николаевна была в полном отчаянии, рыдала, впадала в летаргический сон; как привидение, подкрадывалась к дверям комнаты мужа. Ему было уже совсем плохо. Пушкин раскрыл глаза и попросил моченой морошки. Когда ее принесли, он внятно сказал:

— Позовите жену, пусть она меня покормит.

Наталья Николаевна опустилась на колени у его изголовья, поднесла ему ложечку, другую, и приникла лицом к лицу мужа. Он погладил ее по голове и сказал:

— Ну, ну, ничего, слава богу, все хорошо!

Наталья Николаевна, обрадованная, вышла из кабинета и сказала окружающим:

— Вот вы увидите, что он будет жив!

И, с присущею ей тонкостью интуиции, все продолжала твердить:

— Да, да, он останется жив!

Ал. Тургенев с изумлением записал в дневнике: «У него предсмертная икота, а жена его находит, что ему лучше, чем вчера!»

Умер. Княгиня Вяземская подошла к Наталье Николаевне и мягко сжала ее руки. Та повела обезумевшими глазами.

— Пушкин умер?

Вяземская молчала.

— Скажите, скажите правду!

Вяземская выпустила ее руки и молча поникла головой. С Натальей Николаевной сделались самые страшные конвульсии, гибкий стан перегибался так, что ноги доходили до головы, зубы стискивались и трещали. Она закрыла глаза, призывала мужа, говорила с ним громко; говорила, что он жив. Ничто не могло ее удержать. Она побежала к трупу, упала на колени. Густые темно-русые локоны в беспорядке рассыпались по плечам. Она то склонялась лбом к оледеневшему лбу мужа, то к его груди, называла его самыми нежными именами, просила у него прощения, толкала его и, рыдая, вскрикивала:

— Пушкин, Пушкин, ты жив?

Ее увели насильно, опасаясь за ее рассудок. Наталья Николаевна попросила к себе Данзаса. Когда он вошел, она со своего дивана упала перед ним на колени, целовала ему руки, просила прощения, благодарила за заботы о муже. Клялась перед всеми, что оставалась верна мужу, но винила себя, что допускала ухаживания Дантеса и не замечала страданий, какие доставляла Пушкину.

Материальная судьба вдовы устроилась очень хорошо. По приказанию царя, уплачены были все долги Пушкина, жене выдано единовре-

менное пособие в десять тысяч рублей и назначена пенсия, кроме того по полторы тысячи в год на каждого из сыновей, пенсия каждой дочери до замужества; велено на казенный счет издать сочинения Пушкина в пользу вдовы.

Конечно, Наталья Николаевна стала предметом всевозможных толков, пересудов, сплетен. Оставаться в Петербурге было очень тяжело. Она быстро собралась: гроб с телом Пушкина еще стоял в квартире, а уже началась спешная укладка. Через десять дней после похорон Пушкина Наталья Николаевна с детьми и сестрой Александриной выехала в Калужскую губернию, в имение брата Д. Н. Гончарова «Полотняный завод». О жизни сестер Д. Н. Гончаров писал: «Живут очень неподвижно, проводят время, как могут; понятно, что после жизни в Петербурге, где Натали носили на руках, она не может находить особой прелести в однообразной жизни «Завода», и она чаще грустна, чем весела, нередко прихварывает, что заставляет ее иногда целыми неделями не выходить из своих комнат и не обедать со мною». О Пушкине она очень скоро перестала горевать. Всего месяца два после его смерти сын историка Андрей Карамзин писал матери: «То, что вы мне говорили о Наталье Николаевне, меня опечалило. Странно, я ей от всей души желал утешения, но не думал, что желание мое исполнится так скоро». А отец Пушкина, Сергей Львович, посетивший невестку в сентябре того же года, нашел, что Александрина Гончарова огорчена смертью Пушкина гораздо больше, чем Наталья Николаевна.

Два года прожила Наталья Николаевна в «Полотняном заводе», потом, с тою же неразлучною сестрою Александриной, переселилась обратно в Петербург. Жили они там вдалеке от центра, на Аптекарском Острове, скромно и уединенно, — «совершенно по-монашески», — писал Плетнев. — «Никуда не ходят и не выезжают. Пушкина очень интересна. В ее образе мыслей и особенно в ее жизни есть что-то трогательно-возвышенное. Она не интересничает, но покоряется судьбе». Плетнев шутя спросил ее, — скоро ли она опять выйдет замуж? Наталья Николаевна, шутя же, ответила, что, во-первых, не пойдет замуж, во-вторых, ее никто не возьмет. Плетнев посоветовал ей на такой вопрос всегда отвечать что-нибудь одно и советовал держаться второго ответа. Но Наталья Николаевна продолжала твердить, что не пойдет замуж, — «чтобы в случае отступления сказать, что уж так судьба захотела», — пишет Плетнев.

24 декабря 1841 г. случилось маленькое событие, определившее всю дальнейшую судьбу Натальи Николаевны. Был канун рождества. Наталья Николаевна выбирала в английском магазине подарки на елку своим детям и вдруг встретилась с царем; он тоже обыкновенно приез-

жал в этот день в английский магазин покупать елочные игрушки для своих детей. Царь изволил очень милостиво разговаривать с красавицей-вдовой, а через несколько дней выразил престарелой фрейлине Е. И. Загряжской, тетке Натальи Николаевны, желание, чтобы Наталья Николаевна, как в старые времена, украшала своим присутствием царские приемы. Для нее началась прежняя жизнь, полная блеска и побед. Одно из ее появлений при дворе превратилось в настоящий триумф. В залах Аничковского дворца состоялся костюмированный бал в самом тесном кругу. Наталья Николаевна явилась одетой в древнееврейском стиле: длинный фиолетовый бархатный кафтан, почти закрывая широкие палевые шальвары, плотно облегал стройный стан, а легкое из белой шерсти покрывало, спускаясь с затылка, мягкими складками обрамляло лицо и ниспадало на плечи. Император был в восхищении, за руку подвел Наталью Николаевну к императрице; императрица оглядела ее в лорнет и сказала:

— Да, прекрасна, в самом деле прекрасна! Ваше изображение таким должно бы перейти к потомству.

Тотчас после бала придворный живописец написал акварелью портрет Натальи Николаевны в библейском костюме.

А потом... Потом целый ряд странностей. В 1844 г. кавалергардский офицер, генерал-майор П. П. Ланской, сделал Наталье Николаевне предложение. Ему в скором времени предстояло назначение командиром армейского полка в каком-нибудь захолустье, как вдруг, — рассказывает его дочь А. П. Арапова, — «ему выпало негаданое, можно даже сказать, необычайное счастье». Он был назначен командиром лейб-гвардии Конного полка, шефом которого состоял сам император, получил блестящее положение, великолепную казенную квартиру — и женился на Н. Н. Пушкиной. Арапова наивно рассказывает о внимании и милостях, которые расточал царь Наталье Николаевне и ее мужу. Николай сам вызвался быть посаженым отцом на их свадьбе. Но Наталья Николаевна настояла, чтобы свадьба совершилась как можно скромнее и привлекла к себе как можно меньше внимания. Царь прислал новобрачной в подарок великолепный бриллиантовый фермуар и велел передать, что первого их ребенка будет крестить сам, и что от этого он не дозволит Наталье Николаевне отделаться. Когда у Натальи Николаевны родился ребенок (будущая А. П. Арапова), царь лично приехал в Стрельну для его крестин. «Постоянная царская милость служила лучшей эгидой против зависти врагов, — рассказывает Арапова. — Те самые люди, которые беспощадно клеймили Наталью Николаевну, заискивающе любезничали и напрашивались на приглашения, — в особенности, когда в городе стало известно, что сам царь назвался к Ланскому на бал». На-

талья Николаевна задумала устроить вечеринку в полковом интимном кругу. Когда Ланской был у царя на докладе, Николай по окончании аудиенции сказал ему:

— Я слышал, что у тебя собираются танцовать? Надеюсь, ты своего шефа не обойдешь приглашением?

Приехав на бал, царь велел провести себя в детскую, взял на колени старшую девочку, разговаривал с нею, целовал и ласкал. Когда, по поводу юбилея полка, Ланской хотел поднести императору альбом с портретами офицеров полка, Николай пожелал, чтоб на первом месте, рядом с портретом командира полка, был помещен портрет его жены (!! Причем тут жена?). Кроме того, миниатюрный портрет Натальи Николаевны был вделан во внутреннюю крышку золотых часов, которые носил император. После смерти Николая камердинер взял себе эти часы, «чтобы не было неловкости в семье».

Все эти данные с большою вероятностью говорят за то, что у Николая завязались с Натальей Николаевной очень нежные отношения, результаты которых пришлось покрыть браком с покладистым Ланским.

Кн. В. М. Голицын видел Наталью Николаевну зимою 1861—1862 г. в Ницце. В своих неизданных записках он рассказывает: «Несмотря на преклонные уже года, она была еще красавицей в полном смысле слова: роста выше среднего, с правильными чертами лица и прямым профилем, какой виден у греческих статуй, с глубоким, всегда словно задумчивым взором».

ПЕТР ПЕТРОВИЧ ЛАНСКОЙ
(1799—1877)

В январе 1837 г. перед одною из офицерских квартир кавалергардских казарм расхаживал по улице бравый кавалергардский ротмистр и зорко вглядывался в прохожих, — не следит ли кто за квартирой. В квартире происходило тайное свидание его приятеля Дантеса с красавицей Пушкиной, женою поэта. Свидание это устроила, по просьбе Дантеса, хозяйка квартиры, жена кавалергарда, Идалия Григорьевна Полетика. Она пригласила к себе Наталью Николаевну, а сама уехала. Наталья Николаевна очутилась с глазу на глаз с Дантесом. Дантес стал страстно объясняться ей в любви, молил отдаться ему, вынимал пистолет и грозил застрелиться. Повидимому, настояния его не увенчались успехом. Наталья Николаевна, как она впоследствии рассказывала, не знала, как отделаться от него, в комнату вошла девочка, дочь хозяйки, Наталья Николаевна кинулась к ней, и Дантес должен был

отступиться. Стороживший квартиру офицер был Петр Петрович Ланской. Уж конечно он понимал, что подобного рода тайные свидания устраиваются не для платонических бесед на возвышенные темы, и о даме, соглашающейся на такие встречи, должен был получить совершенно определенное представление. Однако ни свидание это, ни странное покровительство императора Наталье Николаевне не помешали Ланскому в 1844 г. жениться на ней и получить все бесчисленные выгоды, вытекшие для него из этой женитьбы. Карьера его оказалась обеспеченной. Вместо провинциального армейского полка Ланской получил в командование один из первых гвардейских кавалерийских полков, вскоре затем произведен в генерал-адъютанты, потом назначен начальником первой кавалерийской дивизии. Позднее он исправлял должность петербургского генерал-губернатора; был председателем комиссии для разбора и суда всех политических дел.

Современник, знавший Ланского, когда ему было уже за пятьдесят, сообщает, что он даже в эти годы был все еще замечательно красивый мужчина и добродушнейший по природе человек, но то, что на военном жаргоне называется «ремешок». В обществе это был элегантный, вполне светский человек, а на конногвардейском плацу, где происходило учение солдат, строго придирчивый николаевский генерал, не стеснявшийся, как говорят, самыми бесцеремонными приемами и суровыми наказаниями. В браке с ним Наталья Николаевна, как сообщает Арапова, нашла то тихое, безмятежное счастье, которого не имела с Пушкиным.

ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА ГОНЧАРОВА
(1809—1843)

Старшая сестра Нат. Ник. Пушкиной. В семье ее называли «Коко». В 1834 г. вместе с сестрой Александрой поселилась в Петербурге у Пушкиных; обе сестры, по протекции Натальи Николаевны и тетки Ек. Ив. Загряжской, были назначены фрейлинами императорского двора. Екатерина Николаевна была очень высокого роста, стройная, с матовым цветом кожи и близорукими черными глазами; далеко не красавица, представляла собою довольно оригинальный тип скорее южанки, с черными волосами. Насмешники сравнивали ее за рост с большим иноходцем и с ручкою от помела. Была страстно, до самозабвения, влюблена в Дантеса. Сама устраивала свидания его с Натальей Николаевной, только чтоб чаще его видеть. Дантес, увлекаясь Натальей Николаевной, снизошел к любви Екатерины и походя вступил с нею в связь.

Летом 1836 г. она от него забеременела. Перед Дантесом стояла неприятная перспектива жениться на ней. Но приемный отец его Геккерен и слышать не хотел о такой невыгодной женитьбе. Однако после ноябрьского вызова, посланного Пушкиным Дантесу, и отец, и сын предпочли пойти на эту свадьбу, чтоб не доводить дела до дуэли. 10 января 1837 г. свадьба состоялась. Екатерине Николаевне и после свадьбы приходилось быть постоянной свидетельницей наглых ухаживаний Дантеса за ее сестрою, но, повидимому, она все это готова была переносить за счастье принадлежать Дантесу. Вне его она ничего не видела. Когда, после дуэли, к ней заехала домашний друг Пушкиных княгиня Е. А. Долгорукова, чтобы сообщить ей о смертельной ране Пушкина, Екатерина Николаевна выбежала к ее карете вся разряженная и восторженно крикнула:

— Жорж вне опасности!

Впрочем, когда Долгорукова сообщила ей, что дни Пушкина сочтены, она заплакала. Дантес был разжалован в солдаты и выслан за границу. Екатерина Николаевна, вынужденная остаться еще некоторое время в Петербурге, писала мужу: «Одна русская горничная (!) восторгается твоим умом и всею твоею особою, говорит, что тебе равного она не встречала во всю свою жизнь и что никогда не забудет, как ты пришел ей похвастаться своей фигурой в сюртуке. Я тебя крепко, крепко люблю, в одном тебе все мое счастье, только в тебе, в тебе одном».

Уезжая из России, Екатерина Николаевна великодушно заявила, что — «она прощает Пушкина».

За границей, в апреле 1837 г., через три месяца после свадьбы, Екатерина Николаевна родила девочку. Остальную жизнь она прожила с мужем в его имении Зульце, в Эльзасе, изредка наезжая вместе с ним в Баден, Париж и Вену. По семейным преданиям Гончаровых, Екатерину Николаевну угнетала мысль, что муж ее остается верен своему обожанию ее сестры. Окружающие убеждали ее, что если она примет католичество, то это вызовет перемену чувств в муже. Она соглашалась, но хотела, чтобы присоединение ее к католичеству произошло при скромной обстановке в Зульце, родные же мужа желали обставить этот переход торжественно и настаивали на совершении обряда в Париже, в церкви Madeleine. После долгих переговоров Екатерина Николаевна согласилась, но не успела привести намерения в исполнение: она скончалась после родов от родильной горячки. В действительности, католичество она приняла, но это скрывалось от Гончаровых, чтобы не огорчить ее мать.

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА ГОНЧАРОВА

(Род. в 1811 г. — ум. в конце 70-х гг.)

Сестра Н. Н. Пушкиной. Семейное прозвание — «Азинька». Еще до женитьбы Пушкина была страстной его поклонницей, знала наизусть множество его стихотворений. Была девушка умная, но некрасивая. Высоким ростом и безукоризненным сложением она походила на Наталью Николаевну, но лицо являлось как бы карикатурой лица сестры: матовая бледность кожи Натальи Николаевны переходила у нее в некоторую желтизну, чуть приметное косоглазие, придававшее даже своеобразную прелесть лицу младшей сестры, у нее перерождалось в несомненно косой взгляд. Люди, видевшие обеих сестер рядом, находили, что именно это предательское сходство служило в явный ущерб Александре Николаевне. Впрочем, были люди, находившие ее красивою, и в Москве ее в свое время звали «бледным ангелом». С 1834 г. она вместе с сестрою Екатериной жила в семье Пушкиных. Наряды и выезды поглощали все время обеих ее сестер, Натальи и Екатерины. Александра Николаевна выезжала неохотно, больше сидела дома, заведывала хозяйством Пушкиных и воспитанием их детей. Методы ее воспитания, повидимому, не всегда нравились Пушкину. Весною 1836 г. он писал Нащокину: «Вот тебе анекдот о моем Сашке (сыне). Ему запрещают (не знаю, зачем) просить, чего ему хочется. Наднях говорит он своей тетке: Азя! Дай мне чаю: я просить не буду». Характер у Александры Николаевны был твердый и властный, мягковольная Наталья Николаевна инстинктивно подчинялась ей. Современница характеризует ее: «холодна, благоразумна». Можно, повидимому, считать установленным, что в последние годы Пушкин находился с Александриной в тайной связи. Арапова, дочь Натальи Николаевны от второго ее брака, в лживых своих воспоминаниях сочинила даже целую историю, как однажды у Александры Николаевны пропал ее шейный крестик, которым она очень дорожила, как его долго и безуспешно искали и как камердинер, постилая на ночь постель Пушкина, нашел крестик в его простынях. Поводом к этой выдумке послужило, вероятно, сообщение кн. В. Ф. Вяземской, что однажды, когда она осталась наедине с умиравшим Пушкиным, он отдал ей какую-то цепочку с нательным крестом и попросил передать ее от него Александре Николаевне. Вяземская была очень изумлена, что Александра Николаевна, принимая этот загробный подарок, вся вспыхнула. С Пушкиным у нее, повидимому, была и некоторая духовная близость: из всей семьи она одна знала об ужасном письме, отправленном Пушкиным Геккерену. Александра Николаевна дала Пушкину для заклада свое столовое серебро и брегет. Вещи не были выку-

плены и пропали. Давала она в семью Пушкиных и деньги. После смерти Пушкина опекою был ей уплачен его долг в 2 500 руб.

Александрина сопровождала вдову Пушкина с детьми в «Полотняный завод», жила там с нею, попрежнему занималась воспитанием ее детей. Отец Пушкина, посетивший невестку в «Полотняном заводе», вынес впечатление, что Александра Николаевна более огорчена смертью Пушкина, чем Наталья Николаевна. Вместе с сестрою Александра Николаевна возвратилась в Петербург, жила у нее и по выходе сестры замуж за Ланского. В 1852 г., сорока одного года, вышла замуж за чиновника австрийского посольства в Петербурге барона Густава Фризенгофа, венгерского помещика. Умерла за границей.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА ЗАГРЯЖСКАЯ
(1779—1842)

Дочь генерала И. А. Загряжского, единокровная сестра Нат. Ив. Гончаровой, тетка жены Пушкина. Фрейлина с 1808 г., богатая и влиятельная при дворе. Она любила Наталью Николаевну как дочь, устраивала ее положение при дворе, помогала материально, оплачивала ее туалеты, руководила ею, направляла и оберегала, — «делала из Натальи Николаевны все, что хотела», — по свидетельству сестры Пушкина. В письмах своих к жене Пушкин постоянно упоминает о «тетке». «Тебе пришлют для подписания доверенность. Катерина Ивановна научит тебя, как со всем этим поступить». «Благодарю мою бесценную Катерину Ивановну, которая не дает тебе воли в ложе. Целую ее ручки и прошу, ради бога, не оставлять тебя на произвол твоих обожателей» и т. п. Когда Пушкин представлялся однажды императрице Александре Федоровне, она говорила ему, что Екатерина Ивановна с нетерпением ждет увидеть уехавшую Наталью Николаевну, — «дочь ее сердца, ее приемную дочь». После смерти Пушкина Екатерина Ивановна, несмотря на свой возраст, сопровождала разбитую событиями Наталью Николаевну из Петербурга до Калуги, окружив племянницу самым нежным уходом.

В противоположность теще Пушкина, Екатерина Ивановна с большой симпатией относилась и к самому Пушкину. Письма его полны благодарных упоминаний о ней. «Тетка заезжала вчера ко мне и беседовала со мною в карете: я ей жаловался на свое житье-бытье, а она меня утешала». «Тетка меня все балует, — для моего рождения прислала мне корзинку с дынями, с земляникой, клубникой». Когда после смерти Пушкина ее племянница Екатерина Геккерен, жена убийцы Пушкина, уезжала к мужу за границу, Екатерина Ивановна не захотела приехать к ней проститься.

НАТАЛЬЯ КИРИЛЛОВНА ЗАГРЯЖСКАЯ
(1747—1837)

Тетка Натальи Ивановны Гончаровой и Ек. Ив. Загряжской, дочь последнего гетмана Малороссии, генерала-фельдмаршала гр. Кирилла Григ. Разумовского. Очень богатая. В 1772 г. вышла за молодого измайловского офицера Н. А. Загряжского, с которым разъехалась, прожив с ним почти тридцать лет. Проживала у кн. В. П. Кочубея, председателя государственного совета, женатого на ее воспитаннице и племяннице, занимая в его доме квартиру в шесть комнат. С детства она вращалась в кругу придворной знати, была фрейлиной императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II, свидетельницей и наблюдательницей шести царствований. Пользовалась огромным почетом в высших кругах Петербурга, принимала у себя особ царской фамилии. Сафонович, посещавший ее в тридцатых годах, рассказывает: «Загряжская была кривобока... Она отдала все состояние свое Кочубеям и довольствовалась определенным содержанием на домашние свои расходы. Ей было уже более восьмидесяти лет, но она сохранила умственные способности. Каждый вечер собиралось к ней множество посетителей для составления ее партии в бостон или просто посидеть и встретиться со знакомыми, но главнейше повидаться с кн. Кочубеем, человеком нужным. В числе гостей бывали у нее все важные и известные люди того времени. Старушка играла в карты очень дурно и всегда проигрывала, но игра сделалась ее потребностью. После игры оставались у нее ужинать. После ужина нельзя было тотчас расходиться: надобно было еще посидеть некоторое время, пока старушка не кончит своего пасьянса. Она не любила рано ложиться спать и удерживала своих гостей как можно долее.

Однажды она сказала вел. князю Михаилу Павловичу:

— Не хочу умереть скоропостижно. Придешь на небо, как угорелая и впопыхах, а мне нужно сделать господу богу три вопроса: кто были Лжедимитрии, кто — Железная Маска[1] и шевалье д'Еон[2] — мужчина или женщина?

---

[1] Железная Маска — таинственный узник времен Людовика XIV, навеки заточенный в Бастилию и там умерший; с лица его никогда не снимали железной маски.

[2] Шевалье д'Еон де-Бомон (1728—1810) — дипломат-авантюрист. Переодетый девушкой, был послан Людовиком XV ко двору императрицы Елизаветы Петровны под видом племянницы французского купца с поручением собрать разные секретные сведения и установить тайную личную переписку императрицы с Людовиком. Поручение это было искусно выполнено.

Великий князь спросил:

— Так вы уверены, что будете в небе?

Старуха обиделась и с резкостью ответила:

— А вы думаете, я родилась, чтобы маяться в чистилище?

Держалась Загряжская независимо. Она отказала от дому царскому любимцу, военному министру А. И. Чернышеву, упекшему на каторгу своего родственника, декабриста гр. З. Г. Чернышева, в расчете завладеть его наследством.

Летом 1830 г., будучи женихом Натальи Николаевны, Пушкин посетил в Петербурге Загряжскую. Вот как он описывает свой визит в письме к невесте: «Приезжаю, обо мне докладывают, она меня принимает за своим туалетом, как хорошенькая женщина прошедшего столетия. — «Вы женитесь на моей племяннице (?)? — «Точно так». — «Как же это, я очень удивлена, меня об этом не извещали, Наташа ничего мне не писала» (это не о вас она говорила, а о maman). Я отвечал ей на это, что брак был решен весьма недавно, что расстроенные дела Афанасия Николаевича, Натальи Ивановны и пр., и пр. Она не приняла моих резонов. — «Наташа знает, как я люблю ее, Наташа мне всегда писала во всех случаях своей жизни, Наташа мне напишет и теперь; так как мы теперь в родстве, то, надеюсь, вы будете посещать меня часто». Мы расстались друзьями». Пушкин иногда посещал Наталью Кирилловну, любил слушать ее живые рассказы о минувших временах и многие из них записал («Table Talk»).

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГОНЧАРОВ
(1808—1859)

Брат Н. Н. Пушкиной, старший в семье. Окончил московский университет, служил в министерстве иностранных дел. В 1832 г., в качестве опекуна над имением душевнобольного отца, вступил в управление разоренным гончаровским имением. В 1835 г. вышел в отставку и женился на армянке, княжне Елизавете Егоровне Назаровой. Дмитрий Николаевич был человек добрый, весьма ограниченного ума, путаник в делах; был глух и заикался. Он находился в полном порабощении у своей жены, — хотя и княжны, но необразованной, выросшей в бедности в совершенно другой среде. Приезд Натальи Николаевны с детьми и сестрой не пришелся ей по душе. Плохо умытая, небрежно причесанная, в помятом ситцевом платье сомнительной свежести, она появлялась с бриллиантовой ферроньерой на лбу и пренебрежительно оглядывала траурные наряды золовок. Мало-помалу она совсем сочла лишним

стесняться; не упускала случая подчеркивать, что она у себя дома, а золовки обязаны ценить всякое ее одолжение; обижалась и дулась из-за каждого пустяка и совершенно отравила им существование. Когда после смерти Пушкина Екатерина Николаевна Геккерен уезжала с мужем за границу, Дм. Ник. писал ей: «...ничто не интересует меня так, как твоя дальнейшая судьба; по правде сказать, изо всей семьи ты сейчас интересуешь меня всех более».

XI

ДУЭЛЬ И СМЕРТЬ

Барон ЖОРЖ-ШАРЛЬ ДАНТЕС
(1812—1895)

В дневнике Пушкина от 26 января 1834 г. находим брошенную мимоходом, незначащую, но теперь нас глубоко волнующую запись: «Барон д'Антес и маркиз де-Пина, два шуана, будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет». По странной случайности Пушкин счел нужным отметить в дневнике приезд авантюриста-француза, от пули которого через три года ему суждено было погибнуть.

Дантес происходил из состоятельной помещичьей семьи в Эльзасе. Вся семья была легитимистской — приверженицей «законной» бурбонской династии, являвшейся носительницей бешеной монархическо-феодальной реакции. Жорж учился в парижской Сен-Сирской военной школе. Во время июльской революции, свергнувшей Карла X Бурбона, он с другими учениками школы примкнул к немногочисленным войскам, оставшимся верными Карлу X, и сражался на площади Людвика XV против восставших. Потом был в числе партизан, собравшихся в Вандее вокруг герцогини Беррийской, невестки свергнутого короля. Поэтому Пушкин и называет Дантеса шуаном: шуанами называлось контрреволюционное крестьянство Вандеи, долго боровшееся во время Великой французской революции против республики. После этого Дантес покинул школу, — то ли потому, что он не пожелал служить июльской мо-

нархии, то ли, вернее, потому, что она не пожелала его службы. Дантес вернулся в Эльзас к отцу, в его имение Зульце. Материальное благосостояние отца сильно пошатнулось, революция лишила многих членов семьи средств к существованию и королевских пенсий, а семья была большая. Жоржу оставалось одно — искать счастья за границей.

В 1833 г. он выехал в Германию. Через родственников матери, рожденной графини Гацфельдт, Дантес имел протекцию к прусскому принцу Вильгельму, будущему германскому императору Вильгельму I. Это давало ему возможность поступить в Пруссии на военную службу, но только в чине унтер-офицера; это не прельстило Дантеса. Тогда принц Вильгельм дал ему рекомендательное письмо к русскому императору Николаю. С этим письмом Дантес отправился из Берлина в Россию. В каком-то маленьком городке он серьезно заболел и в полном одиночестве лежал в гостинице. В это время возвращался в Россию из отпуска голландский посланник Геккерен; у него сломалась дорожная коляска, и он вынужден был остановиться в городке, — в той же гостинице, где лежал больной Дантес. Познакомились. Молодой француз очень понравился посланнику, — настолько понравился, что Геккерен предложил Дантесу присоединиться к его свите для совместного дальнейшего путешествия и остался ждать выздоровления Дантеса, хотя коляска была уже починена. Вместе приехали в Петербург. Геккерен продолжал покровительствовать Дантесу, оказывал ему материальную поддержку, ввел в великосветские круги. Благодаря его хлопотам и письму принца Вильгельма Дантес, после очень снисходительного офицерского экзамена, был по высочайшему повелению определен с чином корнета в самый лучший из кавалерийских гвардейских полков — кавалергардский. Другой «шуан», упомянутый Пушкиным в дневниковой записи, маркиз де-Пина, не имевший такой протекции, принят был не в гвардию, как записал Пушкин, а в армию.

Геккерен продолжал относиться к Дантесу с самою нежною любовью и заботливостью, совершенно как будто непонятною в черством и эгоистическом человеке, каким был Геккерен. Через два года он усыновил Дантеса, сделал его наследником своего состояния, Дантес стал именоваться бароном Геккереном и поселился вместе с приемным отцом. Страстная нежность Геккерена к своему приемному сыну объясняется тем, что распутный старик, повидимому, при первой же встрече в гостинице влюбился в красавца-юношу. Трудно себе представить, чтобы этот юноша, большой любитель женщин и счастливый покоритель их сердец, в свою очередь влюбился в потасканного мужчину, которому шел уже пятый десяток. Но Дантес ехал устраивать себе карьеру, покровитель его мог ему быть очень полезен в этом отношении, — и мо-

лодой человек с легким сердцем сделался «любовницею» влиятельного сановника.

Статный красавец высокого роста, очень живой, веселый, остроумный. В свете он имел большой успех. У него была какая-то врожденная способность нравиться. Этим только можно объяснить, что пустоватый и малообразованный офицер был радушно принят даже в таких высоко-культурных домах, как Вяземского, Карамзиной и самого Пушкина. Дамы носили Дантеса на руках и вырывали его друг у друга. Избалованный поклонением, он держался с ними развязно: позволял себе обнимать их, целовать, класть голову на плечи. Полковой товарищ Дантеса вспоминает: «Он относился к дамам вообще, как иностранец, смелее, чем мы, русские, — требовательнее, если хотите, нахальнее, наглее, чем даже было принято в нашем обществе». Дантес был самоуверен, фатоват, любил похвастать своими успехами. Один знакомый сказал ему:

— Говорят, барон, вам очень везет у женщин.

Дантес ответил:

— Женитесь, граф, и я вам это докажу на деле.

Товарищи его любили, он был «славный малый». Старанием на службе не выдавался, и в приказах по полку то и дело появлялись выговоры ему: он опаздывал на службу, отлучался с дежурства, уезжал в экипаже с развода раньше начальства, на параде закуривал сигару, когда было нельзя, и т. п. За три года службы в полку Дантес был подвергнут взысканиям сорок четыре раза.

Пушкин познакомился с Дантесом летом 1834 г., когда, за отъездом жены, жил на холостом положении и обедал в ресторане Дюме. В том же ресторане обедал и недавно приехавший в Петербург Дантес. Веселый и остроумный француз понравился Пушкину. Дантес стал бывать у него, познакомился с его женою и свояченицами. Соболевский сообщает, что Дантес чрезвычайно нравился Пушкину за его детские шалости: он прыгал, например, на стол, на диваны, — ребячества, к которым был склонен и сам Пушкин до конца жизни. Нравился и своим остроумием, — Пушкин со смехом передавал остроты Дантеса. Так, однажды Пушкин приехал на бал с женою и двумя свояченицами; Дантес встретил его у дверей и воскликнул:

— Voilà le pacha à trois queues (вот — трехбунчужный паша)!

В другой раз Пушкин при Дантесе размышлял, как бы назвать журнал, который он собирается издавать вроде английского Quarterly Review. Дантес посоветовал:

— Donnez lui le nom de Kvartalny nadziratel.

Дантесу очень понравилась Наталья Николаевна, он влюбился в

нее страстно и стал настойчиво ухаживать. Не отходя, танцовал с нею на балах, сопровождал на верховых прогулках, являлся в театре, на гуляньях, всюду, где являлась Наталья Николаевна. Вскоре весь великосветский Петербург заговорил об этих ухаживаниях. Жившая у Пушкиных старшая сестра Натальи Николаевны Екатерина Гончарова по уши влюбилась в красавца-кавалергарда. Ухаживая за Натальей Николаевной, он не прошел и мимо любви ее сестры. Летом 1836 г. Екатерина забеременела от Дантеса. Перед ним встал очень неприятный вопрос о женитьбе на ней. Однако приемный отец и слышать не хотел о таком невыгодном браке, — что навряд ли особенно огорчило Дантеса. За Натальей Николаевной он продолжал ухаживать с прежнею настойчивостью. Они обменивались записочками, из которых некоторые, — как впоследствии сам Дантес признавал на суде, — «своими выражениями могли возбудить щекотливость Пушкина как мужа». Ухаживания Дантеса были настолько явны, настолько обращали на себя всеобщее внимание, что княгиня Вяземская решительнейшим образом попросила Дантеса не являться, когда у них Пушкины. Тем не менее он опять явился и весь вечер по-обычному не отходил от Натальи Николаевны. Вяземская ему отказала от дома. Душевное состояние Пушкина было ужасное; ревность его терзала и обиженное самолюбие, больше же всего — мысль о том смешном положении «рогоносца», в которое его ставили в глазах света ухаживания Дантеса.

4 ноября 1836 г. Пушкин получил анонимный пасквиль-диплом, возводивший его в ранг заместителя великого магистра ордена рогоносцев. Пушкин почему-то заподозрел в авторстве Геккеренов и немедленно послал вызов Дантесу. Вызов этот сильно перепугал старика-Геккерена. Он приложил все силы, чтобы расстроить дуэль. Вместе с приемным сыном они решили повернуть дело так, будто Дантес ухаживал не за Натальей Николаевной, а за ее сестрой Екатериной, на которой Дантес и выразил желание жениться, против чего Геккерен теперь не возражал.

Дантес стал официальным женихом Екатерины Николаевны, 10 января 1837 г. состоялась их свадьба. Но он еще с большею настойчивостью продолжал ухаживать за Натальей Николаевной, откинул всякую осторожность, и казалось иногда, что он насмехается над ревностью и негодованием Пушкина. На балах он тацовал и любезничал с Натальей Николаевной, за ужином пил за ее здоровье. Это была настоящая бравада. Получалось впечатление, как будто Дантес хочет показать, что он женился не из боязни дуэли, и что если его поведение не нравится Пушкину, то он готов принять все последствия этого.

26 января 1837 г. последовал второй вызов. Дуэль состоялась. Дан-

тес смертельно ранил Пушкина и сам был легко ранен в правую руку. Как полагалось по законам, он был предан суду. Сочувствие высшего общества было целиком на стороне Дантеса. Саксонский посланник доносил своему правительству: «При наличности в высшем обществе малого представления о гении Пушкина и его деятельности не надо удивляться, что только немногие окружали его смертный одр, в то время как нидерландское посольство осаждалось обществом, выражавшим свою радость по поводу столь счастливого спасения элегантного молодого человека». Оказалось, однако, что, кроме «высшего общества», существуют в России и другие слои общества, которые имели очень ясное представление о гении Пушкина и его деятельности. Смерть Пушкина с такою силою всколыхнула широчайшие общественные круги, какой наверху никто решительно не ожидал. Десятки тысяч народа теснились к гробу Пушкина, звучали угрозы по адресу иностранцев, убивающих лучших русских людей, хотели итти на голландское посольство, раздавались форменные революционные речи, огненная стихотворная прокламация Лермонтова по поводу смерти Пушкина распространилась с телеграфною быстротою. Все депеши иностранных послов считают нужным отметить этот никем не ожидавшийся взрыв широкого общественного возмущения; он был так силен, так единодушен, что в верхах с беспокойством заговорили о каком-то тайном революционном обществе, будто бы являющемся руководителем всего движения. Тайный ночной вынос тела Пушкина из квартиры, отпевание его не в указанной церкви, спешный увоз тела в псковскую губернию, — все это было вызвано вовсе не пустыми страхами перед несуществующими призраками, как с возмущением уверяли в свое время смиренно-лойяльные друзья Пушкина. Страх правительства был вполне основателен: после декабрьского движения в первый раз за десять лет среди всеобщего могильного молчания вдруг совершенно явственно зазвучал живой голос независимого общественного мнения. Самый этот факт испугал правительство, безотносительно к тому, грозила ли какая-нибудь непосредственная, конкретная опасность. С одной стороны, Николай постарался преградить все пути к проявлению общественного негодования, с другой — поспешил совершенно перестроить свое отношение к случившемуся. Это очень быстро и очень чутко учла знать, вначале отнесшаяся к смерти Пушкина с глубочайшим равнодушием. Французский посол Барант, с выражением искреннего горя стоявший перед телом Пушкина, вызвал замечание присутствовавших:

— Вот среди них единственный русский человек.

Прошел день,—и все генерал-адъютанты и камергеры, как по взмаху дирижерской палочки, устремились к праху Пушкина и отшатнулись

от Геккеренов. Это со смущением почувствовали сами Геккерены и с большою точностью определили причину внезапной перемены. Дантес в конце февраля 1837 г. в письменном своем показании суду, прося допросить некоторых свидетелей из высшего света, с горечью прибавлял: «Правда, все эти лица от меня отвернулись с той поры, как простой народ побежал в дом моего противника, без всякого рассуждения и желания отделить человека от таланта. Они также хотели видеть во мне только иностранца, который убил их поэта».

18 марта 1837 г. Дантес приговорен был судом к лишению чинов, дворянства и к разжалованию в рядовые. Конфирмация Николая гласила: «Быть по сему, но рядового Геккерена, как не русского подданного, выслать с жандармом за границу, отобрав офицерские патенты». На следующий же день Дантес был усажен в сани и в сопровождении жандарма отправлен за границу.

Он поселился с женою в родительском имении Зульце в Эльзасе. В конце сороковых годов, после февральской революции, Дантес выступил на политическое поприще, был членом учредительного собрания, из легитимистов сделался бонапартистом и усердно поддерживал президента Луи-Наполеона. Летом 1851 г. Виктор Гюго выступил в Национальном собрании с бурною речью против изменения конституции, имевшего целью облегчить Луи-Наполеону путь к государственному перевороту. Клика правых депутатов бесновалась, прерывала оратора, не давала ему говорить. В числе этих депутатов находился и Геккерен. Все они поименно заклеймены Виктором Гюго в примечаниях к его стихотворению «Сходя с кафедры».

После переворота 2 декабря Наполеон III в награду за услуги, оказанные Дантесом, назначил его сенатором с жалованием в тридцать тысяч франков в год. В сенате Дантес обратил на себя особое внимание своими речами в защиту светской власти пап. Он исполнял некоторые щекотливые дипломатические поручения Наполеона, — был, например, отправлен к дворам Вены, Берлина и Петербурга с тайным поручением постараться добиться признания Наполеона этими дворами. Дантес оказался также весьма ловким предпринимателем, искусно сумевшим использовать тогдашнюю финансово-промышленную горячку: он принимал деятельное участие в учреждении кредитных банков, железнодорожных компаний, промышленных и страховых обществ; был одним из учредителей парижского газового общества и нажил на этом большое состояние. В последние годы империи политическое положение Дантеса было видное: он состоял председателем генерального совета Верхнего Рейна, мэром Зульца, был произведен сначала в кавалеры, а потом в командоры ордена Почетного Легиона. Жил он в свое удовольствие, пользуясь

почетом и влиянием. Близ Елисейских Полей выстроил себе трехэтажный особняк; нижний этаж занимал он сам, два верхних были отведены его многочисленному потомству. Днем Дантес обыкновенно отправлялся в экипаже в свой клуб «Сэркль Эмпериаль», а вечера проводил дома, в кругу семьи, часто развлекая молодое поколение рассказами о своей молодости.

Кн. В. М. Голицын видел Дантеса в Париже в 1863 г. «В то время, — рассказывает он в своих неизданных записках, — Дантес был сенатором второй империи. Полный, высокого роста, с энергичным, но довольно грубым лицом, украшенный эспаньолкой по моде, введенной Наполеоном III, он казался каким-то напыщенным и весьма собою довольным. Мне его показали на церемонии открытия законодательных палат, на которой я с родителями своими присутствовал в публике. Он подошел к одной русской даме, бывшей вместе с нами и старой его знакомой по Петербургу, чрезвычайно любезно напомнил ей о себе, но та встретила эту любезность довольно холодно, и, поговорив минут пять, он удалился».

Почитателям Пушкина очень приятно было представлять себе, что Дантеса всю жизнь жестоко мучила совесть за убийство великого поэта. Дантес будто бы уверял встречавшихся ему за границею русских, что он не подозревал даже, на кого поднимал руку, что вынужденный к поединку, он все же не желал убивать противника и целил ему в ноги, что невольно причиненная им смерть Пушкину тяготит его и т. п. Художник Наумов в известной своей картине «Последняя дуэль Пушкина» изобразил Дантеса глубоко подавленным, медленно, с поникшею головою идущим прочь от раненного им Пушкина. Никаких таких терзаний в действительности не было. Среди других своих приключений молодости событию с Пушкиным Дантес придавал очень мало значения. Он говорил, что поступил как человек, который считает, что за определенные слова должно быть дано удовлетворение. У барьера он не считал нужным сантиментальничать. Никогда он не говорил, что целил Пушкину в ногу, и никто из семьи никогда не слышал от него об угрызениях совести. Напротив, он считал, что выполнил долг чести, и ему не в чем себя упрекать. Дантес был вполне доволен своею судьбою и впоследствии не раз говорил, что только вынужденному из-за дуэли отъезду из России он обязан своей блестящей политической карьерой, что не будь этого несчастного поединка, его ждало незавидное будущее командира полка где-нибудь в русской провинции, с большой семьей и недостатком средств. Любопытно, что ни в молодости, ни впоследствии Дантес не проявлял никакого интереса к литературе. Домашние не припомнят Дантеса в течение всей его долгой жизни за чтением какого-

нибудь художественного произведения. Даже французский литературный язык давался ему нелегко, и в нужных случаях приходилось обращаться за помощью к посторонним.

После крушения второй империи политическая карьера Дантеса закончилась. Он умер в имении своем Зульце в глубокой старости, окруженный детьми, внуками и правнуками.

Барон ЯКОБ-ТЕОДОР-БОРХАРДТ-АННА ван-ГЕККЕРЕН де-БЕВЕРВААРД
(1791—1884)

Голландский посланник в Петербурге. Принадлежал к древней, но обедневшей дворянской фамилии. С 1823 г. служил при нидерландском посольстве в Петербурге, в 1826 г. был назначен посланником. Он находился в тесной дружбе с русским министром иностранных дел графом Нессельроде и принадлежал к международной реакционной клике, горячо поддерживавшей политику Меттерниха в ее борьбе с малейшими проявлениями революционного движения в Европе. При русском дворе Геккерен пользовался большим влиянием и уважением. Однако в 1833 г. департаменту внешней торговли пришлось обратить внимание министерства иностранных дел на то, что «с некоторого времени привозятся к Геккерену из-за границы значительные партии вещей»: пользуясь правом посланника беспошлинно получать вещи из-за границы, Геккерен широчайшим образом использовал это право, выписывая массу вещей, начиная с напитков и кончая мебелью.

Геккерен был тонкий и искусный дипломат, очень ценившийся своим правительством, но как человек производил крайне неприятное впечатление: был черств, эгоистичен, неразборчив в средствах, глубоко беспринципен, известен был по всему Петербургу своим злым языком и многих перессорил. Современник характеризует его—«всегда улыбающийся, отпускающий шуточки, во все мешающийся». Он никогда не был женат, не имел в жизни романов с женщинами. Но рассказывали, что он большой приверженец однополой любви, что вокруг него группируются великосветские молодые люди самого наглого разврата, что в распутном его гнезде фабрикуются всевозможные сплетни, чернящие доброе имя людей. После смерти Пушкина вюртембергский посланник по поводу отставки Геккерена доносил своему правительству: «Об отъезде Геккерена никто не жалеет, несмотря на то, что он прожил в Петербурге около тринадцати лет и в течение долгого времени пользовался заметным отличием со стороны двора; в городе к барону Геккерену

относились хуже в течение нескольких уже лет, и многие избегали знакомства с ним».

Если бы даже целый ряд свидетельств не говорил вполне определенно о противоестественных склонностях Геккерена, то уже одно его отношение к Дантесу должно бы нас убедить в их существовании. Ни один самый любящий отец не мог бы относиться к родному сыну так, как черствый, эгоистический Геккерен к молодому человеку, случайно подобранному им в захолустном немецком городке. Это была не отцовская любовь, это была страстная влюбленность стареющего человека, любовь самозабвенная и безоглядная, все готовая отдать за ответную любовь любимого существа. Дантес добивается благосклонности Натальи Николаевны, — и старый Геккерен изо всех сил старается для него: как тень, преследует Наталью Николаевну, нашептывает ей о безумной любви сына, говорит, что он близок к самоубийству, описывает его муки, негодует на ее холодность и бессердечие, умоляет возвратить ему сына, излагает ей проект бегства за границу под его дипломатической эгидой. Пушкин, получив анонимный пасквиль, посылает Дантесу вызов, и Геккерен ставит все вверх дном, чтобы уладить дело. С большим трудом уладил. И уже хорошо зная, что с Пушкиным шутки плохи, что каждую минуту может запахнуть порохом и кровью, все-таки не может смотреть спокойно на любовные муки приемного сына и опять начинает преследовать Наталью Николаевну своими уговорами, при выходе из театра шепчет ей:

— Когда же вы склонитесь на мольбы моего сына?

Все для возлюбленного он готов был сделать. И с горечью Геккерен сознавал, что не встречает в Дантесе такого же беззаветного к себе чувства; после высылки Дантеса Геккерен писал ему: «Боже мой, Жорж, что за дело оставил ты мне в наследство! А все недостаток доверия с твоей стороны. Не скрою от тебя, меня огорчило это до глубины души; не думал я, что заслужил от тебя такое отношение».

Был ли Геккерен причастен к фабрикации анонимных пасквилей, полученных Пушкиным в ноябре 1836 г.? Сам Пушкин был глубоко убежден, что это — дело рук Геккерена, и, кажется, в этой уверенности и умер. Какие-то данные были доставлены жандармерией императору, убедившие, повидимому, и его в причастности Геккерена к пасквилям. Однако, с какой стороны ни подходить, совершенно невозможно себе представить, какой для Геккерена был смысл посылать Пушкину подобные пасквили. Могли это сделать только враги Дантеса, желавшие помешать свободе его ухаживаний за женою Пушкина. Последовавший вызов на дуэль был естественным следствием этих пасквилей. Все же поведение Геккерена после вызова, его отчаянные старания во что бы то ни

стало ликвидировать создавшееся положение показывают, что он его вовсе не желал. Исследователи последнего времени единодушно сходятся в мнении о непричастности Геккерена к анонимным письмам. Щеголев, тоже отрицавший эту причастность, изменил свое мнение, когда выяснилось, что острие пасквильного диплома было направлено не на Дантеса, а на императора Николая. По мнению Щеголева, в таком случае можно принять, что Геккерен послал пасквиль Пушкину в намерении отвести его внимание от Дантеса и направить его гнев в другую сторону. Но за какого простачка должен был принимать старый Геккерен Пушкина, если мог думать, что стоит указать ему на Николая, — и он забудет о Дантесе, который так компрометировал его в глазах света, и весь свой гнев целиком направит на Николая? Такой наивности Геккерен не мог предполагать в Пушкине, а впутывать в интригу высокую особу русского императора ему, представителю иностранного двора, было слишком рискованно.

26 января 1837 г. Пушкин послал Геккерену-старшему свое ужасное письмо, сделавшее дуэль неизбежною. Почему он послал письмо не Дантесу, а Геккерену? Автором ноябрьского пасквиля Пушкин считал Геккерена, — но дело с пасквилем, как-никак, было ликвидировано тогда же, и не произошло ничего нового, что могло бы побудить Пушкина опять вспомнить о пасквиле. Дело шло теперь не о старом пасквиле, а о непрекращавшейся своднической роли Геккерена, об его уговаривании Натальи Николаевны изменить мужу и осчастливить приемного его сына своею любовью. Павел Вяземский утверждает, что объяснение раздражению Пушкина следует видеть не в волокитстве Дантеса за его женою, а в уговаривании ее стариком бросить мужа: этот шаг старика и был тем убийственным оскорблением для самолюбия Пушкина, которое должно было быть смыто кровью. Во всяком случае, оба Геккерена сливались в глазах Пушкина в двуединое существо, с исключительною наглостью вмешивавшееся в семейную жизнь Пушкина, и вызов его одновременно бил по обоим. То, что в письме говорит Пушкин о роли Геккерена, достаточно объясняет причину адресования письма ему. «Вы, представитель коронованной главы, — вы отечески служили сводником вашему сыну... Подобно старой развратнице, вы подстерегали мою жену во всех углах, чтобы говорить ей о любви вашего так называемого сына; и когда, больной сифилисом, он оставался дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней; вы ей бормотали: «Возвратите мне моего сына!..» Я не желаю, чтобы жена моя продолжала слушать ваши родительские увещания».

Вызов принял, конечно, Дантес. Есть сведения, что Геккерен в наемной карете, чтобы не быть узнанным публикой, поехал следом за

дуэлянтами и ждал результатов поединка у Комендантской дачи, за полверсты от места дуэли. Он уступил свою карету для раненого Пушкина, а сам возвратился домой на извозчике.

Последствия, которые имела для Геккерена дуэль и вызванная ею смерть Пушкина, пробуждают большое недоумение. Что, собственно, случилось? Молодой офицер, сын иностранного посланника, — и даже не родной сын, а приемный, — по любовному делу убил на поединке нечиновного камер-юнкера, приревновавшего его к своей жене. Что здесь для того времени особенного? И самому убийце в подобных случаях наказание грозило очень небольшое — несколько месяцев ареста в крепости или на гауптвахте, особенно ввиду поведения убитого, сделавшего дуэль неизбежною. И уж никаким образом не могло отразиться это событие на отце офицера. Первые дни можно было думать, что все так и будет. Петербургское высшее общество за редкими, единичными исключениями было целиком на стороне Геккеренов, оказывало им самое теплое внимание и сочувствие; император Николай высказался о Дантесе очень милостиво, признавал, что он никак не мог отказаться от вызова своего бешеного противника и что во время дуэли вел себя честно и смело. Вюртембергский посланник князь Гогенлоэ-Кирхберг писал своему правительству: «Непосредственно после дуэли между Пушкиным и молодым Геккереном большинство высказывалось в пользу последнего, но не понадобилось и двадцати четырех часов, чтобы русская партия изменила настроение умов в пользу Пушкина». Что это за «русская партия», мы увидим ниже. Но факт — тот, что отношение верхов к обоим Геккеренам совершенно неожиданно резко изменилось. Дантес был присужден к разжалованию в рядовые и как иностранный подданный выслан за границу, — «посажен в открытую телегу и отвезен за границу, как бродяга, без предупреждения его семьи об этом решении», — с негодованием писал в своей депеше французский посол. Старший Геккерен, после долгих и напрасных попыток оправдаться перед императором, увидел себя вынужденным уехать в отпуск. Перед отъездом он просил императора об аудиенции. В этом ему было отказано, но была прислана табакерка с царским портретом. Такие табакерки вручались посланникам, когда они окончательно покидали свой пост; вручение табакерки Геккерену говорило, что его больше не желают видеть на его посту.

Чем была вызвана эта перемена отношения к Геккеренам? Император писал в Рим брату своему Михаилу: «Порицание поведения Геккерена справедливо и заслуженно; он точно вел себя, как гнусная каналья. Сам сводничал Дантесу в отсутствие Пушкина, уговаривал жену его отдаться Дантесу, который будто к ней умирал любовью». Если это было

и так, то все-таки подобного частного обстоятельства было слишком мало, чтобы потребовать отозвания Геккерена из России. Щеголев думает, что причиною перемены отношения Николая к Геккерену было предполагаемое участие Геккерена в посылке Пушкину ноябрьского пасквиля, задевавшего доброе имя и самого императора; ознакомившись после смерти Пушкина с пасквилем и получив какие-то доказательства об авторстве Геккерена, император пришел в бешенство и потребовал от голландского правительства убрать своего посла. Может быть, были и такие мотивы, хотя трудно предположить, чтобы Бенкендорф посмел в ноябре скрыть от императора оскорбительный для него пасквиль и показать только после смерти Пушкина. Однако странным образом почти никем не учитывается главная причина перемены отношения к Геккеренам, — причина, получившая очень ясное отражение в целом ряде документов того времени. Похороны Пушкина, как мы уже видели, вылились в форменную, очень внушительную стихийную демонстрацию. До какой степени она была внушительна, показывает то обстоятельство, что почти все иностранные послы сочли нужным сообщить о ней своим правительствам; и все отмечали, что демонстрация шла от демократических слоев общества — «среднего класса», «второго и третьего класса жителей», «простого народа», «черни». Николай и высший свет совершенно не сознавали и не хотели знать, что смерть Пушкина — огромнейшая национальная потеря. Напор снизу з а с т а в и л их это понять, и вот в чем основная причина столь изумившей Геккеренов перемены отношения к ним верхов. Волей-неволей пришлось понять, что убит не «сочинитель» титулярный советник Пушкин, а гениальный поэт, слава и гордость России. И пришлось перестроить все свое отношение к случившемуся, пришлось притвориться, что и наверху смерть Пушкина расценивается как национальная потеря. Как мы уже видели, Дантес в своем показании суду прямо писал, что в высшем обществе от него отвернулись с той поры, как простой народ побежал в дом Пушкина, «без всякого рассуждения и желания отделить человека от таланта». Прусский посланник сообщал своему правительству, что император совершенно изменил свое первоначальное благосклонное отношение к Дантесу: «Начинают думать, что император не пожелает, а, быть может, не сможет всецело следовать своим первым впечатлениям и подвергнет барона Геккерена (Дантеса) достаточно суровому наказанию, хотя бы для того, чтобы успокоить раздражение и крики о возмездии или, если угодно, горячую жажду публичного обвинения, которую вызвало печальное происшествие». А сардинский посланник по поводу ухода со своего поста голландского посланника писал: «Ввиду того горя, которое обнаруживается здесь по поводу смерти Пушкина, и тех сожалений,

которые высказываются, я нахожу решение, принятое вышеназванным послом покинуть Петербург, весьма приличным и соответствующим тому положению, в которое он будет поставлен вследствие этой дуэли, так изменившей его прежнее положение». Сам старик Геккерен писал близким, что он покидает свой пост, потому что ему пришлось бы бороться с целой партией, главою которой был покойный: «...борьба с нею отравила бы со временем все мое существование... Решительно мы подвергаемся нападкам партии, которая начинает обнаруживаться и некоторые органы которой возбуждают преследование против нас». И вюртембергский посланник, как мы видели, писал о могущественной «русской партии», сумевшей в двадцать четыре часа изменить настроение умов в пользу Пушкина. «Глаз стороннего наблюдателя, — сообщал он, — имел возможность убедиться, как сильна и могущественна эта чисто-русская партия». Никакой такой специальной партии, конечно, не существовало. Но было стихийное демократическое движение, которое заставило в смущении отступить перед собою само всесильное николаевское правительство и жертвою которого сделались ничего такого не ожидавшие Геккерены.

После высылки Дантеса Геккерену пришлось некоторое время пробыть еще в Петербурге для ликвидации своих имущественных дел. Высшее общество поспешило от него отшатнуться, и он очутился почти в полном одиночестве; только некоторые из старых друзей остались ему верны. Из Голландии тоже шли плохие вести: надежды на новое место не было. Перед отъездом Геккерен публиковал о продаже всей своей движимости; его квартира превратилась в магазин, среди которого он сидел, самолично продавая вещи. Многие воспользовались этим случаем, чтобы оскорбить его. Геккерен сидел, например, на стуле, на котором выставлена была цена; один офицер заплатил за стул и тут же взял его из-под него.

После потери своего поста в Петербурге Геккерен около пяти лет находился не у дел. Затем он был назначен голландским посланником в Вену и пробыл там беспрерывно до семидесятых годов. В дипломатическом кругу сильно боялись его языка и хотя недолюбливали, но кланялись ему, опасаясь от него злого словца. Немецкий поэт Фр. Боденштедт имел случай наблюдать Геккерена в шестидесятых годах в Вене. «Он держал себя, — рассказывает Боденштедт, — с тою непринужденностью, которая обыкновенно вызывается богатством и высоким положением, и его высокой, худой и узкоплечей фигуре нельзя было отказать в известной ловкости. Он носил темный сюртук, застегнутый до самой его худой шеи. Сзади он мог показаться седым квакером, но достаточно было заглянуть ему в лицо, еще довольно свежее, несмотря на

седину редких волос, чтобы убедиться в том, что перед вами прожженный жуир. Он не представлял собою приятного зрелища, с бегающими глазами и окаменевшими чертами лица. Весь облик тщательно застегнутого на все пуговицы дипломата производил каучукообразной подвижностью самое отталкивающее впечатление».

Близкие отношения между Геккереном и Дантесом продолжались. Дантес иногда приезжал с женою в Вену повидаться со своим приемным отцом. В 1875 г. Геккерен вышел в отставку и поселился в Париже у приемного сына. Умер он в глубокой старости, девяноста трех лет, сохранив до конца живой ум и колкое остроумие.

Князь ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ ДОЛГОРУКОВ
(1816—1868)

Автор анонимных пасквилей, полученных Пушкиным в ноябре 1836 г. Учился в Пажеском корпусе, был произведен в камер-пажи, но вскоре, за леность и дурное поведение, разжалован в пажи. По окончании корпуса получил аттестат, в котором было упомянуто и об этом разжаловании и о том, что он к военной службе неспособен (Пажеский корпус специально выпускал офицеров в привилегированные полки). Долгоруков зачислился на службу по министерству народного просвещения и повел жизнь богатого и знатного молодого человека, перед которым были открыты все пути к удовольствиям жизни. Он вошел в кружок золотой молодежи, группировавшейся вокруг голландского посланника Геккерена и объединенной противоестественными вкусами. Из чистого, повидимому, озорства, без всякой личной вражды в Пушкину, отражая общее отношение высшего общества к Пушкину, он сфабриковал анонимный диплом на звание рогоносца и разослал его знакомым Пушкина для передачи Пушкину. Молодого князя (ему в то время было двадцать лет), видимо, очень потешало ухаживание Дантеса за женою ревнивого Пушкина. На одном великосветском балу Долгоруков, стоя за спиною Пушкина, поднимал над его головою пальцы, растопыренные рогами, кивая при этом на Дантеса. Можно предположить, что забава с анонимным дипломом очень понравилась молодому человеку, и что это он продолжал забрасывать Пушкина анонимными письмами вплоть до самой дуэли.

Долгоруков был небольшого роста, дурно сложен, одна нога короче другой, ходил прихрамывая, почему его прозвали «le bancal (косолапый)». Черты лица неправильные. Был он человек завистливый, мелочной, скупой и глубоко беспринципный. Встречавший его около этого времени гр. М. Д. Бутурлин рассказывает: «Молодежь подсмеивалась

над ним, особенно по причине его скаредности; да и вообще меня поразила непочтительная фамильярность, с какою обходились с ним иные молодые люди и на которую он как бы не обращал внимания. Однажды, при разъезде из Михайловского театра, когда шел сильный дождь, двое великосветских молодых людей, зная, что, невзирая на мокрую погоду, Долгоруков поскупился взять экипаж, научили швейцара, провозглашавшего фамилии хозяев подъезжавших карет, закричать: «Князя Долгорукова калоши», которые он обыкновенно оставлял у швейцара.

С юношеских лет Долгоруков интересовался генеалогией. В 1840—1841 гг. выпустил «Российский родословный сборник». В 1843 г., будучи в Париже, напечатал там под псевдонимом книжку о знатных русских дворянских фамилиях, полную самых пикантных разоблачений. Ему было предъявлено требование немедленно возвратиться в Россию, и он был сослан на год в Вятку. По отбытии ссылки поселился в Москве, выпустил в четырех томах большой труд, «Российская родословная книга». В 1859 г., без разрешения и паспорта, оставил Россию и стал политическим эмигрантом. Напечатал на французском языке памфлет под заглавием «Правда о России», издавал ряд журналов («Будущность», «Правдивый», «Листок»). Он доказывал в них необходимость для России конституционной монархии с двухпалатной системой, но особенный интерес представляли его многочисленные биографические очерки министров и сановников, рисовавшие картины глубокого развращения правящих слоев России. В 1867 г. издал на французском языке первый том «Мемуаров кн. Петра Долгорукова», содержащий характеристику главнейших русских государственных деятелей начала восемнадцатого века, кончая Бироном. Герцен восторженно приветствовал книгу в «Колоколе» и писал о ней: «В рассказе детства и отрочества нашего настоящего барства душит подлость, отсутствие всякого убеждения, всякого достоинства, стыда, чести, цинизм холопства, сознательность преступлений... И эти-то доносчики, сводники, ябедники, палачи, пытавшие друзей и родных, битые, сеченные, оплеванные Бироном, казнокрады, взяточники, изверги с мужиками, изверги с подчиненными, составляют почву настоящих русских бар!» Щеголев пишет о Долгорукове:

«Князь Долгоруков — характерное и по временам комическое порождение фронды родовитого русского дворянства против самодержавия и узурпации т. наз. династии Романовых... Он всерьез считал себя претендентом на русский престол и говаривал: «Романовы узурпаторы, а если кому царствовать в России, так, конечно, мне, Долгорукову, прямому Рюриковичу».

На всех, знавших Долгорукова, он производил отталкивающее впечатление глубоко нечистоплотного в нравственном отношении человека; причину его борьбы с русским правительством объясняли личными мотивами мести за неудавшуюся карьеру, за то, что не удалось сделаться министром внутренних дел и т. п. Н. А. Тучкова-Огарева, видевшая Долгорукова в 1862 г. в Лондоне у Герцена, так описывает его: «Наружность его была непривлекательна, несимпатична; в больших карих глазах виднелись самолюбие и привычка повелевать; он был ужасно горяч и невоздержан на язык в минуты гнева. Каждое ничтожное происшествие, каждое неточное исполнение его желания приводило князя в неописанную ярость... Герцен не чувствовал к нему ни малейшего влечения, но принимал его очень учтиво». Нравственная физиономия Долгорукова хорошо рисуется в его шантажном письме к светлейшему князю М. С. Воронцову. В 1856 г., еще будучи в России, он написал Воронцову письмо, где просил его прислать новые документы в подтверждение происхождения Воронцовых от древних Воронцовых и Вельяминовых, так как представленные Воронцовым документы вызывают в Долгорукове сомнение в их подлинности. А в письмо это вложил записку без подписи, изменив почерк, в которой Воронцов извещался, что если он подарит Долгорукову 50 000 рублей серебром, то генеалогия его появится в «Российской родословной книге» в том виде, в каком желает Воронцов. Воронцов денег не выслал, а записку сохранил. Уже по смерти Воронцова, когда Долгоруков был эмигрантом, французский суд, по иску сына умершего Воронцова, произведши экспертизу шантажного письма, признал его автором Долгорукова и вынес ему обвинительный приговор. Это был низкопробный негодяй, способный на все. В России он так избивал свою жену, что она, вся в синяках, прибегала в Третье отделение к Дубельту просить защиты от мужа. В конце концов она ушла от него. Однажды пришел к нему содержатель типографии Веймар, чтобы получить 650 руб. за напечатание третьей части «Российской родословной книги». Долгоруков предложил ему расписаться в получении денег, ушел со счетом в кабинет как будто за деньгами, через несколько минут воротился и спросил:

— Чего вы еще ждете?

— Как чего, ваше сиятельство? Моих денег.

— Да вы их получили и расписались.

— Вы изволите шутить? Расписаться я расписался, а денег вы мне не давали.

Долгоруков осыпал его ругательствами и велел лакею вытолкать вон.

Князь ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ГАГАРИН
(1814—1882)

Получил блестящее образование. В 1833—1835 гг. служил в русской дипломатической миссии в Мюнхене и здесь сблизился с поэтом Ф. И. Тютчевым. В конце 1835 г. переехал в Петербург, где продолжал служить в министерстве иностранных дел. Был горячим пропагандистом поэзии Тютчева, познакомил с нею Пушкина, который много стихов Тютчева напечатал в своем «Современнике». В 1836 г. Гагарин жил в одной квартире с кн. П. В. Долгоруковым, автором анонимных пасквилей на Пушкина. Пасквили были писаны на почтовой бумаге, употреблявшейся Гагариным, поэтому подозрение в соучастии (совершенно, повидимому, неправильное) долго тяготело над Гагариным и отравило всю его жизнь. В 1843 г. Гагарин оставил Россию, поселился в Париже, перешел в католичество и поступил в орден иезуитов.

Граф КАРЛ ВАСИЛЬЕВИЧ НЕССЕЛЬРОДЕ
(1780—1862)

Министр иностранных дел при Александре I и Николае I, немец по происхождению, до конца жизни не научившийся правильно говорить по-русски. Был страстным поклонником Меттерниха и являлся его послушным орудием в поддержке идей и системы Священного Союза. В 1849 г. настоял на вмешательстве России в австрийские дела с целью подавления венгерского восстания; является также одним из инициаторов Крымской войны. Кн. П. В. Долгоруков характеризует его так: «Человек ума не обширного, но необыкновенно хитрого и тонкого, ловкий и вкрадчивый от природы. Искусный пройдоха, обревший большую помощь в хитрости и ловкости своей жены-повелительницы, — столь же, как он, искусной пройдохи и к тому же страшнейшей взяточницы, — Нессельроде был отменно способным к ведению обыденных, мелких дипломатических переговоров. Но зато высшие государственные соображения были ему вовсе чужды... Ленивый от природы, он не любил ни дел, ни переговоров; его страстью были три вещи: вкусный стол, цветы и деньги... Этот австрийский министр русских иностранных дел не любил русских и считал их ни к чему не способными, зато боготворил немцев». Нессельроде был небольшого роста («карлик мой», называет его в своей эпиграмме Тютчев). Современник так описывает наружность Нессельроде: «Черты лица его были тонки, нос с заметным горбом, сквозь очки сверкали удивительные глаза. Не будучи ни горд, ни слишком

прост в обращении, он вообще избегал всяких крайностей. Он мало говорил, но когда говорил, то всегда что-нибудь скажет своим сдержанным, хриплым голосом, звук которого нельзя было забыть. Движения его были быстры. Если он переходил в другую комнату, то походка его едва была слышна; неожиданно он оказывался уже там и, казалось, скорее скользил по полу, чем ходил. В немногочисленном обществе он всегда носил темный фрак с портретом государя, украшенным алмазами, в петлице: это высшая награда после ордена Андрея Первозванного».

Графиня МАРИЯ ДМИТРИЕВНА НЕССЕЛЬРОДЕ
(1786—1849)

Жена предыдущего, дочь министра финансов при Александре I Д. А. Гурьева, прославившегося колоссальным даже для того времени взяточничеством. О Гурьеве строчка в эпиграмме, неправильно приписываемой Пушкину:

Встарь Голицын мудрость весил,
Гурьев грабил весь народ,
Аракчеев куралесил,
Царь же ездил на развод.

Была одною из влиятельнейших дам в царствование Николая, салон ее был первым в Петербурге, попасть в него, при его исключительности, представляло трудную задачу; но кто водворился в нем, — рассказывает современник, — тому это служило открытым пропуском в весь высший круг. Как и муж, она всею душою была предана началам Священного Союза, преклонялась перед монархом, была врагом всякого оппозиционного движения. Ее почитатель бар. М. А. Корф пишет: «Сколько вражда ее была ужасна и опасна, столько дружба неизменна и заботлива. Совершенный мужчина по характеру и вкусу, частью и по занятиям, почти и по наружности, она, казалось, преднамеренно отклоняла от себя все, имевшее вид женственности». Графиня Нессельроде была в самых дружественных отношениях с Геккереном, горою стояла за него в его истории с Пушкиным, была посаженою матерью на свадьбе Дантеса, вечер после дуэли вместе с мужем провела у Геккеренов и не покидала Геккерена до самого его вынужденного отъезда из Петербурга, когда, ввиду царской немилости, все поспешили от него отвернуться. Сомнительно, чтобы к Пушкину она специально питала какую-либо особенную ненависть, якобы за эпиграмму на ее отца. Для нее он был

просто либеральный «сочинитель», которого она навряд ли даже и читала, ничтожный камер-юнкер, который мог ее только возмутить своим вмешательством в жизнь милой ей семьи Геккеренов. Об отношении Пушкина к графине Нессельроде рассказывает Павел Вяземский: «Ненависть Пушкина к этой последней представительнице космополитного олигархического ареопага едва ли не превышала ненависть его к Булгарину. Он не пропускал случая клеймить эпиграмматическими выходками и анекдотами свою надменную антагонистку, едва умевшую говорить по-русски». В общем, взаимоотношения Пушкина и четы Нессельроде остаются для нас очень неясными. Недавно опубликовано было сообщение одного придворного, что однажды за обедом в Зимнем дворце император Александр II сказал: «Ну, вот теперь известен автор анонимных писем, которые были причиною смерти Пушкина; это Нессельроде».

КЛЕМЕНТИЙ ОСИПОВИЧ РОССЕТ
(1810—1866)

Брат А. О. Россет-Смирновой. Воспитание получил в Пажеском корпусе, служил на военной службе в пехоте, в 1846 г. вышел в отставку майором. Был человек остроумный. В ноябре 1836 г. он был одним из лиц, получивших анонимный пасквиль для передачи Пушкину. На первом конверте стоял адрес Россета с подробным указанием, куда повернуть, войдя во двор, по какой итти лестнице и какая дверь его квартиры. По вскрытии конверта в нем оказался другой, адресованный Пушкину. Подробный адрес свидетельствовал, что письмо послано лицами, бывавшими у Россета, а вид бумаги и почерк навели Россета на подозрение, что письмо писано кн. П. В. Долгоруковым или кн. И. С. Гагариным, жившими вместе. Россет заподозрел какую-то гадость и не передал Пушкину ни письма, ни своих подозрений. Недели через две к нему пришел Пушкин, сказал, что вызвал на дуэль Дантеса и просил быть его секундантом. Россет отказывался, говоря, что дело секундантов стараться вначале о примирении противников, а он этого не может сделать, потому что не терпит Дантеса и будет рад, если Пушкин избавит от него петербургское общество; потом он недостаточно хорошо пишет по-французски, чтобы вести переписку, а в этом случае ее нужно вести очень осмотрительно, но быть секундантом на самом месте поединка, когда уже все будет условлено, он не отказывается. После этого Пушкин обратился к графу В. А. Сологубу.

АРКАДИЙ ОСИПОВИЧ РОССЕТ
(1812—1881)

Брат предыдущего. Воспитывался в Пажеском корпусе, служил в гвардейской артиллерии. Впоследствии был виленским губернатором, товарищем министра государственных имуществ и сенатором.

24 января 1837 г., за три дня до поединка Пушкина, Россет пришел в гости к кн. П. И. Мещерскому, женатому на дочери Карамзина. Дантес, уже женившийся на Екатерине Гончаровой, подчеркнуто ухаживал за женою Пушкина. Россет вошел в кабинет. Пушкин играл в шахматы с хозяином.

— Ну что? — обратился он к Россету. — Вы были в гостиной. Он уже там, возле моей жены?

Даже не назвал Дантеса по имени. Вопрос смутил молодого офицера. Он, заминаясь, ответил, что Дантеса видел. Пушкин стал глядеть на Россета, наблюдал выражение его лица и что-то сказал ему лестное. Тот весь покраснел, и Пушкин стал громко хохотать над его смущением.

Через пять дней А. О. Россет переносил тело Пушкина с дивана, на котором он умер, на стол. Вспоминая об этом, Россет рассказывал:

— Как он был легок!

Виконт Д'АРШИАК
(Род. в 1811 г. — ум. в конце 40-х гг.)

Француз, атташе при французском посольстве в Петербурге, двоюродный брат Дантеса. По отзыву Сологуба, статный молодой человек, необыкновенно симпатичный. 2 февраля 1837 г., за участие в качестве секунданта в дуэли Дантеса с Пушкиным, принужден был уехать из России.

В 1847 г. Дантес-Геккерен писал кн. И. С. Гагарину:

«Жизнь д'Аршиака во многом сходна с моей. Как и я, он был женат и счастлив, и, как я, был поражен в самой дорогой для него привязанности. Его жена была дочь маршала Жерара. Его первый ребенок стоил жизни матери. С того времени он живет очень уединенно со своим тестем. Я с ним видаюсь, когда бываю в Париже».

Вскоре д'Аршиак умер, — как сообщает Сологуб, погиб трагической смертью на охоте.

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ АРЕНДТ
(1786—1859)

Знаменитый хирург. Блестяще окончив петербургскую медико-хирургическую академию, поступил на службу военным врачом и принимал участие во всех кампаниях эпохи наших войн с Наполеоном. Славился как необыкновенно искусный и смелый хирург, совершавший с успехом самые рискованные операции. В большой степени успех этот обусловливался щепетильною чистотою и тщательностью ухода за оперированным. С 1829 г. — лейб-медик. По поручению императора Николая, руководил лечением смертельно раненого Пушкина. С точки зрения современной медицины, лечение Пушкина было совершенно неправильно и только без нужды увеличило страдания умирающего.

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ДАЛЬ
(1801—1872)

Беллетрист (псевдоним — казак Луганский), фольклорист, лексикограф. Сын датчанина и немки, родился в Луганске Екатеринославской губернии. Окончил курс в морском корпусе, несколько лет служил во флоте, но моря не выносил, вышел в отставку и поступил в Дерпт на медицинский факультет. В 1829 г. выпущен был врачом, участвовал в качестве врача в турецкой и польской войнах. В Польше отличился при переправе русских войск через Вислу: за неимением инженера навел понтонный мост, защищал его при переправе, а когда польская кавалерия прорвалась к мосту и передовые были уже на мосту, Даль собственноручно перерубил канат и развел мост. От начальства он получил выговор за неисполнение своих прямых обязанностей, но Николай наградил его орденом. По окончании войны Даль поступил ординатором в петербургский военно-сухопутный госпиталь, занялся и литературой, познакомился с лучшими тогдашними писателями — Пушкиным, Жуковским, Крыловым, Одоевским. В 1832 г. выпустил книжку «Русские сказки казака Луганского». По доносу Булгарина книжка была запрещена, а сам Даль взят в Третье отделение, однако в тот же день освобожден: царь вспомнил о его подвиге в Польше. Арест книжки сразу сделал Даля популярным. Около этого времени Даль познакомился с Пушкиным, очень заинтересовавшимся стилем его сказок. «Пушкин, — рассказывает он, — по обыкновению своему, засыпал меня множеством отрывчатых замечаний, которые все шли к делу, показывали глубокое чувство истины и выражали то, что, казалось, у всякого из

нас на уме вертится, только что с языка не срывается. «Сказка сказкой, — говорил он, — а язык наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это сделать? Надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке. Да нет, трудно, нельзя еще! А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! А не дается в руки, нет!» По рассказу Мельникова-Печерского, Пушкин свою сказку «О рыбаке и рыбке» написал под влиянием «Сказок» Даля и подарил ее Далю в рукописи с надписью: «Твоя от твоих! Сказочнику казаку Луганскому сказочник Александр Пушкин».

В 1833 г. Даль поступил чиновником особых поручений к оренбургскому генерал-губернатору В. А. Перовскому, помогал приехавшему Пушкину собирать материалы для истории пугачевского бунта, ездил с ним в село Берды, бывшую столицу Пугачева. В 1836 г. Даль приехал в отпуск в Петербург. 28 января следующего года он узнал от знакомого, что Пушкин смертельно ранен на дуэли, и сейчас же поехал к нему. Пушкин велел его впустить, подал руку, улыбнулся и сказал:

— Плохо, брат!

Раньше они были на «вы», — теперь Пушкин стал ему говорить «ты». Даль как врач принял участие в уходе за Пушкиным и не отходил от него до его смерти. Всю последнюю ночь, мучаясь тоскою и болью, Пушкин крепко держал в руке руку Даля, послушливо, как ребенок, исполнял все его предписания. На утешения его отвечал:

— Нет, мне здесь не житье. Я умру, да, видно, уж так и надо!

На следующий день, в предсмертном бреду, Пушкин все время сжимал руку Даля, говорил ему:

— Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше, ну, — пойдем!

Очнулся, поглядел на Даля:

— Мне было пригрезилось, что я с тобою лезу вверх по этим книгам и полкам, высоко, — и голова закружилась.

Опять впал в забытье, стал искать руку Даля, потянул ее и сказал:

— Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе!

По просьбе Пушкина, Даль взял его подмышки и приподнял выше. Вдруг Пушкин, будто проснувшись, быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал:

— Кончена жизнь.

Даль не дослышал и спросил тихо:

— Что кончено?

— Жизнь кончена, — внятно и уверенно ответил Пушкин.

Впоследствии Даль был директором канцелярии министра внутрен

них дел, управляющим нижегородской удельной конторой, в 1859 г. вышел в отставку и до смерти жил в Москве.

Даль был плодовитый беллетрист, но рассказы его имеют более этнографический, чем художественный интерес; писаны они подчеркнуто-народным языком, в тщательной нарочитости своей выдающим нерусское происхождение автора. Главный его труд и главная заслуга — «Толковый словарь живого великорусского языка»; Академия наук, несмотря на крупные недостатки словаря в научном смысле, все-таки признала его, ввиду собранного в нем громадного материала, достойным ломоносовской премии, выдававшейся за труды, пролагающие новые пути в области знания. Даль был монархист и ярый русско-православный патриот, хотя сам был лютеранином и принял православие только под конец жизни. Увлекался гомеопатией, спиритизмом. Был высок ростом, худощав; лицо очень худое, с впалыми щеками, с длинным, заостренным носом; брови очень выгнутые, щетинистые; небольшие, быстрые, пронзительные глаза со стальным отливом. Характер его был несколько жесткий, педантический, мало общительный. В семействе его побаивались, боялись и вообще все, находившиеся в зависимости от него.

ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СТРОГАНОВ
(1770—1857)

Был посланником в Испании, Швеции и Турции. В 1826 г. возведен в графское достоинство. Богач. В молодости был знаменитый красавец и имел огромный успех у женщин. В «Дон-Жуане» Байрона испанка Джулия, хвалясь перед мужем своею верностью, перечисляет лиц, перед которыми она устояла, и в их числе называет Строганова: «...и граф Строганов был в отчаянии от моей жестокости». При дворе и в высшем свете Строганов пользовался большим уважением. По отзывам современников, он представлял из себя смешение совершенно иностранного воспитания, привычек и склада ума с самым фанатическим русским патриотизмом. В глубокой старости, уже ослепший, когда в его гостиной один иностранец непочтительно отозвался о России, Строганов попросил одного из гостей «проводить слепого» и вышел, заявив иностранцу, что «он не останется в одной комнате с посетителем, который осмеливается при нем сказать слово неуважительное про Россию».

По матери, рожденной Загряжской, Строганов приходился двоюродным братом теще Пушкина. Пушкин был с ним знаком, бывал у него. Современник рассказывает: «На даче графа Гр. А. Строганова, со сторо-

ны сада, на балконе часто можно было видеть Пушкина, беседовавшего с графом. Граф Строганов был слепец. Фигура его, с седыми вьющимися волосами, в бархатном длиннополом черном сюртуке, с добродушною улыбкою, невольно останавливала внимание гулявших в саду. Особенно, когда вместе с ним был и поэт». Весною 1834 г. Строганов прислал Пушкину номер французской «Франкфуртской газеты», где сообщалось о речи, произнесенной в Брюсселе польским эмигрантом-революционером Лелевелем. В речи этой Лелевель, между прочим, говорил о Пушкине как главе русской оппозиционной молодежи, передавал содержание двух революционных сказочек, будто бы сочиненных Пушкиным и вызвавших ссылку Пушкина в самые отдаленные места империи. Пушкин в ответ писал Строганову: «Мне приходится очень печально расплачиваться за увлечения своей юности. Объятия Лелевеля кажутся мне тяжелее ссылки в Сибирь. Впрочем, очень благодарен вам за то, что вам угодно было сообщить мне эту статью: она послужит материалом для отповеди». Отповеди, впрочем, Пушкин не написал.

К Дантесу и его приемному отцу Строганов относился с большим расположением. Старик-Геккерен отзывается о нем в письмах как о своем друге. Строганов с женою были посаженными отцом и матерью Екатерины Гончаровой на ее свадьбе с Дантесом, он дал в честь новобрачных свадебный обед, тайною целью которого была попытка помирить Пушкина с Дантесом, — попытка, окончившаяся неудачей. Когда Геккерен получил письмо Пушкина, полное ужаснейших оскорблений, он как раз отправлялся с приемным сыном на обед к Строганову. Он показал Строганову письмо Пушкина и просил у него совета. А. И. Васильчикова, тетка В. А. Сологуба, рассказывает: «Строганов был старик, пользовавшийся между аристократами особенным уважением, отличавшийся отличным знанием всех правил аристократической чести, одним словом, был органом общественного мнения в большом свете. Этот-то старец объявил решительно, что за оскорбительное письмо непременно должно драться, и дело было решено». По всему судя, Дантес с Геккереном по складу своему и духу были Строганову гораздо ближе, чем «либералист» и «во дворянстве мещанин» Пушкин. После дуэли Строганов с супругою весь вечер до поздней ночи провели не у тяжело раненого Пушкина, а у отделавшегося легкою раною Дантеса и его приемного отца. К Пушкину же, пока он был жив, Строганов, повидимому, ни разу и не заглянул. Сын его Александр Григорьевич предупредил отца, что, заехав проведать раненого Пушкина, он увидал там такие разбойничьи лица и такую сволочь, что советовал бы отцу туда не ездить. Так отец и сделал, — послал только жену утешать свою племянницу Наталью Николаевну. Сам же приехал только после смерти Пушкина. Он взял

на себя издержки по похоронам и устроил похороны самые пышные, уговорил петербургского митрополита Серафима разрешить погребение по христианскому обряду, что тот сначала было запретил, считая смерть на дуэли равносильною самоубийству. Строганов состоял членом опеки над детьми и имуществом Пушкина. Все симпатии его, однако, оставались на стороне Дантеса. Он до глубины души возмущался поведением Ек. Ив. Загряжской, не желавшей видеть жену убийцы Пушкина. После высылки Дантеса Екатерина Николаевна оставалась еще некоторое время в Петербурге. Она писала мужу: «Граф меня вчера навестил; он в отчаянии от всего случившегося с тобой и возмущен до бешенства глупым поведением моей тетушки и не сделал ни шага к сближению с ней». А старик Геккерен писал Дантесу: «Строганов написал мне великолепное письмо, мне и тебе...» Уезжая, он послал Строганову в подарок старинный хрустальный бокал. Строганов в ответ писал ему: «Когда ваш сын Жорж узнает, что этот бокал находится у меня, скажите ему, что дядя его Строганов хранит его, как память о благородном и лойяльном поведении, которым отмечены последние месяцы его пребывания в России. Если наказанный преступник является примером для толпы, то невинно осужденный, без надежды на восстановление имени, имеет право на сочувствие всех честных людей».

Графиня ЮЛИЯ ПЕТРОВНА СТРОГАНОВА
(Ум. в 1864 г.)

Жена предыдущего. Будучи послом в Испании (1805—1810), граф Григорий Строганов, при живой жене, сошелся с португальской графинею да-Ега, рожденной д'Альмейда графиней д'Оейнгаузен. Впоследствии обвенчался с нею. В России она называлась Юлией Петровной. Когда Пушкин умирал, сам Строганов, предупрежденный сыном, воздержался, как мы видели, от посещения квартиры Пушкина, жена же его бывала там и утешала жену Пушкина. Однако, видимо, чувствовала она себя там, как в разбойничьем вертепе. После смерти Пушкина студент граф П. П. Шувалов приехал поклониться праху поэта. Он попросил сына кн. П. А. Вяземского, студента Павла, показать ему пушкинский портрет Кипренского. Оба они вошли в гостиную. Сидевшая там Юлия Петровна выпорхнула в другую дверь и с ужасом объявила, что шайка студентов ворвалась в квартиру для оскорбления вдовы. Вышла Вера Федоровна Вяземская, мать Павла, и дело разъяснилось. Тем не менее Юлия Петровна тут же, из квартиры Пушкина, послала Бенкендорфу записку с требованием прислать жандармов для охранения вдовы от

беспрестанно приходящих студентов. А вечером сочла своим долгом отправиться к княгине ди-Бутера, матери студента Шувалова, и предупредить ее об участии ее сына в шайке студентов, произведшей утром демонстрацию.

ИДАЛИЯ ГРИГОРЬЕВНА ПОЛЕТИКА

Рожденная Обортей, в действительности — побочная дочь предыдущих, гр. Гр. А. Строганова и графини да-Ега. Была замужем за ротмистром кавалергардского полка А. М. Полетикой. Сведения о ней смутны и противоречивы, их трудно свести в одно. Знаем только, что она за что-то глубоко ненавидела Пушкина и что играла не последнюю роль в темных интригах, опутывавших его в последние месяцы его жизни. Современники сообщают, что Идалия была женщина обаятельная, не столько миловидностью лица, сколько умом и живостью характера, с большими голубыми, кокетливыми глазами, что была «зуда» («acariâtre) с очень злым язычком, в противоположность мужу, которого называли «божьей коровкой». В последние годы жизни Пушкина она была очень близка с Натальей Николаевной, которой по отцу приходилась троюродной сестрой. В письмах Пушкина к жене несколько раз встречаем упоминания об Идалии как о близкой приятельнице Натальи Николаевны. Осенью 1833 г., когда Пушкин был в Болдине, Идалия передавала ему через жену поцелуй, на что Пушкин игриво отвечал: «Полетике скажи, что за ее поцелуем явлюсь лично, а что де по почте не принимают». Но потом что-то между ними произошло, что жестоко восстановило Идалию против Пушкина. Бартенев со слов В. Ф. Вяземской рассказывает: «Кажется, дело было в том, что Пушкин не внимал сердечным излияниям невзрачной Идалии Григорьевны и однажды, едучи с нею в карете, чем-то оскорбил ее». Из вторых рук тот же Бартенев передает со слов самой Идалии сообщение совершенно дикое, — будто однажды Идалия и Наталья Николаевна ехали в карете, и сидевший против них Пушкин взял Идалию за ногу; Наталья Николаевна пришла в ужас, и потом, по ее настоянию, Пушкин просил прощения у Идалии. «Есть повод думать,— замечает Бартенев, — что Пушкин, зная свойства г-жи Полетики, оскорблял ее, и что она, из чувства мести, была сочинительницей анонимных писем, из-за которых произошел роковой поединок». Во всяком случае, Идалия ненавидела Пушкина неистово. Уже в старости, живя в Одессе с братом, графом А. Г. Строгановым, она возмущалась, что Пушкину воздвигают в Одессе памятник, собиралась поехать и плюнуть на памятник, говорила, что Пушкин был изверг и т. п.

Муж Идалии был товарищем по полку и приятелем Дантеса, сама

она тоже очень благоволила к Дантесу. Дантес часто бывал у них и виделся там с Натальей Николаевной. Однажды, в январе 1837 г., Идалия послала Пушкиной приглашение посетить ее. Наталья Николаевна приехала. Вместо хозяйки дома ее встретил Дантес. Он вынул пистолет и грозил тут же застрелиться, если Наталья Николаевна не отдастся ему. По ее словам, она не знала, куда деваться от его настояний, ломала руки и стала говорить как можно громче. В это время в комнату вошла девочка, дочь Идалии, и Наталья Николаевна бросилась к ней. Воротясь домой, она все рассказала мужу. Это происшествие, как говорят, послужило последним толчком к вызову Пушкиным Геккерена.

После высылки Дантеса из Петербурга жена его, Екатерина Николаевна, писала ему: «Идалия приходила вчера на минуту с мужем; она в отчаянии, что не простилась с тобою, говорит, что в то время, как она собиралась итти к нам, ей сказали, что уже будет поздно, что ты, по всей вероятности, уехал. Она не могла утешиться и плакала, как безумная».

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К I и II ТОМАМ

АЛЕКСАНДР I, император — II, 166.
АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА, императрица — II, 169.
АЛЕКСЕЕВ А. П. — I, 281.
АЛЕКСЕЕВ Н. С. — I, 268.
АЛЯБЬЕВА А. В. — II, 49.
АРЕНДТ Н. Ф. — II, 468.
АРИНА РОДИОНОВНА — I, 36.
АРТЮХОВ К. Д. — II, 410.
АРХАРОВА Е. А. — II, 128.
АОЕНКОВА В. Н. — II, 383.

БАКУНИН А. П. — I, 103.
БАКУНИНА Е. П. — I, 103.
БАЛШ ТОДОРАКИ — I, 287.
БАРКОВ Д. Н. — I, 176.
БАТЮШКОВ К. Н. — I, 119.
БАШМАКОВ Д. Е. — I, 321.
БАШМАКОВА В. А. — I, 321.
БЕНЕДИКТОВ В. Г. — II, 311.
БЕНКЕНДОРФ А. Х. — II, 174.
БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ А. А. — I, 197.
БЛАРАМБЕРГ И. П. — I, 327.
БЛУДОВ Д. Н. — I, 113.
БОБРИНСКАЯ гр-ня А. В. — II, 149.
БОГОЛЮБОВ В. Ф. — II, 156.
БОЛОГОВСКИЙ Д. Н. — I, 267.
БОРАТЫНСКИЙ Е. А. — II, 274.
БОШНЯК А. К. — I, 391.
БРОГЛИО граф С. Ф. — I, 101.
БРУНОВ бар. Ф. И. — I, 324.
БРЮЛЛОВ К. П. — II, 372.
БУДРИ Д. И. — I, 56.
БУЛГАКОВ А. Я. — II, 37.
БУЛГАКОВ К. Я. — II, 136.
БУЛГАРИН Ф. В. — II, 340.
БУТЕРА кн-ня В. П. — II, 150.

ВАЛУЕВ П. А. — II, 160.
ВАЛУЕВА М. П. — II, 160.
ВАРФОЛОМЕЙ ПУЛЬХЕРИЦА — I, 285.
ВАСИЛЬЧИКОВА А. И. — II, 128.
ВЕЛИКОПОЛЬСКИЙ И. Е. — I, 387.
ВЕЛЬТМАН А. Ф. — I, 271.
ВЕЛЬЯШЕВА Е. В. — I, 365.
ВЕНЕВИТИНОВ Д. В. — II, 64.
ВИГЕЛЬ Ф. Ф. — I, 131, 332.
ВИЕЛЬГОРСКИЙ граф М. Ю. — II, 131.
ВОЕЙКОВ А. Ф. — I, 138. — II, 337.
ВОЛКОНСКАЯ кн-ня З. А. — II, 12.
ВОЛЬХОВСКИЙ В. Д. — I, 79. — II, 391.
ВОРОНЦОВ граф М. С. — I, 307.
ВОРОНЦОВА гр-ня Е. К. — I, 312.
ВОРОНЦОВ-ДАШКОВ граф И. И. — II, 143.
ВОРОНЦОВА-ДАШКОВА гр-ня А. К. — II, 144.
ВРЕВСКИЙ бар. Б. А. — I, 360.
ВСЕВОЛОЖСКИЙ Н. В. — I, 160.
ВУЛЬФ АЛЕКСЕЙ НИК. — I, 350.
ВУЛЬФ АННА ИВ. — I, 373.
ВУЛЬФ АННА НИК. — I, 353.
ВУЛЬФ ЕВПР. НИК — I, 357.
ВУЛЬФ ИВ. ИВ. — I, 370.
ВУЛЬФ ИВ. ПЕТР. — I, 367.
ВУЛЬФ ПАВ. ИВ. — I, 368.
ВУЛЬФ ПЕТР ИВ. — I, 357.
ВЯЗЕМСКАЯ кн-ня В. Ф. — II, 223.
ВЯЗЕМСКИЙ князь П. А. — I, 122. — II, 219.
ВЯЗЕМСКИЙ кн. П. П. — II, 227.

ГАББЕ П. А. — II, 58.
ГАГАРИН кн. И. С. — II, 464.
ГАГАРИН кн. Ф. Ф. — II, 53.
ГАЛИЧ А. И. — I, 52.
ГАННИБАЛ М. А. — I, 16.
ГАННИБАЛ ПАВ. ИС. — I, 384.
ГАННИБАЛ ПЕТР АБР. — I, 383.
ГАУЭНШИЛЬД Ф. М. — I, 57.
ГЕККЕРЕН бар. Я. Т. Б. — II, 453.
ГЛАДКОВА Е. И. — I, 371.

ГЛИНКА М. И. — II, 368.
ГЛИНКА Ф. Н. — II, 304.
ГНЕДИЧ Н. И. — II, 264.
ГОГОЛЬ Н. В. — II, 293.
ГОЛИЦЫН кн. В. С. — II, 54.
ГОЛИЦЫН кн. С. Г. — II, 140.
ГОЛИЦЫНА кн-ня Е. И. — I, 210.
ГОЛИЦЫНА кн-ня Н. П. — II, 151.
ГОНЧАРОВ А. Н. — II, 414.
ГОНЧАРОВ Д. Н. — II, 444.
ГОНЧАРОВ Н. А. — II, 415.
ГОНЧАРОВА, А. Н. — II, 439.
ГОНЧАРОВА Е. Н. — II, 437.
ГОНЧАРОВА Н. И. — II, 416.
ГОРЧАКОВ кн. А. М. — I, 81.
ГОРЧАКОВ В. П. — I, 269.
ГРЕВЕНИЦ бар. П. Ф. — I, 91.
ГРЕЧ Н. И. — II, 346.
ГРИБОЕДОВ А. С. — II, 267.
ГУБЕР Э. И. — II, 312.
ГУЛЬЯНОВ И. А. — II, 76.
ГУРЬЕВ граф А. Д. — I, 322.
ГУРЬЕВ К. — I, 107.
ГУРЬЕВА гр-ня А. П. — I, 322.

ДАВЫДОВ А. Л. — I, 297.
ДАВЫДОВ В. Л. — I, 295.
ДАВЫДОВ ДЕНИС ВАС. — I, 123 — II, 297.
ДАВЫДОВ И. И. — II, 75.
ДАВЫДОВА АГЛАЯ АНТ. — I, 299.
ДАВЫДОВА АДЕЛЬ АЛ. — I, 301.
ДАВЫДОВА Е. Н. — I, 294.
ДАЛЬ В. И. — II, 468.
ДАНЗАС К. К. — I, 84.
ДАНТЕС ЖОРЖ — II, 446.
Д'АРШИАК — II, 467.
ДАШКОВ Д. В. — I, 116.
ДЕЛАРЮ М. Д. — II, 302.
ДЕЛЬВИГ бар. А. А. — I, 66, 173, — II, 197.
ДЕЛЬВИГ бар-сса С. М. — II, 202.
ДЕКАМП АМЕДЕЙ — II, 76.
ДЕРЖАВИН Г. Р. — II, 253.
ДИБИЧ граф И. И. — II, 188.
ДМИТРИЕВ И. И. — II, 60.
ДОЛГОРУКОВ кн. Д. И. — I, 178.
ДОЛГОРУКОВ кн. П. В. — II, 461.
ДОНДУКОВ-КОРСАКОВ кн. М. А. — II, 187.
ДОРОХОВ Р. И. — II, 399.
ДУРОВ В. А. — II, 400.
ДУРОВА Н. А. — II, 322.

ЕРМОЛОВ А. П. — II, 386.
ЕСАКОВ С. С. — I, 90.
ЕСАУЛОВ А. П. — II, 381.

ЖАДОВСКИЙ И. Е. — I, 178.
ЖИХАРЕВ С. П. — I, 132.
ЖОБАР АЛЬФОНС — II, 333.
ЖУКОВСКИЙ В. А. — I, 115. — II, 230.

ЗАВАДОВСКАЯ гр-ня Е. М. — II, 136.
ЗАГРЯЖСКАЯ Е. И. — II, 440.
ЗАГРЯЖСКАЯ Н. К. — II, 443.
ЗАКРЕВСКАЯ А. Ф. — II, 100.
ЗАКРЕВСКИЙ А. А. — II, 108.
ЗУБКОВ В. П. — II, 9.

ИВЕЛИЧ гр-ня Е. И. — I, 213.
ИКОННИКОВ А. Н. — I, 60.
ИЛЛИЧЕВСКИЙ А. Д. — I, 89.
ИНЗОВ И. Н. — I, 247.
ИОНА игумен — I, 392.

КАВЕЛИН Д. А. — I, 137.
КАВЕРИН П. П. — I, 163.
КАЗНАЧЕЕВ А. И. — I, 323.
КАЗНАЧЕЕВА В. Д. — I, 324.
КАЙДАНОВ И. К. — I, 54.
КАЛАШНИКОВ М. И. — I, 40.
КАЛАШНИКОВА О. М. — I, 41.
КАЛИНИЧ Ф. П. — I, 58.
КАРАМЗИН Н. М. — I, 148.
КАРАМЗИНА Е. А. — II, 117.
КАРАМЗИНА С. Н. — II, 119.
КАРАТЫГИН В. А. — II, 382.
КАРПОВ Я. И. — I, 55.
КАТЕНИН П. А. — I, 179.
КАЧЕНОВСКИЙ М. Т. — II, 334.
КЕРН АННА ПЕТР. — I, 375.
КИПРЕНСКИЙ О. А. — II, 380.
КИРЕЕВСКИЙ И. В. — II, 69.
КИРЕЕВСКИЙ П. В. — II, 70.
КИСЕЛЕВ С. Д. — II, 20.
КОЗЛОВ НИКИТА — I, 38.
КОЛОСОВА-КАРАТЫГИНА — I, 215.
КОЛЬЦОВ А. В. — II, 314.
КОМОВСКИЙ С. Д. — I, 92.
КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ, вел. князь — II, 170.
КОНШИН Н. М. — II, 303.
КОРНИЛОВ А. А. — I, 99.
КОРСАКОВ Н. А. — I, 77.
КОРФ бар. М. А. — I, 95.
КОССАКОВСКАЯ гр-ня А. И. — II, 154.
КОСТЕНСКИЙ К. Д. — I, 107.
КОЧУБЕЙ гр-ня Н. В. — II, 152.
КОШАНСКИЙ Н. Ф. — I, 50.
КРИВЦОВ Н. И. — I, 185.
КРЫЛОВ И. А. — II, 259.
КРЮДНЕР бар-сса А. М. — II, 140.
КУКОЛЬНИК Н. В. — II, 308.
КУНИЦЫН А. П. — I, 49.
КЮХЕЛЬБЕКЕР В. К. — I, 69.

ЛАГРЕНЕ Т. — II, 111.
ЛАЖЕЧНИКОВ И. И. — I, 218.
ЛАМБЕРТ гр-ня У. М. — II, 131.
ЛАНЖЕРОН граф А. Ф. — I, 317.
ЛАНОВ И. Н. — I, 290.
ЛАНСКОЙ П. П. — II, 436.
ЛЕВЕ-ВЕЙМАР бар. Ф. А. — II, 332.
ЛЕКО М. И. — I, 331.
ЛИПРАНДИ И. П. — I, 273.
ЛИТТА граф Ю. П. — II, 188.
ЛОБАНОВ М. Е. — II, 332.

ЛОМОНОСОВ С. Г. — I, 80.
ЛУНИН М. С. — I, 202.

МАЛИНОВСКИЙ В. Ф. — I, 44.
МАЛИНОВСКИЙ И. В. — I, 76.
МАНСУРОВ П. Б. — I, 170.
МАРИНИ П. Я. — I, 326.
МАРТЫНОВ А. И. — I, 102.
МАСЛОВ Д. Н. — I, 97.
МАТЮШКИН Ф. Ф. — I, 75.
МЕЩЕРСКАЯ кн-ня Е. Н. — II, 119.
МЕЩЕРСКИЙ кн. П. И. — II, 120.
МИЛЛЕР П. И. — II, 164.
МИЛОРАДОВИЧ граф М. А. — I, 223.
МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, вел. кн. — II, 172
МИЦКЕВИЧ АДАМ — II, 286.
МОРАЛИ — I. 345.
МОРДВИНОВ А. Н. — II, 183.
МУРАВЬЕВ А. Н. — II, 14.
МУРАВЬЕВ Н. М. — I, 148.
МУРАВЬЕВ (Карский) Н. Н. — II, 393.
МУРАВЬЕВА А. Г. — II, 16.
МУСИН-ПУШКИН граф В. А. — II, 50.
МУСИНА-ПУШКИНА гр-ня Э. К. — II, 52
МУХАНОВ А. А. — II, 50.
МУХАНОВ Н. А. — II, 157.
МУХАНОВ П. А. — II, 21.
МЯСОЕДОВ П. Н. — I, 105.
МЯТЛЕВ И. П. — II, 134.

НАДЕЖДИН Н. И. — II, 357.
НАРЫШКИН Л. А. — I, 320.
НАРЫШКИНА О. С. — I, 319.
НАЩОКИН П. В. — II, 242
НАЩОКИНА В. А. — II, 246.
НЕЛЕДИНСКИЙ-МЕЛЕЦКИЙ Ю. А. — I, 153.
НЕССЕЛЬРОДЕ граф К. В. — II. 464.
НЕССЕЛЬРОДЕ гр-ня М. Д. — II, 465.
НЕСТЕРОВИЧ ИРИНЕЙ — I. 291.
НИКИТЕНКО А. В. — II. 329.
НИКОЛАЙ I, император — II, 167.

ОДОЕВСКИЙ князь В. Ф. — II, 133.
ОРЛОВ А. Ф. — I, 221.
ОРЛОВ М. Ф. — I, 146. 249.
ОРЛОВ Ф. Ф. — I, 279.
ОЛЕНИН А. Н. — II. 81.
ОЛЕНИНА А. А. — II, 85.
ОЛЕНИНА Е. М. — II, 85.
ОЛИЗАР граф Г. Ф. — I, 337.
ОСИПОВА А. И. — I, 360.
ОСИПОВА Е. И. — I, 365.
ОСИПОВА М. И. — I, 363.
ОСИПОВА П. А. — I, 347.
ОХОТНИКОВ К. А. — I, 263.

ПАВЛИЩЕВ Н. И. — I. 33.
ПАВЛИЩЕВА О. С. — I, 30.
ПАСКЕВИЧ И. Ф. — II. 388.
ПЕРОВСКИЙ В. А. — II. 409.
ПЕСТЕЛЬ П. И. — I, 276.
ПЕШЕЛЬ Ф. О. — I. 61.
ПЕЩУРОВ А. Н. — I. 386.
ПИЛЕЦКИЙ И. С. — I, 60.
ПИЛЕЦКИЙ М. С. — I, 59.
ПЛЕТНЕВ П. А. — II, 247.
ПЛЕЩЕЕВ А. А. — I, 134.
ПОГОДИН М. П. — II, 65.
ПОДГОРНЫЙ фельдъегерь — I, 393.
ПОДОЛИНСКИЙ А. И. — II. 301.
ПОЛЕВОЙ КС. А. — II, 357.
ПОЛЕВОЙ Н. А. — II, 352.
ПОЛЕТИКА ИД. Г. — II, 475.
ПОЛЕТИКА П. И. — I, 130.
ПОЛИХРОНИ КАЛИПСО — I, 284.
ПОЛТОРАЦКИЙ П. М. — I, 383.
ПОЛТОРАЦКИЙ С. Д. — II, 161.
ПАНОФИДИНЫ (ПАНАФИДИНЫ) — I, 374
ПУТЯТА Н. В. — II, 109.
ПУШКИН В. Л. — I, 16, 127.
ПУШКИН Л С. — I, 24.
ПУШКИН С. Л. — I, 7.
ПУШКИНА А. Л. — I, 22.
ПУШКИНА Н. О. — I, 14.
ПУШКИНА Н. Н. — II, 418.
ПУШКИНА С. Ф. — II, 5.
ПУЩИН И. И. — I, 63. — II, 190.
ПУЩИН М. И. — II, 396.
ПУЩИН П. С. — I, 265.

РАЕВСКАЯ-ОРЛОВА Е. Н. — I, 234.
РАЕВСКАЯ ЕЛ. Н. — I. 237.
РАЕВСКАЯ-ВОЛКОНСКАЯ М. Н. — I, 238.
РАЕВСКАЯ С. А. — I, 228.
РАЕВСКАЯ С. Н. — I, 246.
РАЕВСКИЙ А. Н. — I, 228.
РАЕВСКИЙ В. Ф. — I, 256.
РАЕВСКИЙ Н. Н. старший — I, 225.
РАЕВСКИЙ Н. Н. младший — I, 234.
РАЗУМОВСКАЯ гр-ня М. Г. — II, 148.
РАЙЧ С. Е. — II, 71.
РЕПНИН кн. Н. Г. — II. 155.
РЖЕВСКИЙ Н. Г. — I, 105
РИЗНИЧ АМАЛИЯ — I, 339.
РИЗНИЧ И. С. — I, 344.
РИМСКАЯ-КОРСАКОВА А. А. — II, 32.
РИМСКАЯ-КОРСАКОВА М. И. — II, 29.
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Г. А. — II, 30.
РОДЗЯНКО А. Г. — I, 172.
РОЗЕН бар. Е. Ф. — II, 307.
РОКОТОВ И. М. — I, 386.
РОССЕТ-СМИРНОВА А. О. — II, 89.
РОССЕТ АР. О — II, 467.
РОССЕТ К. О. — II. 466.
РОСТОПЧИНА гр-ня Е. П. — II, 321.
РЫЛЕЕВ К. Ф. — I, 189.

САБАНЕЕВ И. В. — I. 264.
САВЕЛОВ А. П. — I, 332.
САВРАСОВ П. Ф. — I, 91
САЛТЫКОВ М. А. — I, 152.
САЛТЫКОВ С. В. — II, 142.
САХАРОВ И. П. — II, 331.
СВИНЬИН П. П. — II. 336.
СЕВЕРИН Д. П. — I, 135.
СЕМЕНОВ В. Н. — II, 162.

СЕМЕНОВА Е. С. — I, 214.
СЕНКОВСКИЙ О. И. — II, 347.
СИКАР К. Я. — I, 344.
СМИРНОВ Н. М. — II, 99.
СМИРНОВА (РОССЕТ) А. О. — II, 79.
СМИРНОВА Е. Е. — I, 369.
СНЕГИРЕВ И. М. — II, 73.
СОБАНЬСКАЯ К. А. — I, 335.
СОБОЛЕВСКИЙ С. А. — II, 238.
СОЛОГУБ граф А. И. — II, 123.
СОЛОГУБ граф В. А. — II, 173.
СОЛОГУБ гр-ня Н. Л. — II, 120.
СОЛОГУБ гр-ня С. И. — II, 123.
СОЛОМИРСКИЙ В. Д. — II, 19.
СОМОВ О. М. — II, 365.
СОНЦОВЫ (СОЛНЦЕВЫ) — I, 20.
СТАРОВ С. Н. — I, 281.
СТЕВЕН Ф. Х. — I, 102.
СТРОГАНОВ граф А. Г. — II, 154.
СТРОГАНОВ граф Г. А. — II, 472.
СТРОГАНОВА гр-ня Ю. П. — II, 474.
СТУРДЗА А. С. — I, 337.
СУДИЕНКО М. О. — II, 161.
СУХОРУКОВ В. Д. — II, 395.

ТАНЯ цыганка — II, 77.
ТЕППЕР-ДЕ-ФЕРГЮСОН — I, 58.
ТИМАШЕВА Е. А. — II, 10.
ТИМИРЯЗЕВ И. С. — II, 157.
ТИТОВ В. П. — II, 158.
ТОКАРЕВ А. А. — I, 177.
ТОЛСТОЙ граф Ф. И. (Американец) — II, 34.
ТОЛСТОЙ Я. И. — I, 161.
ТРОПИНИН В. А. — II, 378.
ТРУБЕЦКОЙ кн. С. П. — I, 174.
ТУРГЕНЕВ А. И. — I, 123.
ТУРГЕНЕВ Н. И. — I, 140.
ТУМАНСКИЙ В. И. — I, 329.
ТЫРКОВ А. Д. — I, 100.

УВАРОВ С. С. — I, 138. — II, 184.
УЛЫБЫШЕВ А. Д. — I, 175.
УРУСОВЫ — II, 18.
УШАКОВА ЕК. Н. — II, 21.
УШАКОВА ЕЛ. Н. — II, 26.

ФЕДОРОВ Б. М. — II, 366.
ФИКЕЛЬМОН гр-ня Д. Ф. — II, 115.
ФИКЕЛЬМОН граф К. Л. — II, 115.
ФИЛАРЕТ, митрополит московский — II, 55.
ФОК фон М. Я. — II, 180.
ФРОЛОВ С. С. — I, 45.
ФРОЛОВА-БАГРЕЕВА Е. М. — II, 147.
ФУКС А. А. — II, 405.
ФУКС К. Ф. — II, 403.

ХВОСТОВ граф Д. И. — II, 255.
ХИТРОВО Е. М. — II, 111.
ХОМУТОВА А. Г. — II, 11.
ХОМЯКОВ А. С. — II, 72.
ХУДОБАШЕВ А. М. — I, 289.

ЧААДАЕВ П. Я. — II, 205.
ЧЕРНЫШЕВ А. И. — II, 188.
ЧЕРНЫШЕВ граф З. Г. — II, 394.
ЧИРИКОВ С. Г. — I, 58.

ШАЛИКОВ князь П. И. — II, 61.
ШАХОВСКОЙ князь А. А. — I, 183.
ШЕВЫРЕВ С. П. — II, 67.
ШЕНИГ Н. И. — I, 364.
ШЕРЕМЕТЕВ А. В. — II, 21.
ШЕРНВАЛЬ АВР. К. — II, 51.

ЩЕПКИН М. С. — II, 383.
ЩЕРБИНИН М. А. — I, 167.

ЭНГЕЛЬГАРДТ В. В. — I, 171.
ЭНГЕЛЬГАРДТ Е. А. — I, 46.
ЭРИСТОВ князь Д. А. — II, 163.

ЮДИН П. М. — I, 91.
ЮРЬЕВ Ф. Ф. — I, 170.
ЮСУПОВ князь Н. Б. — II, 42.

ЯГУЖИНСКАЯ В. Н. — II, 55.
ЯЗЫКОВ Н. М. — II, 277.
ЯКОВЛЕВ И. А. — II, 162.
ЯКОВЛЕВ М. Л. — I, 88.
ЯКУБОВИЧ А. И. — I, 168.
ЯКУБОВИЧ Л. А. — II, 313.
ЯКУШКИН И. Д. — I, 301.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Том II

К стр. 5. Портрет А. С. Пушкина. С литографии Клиндера.
Стр. 7. Неизвестный художник. Портрет С. Ф. Пушкиной. Пушкинский Дом Академии Наук СССР.
Стр. 39. К. А. Горбунов. Портрет А. Я. Булгакова.
Стр. 43. Ж. Б. Лампи. Портрет Н. Б. Юсупова. Гос. Эрмитаж.
К стр. 60. В. А. Тропинин. Портрет И. И. Дмитриева. Пушкинский Дом Академии Наук СССР.
Стр. 83. А. Г. Варнек. Портрет А. Н. Оленина. Пушкинский Дом Академии Наук СССР.
Стр. 87. В. Л. Боровиковский. Портрет Е. М. Олениной (слева).
Стр. 87. П. Ф. Соколов. Портрет А. А. Олениной (справа).
Стр. 91. Неизвестный художник. Портрет А. О. Смирновой.
Стр. 101. Портрет А. Ф. Закревской. С современной литографии.
Стр. 121. Неизвестный художник. Портрет С. Н. Карамзиной. Пушкинский Дом Академии Наук СССР.
Стр. 129. Неизвестный художник. Портрет Е. А. Архаровой (справа).
Стр. 129. Неизвестный художник. Портрет А. И. Васильчиковой (слева).
Стр. 137. Беннер. Портрет К. Я. Булгакова. Пушкинский Дом Акад. Наук СССР.
Стр. 145. Портрет А. К. Воронцовой-Дашковой. С литографии Вагнера.
Стр. 175. Художник Жирар. Портрет А. Ф. Бенкендорфа.
Стр. 181. Портрет М. Я. фон-Фока. Пушкинский Дом Акад. Наук СССР. С литографии Фридерици.
Стр. 191. И. И. Пущин. С фотографии 60-х годов.
Стр. 207. Неизвестный художник. Портрет П. Я. Чаадаева. Гос. Исторический Музей.
Стр. 239. С. А. Соболевский (с фотографии).
Стр. 249. Портрет П. А. Плетнева. С современной литографии.
К стр. 254. В. Л. Боровиковский. Портрет Г. Р. Державина. Пушкинский Дом Академии Наук СССР.
Стр. 261. К. П. Брюллов. Портрет И. А. Крылова. Гос. Третьяковская галлерея.

Стр. 287. Портрет Адама Мицкевича. С современной гравюры.

Стр. 295. А. Г. Венецианов. Портрет Н. В. Гоголя. Литография.

К стр. 340. Портрет Ф. В. Булгарина. С совр. литографии. Пушкинский Дом Академии Наук СССР.

Стр. 359. Неизвестный художник. Портрет Н. И. Надеждина. Рис. из альбома Ф. А. Кони, наход. в Пушкинском Доме Академии Наук СССР.

Стр. 373. К. П. Брюллов. Автопортрет. Гос. Русский Музей.

Стр. 411. В. Гау. Портрет В. А. Перовского. Пушкинский Дом Акад. Наук СССР.

К стр. 421. Т. А. фон-Неф. Портрет И. Г. Полетики с дочерью.

Стр. 433. В. Гау. Портрет Н. Н. Ланской. Пушкинский Дом Акад. Наук СССР.

Стр. 441. П. Ф. Соколов. Портрет Н. К. Загряжской. Пушкинский Дом Акад. Наук СССР.

К стр. 446. Томас Райт. Портрет Жоржа Дантес. Пушкинский Дом Акад. Наук СССР.

Стр. 455. Неизвестный художник. Портрет Геккерена.

К стр. 462. Портрет П. В. Долгорукова. С литографии Вагнера. Пушкинский Дом Академии Наук СССР.

Стр. 469. Неизвестный художник. Портрет В. И. Даля.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. В МОСКВЕ . . . . . 5—77

Софья Федоровна Пушкина 5
Василий Петрович Зубков 9
Екатерина Александровна Тимашева 10
Анна Григорьевна Хомутова 11
Княгиня Зинаида Александровна Волконская 12
Андрей Николаевич Муравьев 14
Александра Григорьевна Муравьева 16
Урусовы 18
Владимир Дмитриевич Соломирский 19
Павел Александрович Муханов 21
Алексей Васильевич Шереметев 21
Екатерина Николаевна Ушакова 21
Елизавета Николаевна Ушакова 26
Сергей Дмитриевич Киселев 28
Мария Ивановна Римская-Корсакова 29
Григорий Александрович Римский-Корсаков 30
Александра Александровна Римская-Корсакова 32
Граф Федор Иванович Толстой (Американец) 34
Александр Яковлевич Булгаков 37
Князь Николай Борисович Юсупов 42
Александра Васильевна Алябьева 49
Александр Алексеевич Муханов 50
Аврора Карловна Шернваль 51

Графиня Эмилия Карловна Мусина-Пушкина 52
Граф Владимир Алексеевич Мусин-Пушкин 52
Князь Федор Федорович Гагарин 53
Князь Владимир Сергеевич Голицын 54
Графиня Варвара Николаевна Ягужинская 55
Митрополит московский Филарет 55
Петр Андреевич Габбе 58
Иван Иванович Дмитриев 60
Князь Петр Иванович Шаликов 61
Дмитрий Владимирович Веневитинов 64
Михаил Петрович Погодин 65
Степан Петрович Шевырев 67
Иван Васильевич Киреевский 69
Петр Васильевич Киреевский 70
Семен Егорович Раич 71
Алексей Степанович Хомяков 72
Иван Михайлович Снегирев 73
Иван Иванович Давыдов 75
Амедей Декамп 76
Иван Александрович Гульянов 76
Цыганка Таня 77

II. В ПЕТЕРБУРГЕ . . . . . 81—161

Алексей Николаевич Оленин 81
Елизавета Марковна Оленина 85
Анна Алексеевна Оленина 85
Александра Осиповна Россет-Смирнова 89
Николай Михайлович Смирнов 99
Аграфена Федоровна Закревская 100
Арсений Андреевич Закревский 108
Николай Васильевич Путята 109
Теодор-Мари-Мельшиор-Жозеф де Лагрене 111
Елизавета Михайловна Хитрово 111
Графиня Дарья Федоровна Фикельмон 115
Граф Карл-Людвиг Фикельмон 117
Екатерина Андреевна Карамзина 117
Софья Николаевна Карамзина 119
Княгиня Екатерина Николаевна Мещерская 119

Князь Петр Иванович Мещерский 120
Графиня Надежда Львовна Сологуб 120
Графиня Софья Ивановна Сологуб 123
Граф Александр Иванович Сологуб 123
Граф Владимир Александрович Сологуб 123
Екатерина Александровна Архарова 128
Александра Ивановна Васильчикова 128
Графиня Ульяна Михайловна Ламберт 131
Граф Михаил Юрьевич Виельгорский 131
Князь Владимир Федорович Одоевский 133
Иван Петрович Мятлев 134
Константин Яковлевич Булгаков 136
Графиня Елена Михайловна Завадовская 136
Баронесса Амалия Максимилиановна Крюднер 140
Князь Сергей Григорьевич Голицын 140
Сергей Васильевич Салтыков 142
Граф Иван Илларионович Воронцов-Дашков 143
Графиня Александра Кирилловна Воронцова-Дашкова . 144
Елизавета Михайловна Фролова-Багреева 147
Графиня Марья Григорьевна Разумовская 148
Графиня Анна Владимировна Бобринская 149
Княгиня Варвара Петровна ди-Бутера 150
Княгиня Наталья Петровна Голицына 151
Графиня Наталья Викторовна Кочубей 152
Граф Александр Григорьевич Строганов 154
Графиня Александра Ивановна Коссаковская 154
Князь Николай Григорьевич Репнин 155
Варфоломей Филиппович Боголюбов 156
Николай Алексеевич Муханов 157
Иван Семенович Тимирязев 157
Владимир Павлович Титов 158
Петр Александрович Валуев 160
Мария Петровна Валуева 160
Сергей Дмитриевич Полторацкий 161
Михаил Осипович Судиенко 161
Иван Алексеевич Яковлев 162
Василий Николаевич Семенов 162
Князь Дмитрий Алексеевич Эристов 163
Павел Иванович Миллер 164

III. НАЧАЛЬСТВО И ЕГО АГЕНТЫ . . . . . 166—188

Император Александр I 166
Император Николай I 167
Александра Федоровна 169
Великий князь Константин Павлович 170
Великий князь Михаил Павлович 172
Александр Христофорович Бенкендорф 174
Максим Яковлевич фон-Фок 180
Александр Николаевич Мордвинов 183
Сергей Семенович Уваров 184
Князь Михаил Александрович Дондуков-Корсаков . . . 187
Граф Юлий Помпеевич Литта 188
Барон Иван Иванович Дибич 188
Александр Иванович Чернышев 188

IV. ДРУЗЬЯ . . . . . 190—247

Иван Иванович Пущин 190
Барон Антон Антонович Дельвиг 197
Баронесса Софья Михайловна Дельвиг 202
Петр Яковлевич Чаадаев 205
Князь Петр Андреевич Вяземский 219
Княгиня Вера Федоровна Вяземская 223
Князь Павел Петрович Вяземский 227
Василий Андреевич Жуковский 230
Сергей Александрович Соболевский 238
Павел Воинович Нащокин 242
Вера Александровна Нащокина 246
Петр Александрович Плетнев 247

V. ПИСАТЕЛИ . . . . . 253—333

Гавриил Романович Державин 253
Граф Дмитрий Иванович Хвостов 255
Иван Андреевич Крылов 259
Николай Иванович Гнедич 264
Александр Сергеевич Грибоедов 267

Евгений Абрамович Боратынский 274
Николай Михайлович Языков 277
Адам Мицкевич 286
Николай Васильевич Гоголь 293
Денис Васильевич Давыдов 297
Андрей Иванович Подолинский 301
Михаил Данилович Деларю 302
Николай Михайлович Коншин 303
Федор Николаевич Глинка 304
Барон Егор Федорович Розен 307
Нестор Васильевич Кукольник 308
Владимир Григорьевич Бенедиктов 311
Эдуард Иванович Губер 312
Лукьян Андреевич Якубович 313
Алексей Васильевич Кольцов 314
Графиня Евдокия Петровна Ростопчина 321
Надежда Андреевна Дурова 322
Александр Васильевич Никитенко 329
Иван Петрович Сахаров 331
Михаил Евстафьевич Лобанов 331
Барон Франсуа Адольф Леве-Веймар 332
Альфонс Жобар 333

VI. ЖУРНАЛИСТЫ . . . . . 334—366

Михаил Трофимович Каченовский 334
Павел Петрович Свиньин 336
Александр Федорович Воейков 337
Фаддей Венедиктович Булгарин 340
Николай Иванович Греч 346
Осип Иванович Сенковский 347
Николай Алексеевич Полевой 352
Ксенофонт Алексеевич Полевой 357
Николай Иванович Надеждин 357
Орест Михайлович Сомов 365
Борис Михайлович Федоров 366

VII. АРТИСТЫ И ХУДОЖНИКИ . . . . . 368—383

Михаил Иванович Глинка 368
Карл Павлович Брюллов 372

Василий Андреевич Тропинин 378
Орест Адамович Кипренский 380
Андрей Петрович Есаулов 381
Василий Андреевич Каратыгин 382
Михаил Семенович Щепкин 383
Варвара Николаевна Асенкова 383

VII. ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗЕРУМ . . . . . 386—400

Алексей Петрович Ермолов 386
Иван Федорович Паскевич 388
Владимир Дмитриевич Вольховский 391
Николай Николаевич Муравьев (Карский) 393
Граф Захар Григорьевич Чернышев 394
Василий Дмитриевич Сухоруков 395
Михаил Иванович Пущин 396
Руфин Иванович Дорохов 399
Василий Андреевич Дуров 400

IX. ПОЕЗДКА НА ВОСТОК . . . . . 403—410

Карл Федорович Фукс 403
Александра Андреевна Фукс 405
Василий Алексеевич Перовский 408
Константин Демьянович Артюхов 410

X. ЖЕНА И ЕЕ РОДСТВЕННИКИ . . . . . 414—442

Афанасий Николаевич Гончаров 414
Николай Афанасьевич Гончаров 415
Наталья Ивановна Гончарова 416
Наталья Николаевна Пушкина 418
Петр Петрович Ланской 436
Екатерина Николаевна Гончарова 437
Александра Николаевна Гончарова 439
Екатерина Ивановна Загряжская 440
Наталья Кирилловна Загряжская 443
Дмитрий Николаевич Гончаров 444

XI. ДУЭЛЬ И СМЕРТЬ 446 475

Барон Жорж-Шарль Дантес 446
Барон Якоб-Теодор-Борхард-Анна ван Геккерен де-Бе-
верваард 453
Князь Петр Владимирович Долгоруков 461
Князь Иван Сергеевич Гагарин 464
Граф Карл Васильевич Нессельроде 464
Графиня Мария Дмитриевна Нессельроде 465
Клементий Осипович Россет 466
Аркадий Осипович Россет 467
Виконт д'Аршиак 467
Николай Федорович Арендт 468
Владимир Иванович Даль 468
Григорий Александрович Строганов 472
Графиня Юлия Петровна Строганова 474
Идалия Григорьевна Полетика 475

Именной указатель к I и II томам 477
Перечень иллюстраций 481

ЧИТАТЕЛЬ!

Издательство просит сообщить отзыв об этой книге, указав ваш точный адрес, профессию и возраст.

Просьба к библиотечным работникам организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов о ней.

Все отзывы и материалы направлять по адресу: Москва, 9, Большой Гнездниковский пер., д. № 10, Издательство «Советский писатель».

Отв. редактор В. Гроссман.
Техн. редактор М. Терюшин.
Корректор Е. Бокшицкая.

Уполн. Главлита Б—32132.
Тираж 10 000. С. П. № 1.
Сдана в производство 16 июня 1936 г. Подписана к печати 8 декабря 1936 г. Бумага 72×88¹/₁₆. Кол. печатн. лист. 30¾+7 вклеек. Авт. лист. 23,9 Кол. зн. в печатн. л. 43 344.
Зак. № 2472.

Типография газ. «Правда» им. Сталина, Москва, ул. «Правды», 24.

Цена 13 р. 50 к.
Переплет 2 р. 50 к.

5

22/XI 445

ЛИСТОК СРОКА ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач

9/VI 56 7 7/IV 1290

15/II-512

3/III 512

25/IV 296

21/VIII-403

2/III-917

0053

166692010

Гос. библиотека Югры

16 p.